ISSN 0130-6545

6.1991

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

В номере:

Э.Л.ДОКТОРОУ
Билли Баттгейт

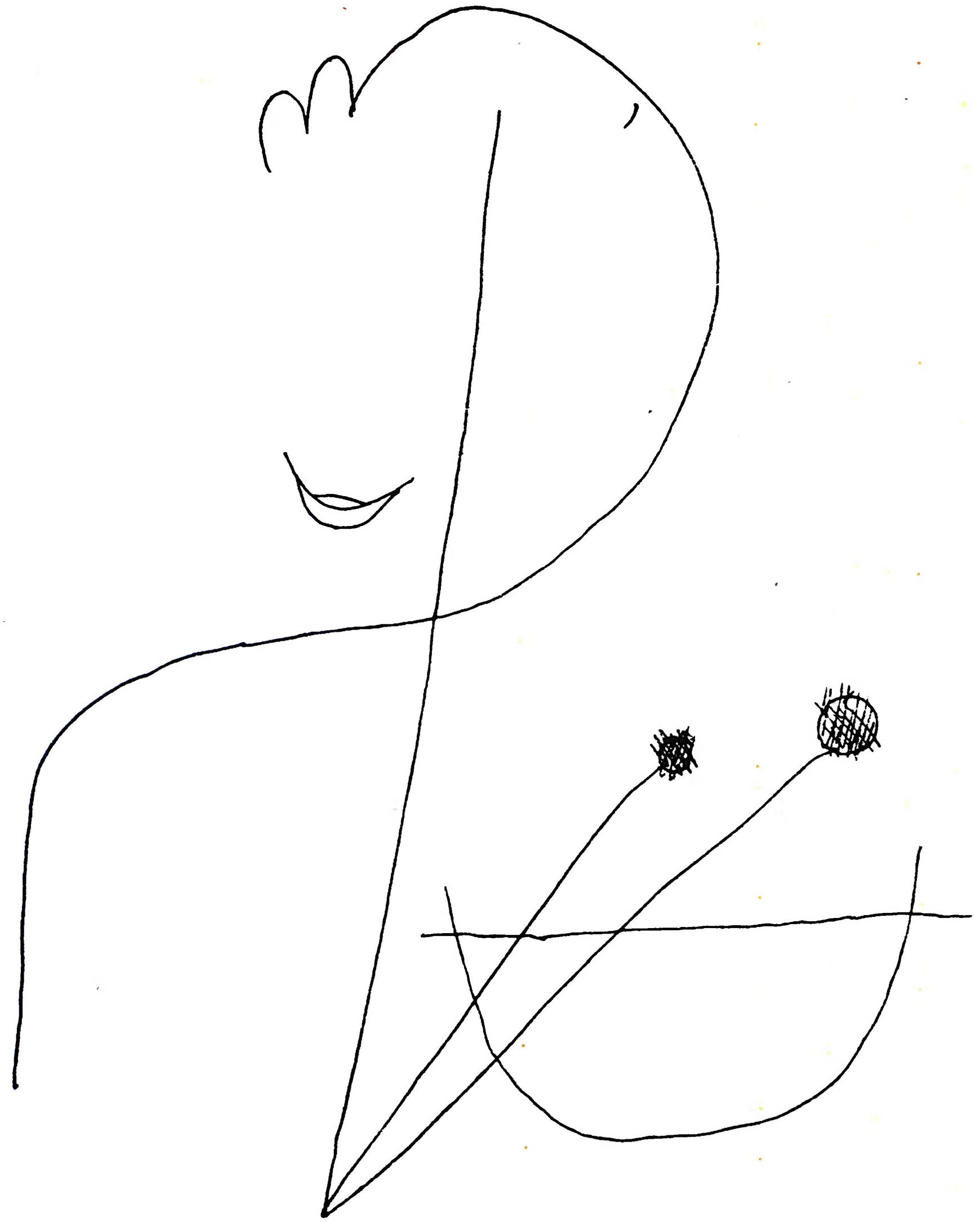
ИОГАННЕС БОБРОВСКИЙ
Стихи

ИВЛИН ВО
Черная беда

ШАНДОР КАНЯДИ
Есть край такой
Цикл стихов

ИТАЛО КАЛЬВИНО
Легкость
Из «Американских лекций»

ХИЛЛЕЛ ШВАРЦ
Предрешенные выводы: легенда о 1000-м годе



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА

Главный редактор

В. Я. ЛАКШИН

Редакционная коллегия:

С. С. АВЕРИНЦЕВ, А. М. АДАМОВИЧ,
О. С. ВАСИЛЬЕВ (заместитель главного редактора),
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА, Т. П. ГРИГОРЬЕВА, Я. Н. ЗАСУРСКИЙ,
А. М. ЗВЕРЕВ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Т. В. ЛАНИНА,
Т. Л. МОТЫЛЕВА, Б. В. НИКОЛЬСКИЙ (ответственный секретарь),
В. Ф. ОГНЕВ, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, В. С. ПЕРЕХВАТОВ,
Р. И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ,
А. Н. СЛОВЕСНЫЙ (заместитель главного редактора),
Г. Ш. ЧХАРТИШВИЛИ

Международный общественный совет журнала «Иностранная литература»:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — председатель Совета

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия), ЭРВЕ БАЗЕН (Франция),
КРИСТА ВОЛЬФ (Германия), ТОНИНО ГУЭРРА (Италия),
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания),
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа),
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (Германия), АРТУР МИЛЛЕР (США),
АНАНТА МУРТИ (Индия), КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония),
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария), СВЯТОСЛАВ РЕРИХ (Индия),
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения), РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС
РЕТАМАР (Куба), СЕМБЕН УСМАН (Сенегал),
УМБЕРТО ЭКО (Италия)

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

НЕЗАВИСИМЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

6 ИЮНЬ 1991

СОДЕРЖАНИЕ

Э. Л. ДОКТОРОУ — Билли Батгейт *(Роман. Перевод с английского Ю. Здоровова)* 5

ИОГАННЕС БОБРОВСКИЙ — Стихи *(Перевод с немецкого Г. Ратгауза)* 77

ИВЛИН ВО — Черная беда *(Роман. Перевод с английского и вступление А. Ливерганта* 83

ШАНДОР КАНЯДИ — Есть край такой *(Цикл стихов. Перевод с венгерского Натэллы Горской и Татьяны Бек. Вступление Л. Васильевой)* 201

ИОАН ГРОШАН — Ночной поезд *(Рассказ. Перевод с румынского Татьяны Ивановой)* 209

Критика

ИТАЛО КАЛЬВИНО — Легкость *(Из «Американских лекций». Перевод с итальянского и вступление Елены Костюкович)* 227

Возвращаясь к напечатанному

«Любовник леди Чаттерли» — роман и его творец

ИГОРЬ КОН: С точки зрения сексологии 237

НИКОЛАЙ ПАЛЬЦЕВ: По ту сторону сексологии 240

Документальная проза и публицистика

Рубеж тысячелетий

ХИЛЛЕЛ ШВАРЦ — Предрешенные выводы: легенда о 1000-м годе *(Из книги «Конец века». Перевод с английского А. Волкова)* 247

Авторы этого номера 255

© «Иностранная литература», 1991

На первой странице обложки:
рисунок швейцарского художника ПАУЛЯ КЛЕЕ (1879—1940)

Главный художник **С. И. Мухин**

Технический редактор **Е. П. Поляков**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41, Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»,
Москва, Пушкинская пл., 5.

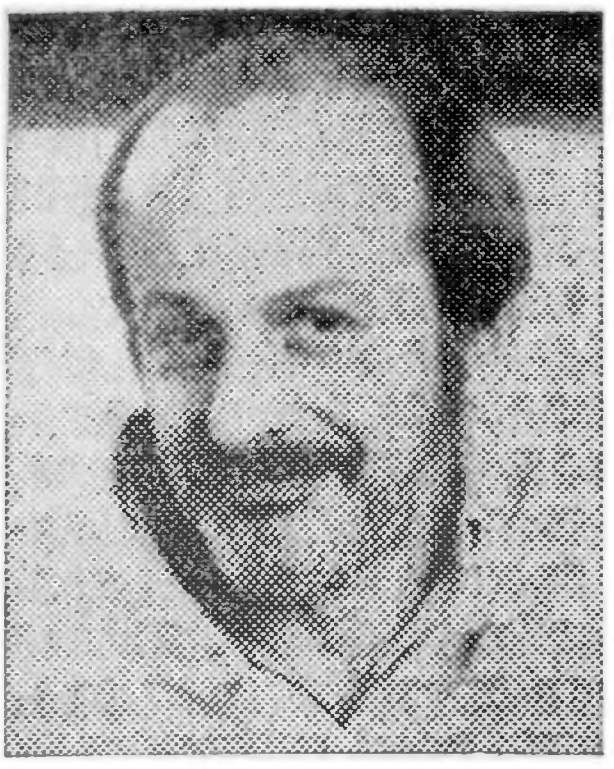
Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 05.04.91. Подписано в печать 04.06.91. Формат $70\times108^{1}/_{16}$.
Печать высокая. Бумага книжно-журнальная. Усл. печ. 22,4.
Усл. кр.-отт. 23,4. Уч.-изд. л. 24,6.

Тираж 147 500 экз. Цена 2 р. 95 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий». 103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16. Зак. 1829.

Отпечатано и изготовлен тираж в типографии издательства «Советская Сибирь». 630048, Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 44. Зак. 66



Э. Л. ДОКТОРОУ

Билли Батгейт

РОМАН

Перевод с английского Ю. ЗДОРОВОВА

Посвящается
Джейсону Эпштейну

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Он, наверное, все заранее устроил, потому что, когда мы подъехали к пристани, буксир уже стоял у стенки причала, мотор работал, речная вода фосфоресцировала, и это был единственный свет — луны не было, не было и электричества, ни в сторожке начальника пристани, ни на самом буксире, а уж о машине и говорить нечего, но все же каждый знал, что и как; Микки-водитель затормозил большой «паккард» у трапа, чуть ли не чиркнув о борт буксира, дверцы машины распахнулись, и они втащили Бо и девицу на борт, так что я и глазом моргнуть не успел. Никто не сопротивлялся, я заметил только, как пронесли мимо что-то темное, раздался сдавленный стон, будто испуганному человеку зажали рот рукой, дверцы захлопнулись, машина заурчала и уехала, полоска воды между буксиром и причалом тут же начала расти. Поскольку никто не сказал «нет», я прыгнул на палубу и встал, держась за поручень, перепуганный, конечно, но головы не потерявший, ведь он сам назвал меня способным, способным к учебе, а теперь вот вижу, что и к поклонению грубой силе тоже, а уж он ею обладал как никто другой, о, этот страх, который каждый испытывал в его присутствии, убьет — не убьет, вот ведь как все обернулось, вот почему я оказался там и ждал с замиранием сердца, когда он снова скажет, что я способный, хотя я все время боялся — а вдруг он маньяк?!

Кроме того, как любой мальчишка, я был самоуверен, считал, что, когда захочу, смогу улизнуть, убежать от него, от его ярости, ума, власти — я ловко лазал по заборам и пожарным лестницам, быстро бегал по улицам и бесстрашно ходил по карнизам любых крыш в мире. То, что я способный, я знал и без него, но своей оценкой он не только подтвердил мою уверенность, но и завоевал меня. Впрочем, ни о чем таком я тогда не думал, я просто это чувствовал, инстинктивно чувствовал и ждал своего часа, а иначе зачем бы это я прыгнул через поручень на борт буксира, когда начала расти полоска фосфоресцирующей воды подо мной, а потом стоял на палубе и, обдуваемый свежим ночным ветром, наблюдал, как удаляется берег и как перед моим взором встает остров огней, похожий на гигантский океанский лайнер, проплывающий мимо и оставляющий меня наедине с самыми ужасными гангстерами моего времени?

© E. L. Doctorow, 1989

Мои обязанности, когда мне не давали специальных поручений, были просты — все замечать, ничего не пропускать и, хотя сам он никогда не выразил бы это так многословно, стать человеком, который всегда наблюдает и всегда слушает, и не важно, влюблен я или напуган, унижен или смертельно ранен — ни один миг не должен ускользнуть от моего внимания, даже если этот миг окажется для меня последним.

Так что все это он устроил заранее, хотя и сдобрил присущей ему яростью, отчего можно было подумать, будто решение пришло ему в голову только что, как в то утро, когда он задушил пожарного инспектора, а потом раскроил ему череп, хотя за секунду до этого с улыбкой восхищался его деловой хваткой. Ничего подобного мне прежде видеть не приходилось, наверное, есть и более пристойные способы убийства, но как бы ни убивать, это все равно трудно; он действовал против всяких правил: подняв руки, он с криком прыгнул на беднягу, всем своим весом сбил того с ног, рухнул на него сверху и, возможно, сломал ему позвоночник, кто знает, а потом, прижав коленями руки инспектора к полу, костяшками больших пальцев сдавливал ему горло до тех пор, пока у того не вывалился язык и не выкатились глаза, и тогда он два или три раза трахнул его головой об пол, словно это была не голова, а кокосовый орех, который он хотел расколоть.

Все были в вечерних костюмах, что я, конечно, заметил, на самом мистере Шульце был черный галстук, черное пальто с каракулевым воротником, белый шелковый шарф и перламутрово-серая фетровая шляпа с продавленной посередине, как у президента, тульей. Шляпа и пальто Бо так и остались в гардеробе. В Эмбасси-клубе праздновалась пятилетняя годовщина их пивной ассоциации, так что все было предусмотрено заранее, даже меню; единственное, что он не сумел предусмотреть,— это то, что Бо неправильно поймет настрой вечера и приведет свою красотку; когда их вдвоем запихивали в «паккард», я понимал, что она в план не входит. Теперь и она находилась на буксире, снаружи была темень, иллюминаторы зашторены, я ничего не видел, но слышал голос мистера Шульца и, хотя слов разобрать не мог, чувствовал, что он недоволен — зачем им лишний свидетель того, что они сейчас сделают с мужчиной, который ей наверняка нравится? Услышав или скорее почувствовав звуки шагов по металлическому трапу, я поспешно повернулся спиной к рубке, наклонился над поручнем и успел заметить светлое пятно на зеленой неспокойной воде, а потом, должно быть, занавес опустили и пятно исчезло. Через несколько мгновений шаги удалились.

Тут я засомневался, что поступил правильно, пробравшись на буксир без его разрешения. Я, как и все мы, жил его настроениями, неотступно думал, как угодить ему, он на всех так действовал, и когда я выполнял его поручение, то не только старался сделать все как можно лучше и быстрее, но и соображал, что скажу в свою защиту, если он вдруг останется недоволен. Впрочем, разжалобить его я серьезно не рассчитывал. Итак, я плыл тайком на буксире, держась за холодный поручень и мучаясь от нерешительности, гирлянды огней на мостах за кормой буксира навевали мне мысли о прошлом. Но вот мы доплыли до устья реки и до больших волн открытого моря, буксир начало раскачивать, и, чтобы не потерять равновесие, мне пришлось широко расставить ноги. Ветер тоже крепчал, и с носа буксира до меня долетали брызги воды, я сильнее вцепился в поручень, крепче прижался спиной к рубке и вдруг почувствовал легкое головокружение, которое приходит с осознанием того, что вода — какое-то нездешнее чудовище, с каждым мгновением в моем воображении все яснее вырисовывался образ загадочного, могучего и гигантского зверя, притаившегося под моим буксиром и подо всеми другими кораблями, которые, даже собравшись вместе, будут не больше крошечного нароста на его неровной, вздымающейся шкуре.

Поэтому, приоткрыв дверь и протиснувшись в нее боком, я вошел в рубку; уж если мне суждено умереть, то лучше умереть в помещении.

Вот что я увидел, привыкнув к яркому свету фонаря, свисавшего с потолка рубки: элегантный Бо Уайнберг стоит рядом со своими остроносыми лакированными туфлями, черные шелковые носки и подвязки лежат неподалеку, свернувшись, словно мертвые угри; его босые белые ступни кажутся намного длиннее и шире туфель, которые они только что покинули. Бо не отрывает взгляда от своих ног, может, потому, что такие интимные части тела нечасто увидишь в сочетании с черным галстуком, и, следя за его взглядом, я посочувствовал тому, о чем — как я уверен — он думал в тот момент: мы, цивилизованные люди, обречены ходить на этих штуковинах, разделенных спереди на пять неравных кругляшек, каждая из которых частично покрыта скорлупой ногтя.

Перед ним на коленях стоял аккуратный и невозмутимый Ирвинг и методично закатывал штанины его брюк с черными атласными лампасами. Ирвинг увидел меня, но, как обычно, решил не замечать. Он был подручным мистера Шульца, выполнял его поручения и ничем другим, казалось, не интересовался. Сейчас он закатывал штанины черных брюк. У Ирвинга была впалая грудь, редкие волосы, алкоголическая бледность и характерная для бывших алкоголиков сухая прозрачная кожа, а я знал, что значит бросить пить, чем они платят за свою трезвость, какого усилия это требует, какую печаль рождает в человеке. Я любил наблюдать за Ирвингом, даже когда он был занят и не таким вот удивительным делом, каждый отворот был ровненький, в точности такой же, как предыдущий. Он все делал тщательно, без единого лишнего движения. Это был настоящий профессионал, но, поскольку единственной его профессией было справляться с непредвиденными обстоятельствами, он держал себя так, будто сама жизнь и есть профессия — видимо, в обычной обстановке так ведут себя дворецкие.

И чуть скрытый Бо Уайнбергом, в противоположном от меня углу каюты в своем расстегнутом пальто, неровно завязанном шарфе и сдвинутой на затылок мягкой серой фетровой шляпе стоял мистер Шульц, одна рука которого была засунута в жилетный карман, а другая держала пистолет, ствол которого был небрежно направлен в палубу.

Сцена была настолько поразительной, что мне привиделось в ней нечто историческое. Все одновременно вздымалось и опускалось, но трое мужчин, похоже, этого не замечали, и даже гул ветра звучал здесь приглушенно и доносился как бы издалека, в каюте чувствовался запах смолы и дизельного топлива, на полу лежали бухты каната, сложенные одна на одну, словно автомобильные шины, шкивы, тали, сетки с инструментами, керосиновыми лампами и многими другими вещами, название и назначение которых я не знал, но незаменимость которых для морской жизни охотно допускал. Вибрация от двигателя ощущалась здесь сильнее, и я с удовольствием чувствовал, как дрожит моя рука, которой я оперся о дверь, пытаясь закрыть ее.

Мистер Шульц заметил меня, и неожиданно его мясистое лицо расплылось в понимающей улыбке, обнажая большие ровные белые зубы.

— А вот и Человек-невидимка,— сказал он. Я был поражен не меньше, чем если б в церкви со мной заговорила икона. Я понял, что улыбаюсь ему в ответ. Мою мальчишескую грудь распирало от радости, а может, и от благодарности Богу за то, что он даровал мне хотя бы вот этот миг спокойствия за свою судьбу.

— Посмотри, Ирвинг, малыш решил прокатиться с нами. Ты любишь море, малыш? — спросил он.

— Пока не знаю,— ответил я честно, недоумевая, что смешного в этом правдивом ответе. Потому что он уже хохотал во весь свой громоподобный голос, что никак не вязалось с серьезностью момента; выражение лиц двоих других мужчин мне нравилось больше. И я еще добавлю кое-что о голосе мистера Шульца, потому что в нем заключалась немалая доля его власти над людьми. Голос этот, не всегда громкий, обладал какой-то значительностью, он выходил из его глотки с гармоническим жужжанием и напоминал звук музыкального инструмента, так

что вы сразу понимали, что горло его — резонатор и что в создании такого голоса, возможно, участвуют и грудная клетка, и носовые пазухи, и что голос этот — баритон, на который нельзя не обратить внимание, и что вам самому хочется иметь такой же, если, конечно, мистер Шульц не повышал его в гневе или не смеялся, как сейчас, и тогда его голос царапал слух и уже не нравился, как не нравился он мне теперь, а может, все дело было в том, что меня не устраивали шутки в присутствии умирающего.

К переборке каюты была прикреплена зеленая ребристая скамейка или полка, на которую я и сел. Что же такого мог натворить Бо Уайнберг? Его я знал мало, он служил кем-то вроде рыцарского оруженосца, редко бывал в конторе на 149-й улице, никогда не ездил с друзьями на легковых машинах, а уж тем более на грузовиках, но всегда давал понять, что занимает в банде одно из центральных мест, не менее важное, чем юрист мистер Дикси Дейвис или финансовый гений Аббадабба Берман. Говорили, что он отвечает за дипломатические связи мистера Шульца, ведет переговоры с другими бандами, исполняет необходимые для дела убийства. Он был одним из гигантов этого мира и по наводимому на окружающих страху уступал разве что самому мистеру Шульцу. Теперь уже не только ступни, но и голени Бо оголились. Ирвинг поднялся с колен и предложил Бо руку, Бо Уайнберг принял ее, точно какая-нибудь принцесса на балу, и осторожно опустил ноги одну за другой в стоящее перед ним корыто с цементным раствором. Я, конечно, сразу, как только вошел в рубку, заметил, что раствор этот повторяет неровности моря, качаясь на волнах вместе с буксиром.

Меня неожиданностями не удивишь, не маленький, но, по правде говоря, я был не готов к роли свидетеля, размышляющего о путешествии, которое предстоит сидящему передо мной человеку с замурованными в цементный раствор ногами. Я старался понять этот загадочный вечер и грустный погребальный звон, который издавала жизнь в ее расцвете, звон, похожий на предупредительное звяканье буйков, мимо которых мы плыли в открытое море. Когда Бо Уайнберга попросили сесть на кухонный табурет, стоящий за ним, и вытянуть вперед руки, чтобы Ирвинг мог связать их, я понял, что сам подверг себя тяжелейшему испытанию. Запястья Уайнберга стянули крест-накрест недавно купленной, еще немного жесткой, со следами сгибов бельевой веревкой, каждый оборот которой завершался великолепным, похожим на позвонок узлом. Связанные руки Бо Ирвинг просунул между бедрами приговоренного, потом примотал руки к ногам — один нахлест сверху, другой снизу, сверху, снизу, а затем все тело несколькими большими оборотами веревки намертво прикрепил к табуретке, а самое табуретку — к корыту, цепляя веревку за его ручки; последний узел пришелся на ножку табурета. Возможно, Бо видел раньше, как подобное проделывали с кем-то другим, потому что наблюдал он за Ирвингом с рассеянным восхищением, будто не он сам, а кто-то иной сидел, согнувшись, на табурете и не его, а чужие ноги стояли в застывающем цементном растворе на борту буксира без опознавательных огней, который спешил мимо мыса Коентис пересечь нью-йоркскую гавань и выйти в открытый океан.

Рубка имела овальную форму. Люк с перилами, который вел в нижнюю каюту, куда втолкнули девушку, был ближе к корме. В носовой части находился металлический трап в заклепках, по нему поднимались в рулевую рубку, где, по моим представлениям, усердно трудился капитан или как он там назывался. Ни на чем крупнее весельной лодки мне ранее плавать не приходилось, так что меня успокаивало уже то, что лодка могла быть таким внушительным сооружением, построенным по всем правилам морской науки, что есть средство путешествия по этому миру, которое вобрало в себя длинную историю человеческой мысли. Поскольку буксир качало все больше, каждому пришлось побеспокоиться о соб-

ственной устойчивости — мистер Шульц сел на скамью прямо напротив меня, а Ирвинг схватился за поручень трапа, словно это была стойка в вагоне метро. На какое-то время все затихли, до нас доносился только плеск волн и стук работающего двигателя, казалось, люди заслушались величавой органной музыкой. Бо Уайнберг начал приходить в себя, стал оглядываться вокруг, насколько позволяло его положение, и соображать, где он и что можно предпринять; его темные глаза скользнули по мне, ни на миг не задержавшись, что принесло мне неописуемое облегчение и освободило от всякой ответственности и за это одышливое вздымающееся море, и за холод, мрак и бездонность его чрева.

Теперь в этой черной каюте с поблескивающими отливами зеленого фонаря воцарилась такая близость, что любое движение одного из нас тут же привлекало внимание всех остальных, мой взгляд метнулся к мистеру Шульцу, который опустил пистолет в большой карман своего пальто, затем достал из внутреннего кармана серебряный портсигар, где он держал свои сигары, взял одну из них и возвратил портсигар на место; откусив кончик сигары, он выплюнул его изо рта. Ирвинг подошел к нему с зажигалкой в руках, крутанул колесико и поднес зажигалку к сигаре. Мистер Шульц слегка наклонился вперед и начал медленно вращать сигару в пламени; сквозь шум волн и стук мотора я расслышал, как он — «сип-сип» — затягивался, и увидел, как отсветы пламени на его щеках и лбу своим необычным светом увеличивали и без того крупные и выразительные черты его лица. Затем зажигалка погасла, Ирвинг возвратился на свое место, а мистер Шульц снова сел на скамью, заполняя рубку дымом, который при сильной качке удовольствия не доставлял.

— Можешь открыть иллюминатор, малыш,— сказал он.

Я повернулся, встал на колени, поспешно подсунул руку под занавеску, отвернул винт и толкнул иллюминатор. Почувствовал ночь на своей руке и втянул мокрую руку внутрь.

— Ну и темнотища, а? — сказал мистер Шульц. Потом встал, подошел к Бо, сидевшему лицом к корме, и опустился перед ним на корточки, словно врач перед пациентом.— Вы только посмотрите, он же дрожит. Эй, Ирвинг,— позвал он,— долго еще раствор будет застывать? Бо замерз.

— Недолго,— ответил Ирвинг.— Еще чуточку.

— Еще чуточку,— повторил мистер Шульц, словно для Бо требовался перевод. Затем виновато улыбнулся, поднялся на ноги и сочувственно потрепал Бо по плечу.

И тут Бо Уайнберг заговорил, и то, что он сказал, поразило меня. Такое в его положении обычный человек, какой-нибудь подмастерье, сказать, конечно, не мог бы, и слова его, более любого другого замечания мистера Шульца, показали мне, с какой немыслимой отвагой жили эти люди. А может, он говорил так от отчаяния или же хотел таким опасным образом привлечь к себе внимание мистера Шульца; я не представлял, что человек в его обстоятельствах способен повлиять на то, как и когда он умрет.

— Ты, Немец, говноед,— вот что он сказал.

Я затаил дыхание, но мистер Шульц только покачал головой и вздохнул.

— Сначала ты умолял меня, а теперь вот обзываешься.

— Я тебя не умолял, я только попросил отпустить девчонку. Я говорил с тобой как с человеком. Но ты всего-навсего говноед. А когда поблизости нет дерьма, ты жрешь обычную грязь. Вот что я думаю о тебе, Немец.

Я мог смотреть на Бо Уайнберга только когда он не смотрел на меня. Мужества ему было не занимать. Это был красивый мужчина с гладкими блестящими черными волосами, зачесанными назад без пробора, и смуглым, индейского типа лицом, на котором выделялись высокие скулы, большой, хорошо очерченный рот и крепкий подбородок, длин-

ную шею украшал галстук и стягивал воротник рубашки. Даже скрюченный в своем позорном бессилии, со сползшим набок галстуком и задравшимся сзади смокингом, в позе неизбежно унизительной и со взглядом по необходимости уклончивым, он все равно не потерял обаяния и шика классного бандита.

То ли на миг приняв сторону Бо, то ли сомневаясь в праведности суда, но я вдруг пожалел, что мистер Шульц лишен элегантности человека, зацементированного в корыте. Дело в том, что даже в самой шикарной одежде мистер Шульц выглядел плохо, все на нем сидело мешком, он страдал этим, как другие страдают близорукостью или рахитом, о чем и сам догадывался, он постоянно подтягивал брюки, поправлял галстук, стряхивал сигарный пепел с пиджака или снимал шляпу и ребром ладони проверял углубление на тулье. Он все это делал бессознательно и подчас доходил до такого остервенения, что, казалось, перестань он себя дергать и теребить, как с его одеждой все тут же будет в порядке.

Возможно, виной тому отчасти были его массивное телосложение и короткая шея. Ныне я считаю, что грациозность и элегантность любого человека, будь то мужчина или женщина, напрямую связаны с длиной шеи, человек с длинной шеей хорошо сложен, обладает естественным благородством осанки, даром визуального контакта, гибкостью и легкостью походки, такие люди любят движение и танцы, физически развиты. Короткая же шея предопределяет множество метафизических недостатков, любой из которых вызывает жизненную немощь, из чего проистекают искусство, изобретательность, большие состояния и смертельная ярость неуравновешенного духа. Я не утверждаю, что вывел строгий закон или даже что предложил удачную гипотезу, которую можно доказать или опровергнуть; это не научное наблюдение, а некая примета, из тех, в которые ранее весьма верили. Может быть, и сам мистер Шульц каким-то гениальным прозрением понимал это, поскольку оба раза, когда он на моих глазах убивал собственноручно, он метил именно в шею — и когда душил того самого пожарного инспектора, и когда мгновенно прикончил вест-сайдского лотерейного босса, который имел несчастье сидеть в кресле парикмахера с откинутой головой в отеле «Максуэлл» на 47-й улице, где мистер Шульц и обнаружил его.

Поэтому я полагаю, что печальное отсутствие лоска он вполне компенсировал другими способами производить на людей впечатление. В конце концов, его душа и тело жили в гармонии, они были грубы и не признавали препятствий, которые требовалось обходить, а не разрушать. Именно об этой черте мистера Шульца и говорил теперь Бо Уайнберг.

— Вы только подумайте,— обращался он к рубке,— он хватает, как дешевку, самого Бо Уайнберга, где это видано? Того самого Уайнберга, который убрал для него Винса Колла и держал за уши Джека Даймонда, пока он совал ему в рот дуло пистолета. Того самого Уайнберга, который убрал Маранцано и получил миллион долларов от итальянских мафиози. Который обеспечивал ему неизменный успех, прикрывал его жопу, сделал из него, гнусного дерьма с еврейской помойки, миллионера и приличного на вид человека. Шакал. Вытащить меня из ресторана на глазах у невесты, на что это похоже? Женщины, дети, ему на все наплевать, ты бы видел, Ирвинг, как дрожали от страха официанты, стараясь не смотреть на эту обезьяну, вырядившуюся в роскошный костюм и выгребающую приличных людей на улицу.

Я подумал, что бы ни случилось, я больше не хочу быть свидетелем происходящего, я закрыл глаза и инстинктивно прижался спиной к холодной переборке каюты. Но мистер Шульц, кажется, никак не реагировал на слова Бо, лицо его оставалось бесстрастным.

— Зачем говорить с Ирвингом? — спросил он вместо ответа.— Говори со мной.

— Говорить можно с человеком. Если возникают разногласия или недоразумения, люди выслушивают друг друга. Вот что делают люди.

Я не знаю, откуда ты взялся. Я не знаю, какая гнойная обезьянья утроба породила тебя. Ты же горилла, Немец. Стань на четвереньки и почеши свою жопу, Немец. Залезай на дерево. Бу-бу, Немец. Бу-бу.

Мистер Шульц заговорил очень тихо:

— Пойми, Бо, тебе меня не взбесить. Я уже взял себя в руки. Не трать сил понапрасну.— И, словно исчерпав всякий интерес к собеседнику, он вернулся на скамью напротив меня.

Глядя на опущенные плечи Бо Уайнберга и его склоненную голову, я подумал, что человеку его размаха естественно быть непокорным и не менее естественно выказывать наглую бандитскую дерзость, поскольку смерть для него такая же обыденность, как оплата счетов или помещение денег в банк, и собственная смерть не намного отличается от смерти других, что гангстеры принадлежат к другой, высшей, расе, что их образ жизни воспитал в них сверхъестественный боевой дух; но то, что я услышал, было песней отчаяния; Бо, как никто другой, знал, что пощады не будет; его единственная надежда была на смерть скорую и, по возможности, безболезненную; и тут у меня в горле пересохло от уверенности, что именно этого он и пытался достичь — привести вспыльчивого мистера Шульца в бешенство, тем самым определив способ и время собственной смерти.

Так я понял, что непривычно сдержанный ответ мистера Шульца означал лишь силу и безжалостность; он обуздал свой характер, стал молчаливым инициатором прогулки на буксире, неприметным профессионалом, он позволил уничтожить себя словами и превратился в задумчивого уравновешенного человека, каким всегда был его оруженосец Бо Уайнберг, а Бо, ругаясь и фанфароня, перевоплотился в мистера Шульца.

Я впервые приблизился к пониманию того, как ритуальная смерть нарушает вселенский порядок: возникают перевертыши, свет начинает слепить тебя, на той стороне что-то ярко вспыхивает, и ты уже чувствуешь запах, будто при коротком замыкании.

— Говорить можно только с людьми,— произнес Бо Уайнберг совершенно другим голосом. Я его едва слышал.— Люди уважают прошлое, если они люди. Они возвращают долги. Ты никогда не возвращал долгов, самых больших долгов, долгов чести. Чем больше я делал для тебя, чем более по-братски к тебе относился, тем меньше мог на тебя рассчитывать. Мне, дураку, следовало знать, что именно этим и кончится, ведь ты жмот, ты никогда не платил мне того, что я стою, ты никому не платил по достоинству. Я защищал тебя, я десятки раз спасал тебе жизнь, я делал за тебя работу, и делал ее профессионально. Мне следовало знать, что именно так ты расплачиваешься с долгами, что именно так Немец Шульц ведет дела, выдумывает самую грязную ложь, лишь бы надуть человека, ты самый гнусный жулик из всех, кого я знаю.

— У тебя всегда хватало слов, Бо,— сказал мистер Шульц. Он пыхнул сигарой, снял шляпу, поправил складку на тулье ребром ладони.— Ты знаешь больше слов, чем я, не зря учился. Зато у меня котелок насчет чисел хорошо варит, так что, я думаю, одно другого стоит.

И тут он приказал Ирвингу привести девушку.

И вот она появилась — словно из океана,— сначала завитая светлая головка, потом белая шея и плечи. Раньше, в полумраке машины, я ее хорошенько не разглядел, она была очень стройной в своем светло-кремовом вечернем платье на двух тоненьких лямочках и на этой темной грязной посудине выглядела беззащитной; бледная от страха, она озиралась в испуганном замешательстве, предчувствие ужасного поругания сдавило мне грудь, и поругания не только женщины, но и благородства, и стон, застрявший в глотке Бо, подтвердил мое опасение; натянув веревку и раскачивая табурет, он изрыгал на мистера Шульца потоки брани, пока мистер Шульц не нащупал в кармане своего пальто пистолет и не обрушил его на плечо Бо; зеленые глаза девушки расширились. Бо

взвыл от боли, мотнул головой, скривился и выдавил из себя, чтобы она отвернулась и не смотрела на него.

Шедший следом Ирвинг успел подхватить ее, как только она начала падать, и усадил в угол на кипу просмоленной парусины, прислонив спиной к бухте каната; она сидела, поджав ноги и отвернув голову,— красивая девушка, я теперь смог в этом убедиться, с прекрасным профилем, который я в ту пору считал аристократическим, с тонким носом и точеной бороздкой, идущей от носа ко рту, сбоку ее губы казались пухлыми посередине и совсем тонкими в углах; у нее были хорошо очерченные скулы, лебединая шея и — я решился опустить глаза ниже — небольшие, аккуратные, но вполне рельефные груди; глубокий вырез позволял увидеть, что белья под платьем нет. Ирвинг захватил с собой ее меховую накидку, которую и набросил теперь ей на плечи. Все на какое-то время застыло, я заметил пятно на подоле ее платья и что-то прилипшее к нему.

— Загадила всю каюту,— сказал Ирвинг.

— О, мисс Лола, простите нас,— сказал мистер Шульц.— Воздух тут, на буксире, всегда спертый. Ирвинг, дай ей выпить.— Из кармана пальто он извлек фляжку в кожаном чехле.—Налей немножко мисс Лоле.

Расставив ноги, чтобы не упасть, Ирвинг отвинтил металлический колпачок, наполнил его из фляжки, не пролив ни капли, и протянул женщине.

— Выпейте, мисс,— сказал мистер Шульц.— Этот добрый ячменный виски успокоит ваш желудок.

Я не мог понять, неужели они не замечают, что она в обмороке, но они замечали все лучше меня, голова ее дернулась, глаза открылись и обрели осмысленность, чем и убили мою мальчишескую наивность: она протянула руку, взяла стаканчик, внимательно осмотрела его и, закинув голову, выпила.

— Браво, прелесть моя,— сказал мистер Шульц.— Вы прекрасно справились. Мне кажется, вы со всем справитесь. Что? Ты что-то сказал, Бо?

— Ради Бога, Немец,— прошептал Бо.— Кончай все скорей.

— Нет, нет, Бо, не беспокойся. Ничего плохого мы леди не сделаем. Даю тебе слово. Мисс Лола,— обратился он к женщине,— вы видите, что Бо попал в беду. Вы давно знакомы?

Она не удостоила его ни взглядом, ни ответом. Рука, лежавшая на коленях, обмякла. Металлический стаканчик скользнул с колен и закатился в щель между досками палубы. Ирвинг тут же поднял его.

— Я не имел удовольствия видеть вас раньше, он никогда вас не показывал, хотя было ясно, что Бо влюбился, наш холостяк Бо, наш красавчик, было ясно, что он потерял голову. И теперь я понимаю причину, очень хорошо понимаю причину. Он зовет вас Лола, но я уверен, что вас зовут по-другому. Я ведь знаю всех, кого зовут Лола.

Ирвинг шагнул вперед, протягивая фляжку мистеру Шульцу, в этот миг нос буксира задрало на волне, Ирвинг схватился за ближайший поручень и, пережидая волну, взглянул на девушку, которая не ответила; буксир рухнул вниз, она продолжала сидеть молча, слезы двумя ручьями стекали по ее щекам — и вода была повсюду, внутри и снаружи, но девушка по-прежнему молчала.

— Ладно, я не настаиваю,— продолжал мистер Шульц,— как бы вас ни звали, вы видите, в какую беду попал Бо. Верно, Бо? Пусть она убедится, что ты уже никогда в жизни не сможешь делать такие простые вещи, как закинуть ногу на ногу или почесать нос. Он, конечно, может закричать или заорать. Но вот поднять ногу, расстегнуть ширинку или ремень он уже не сможет, он почти ничего не может, мисс Лола. Он потихонечку расстается с жизнью. Так что ответьте мне, прелесть моя. Просто любопытно. Где вы с ним познакомились? Давно ли вы любите друг друга, голубки?

— Не отвечай ему! — заорал Бо.— Это с ней никак не связано. Эй, Немец, ты хочешь до причин докопаться? Я сам скажу, вся причина в том, что ты вонючий ублюдок.

— Какая грубость,— сказал мистер Шульц.— В присутствии дамы! И мальчишки. Здесь женщины и дети, Бо.

— Ты знаешь, как его зовут? Параша. Параша Шульц.— Бо корчился от смеха.— У каждого есть имя, и у него тоже.— Параша. Варит кошачью мочу, которую называет пивом, и даже не платит за нее. Недоплачивает людям, у него столько денег, что он не знает, куда их девать, а все равно крохоборничает, обманывает компаньонов. Дела такого масштаба — пиво, профсоюзы, политика — он ведет как мелкий лавочник. Разве не так, Параша?

Мистер Шульц задумчиво кивнул.

— Послушай, Бо,— сказал он.— Я вот стою, а ты сидишь, и песенка твоя спета. Ну, кто ты сейчас, красавчик Бо Уайнберг? Катишь бочку на своего босса? Что здесь красивого?

— Чтоб ты сдох, сука вонючая,— сказал Бо.— Чтоб твой отец жрал конский помет на улицах. Чтоб твоего ребенка изжарили у тебя на глазах и подали тебе к столу под маринадом, сволочь.

— Ах, Бо.— Мистер Шульц закатил глаза, поднял руки ладонями вверх и молча воззвал к небесам. Потом снова бросил взгляд на Бо и устало опустил руки, хлопнув себя по ляжкам.—Я сдаюсь,— пробормотал он.— Моих сил больше нет. Ирвинг, тут есть еще свободная каюта?

— На корме,— сказал Ирвинг, а потом уточнил:— В задней части.

— Спасибо. Теперь прошу вас, мисс Лола.— Мистер Шульц протянул руку сидящей женщине, словно приглашая ее на танец. Она судорожно вздохнула, съежилась и, втянув колени под платье, отодвинулась от его руки, мистер Шульц какое-то время разглядывал свою руку, будто пытаясь понять, что в ней такого отталкивающего. Мы все смотрели на его руку, Бо смотрел на нее из-под полуопущенных век, издавая какие-то странные булькающие звуки, уши и шея его побагровели от усилия разорвать веревки Ирвинга. У мистера Шульца были короткие пальцы, между большим и указательным выделялось мясистое утолщение. Ногтям его не помешал бы маникюр. На каждой фаланге росли густые кустики черных волос. Мистер Шульц рывком поднял женщину на ноги — она вскрикнула — и, держа ее за запястье, повернулся к Бо.

— Вы видите, мисс,— сказал он, не глядя на нее,— раз он такой упрямый, мы ему покажем. Когда время придет, ему не о чем будет волноваться. Все его проблемы будут решены.

Толкая девушку перед собой, мистер Шульц спустился на нижнюю палубу. Я слышал, как девушка поскользнулась на трапе и вскрикнула, как мистер Шульц приказал ей заткнуться, как потом она тонко и пронзительно взвыла, дверь захлопнули, и остались только ветер и плеск воды.

Я не знал, что делать. Я по-прежнему сидел на скамье, вцепившись в нее руками и ощущая всем своим существом вибрацию двигателя. Ирвинг откашлялся и взобрался по трапу в рулевую рубку. Я остался наедине с Бо Уайнбергом, свесившим голову в мучительном раздумье, отчего мне, по правде говоря, было не по себе, поэтому, встав на место Ирвинга у подножия трапа, я начал подниматься ступенька за ступенькой, правда, не лицом к трапу, а спиной к нему, но, услышав голоса Ирвинга и капитана, застыл на полпути между палубой и люком. Когда я, наконец, выглянул, в рубке было темно, а может, что и светилось, компас или какой другой навигационный прибор, я представил, как они смотрят на море, по которому буксир плывет к своей неведомой цели.

— Ты знаешь,— сказал Ирвинг своим сухим, надтреснутым голосом,— а я ведь начинал на воде. Водил быстроходные катера для Большого Билла.

— Ну да?

— Точно. Сколько... неужели десять лет прошло? У Билла были катера что надо, мощнейшие движки, катера делали тридцать пять узлов с грузом.

— Верно,— сказал рулевой,— я знал его катера. Помню «Мери Б». Помню «Беттину».

— Ага,— сказал Ирвинг.— «Кинг Фишер». «Гэлуэй».

— Ирвинг,— позвал Бо из своего корыта.

— Ходили до Роу,— сказал Ирвинг,— грузили товар и доплывали до Бруклина или Канал-стрит в один момент.

— Точно,— сказал рулевой.— Мы знали, какие катера Билла, а какие можно было преследовать.

— Что? — переспросил Ирвинг, давясь, как мне показалось, недоверчивой улыбкой.

— А вот и то,— сказал капитан,— я тогда патрульный катер водил, номер два-восемь-два.

— Проклятье,— сказал Ирвинг.

— Видел, как вы ходили мимо. Черт возьми, в те времена даже лейтенант получал всего сотню с мелочью в месяц.

— Ирвинг! — заорал Бо.— Побойся Бога!

— Билл каждую мелочь продумывал,— сказал Ирвинг.— Вот за это я его и любил. Все продумывал. Через год мы даже деньги с собой не брали. Все в кредит, как у джентльменов. Да, Бо? — наконец откликнулся Ирвинг с верхней площадки трапа.

— Прикончи меня, Ирвинг. Прошу тебя, продырявь мне голову.

— Ты же знаешь, я не могу,— сказал Ирвинг.

— Он сумасшедший, маньяк. Он истязает меня.

— Мне очень жаль,— сказал Ирвинг мягко.

— Мик еще хуже с ним поступил. Я расквитался за него с Миком. Как ты думаешь, я это сделал? Кишки ему выворачивал, как он? Заставлял поразмышлять? Нет, бац — и готово,— сказал Бо Уайнберг.— Я делал это ми-ло-серд-но,— добавил он, выдавливая слоги вместе со всхлипами.

— Я могу дать тебе выпить, Бо,— ответил Ирвинг в люк.— Хочешь выпить?

Но Бо уже рыдал и, кажется, ничего не слышал, и вскоре Ирвинг отошел от люка.

Капитан включил радио и вертел ручку настройки до тех пор, пока не зазвучали голоса. Одни говорили, другие отвечали. Третьи сверяли координаты. На других судах.

— Чистая была работа,— продолжал Ирвинг, обращаясь к капитану.— Хорошая работа. Погода меня никогда не волновала. Я любую любил. Мне нравилось причаливать там, где я наметил.

— Да,— сказал капитан.

— Я вырос на Сити-айленде,— сказал Ирвинг.— Родился рядом с верфью. Если бы не мое теперешнее дело, то обязательно ушел бы в военные моряки.

Бо Уайнберг стонал *«мама». «Мама, мама, мама...».*

— Мне нравилось заканчивать ночную работу,— сказал Ирвинг.— Мы держали катера на причале у 132-й улицы.

— Точно,— сказал рулевой.

— Подходишь к Ист-ривер перед рассветом. Город спит. Сначала солнце освещает чаек, чайки белеют. А уж потом только золотится верхняя часть Хелл-Гейта.

Глава вторая

Попал я к нему из-за жонглирования. Все время, пока мы ошивались вокруг склада на Парк авеню, это не та роскошная и легендарная Парк авеню, а Парк авеню в Бронксе, странная неприглядная улица — сплошные гаражи, одноэтажные мастерские, каменотесные дворы и редкие каркасные дома с битумными стенами «под кирпич»,— мощенная

разнокалиберными плитами и разделенная посередине широкой траншеей, по дну которой на тридцатифутовой глубине с Нью-Йоркского центрального вокзала с воем неслись поезда, мы так привыкли к этому вою и дребезжанию погнутого железного забора с острыми пиками, огораживающего траншею, что прекращали разговор на полуслове и продолжали его тотчас же, как только шум стихал,— все это время пока мы слонялись там в надежде увидеть грузовики с пивом, одни играли в расшибалочку у стены, другие — с бутылочными закрывашками — на тротуаре, третьи курили сигареты, купленные по центу за три штуки в кондитерской на Вашингтон авеню, четвертые коротали время, рассуждая, что бы они сделали, если бы мистер Шульц обратил на них внимание, какими бы классными бандитами они стали, как бы они доставали из карманов скрипучие стодолларовые банкноты и бросали их на кухонные столы, за которыми сидят их крикливые матери и драчливые отцы,— все это время я жонглировал. Жонглировал я чем попало — камешками, апельсинами, пустыми зелеными бутылками из-под кока-колы, жонглировал я булочками, которые мы воровали горячими из ящиков фургона фирмы «Пехтерс Бейкери», и, поскольку жонглировал я всегда, всем было наплевать, разве что время от времени кто-нибудь пихал меня в спину, чтобы сбить с ритма, или же хватал апельсин в воздухе и убегал с ним, но к жонглированию привыкли, как и к моему нервному тику, хотя последний я приобрел безо всяких стараний. А если я не жонглировал, то тренировал ловкость рук, показывал им фокусы — с монетами, которые то исчезали в их грязных ушах, то появлялись снова, и с картами, которые я ловко тасовал, выкрадывая тузы,— за что они дали мне прозвище Мэндрейк, так звали колдуна в одном из комиксов Херстовой «Нью-Йорк американ»; это был усатый тип в смокинге и цилиндре, но он мне совсем не нравился, как и само колдовство; меня привлекала сноровка, мне, например, нравилось пройти, словно я был канатоходец, по пикам забора над грохочущим поездом, или же сделать фляк, или стойку на руках, или сальто или чего-нибудь еще, что могло взбрести мне на ум. Я был гибкий, бегал, как ветер, видел, как орел, полицейского, который занимался нами, несовершеннолетними, чуял еще до того, как он показывался из-за угла, так что они могли бы дать мне прозвище Фантом, как звали героя другого комикса из «Нью-Йорк американ»; этот носил шлем с маской, розовый прорезиненный облегающий тело комбинезон и знался только с волком, но они же почти все были тупицы и не додумались дать мне прозвище Фантом даже после того, как я, единственный из всех, кто мечтал об этом, исчез в его Империи.

Склад на Парк авеню был не единственный у банды Шульца, они хранили там неочищенное пиво, которое привозили на грузовиках из Юнион-Сити, штат Нью-Джерси, и других западных мест. Приезжавшему грузовику даже не надо было сигналить, ворота склада тут же открывались и проглатывали машину, будто они умели соображать. Грузовики были еще с мировой войны, цвета хаки, с покатой кабиной и двойными задними колесами, с зубчатой передачей, издававшей звук, похожий на хруст перемалываемых костей; груз был так тщательно и аккуратно укрыт брезентом, укрепленным на высоких боковых стойках, что, казалось, о нем никто и никогда не догадается. Но едва грузовик появлялся из-за угла, вас тут же обдавало пивной вонью, так неистово вонял еще только слон в зоопарке Бронкса. И люди, которые спрыгивали на землю из кабин, были не похожи на обычных шоферов грузовиков в помятых кепках и куртках; это были джентльмены в плащах и фетровых шляпах, они прикуривали сигареты, прикрыв их от ветра в ладонях, пока сообщники из складской команды угоняли грузовики в столь манящую нас темень склада, я видел в них офицеров, вернувшихся с боевого задания на ничейной земле. Именно это ощущение всеподавляющей беззаконной силы и военной самодостаточности привлекало нас, мальчишек, мы толкались там, как стайка грязных голубей, воркуя, суетясь, взлетая с

земли всякий раз, когда мы слышали хруст колесных цепей и видели появляющееся из-за угла тупое рыло кабины.

Конечно, эта пивная перевалочная база была у мистера Шульца не единственной, мы не знали, сколько их у него, знали только, что немало, и, кроме того, никто из нас его ни разу не видел, хотя надежды не терял; пока же мы гордились тем, что наш район приглянулся ему, нам льстило его доверие, и в редкие минуты, когда мы не выдрючивались друг перед другом, мы чувствовали, что принадлежим к какому-то редкому сообществу и превосходим ребят из других районов, ведь они не могли похвастаться пивным складом или изысканным шиком, который воплощали угрожающего вида небритые мужчины и полицейские местного участка, не покидавшие своего помещения без крайней нужды.

Особенно меня занимало то, что мистер Шульц сумел сохранить свое дело даже после отмены сухого закона. Из этого я заключил, что пиво, как золото, опасно само по себе, даже если оно и не запрещено, и что люди покупают плохое пиво мистера Шульца только потому, что он запугивает их, из чего следовал сногсшибательный вывод: мистер Шульц считает свое предприятие абсолютно независимым и живет по собственным, а не общественным законам, и ему все равно, законно он поступает или незаконно, он как делал свое дело, так и будет делать, и горе тому, кто окажется у него на пути.

Вот какими мы были в тот период истории Бронкса; глядя на этих грязных худых мальчишек с облупленными носами и гнилыми зубами — я был одним из них,— вам бы ни за что не догадаться, что где-то в мире есть школы, книги и целая цивилизация взрослых людей, изнывающих под гнетом Депрессии. И вдруг однажды, я помню, это был особенно душный июльский день, когда сорняки вдоль утыканного пиками забора клонились к земле, а жара волнами поднималась от булыжника мостовой и все мальчишки сидели лениво у стены склада, я стоял на другой стороне улицы среди сорняков и камней, лицом к железной дороге и демонстрировал свое последнее достижение — жонглирование предметами разного веса, Галилеев маневр, исполняемый двумя резиновыми мячами, апельсином, яйцом и черным камнем, а весь фокус тут в том, чтобы, варьируя ритм и силу бросков, добиться одинаковой высоты полета каждого предмета, и трюк этот требует полной самоотдачи, и чем лучше он сделан, тем проще и невыразительнее он выглядит для непосвященных. Поэтому я чувствовал себя не только жонглером, но одновременно и единственным ценителем своего мастерства, и через какое-то время я забыл о мальчишках и стоял, глядя в жаркое серое небо, и видел, как мои предметы поднимаются и возвращаются ко мне, похожие на систему планет. Я жонглировал, забыв себя, в каком-то экстазе, исполнитель и зритель одновременно, и был так поглощен этим занятием, что для окружающего мира во мне места не оставалось, поэтому я, например, не заметил, как из-за угла 177-й улицы и Парк авеню выехал автомобиль марки «ласалль» и остановился на обочине у колонки, не выключая мотора, как следом выехал «бьюик» с тремя пассажирами, миновал ворота склада и затормозил на углу 178-й улицы и, наконец, как из-за угла появился большой «паккард» и остановился прямо перед складом, закрыв от моего взгляда всех ребят,— впрочем, я на них и не смотрел,— которые теперь медленно поднимались с земли, стряхивая сзади штаны, а в это время человек, сидевший на правом переднем сиденье машины, вышел из нее и открыл заднюю дверцу, и оттуда в белом полотняном двубортном костюме с неправильно застегнутым пиджаком и со сдвинутым вбок галстуком, в белой сорочке, с большим носовым платком в руке, которым он промокал лицо, возник бывший мальчишка Артур Флегенхаймер, а ныне зрелый муж, известный миру как Немец Шульц.

Я, конечно, вру, когда говорю, что не видел происходящего, я все видел, ведь у меня исключительное периферическое зрение, но я притворился, будто не замечаю, как он стоит там, опершись локтями на

крышу машины, и с улыбкой наблюдает за жонглирующим мальчишкой, у которого слегка открыт рот и обращены к небу глаза, словно у ангелочка, обожающего Отца Небесного. И тут я сделал нечто потрясающее: не теряя из виду летающие предметы, я бросил взгляд вдоль раскаленной улицы и изобразил на лице обычное человеческое удивление, дескать, о Боже, это же он стоит собственной персоной и наблюдает за мной и в то же самое время продолжал поршнеобразные движения руками, а мои миниатюрные планеты, два мяча, апельсин, яйцо и камень, описав прощальную дугу, взмыли вверх и исчезли один за другим в большой канаве нью-йоркской железной дороги. И вот я стою с открытыми пустыми ладонями, взгляд мой застыл в театральном обожании,— по правде говоря, что-то похожее я и на самом деле испытывал,— а великий человек смеется, аплодирует и бросает взгляды на подручного, ища поддержки своему восхищению, каковую, естественно, и получает, а потом манит меня пальцем, и я живо бегу через улицу, огибаю машину и там, в королевских покоях, образованных стеной мальчишек, с одной стороны, открытой дверцей «паккарда» — с другой, темнотой складских глубин — с третьей, я предстаю перед моим королем и вижу, как он вынимает из кармана пачку новых купюр толщиной с полбуханки ржаного хлеба, берет десятидолларовую банкноту и со шлепком кладет ее мне на ладонь. И пока я смотрю на невозмутимого Александра Гамильтона[1] в овале восемнадцатого века со стальными пиками, раздается звучный скрежет голоса мистера Шульца, на какое-то мгновение мне кажется, что это говорит оживший, как на экране, мистер Гамильтон, но потом я прихожу в себя и понимаю, что слышу великого гангстера моей мечты. «Способный мальчонка»,— говорит он, словно делая окончательный вывод, то ли своим сообщникам, то ли мне, то ли себе, а может, и всем вместе, и потом мясистая рука матерого убийцы опускается, словно скипетр, вниз и мягко касается своими горячими подушечками моей щеки, скулы и шеи, затем спина Немца Шульца исчезает в темных глубинах пивного склада, створки больших ворот со скрипом сходятся и со стуком закрываются. С последствиями революционного события я столкнулся тотчас же: меня немедленно окружили другие мальчишки, которые, как и я, пялились на новенькую десятидолларовую бумажку, спокойно лежавшую на моей ладони. Меня вдруг осенило, что до того, как я стану жертвой племени, в моем распоряжении самое бóльшее полминуты. Один что-нибудь скажет, другой ударит ребром ладони по плечу, вспыхнут ненависть и ярость, и возникнет коллективное решение разделить сокровище и преподать назидательный урок — возможно, по той причине, что я, мол, гнусный задавака, которому следует оторвать башку, чтобы не считал себя лучше других. «А ну, смотрите»,— сказал я, вытягивая руку, а на самом деле раздвигая круг ребят, поскольку перед нападением люди должны сначала сгрудиться, посягнуть на естественные территориальные права тела; потом сложил хрустящую бумажку дважды вдоль, а потом еще и два раза поперек, уменьшив ее до величины почтовой марки, сделал, как фокусник, пару пассов руками, щелкнул пальцами и десятидолларовая бумажка исчезла. Эй вы, жалкие растяпы, чтоб я никогда больше не связывался с вашей вонючей компанией, мелкие воришки, говенные грабители собственных братьев и сестер, тупицы с рыбьими бессмысленными глазами, безвольными подбородками и сутулыми спинами, которым никогда не приобщиться к гениальной жизни настоящих преступников,— плевал я на вас с высокого небоскреба, я обрекаю вас на дешевые комнаты и орущих детей, неряшливых жен и медленную смерть в унизительной зависимости, я приговариваю вас к мелким преступлениям, ничтожной добыче и видам из тюремного окна до скончания ваших дней. «Смотрите!» — закричал я, указывая вверх, и

---

[1] На десятидолларовой банкноте США изображен государственный деятель Александр Гамильтон (1757—1804). *(Здесь и далее — прим. перев.)*

они послушно подняли головы, ожидая увидеть, как я из воздуха извлеку банкноту,— они привыкли к подобным моим проделкам с их монетами, ворованной мелочью и кроличьими лапками,— и в самый сокровенный миг их доверчивого внимания, пока они вглядывались в никуда, я выскользнул из их круга и пустился бежать как ошпаренный.

Догнать меня никто не мог, хотя они и пытались, я пересек 177-ю улицу и выбежал на Вашингтон авеню, затем повернул направо и побежал на юг, одна их часть бежала прямо за мной, вторая по противоположной стороне улицы, а остальные рассыпались по параллельным улицам на случай, если я побегу назад, но я бежал прямо, и вскоре один за другим они, тяжело дыша, начали отставать, для верности я сделал еще один поворот и, наконец, остался совершенно один. Я оказался на Третьей авеню. Остановившись у дверей ломбарда, я расправил банкноту, развязал шнурки кед и засунул деньги как можно глубже. Потом завязал кеды и снова побежал. Я бежал ради удовольствия в частоколе света и тени под шпалами подземки и ощущал на себе каждый теплый луч солнца, каждый отсвет его в моих глазах, словно руку мистера Шульца.

Несколько дней после этого я был сам не свой — стал тихим и послушным. Я даже пошел в школу. Однажды вечером я пытался приготовить уроки, и мама, оторвав взгляд от стола со стаканами, в которых была не вода, а огонь — это все по случаю траура, показать, что элементы жизни переходят один в другой, ты наливаешь в стакан воды, и, фокус-покус, там уже горит свеча,— и она сказала, Билли, меня зовут Билли, что-то случилось, что ты натворил? Момент был интересный, и я подумал, надолго ли ее хватит, но вскоре ее внимание снова переключилось на свечи, и она отвернулась к своему залитому светом столу. Она вглядывалась в огоньки так, будто читала их, будто каждый танцующий огонек представлял собой букву ее религии. Днем и ночью, зимой и летом она читала огоньки, которых у нее был целый стол, человеку, чтобы помнить, нужна, как правило, одна свеча в год, но ей для памяти требовалась иллюминация.

Я сел на подоконник у пожарной лестницы в ожидании вечерней прохлады и стал додумывать свои необычные мысли. Ничего особенного своим жонглированием около пивного склада я добиться не хотел. Мечтал я точно так же, как и любой другой мальчишка в нашей округе; если бы я жил около стадиона «Янки», то знал бы каждого игрока, проходящего через служебный вход, а если бы обитал в Ривердейле, то ждал бы появления мэра в полицейской машине, который по дороге домой мог махнуть нам рукой; в каждом районе было что-то свое, и большинство из нас значения этому не придавали: если, например, много лет назад, еще до твоего рождения, в театр «Фокс» на Тремонт авеню приезжал Джин Отри и пел между сеансами своей кинокартины с Западным оркестром — это принадлежало всем и каждому, и совсем не важно, что это было давно, важно лишь, что событие это принадлежало нам и что оно отвечало нашим представлениям о славе, а на самом деле служило простейшим доказательством твоего существования в этом мире, означало, что предстающее твоему взору видели и великие или почти великие люди, которые бывали на твоей улице. Вот что я тогда думал: ведь специально жонглировать каждый день моей никчемной жизни, ожидая прибытия мистера Шульца, я не мог, все произошло случайно, но случай этот показался мне судьбой. Миром правит случай, хотя в каждом случае есть что-то пророческое. Я сидел на подоконнике, упираясь ногами в ржавые железные перекладины лестницы, и демонстрировал сухим цветочным стеблям, торчащим из горшка, как я разворачиваю мою десятидолларовую банкноту, потом сворачиваю, потом теряю, но она все время появлялась снова, как бы желая, чтобы я еще раз ее развернул.

На другой стороне улицы стоял детский дом Макса и Доры Даймонд, который все называли сиротским приютом. Это было здание из красного камня с гранитным бордюром вокруг окон и под крышей; оно имело большое овальное, сужающееся кверху крыльцо, половины которого соединялись у парадной двери на втором этаже. Стайки детей сидели или играли на обеих лестницах, они по-птичьи щебетали и сновали вверх-вниз по ступенькам, а кое-кто и по перилам, чем еще больше напоминали городских птиц, ласточек или воробьев. Они лепились к ступеням и висли на перилах, словно здание было Максом и Дорой, которые вывели погулять своих детей на свежий вечерний воздух. Я не знаю, как тут размещали всех детей. Здание было маловато для школы и слишком низко для жилого дома, оно требовало свободной земли для служебных построек, а землю в Бронксе не получить, даже если вы семья благотворителей Даймонд; но оно имело и скрытый от глаз объем, и признаки былого величия; именно этому зданию я обязан большинством друзей моего детства, а также первым любовным опытом. Я увидел, что по улице идет один из неисправимых обитателей приюта, мой старый друг Арнольд Помойка. Он толкал перед собой детскую коляску, с верхом наполненную таинственными сокровищами, добытыми за день. Помойка трудился неустанно. Я смотрел, как он со стуком спускает свою коляску по ступеням лестницы, ведущей под большое изогнутое крыльцо. На маленьких детей он не обращал внимания. Дверь его обиталища отворилась в темноту, и он исчез.

Когда я был поменьше, то проводил в приюте много времени. Я проводил там так много времени, что стал своим в палатах этого царства сиротских слез. И я никогда не выглядывал в окно, чтобы посмотреть на свой дом. Странно, что я все же ощущал себя воспитанником приюта, ведь в то время у меня была мать, которая приходила домой и уходила из дома, как все другие матери, и я чувствовал что-то, похожее на семейную жизнь, в которой было место и для стука домовладельца в дверь, и для рыданий до зари.

А теперь, повернувшись, я смотрел в кухню, освещенную материнскими поминальными свечами; в сгущающихся сумерках комната сверкала, как оперный театр, и я спрашивал себя, не связано ли мое небывалое везение с историей сиротского приюта и его мрачной силой, которая, словно медленный поток лавы, пересекла улицу и год за годом поднималась выше, превращая мой дом в еще один приют Макса и Доры Даймонд.

Я, конечно, уже давно перестал играть в приюте, с тех пор как начал гулять ниже по холму, с другой стороны Уэбстер авеню, где собирались шайки мальчишек моего возраста, в моих глазах приют стал пристанищем малолеток, каковым он, в сущности, и был. Но я продолжал навещать парочку неисправимых девчонок и по-прежнему любил бывать у Арнольда Помойки. Его настоящего имени я не знаю, но разве это важно? Каждый день он обходил Бронкс, поднимая крышки мусорных ящиков, и отыскивал самые разные вещи. Он обшаривал улицы и переулки, лестничные клетки и закутки под лестницами, пустые стоянки и дворы, магазинные задворки и подвалы. Работа его была нелегкой, мусор в те дни был товаром, и за него шла борьба. Одни мусорщики работали с двухколесными тележками, другие — с мешками, за мусором охотились шарманщики, бездомные и пьяницы, а ведь были еще и те, кто не копался в мусоре, но с удовольствием подбирал вещь, если случайно натыкался на нее. Но Помойка был гений, он находил вещи, которые не замечали другие мусорщики, он видел ценность в том, на что не позарился бы самый отверженный и отчаявшийся уличный нищий. У него было врожденное чутье, он знал, в какой день какой район посетить, и мне кажется, что одно его появление заставляло людей выбрасывать вещи из дверей и окон. За годы собирания мусора он приучил всех с уважением относиться к своей страсти, в школу он никогда не ходил, в приюте ничего не делал и словно ни от кого не зависел;

этот толстый, умный и почти бессловесный мальчишка жил с всепоглощающей и безумной страстью, которая казалась настолько естественной и логичной, что ты начинал удивляться, почему сам не живешь точно так же. Почему не любишь всего разбитого, порванного и отринутого? Всего, что не работает? Почему не любишь гнусного, растрескавшегося, разобранного? Настолько вонючего и противного, что никто не решился очистить это от грязи и проверить, с чем имеет дело? Почему не любишь бесформенного, непонятно зачем нужного и неясно как работающего? Почему не любишь и не собираешь? Я, наконец, решился и, оставив мать с ее свечами, по пожарной лестнице спустился вниз, минуя открытые окна, за которыми люди разгуливали в нижнем белье; прежде чем спрыгнуть на дорожку, я повисел минутку на последней перекладине. Перебежав через улицу, я нырнул под большие гранитные ступени детского дома Макса и Доры Даймонд в полуподвал, где находилась контора Арнольда Помойки. Здесь пахло пеплом и в любое время было тепло, как в золе; горький сухой воздух пропитался угольной пылью и ароматами гниющих картофеля и лука, что я решительно предпочитал вонючей влажности верхних залов и спален, которую впитали стены этого заведения: многие поколения детей мочились здесь прямо в кровать. Помойка разбирал свои новые приобретения, присовокупляя их к уже имеющимся великим запасам. Я сказал ему, что мне нужен пистолет. В том, что он у него есть, у меня сомнений не возникало.

Как мистер Шульц сказал мне позднее, пустившись в воспоминания, первый раз это сногсшибательное ощущение; пока ты держишь его в своей руке и прикидываешь в уме, дескать, если они поверят мне, я смогу справиться с этой штуковинкой, ты все еще прежний мальчишка, ты все еще щенок со щенячьими мозгами, ты полагаешься на их помощь, на их уроки, начало всегда паршивое, и они все понимают, может, по твоим глазам или по дрожащей руке, и поэтому наступает момент неопределенности, когда все словно присматриваются к призу, висящему на высоком шесте. Ведь пистолет не значит ничего, пока он не стал по-настоящему твоим. И тут вот что происходит, ты понимаешь, что если не приручишь его, то ты конченый человек, ты, конечно, сам поставил себя в такое положение, но оно таит независимую от тебя ярость, именно ее ты и вбираешь в себя, в тебе рождается гнев на людей, которые смотрят на твой пистолет, нет им прощения, раз тебе приходится размахивать пистолетом перед их носом. И в этот миг ты уже не щенок, ты открыл в себе ярость, которая и раньше жила в тебе, ты стал другим, ты больше не притворяешься, ты еще никогда в жизни не испытывал подобной ярости, и этот великий вопль гнева поднимается в твоей груди и распирает тебе глотку, и ты уже не щенок, и пистолет уже твой, и вся ярость в тебе, где ей и следует быть, и говноеды знают, что они покойники, пусть попробуют не дать тебе того, что ты хочешь, тобой овладевает такое безумное бешенство, что ты сам себя не узнаешь, и неудивительно, поскольку ты стал новым человеком, кем-то вроде Немца Шульца, если он, конечно, существовал в действительности. И после этого все идет как по маслу, все становится на удивление легко, вот тут-то и наступает этот сногсшибательный миг, будто родился крохотный засранец, он уже появился на свет Божий, но еще не заорал, не назвал себя и не вдохнул прекрасного вкусного свежего воздуха земной жизни.

Я, конечно, тогда этого вовсе не понимал, но тяжелый предмет в руке служил залогом моего будущего; одно это ощущение делало взрослым, никаких особых планов я не строил, но считал, что, может, мистер Шульц решит пригласить меня, и я должен подготовиться; в любом случае пистолет — хороший вклад капитала; патронов к нему не было, он нуждался в чистке и смазке, но я мог подержать его на вытянутой руке, вынуть магазин, вставить его обратно в рукоятку с характерным

щелчком, убедиться, что заводской номер спилен напильником, значит, оружие принадлежало местному братству, и Помойка подтвердил это, рассказав мне, где он нашел его — в болотной жиже Пелам-бей, в дальнем углу Северного Бронкса, на отливе, он лежал, уткнувшись стволом в грязь, словно им играли в «ножички».

И больше всего меня потрясло его название — автоматический пистолет, очень современное оружие, тяжелое, но компактное, и Помойка сказал, что, по его мнению, пистолет будет стрелять, если я смогу найти патроны, у него их нет, и спокойно согласился на предложенную мной цену в три доллара, взял мою банкноту и отнес ее в глубину одного из своих доверху заполненных громадных ящиков, в котором прятал коробку от сигар «Эль корона» с деньгами, и возвратился с семью очень потрепанными однодолларовыми бумажками местного хождения — и сделка совершилась.

В тот вечер я был в прекрасном и великодушном настроении, предмет моих тайных желаний приятно оттягивал карман штанов, где, словно подтверждая правоту моего выбора, обнаружилась дырка, в которую пролез короткий ствол, а ручка легла так удобно, будто карман был предназначен именно для нее. Я возвратился домой и дал матери пять однодолларовых бумажек, которые составляли около половины ее недельной зарплаты в большой, заполненной паром прачечной на Уэбстер авеню. «Где ты их взял?» — спросила она, комкая бумажки в кулаке и улыбаясь своей едва уловимой улыбкой, и сразу же вновь отвернулась дочитывать книгу свечных огоньков. А я, спрятав пистолет, вернулся на улицу, где тротуарами уже завладели взрослые, заменив там детей, которые теперь разошлись по домам; был в этой тесной жизни какой-то порядок, какая-то ответственность матерей и отцов, и сейчас на лестницах взрослые играли в карты, а сквозь летнюю ночь плыл сигарный дым, и женщины сидели на каменных ступеньках в домашних платьях, задрав коленки, как девчонки, а парочки бродили, время от времени появляясь в кругах фонарного света; эта грустная нищенская идиллия глубоко трогала меня. И, конечно, когда я взглянул вверх, небо было чистым и между крышами виднелся кусочек непостижимой небесной тверди. Романтический настрой напомнил мне о моей подруге Ребекке.

Это была шустрая черноволосая девчушка с карими глазами и нежным, едва заметным темным пушком над пухлой верхней губой. Воспитанников приюта уже загнали внутрь, свет в окнах искрился бриллиантовой россыпью; я стоял у здания, вслушиваясь в шум, более отчетливый в мальчишечьем крыле, пока не раздался удар гонга; по проулочку я дошел до маленького внутреннего дворика и сел ждать в углу разоренной игровой площадки, прислонившись к проволочной сетке забора; приблизительно через час большинство огней на верхнем этаже потухло, я поднялся на ноги, встал под пожарной лестницей, подпрыгнул, ухватился за нижнюю перекладину и, подтянувшись, добрался до самого верха своей лестницы любви, откуда перепрыгнул на подоконник, причем страховочной сетки подо мной не было, и через открытое окно попал на верхний этаж, где спали старшие девочки, от одиннадцати до четырнадцати лет, там я нашел в постели мою чудесную маленькую подругу, лежавшую с открытыми глазами и совсем не удивившуюся моему появлению. Ее соседки по комнате тоже не обнаружили в моем появлении ничего, заслуживающего обсуждения. Я провел ее под их взглядами к двери, ведущей на крышу, которая служила игровой площадкой, была расчерчена классиками и матово блестела в ночном свете и в нише между перилами и стенкой мансарды начал страстно целовать Ребекку, засунул руку в вырез ее ночной рубашки и потрогал пальцами соски ее грудей; затем взял в руки ее твердые маленькие ягодицы, которые обретали форму при моем прикосновении к хлопчатобумажной материи, а потом, пока я еще не зашел слишком далеко, когда мне торговаться труднее всего, договорился о вполне терпимой цене и отслю-

нявил от моей похудевшей пачки однодолларовую бумажку, которую она взяла и смяла в своем кулачке, прежде чем опуститься на корточки, а затем сесть на крышу и ждать безо всякого смущения, пока я снимал кеду с одной ноги, потом с другой и все остальное ниже пояса тоже и делал это с какой-то неловкой дрожью, непростительной для столь богатого человека, размышляя о том, сколь странно, что мужчины типа мистера Шульца и меня всегда аккуратно сворачивают деньги, много их или мало, а женщины, например, моя мать и Ребекка, скатывают их в комочек и держат в кулачке, не выпуская, сидят ли они при этом, оплакивая при свечах свое горе, или же ложатся на крышу, чтобы их трахнули пару раз за один доллар.

Глава третья

Когда буксир возвратился к причалу, там нас уже ждали под дождем две машины с работающими двигателями. Я не знал, как мне быть дальше, мистер Шульц запихнул девушку, которую звали не мисс Лола, на заднее сиденье первой машины, сам сел рядом с ней и захлопнул дверцу, а я в нерешительности поплелся за Ирвингом ко второй машине и залез в нее вслед за ним. К счастью, там оказалось откидное сиденье. Правда, ехал я спиной вперед, глядя на трех застывших плечом друг к другу здоровенных гангстеров; Ирвинг теперь был в плаще и шляпе, как и остальные, все они сидели, смотря на первую машину поверх плеч водителя и того, кто ехал рядом с ним. Путешествовать в такой серьезной вооруженной тишине было не очень приятно. Я бы предпочел быть на глазах у мистера Шульца или же совсем один, например, в надземке Третьей авеню — поезд мчится над улицами в самый дальний конец Бронкса, а я в мелькающем свете фонарей пытаюсь прочитать рекламу. Мистер Шульц совершал порой поступки импульсивные и неблагоразумные, и, возможно, со мной у него именно так и вышло. Меня охотнее признавали руководители организации, чем ее рядовые члены. Мне нравилось думать о себе как о младшем члене банды, и если это было так, то я обладал уникальным статусом, созданным специально для меня, что должно было производить впечатление на этих тупиц, но, увы, не производило. Может, все дело было в моем возрасте. Мистеру Шульцу было за тридцать, мистер Берман был еще старше, но, за исключением Ирвинга, большинство членов банды не перешагнуло тридцати лет, а для человека, имеющего хорошую работу и возможность дальнейшего продвижения, которому, допустим, двадцать один год, пятнадцатилетний мальчишка всего лишь сопляк, присутствие которого в деловой обстановке по меньшей мере неуместно, а то и глупо, и, естественно, оскорбляет достоинство. В Эмбасси-клубе работал вышибалой Джимми Джойо с Уикс авеню, что за углом моего дома; с его младшим братом я учился в пятом классе, правда, он там сидел уже третий год, но пару раз, когда я встречался с Джимми, он смотрел как бы сквозь меня, хотя, естественно, знал. С этими убийцами я иногда чувствовал себя жалким посмешищем, даже не мальчишкой, а карликом или потешным уродцем, проворности которого хватает только на то, чтобы не попадаться под ноги королевским псам. Любимчики мистера Шульца находились под его защитой, но я-то понимал, что мне надо укрепить свое положение в банде, а вот когда и как — понятия не имел. Сидеть на откидном сиденье и следить, чтобы мои коленки не задевали других,— занятие не из приятных. Никто ничего не сказал, но я понимал, что стал свидетелем очередного убийства мистера Шульца,— причем самого интимного и уж наверняка самого тщательно подготовленного — и пытался решить, то ли это еще одно свидетельство его доверия ко мне, то ли новая громадная опасность; было два часа ночи, мы ехали по Первой авеню, зачем я, поганый дурак, полез, вполне мог бы обойтись и без этого, а теперь, идиот, позволил втянуть себя в убийство. И все из-за причуды мистера Шульца. Боже! Я почувствовал тяжесть в ногах,

голова закружилась, будто мы все еще плыли на катере. Я подумал, что Бо, может, еще и сейчас опускается на дно с открытыми глазами и задранными вверх руками. Несмотря на скверное самочувствие, я силился представить, что будет с мисс Лолой, потому что она тоже ведь была свидетелем, а посторонних свидетелей убийцы не любят. С другой стороны, зачем паниковать? Она жива, чего еще?

Мне не нравились эти мысли, и я стал смотреть в окно, словно вбирая в себя город, громоздкость его темных зданий и огни светофоров, отражавшиеся в темных сверкающих мостовых. Город всегда, когда бы я ни желал, вселял в меня уверенность. Я вспомнил о собственных великих намерениях. Если я не доверяю своим порывам, то мне нечего делать у мистера Шульца. Он действовал, не размышляя, так же должен действовать и я. Нас направлял кто-то свыше, и до той степени, до какой я доверял себе, я должен доверять и ему. Меня возмущало ощущение трехмерной опасности, я должен бояться себя, своего наставника и того, чего боялся он, то есть деловой жизни, сопряженной со смертельным риском; а кроме того, мир кишел фараонами. Четыре измерения. Я открыл окошко, вдохнул свежий ночной воздух и успокоился.

Машины направлялись к центру. Мы проехали по Четвертой авеню, а затем, миновав туннель, объехали по эстакаде Центральный вокзал, откуда попали на Парк авеню, настоящую Парк авеню, проходящую мимо новых башен «Уолдорф-Астории» с их знаменитой «Павлиньей аллеей» и не менее знаменитым хозяином, неугомонным Оскаром, как я узнал из «Миррор», бесценного источника информации; потом мы свернули налево на 59-ю улицу и потащились за трамваем, звонок которого звучал, как гонг на боксерских состязаниях; а затем, нырнув в сторону, остановились у тротуара на углу Центрального парка, под тенью генерала Текумсе Шермана на коне, скачущего сквозь дождь, на той стороне площади. К дождю добавлялись еще и брызги фонтана, стекавшие из многоярусных чаш в мелкий бассейн, в который генералу пришлось бы направить своего коня, реши он вдруг добраться до женщины с корзиной фруктов на той стороне и попросить у нее вкусный плод. Я никогда не любил памятников, они чудовищно неуместны в городе Нью-Йорке, не подходят ему, они лживы и глупы, и что бы там ни говорили о Бронксе, но там вы не найдете генералов на вздыбленных конях, или дам с корзиной фруктов на голове, или солдат, стоящих среди умирающих товарищей, которые вздымают к небу руки и ружья. К моему удивлению, дверца машины открылась, передо мной стоял мистер Шульц.

— О'кей, малыш,— сказал он, протягивая мне руку и рывком вытаскивая меня из машины, и вот я уже мокну под дождем на площади Гранд-Арми и думаю, что настал конец Фантому, чудесному жонглеру; меня найдут в грязи под кустом в Центральном парке, и, если глубина водоема для убитого что-то определяет, то я заслужил лужу, в которой под дюймовым слоем воды меня легко отыщет собака и слижет грязь с моих застывших глаз. Но, быстро подведя меня к первой машине, он сказал: — Проводи леди домой. Ни под каким предлогом не позволяй ей говорить по телефону, впрочем, она вряд ли будет пытаться. Она соберет кое-какие вещи. Просто побудь с ней, пока тебе не позвонят, что пора спускаться вниз. Все понял?

Я кивнул, что, дескать, да. Мы подошли к его машине, и, хотя вода уже стекала струйками с полей его шляпы, он только сейчас наклонился к заднему сиденью, вынул оттуда черный зонт и, открыв его, помог ей выйти из машины, а потом передал мне и девушку, и зонтик; наступил удивительный миг, когда мы втроем стояли под одним зонтом, и она смотрела на него с едва заметной загадочной улыбкой, а он нежно гладил ее по щеке и улыбался ей; потом он нырнул в машину, и еще не успела захлопнуться дверца, как автомобиль, скрипнув шинами, рванул с места, второй — за ним.

Нас поливали косые струи дождя. Тут мне пришло в голову, что

я ведь не знаю, где находится дом мисс Лолы. По какой-то причине я решил, что отвечаю за все сам и что она, лишенная воли, ждет моих указаний. Но она взяла меня за руку двумя своими и, прижимаясь ко мне под этим большим черным зонтом, громыхавшим, словно барабан, потащила, переходя попеременно с шага на бег, через Пятую авеню, которая настолько тонула в воде, что мы разбрызгивали ее не меньше, чем падало на нас сверху. Она, кажется, направлялась в отель «Савой-Плаза». Из вращающейся двери, конечно, вышел портье со своим зонтом и бросился к нам, этот бесполезный жест лишь демонстрировал заботливость, через несколько секунд мы уже влетели в покрытое коврами, ярко освещенное, но уютное фойе; какой-то мужчина во фраке и полосатых брюках подошел к нам. На прекрасном лице мисс Лолы мелькнула озабоченность, и она рассмеялась, взглянув на свой мокрый, помятый наряд, потом медленно провела рукой по мокрым волосам, стряхнула капли на ковер и ответила на приветствие дежурного администратора — Добрый вечер, мисс Дрю, Добрый вечер, Чарльз,— и на вежливый взмах руки полицейского, стоявшего неподалеку со своими приятелями из обслуги отеля; полицейский любил бывать в дружелюбном тепле этого фойе в ночную непогоду, а я в это время, не решаясь взглянуть на него, ждал с пересохшим горлом, как она объяснит мое появление — в глазах фараона я был сопляк из сопляков — и старался не оглядываться на вращающуюся дверь, от которой все равно было мало проку, надеясь на кривую лестницу за лифтом, она, хотя и шла наверх, могла в конце концов вывести меня наружу. Я молил Бога, чтобы ангелы-хранители не оставили мистера Шульца и чтобы изобретательность не подвела мисс Лолу или мисс Дрю, как бы ее ни звали и что бы она ни пережила в ночь смерти человека, которого, видимо, любила, во всяком случае, ходила с ним на приемы и спала. Но, взяв свой ключ, она ничего объяснять не стала, словно каждый вечер приходила сюда со странными мальчишками в дешевых мятых пиджаках из искусственной замши, солдатских брюках и с вызывающей прической, какую носят только в Бронксе, а взяла меня за руку и провела в лифт так, будто я был ее обычным спутником, и двери лифта за нами закрылись, и лифтер нажал на кнопку, не спросив, какой этаж нам нужен, и тут я сразу же понял, что объяснения требуются ото всех, кроме тех, кто наверху, и что для этой мисс Дрю с ее жестокими зелеными глазами путешествие на буксире было чёрт-те каким увлекательным приключением.

Вот это отель так отель: когда открылись двери лифта, мы очутились прямо в номере. На натертом до блеска полу ничего не было; на противоположной стене висел ковер или гобелен с рядами закованных в броню рыцарей на одинаково, как в цирке, вздыбленных конях, а мебели здесь не было, все-таки прихожая; впрочем, в углах стояли две большие, мне по пояс, вазы, я мог бы залезть в любую из них, если бы мне вдруг захотелось оказаться посреди прогуливающихся греческих философов, завернутых в простыни или, учитывая мое тогдашнее настроение, в саваны. Но я предпочел последовать за новоиспеченной мисс Дрю, величественно толкнувшей двойную высокую дверь слева от нас и зашагавшей по небольшому коридору, завешенному темноватыми картинами в мелких трещинках. Налево находилась открытая дверь, из которой, когда мы проходили мимо, раздался мужской голос:

— Это ты, Дрю?

— Мне надо в туалет,— сказала она вполне спокойно и завернула за угол, я услышал, как там открылась и закрылась дверь. А я остался стоять в проеме другой двери и заглянул в комнату, видимо, библиотеку, с застекленными книжными шкафами, высокой наклонной лестницей на рельсах и громадным глобусом в полированном деревянном каркасе; комната освещалась двумя бронзовыми настольными лампами с зелеными абажурами, стоявшими по обеим сторонам мягкого дивана, на котором рядом сидели двое мужчин, один постарше другого.

И что меня поразило больше всего, тот, кто постарше, держал в своей руке возбужденный член более молодого.

Видимо, я уставился на них.

— А я думал, ты уехала на весь вечер! — крикнул мужчина постарше, глядя на меня, но прислушиваясь к звукам за моей спиной. Он отпустил член молодого, встал с дивана и поправил сбившийся на сторону галстук-бабочку. Этот Харви был высокий красивый мужчина, очень ухоженный, в твидовом костюме с жилеткой, в карман которой он засунул руку, словно под одеждой у него что-то болело, хотя, когда он подошел ближе, никакой боли в выражении его лица я не заметил, он, наоборот, выглядел вполне здоровым и довольным. Да в придачу и безусловно властным, поскольку я, не раздумывая, уступил ему дорогу. Проходя мимо, он громко сказал мне на ухо: «Все в порядке?», и я увидел, что волосы у него на висках были аккуратно зачесаны назад.

Это так просто — жить на планете, где не требуют объяснений. Воздух поразреженнее, пожиже, чем тот, к которому я привык, но ведь никто и не заставляет напрягаться. Большим и указательным пальцами мужчина помоложе взял с дивана салфеточку и накинул ее на себя. Он поднял глаза и засмеялся, словно мы были сообщниками, тут до меня дошло, что он, как и я, из работяг. С самого начала я этого не понял. Глаза у него, дерзкие карие глаза, были подведены, черные гладкие волосы прилизаны, а костистые широкие плечи покрывал бордово-серый свитер, рукава которого он завязал на груди.

И ведь всем увиденным я был обязан мистеру Шульцу, так что мне лучше сосредоточиться на его поручении. Я пересек холл, обогнул несколько углов и обнаружил Харви в громадной спальне, обитой светло-серым штофом, в ней легко поместились бы три таких спальни, как у нас в Бронксе; зеркальная дверь в большую ванну, облицованную белой плиткой, была открыта, оттуда слышался плеск воды, поэтому Харви, который сидел с сигаретой в руке, закинув нога на ногу, на уголке неправдоподобно большой двойной кровати, приходилось говорить громко.

— Дорогая? — крикнул он.— Скажи мне, где ты была и что делала. Может, ты его бросила?

— Нет, мой бесценный. Но он ушел из моей жизни.

— Чем же он провинился? Ты ведь с ума по нему сходила,— сказал Харви с горькой ухмылкой.

— Если уж ты так хочешь знать, он умер.

Харви выпрямился, вскинул голову, словно проверяя, не ослышался ли он, однако промолчал. Затем повернулся и бесцеремонно посмотрел на меня, я сидел в дальнем углу на небольшом стуле, обитом серым ворсистым материалом, и, видимо, выглядел здесь столь же неуместно, как и в библиотеке; взволнованный новизной ситуации, я тоже выпрямился и столь же вызывающе уставился на него.

Он встал, вошел в ванную и закрыл за собой дверь. Я поднял трубку телефона, стоявшего около кровати, услышал, как оператор отеля ответил: «Да, я слушаю» и опустил ее на рычаг. Телефон был белого цвета. Я первый раз в жизни видел белый телефон. Даже шнур был обернут белой материей. Переднюю спинку громадной кровати покрывал белый чехол, в головах лежали большие пухлые подушки, не менее полудюжины, с кружевными оборками, мебель была серая, и толстый ковер тоже, спрятанные в ниши светильники отбрасывали свет на стены и потолок. В этой комнате жили два человека, потому что книги и журналы валялись на обоих прикроватных столиках, там еще стояли два массивных шкафа с белыми дверцами и кривыми белыми ножками, в которых хранились его и ее вещи, и два комода с его рубашками и ее бельем; до сих пор я знал о богатстве только из газет и считал, что все могу вообразить, но от реального богатства этой комнаты захватывало дух; чего только не требовалось по-настоящему богатым людям — длинные палки с рожками для надевания обуви, свитеры всех цветов радуги, дюжины ботинок разных стилей и назначений, наборы расчесок и ще-

ток, резные шкатулочки с пригоршнями колец и браслетов и золотые настольные часы-маятник с набалдашником,— качнется в одну сторону, застынет на какое-то время, а потом возвращается обратно.

Дверь ванной открылась, появился Харви, в руках он держал платье мисс Дрю, ее белье, чулки и туфли,— все это он нес в охапке на вытянутых руках, потом бросил в мусорную корзину и отряхнул руки, вид у него был очень кислый. В дальнем конце комнаты он открыл еще одну дверь, за которой и скрылся, загорелся свет, это оказался громадный стенной шкаф, он вышел оттуда с чемоданом и швырнул его на кровать. Затем сел рядом с ним, закинул ногу на ногу, обхватил руками колено и стал ждать. И я ждал на своем стуле. И тут она вышла из ванной, завернутая в большое полотенце, подоткнутое под ключицей, еще одно полотенце красовалось на голове в виде тюрбана.

Спор у них шел о ее поведении. Он сказал, что она себя ведет скверно и непредсказуемо. Ведь это она настояла, чтобы они приняли приглашение на завтрашний ужин. Чего уж говорить о гребных гонках в выходные дни! Она что, хочет рассориться со всеми друзьями? Он говорил очень убедительно, но не учитывал меня, а мисс Лола, мисс Дрю, вела спор и одновременно одевалась. Встав напротив трюмо, она скинула с себя большое полотенце; она, конечно, была выше и стройнее, может, и ягодицы у нее были помягче и поровнее, но я узнал прекрасную бороздку на спине как у моей грязной малышки Ребекки, и все другие части тела были те же, что и у Ребекки, и целое представляло собой знакомое женское тело; я не знаю, чего я ожидал, но она оказалась простой смертной с розоватым от горячей воды телом; застегнув пояс, она подняла тонкую белую ногу, осторожно, но ловко надела чулок, потом, шевеля пальцами ног, разгладила его, следя, чтобы шов оставался ровным, опустила ногу, чуть выпятила бедро и прикрепила чулок к металлической застежке, свисавшей с пояса, надев чулки, она задрала одну ногу и просунула ее в белые сатиновые трусы, затем проделала то же самое с другой, быстро натянула трусы на себя и щелкнула резинкой, и было в этом жесте что-то от привычной уверенности женского одевания, от извечного женского предположения, что резинка — это броня, которая защитит их от войн, бунтов, голода, наводнений, засух и сияющей арктической ночи. Ее тело все больше покрывалось одеждой; на бедра она накинула юбку и застегнула сбоку молнию, на ноги надела туфли на высоких каблуках, а потом, одетая только до пояса и все еще не сняв тюрбана с головы, начала собирать вещи, ходить от трюмо и открытых ящиков к чемодану и обратно, быстро принимая решения и энергично их выполняя; при этом она не переставала говорить, что ей глубоко наплевать на то, что подумают ее друзья, что они здесь вообще ни при чем, что она будет встречаться с кем пожелает и он прекрасно знает это, так что нечего поднимать шум, его нытье начинает надоедать ей. Захлопнув крышку кожаного чемодана, она застегнула две бронзовые застежки. Я думал, что слышал почти все, что происходило между мисс Лолой и мистером Шульцем в трюме буксира, но оказывается, что нет; они заключили между собой пакт, который она твердо намеревалась соблюдать.

— Я говорю о порядке, только о необходимости хоть какого-то порядка,— твердил этот тип Харви, хотя безо всякой надежды уговорить ее.— Ты нас всех погубишь,— пробормотал он.— Ведь дело совсем не в том, что тебе хочется устроить небольшой скандальчик, а? Ты очень умная, очень своенравная бестия, но всему есть предел, дорогая, всему. Ты, в конце концов, сломаешь себе шею, и что тогда? Будешь ждать, когда я приду к тебе на помощь?

— Не смеши меня.

И она села, голая до пояса, перед зеркалом за туалетный столик, сняла с головы полотенце, провела несколько раз гребнем по ежику своих волос, намазала губы помадой, нашла рубашку и накинула ее на себя, надела поверх блузку, заправила ее в юбку, надела на блузку жа-

кет, на руки — пару браслетов, на шею — ожерелье, встала и впервые взглянула на меня, новая женщина, мисс Лола, мисс Дрю, в глазах ее застыла ужасная решимость, мне еще не приходилось видеть, чтобы женщина одевалась во все кремовое и голубое, собираясь убежать с убийцей своих грез.

Сейчас три часа ночи, и мы несемся по шоссе 22 в горы, где я ни разу не был, я сижу на переднем сиденье рядом с водителем Микки, а мистер Шульц и леди — сзади с бокалами шампанского в руках. Он рассказывает ей историю своей жизни. В сотне ярдов за нами идет машина с Ирвингом, Лулу Розенкранцем и мистером Аббадаббой Берманом. Это была долгая и важная ночь в моем образовании, но многое еще впереди, я еду в горы, мистер Шульц знакомит меня с миром, он как годовой комплект журнала «Нэшнл джиогрэфик», правда, я пока видел только белые женские сиськи, контуры океанского дна и белой мисс Дрю, а теперь вижу контуры черных гор. Впервые в жизни я осознал место города в мире, это надо было бы давно понять, но я раньше об этом не задумывался, я еще не уезжал из города, никогда не смотрел на него издалека, город — это остановка в земноводном путешествии, это место, куда мы вылезаем, покрытые липкой грязью, где мы греемся на солнце и едим, и оставляем свои следы, и танцуем, и сбрасываем нашу чешую, прежде чем отправиться в черные горы, где дуют сильные ветры и нет дождей. И когда мои глаза начинают слипаться, я слышу легкий свист ветра в щелке окна — я его чуть приоткрыл, повернув ручку,— и даже не свист, а тихий посвист, как бы про себя, и басовый рокот восьмицилиндрового мотора, и скрипучий голос мистера Шульца, рассказывающего, как он грабил карточных шулеров в молодости, и шорох шин по сырому шоссе — мозг мой протестует против всех этих шумов; сложив руки на груди и опустив голову, я слышу еще один, последний, смешок, но уже ничего не могу с собой поделать, ведь сейчас три часа утра, удивительного утра моей жизни, а я еще совсем не спал.

Глава четвертая

Из газетной колонки Уолтера Уинчелла я знал, что мистер Шульц скрывается от правосудия: федеральное правительство разыскивает его за неуплату налогов. Полиция однажды ворвалась в его штаб-квартиру на 149-й улице и нашла там изобличающие документы, связанные с его пивным бизнесом. А я видел его и ощущал прикосновение его руки к своему лицу. Видеть того, о ком ты знал только по газетам, уже само по себе поразительно, но увидеть человека, про которого газеты пишут, что он находится в розыске,— это уже почти чудо. Если в газетах написано, что мистер Шульц находится «в розыске», значит, так оно и есть; но быть «в розыске» для большинства людей означает, что они передвигаются по ночам и прячутся днем, потому что не могут показаться на людях; если ты не бегаешь и не прячешься и находишься в розыске, значит, ты можешь заставить людей не видеть себя, а это уже очень серьезное колдовство. Понятно, что это делается помахиванием долларами, махнул долларом — и тебя не видно. Но все равно это тяжелый и опасный фокус, и он может сорваться в самый неподходящий момент. Я решил, что он обязательно сорвался бы в Манхэттене, потому что именно там находятся федеральные прокуроры, которые хотят судить мистера Шульца за уклонение от уплаты налогов. Но он может сработать в Бронксе, например, в районе пивного склада. А лучше всего он сработает, решил я, в самой штаб-квартире гангстеров, которую уже обыскали и обчистили полицейские по требованию федеральных прокуроров.

И случилось так, что однажды летом мальчишка Билли, повиснув сзади на трамвае, ехал по Уэбстер авеню на юг в направлении 149-й

улицы. Это непросто, попробуй уцепиться пальцами за узкий выступ под задним окном, которое на обратном пути, конечно, становится передним; окно это очень большое, поэтому приходится сгибаться в три погибели, чтобы голова твоя не высовывалась: если водитель, сукин сын, заметит тебя в зеркало, он может резко затормозить или заставить вагон дрожать в электрошоке, и ты свалишься прямо под машины. И это еще не все, на бампере остается такое узкое место для ног, что ты вынужден держаться, буквально прилепившись к вагону, а не как-нибудь еще. Когда трамвай останавливается, самое правильное — спрыгнуть на время, и не только потому, что на стоянке опасно висеть на вагоне — любой полицейский может подойти и огреть тебя дубинкой по жопе,— но и чтобы накопить силы для следующего перегона. Кто же хочет свалиться с этого проклятого драндулета, особенно когда он несется по Уэбстер, индустриальной улице, на которой полно обычных и дровяных складов, гаражей, ремонтных мастерских; кварталы там большие, и быстро бегущий трамвай весело катит по длинным перегонам, дребезжа и раскачиваясь на своих колесных тележках, высекая искры там, где дуга соприкасается с проводом. Немало мальчишек, ездивших на трамваях таким способом, разбились насмерть, но все же это был мой любимый способ передвижения, даже когда у меня, как сейчас, лежало в кармане два доллара и я мог вполне заплатить десять центов за поездку.

Я обнял громадину, сорвался, побежал от смущения. Впрочем, адреса штаб-квартиры на ист-сайдском конце 149-й улицы у меня не было, поэтому пару утомительных часов я таскался вверх-вниз по холмам, забрался на запад до Конкорса, а затем возвратился на восток, так и не зная, чего же я ищу в этом знойном мареве, но вдруг, к моему счастью, я заметил два автомобиля: массивный «ласалль» и седан «бьюик», стоящие бок о бок около закрытой закусочной «Белый замок», неподалеку от пересечения 149-й улицы с Южным бульваром. Любой из них по отдельности не привлек бы моего внимания, но вместе они показались знакомыми. Рядом с «Белым замком» — узкое четырехэтажное здание неопределенного цвета с большими, заляпанными грязью окнами. Когда я вошел, мне в нос ударил запах мочи и гнилого дерева. Даже если на стене и висели какие-нибудь указатели, увидеть их было невозможно. Я, кажется, учуял след. Выйдя снова на улицу, я перешел на другую сторону, сел на бордюрный камень между двумя грузовиками и стал ждать, не произойдет ли чего.

А было очень интересно. Время, видимо, приближалось к полудню, солнце жгло землю сквозь паутину проводов; отработанный газ вылетал из выхлопных труб грузовиков белыми цветами; жаркое марево витало над асфальтом, податливым под пяткой моей кеды, которая оставила вмятину, похожую на лунный серп, так что хороший сыщик мог бы сказать: вот здесь он сидел, тут ударил пяткой об асфальт, а, судя по глубине вмятины, дело было около полудня. Время от времени появлялись люди — большей частью молодые парни в теннисках — и ныряли в здание. Один сошел на углу с автобуса, другой вышел из машины, которая ждала его с работающим двигателем, еще один приехал на желтом такси, и все они спешили, всем было некогда, у всех были озабоченные лица, неважно черные или белые, и кто-то вышагивал большими шагами, кто-то семенил, а один даже хромал, но все входили с коричневыми бумажными пакетами, а выходили с пустыми руками.

Если вы думаете, что бумажные пакеты валяются на тротуарах, в переулках или мусорных ящиках, то на 149-й улице это почему-то было не так, и, чтобы заполучить такой пакет, мне пришлось найти бакалею и потратиться. А потом я завернул горло пакета так, как оно было завернуто у других визитеров, покомкал сам пакет, глубоко вздохнул и, хотя находился всего в квартале от того здания, побежал вприпрыжку — надо же было изобразить спешку,— быстро вспотел; потом через входную дверь попал в темное, пропахшее мочой фойе и поскакал вверх по деревянным ступеням, на которых и ползущего таракана было

слышно; я знал, что они окажутся на самом верху, это разумно, и чем выше я поднимался, тем светлее становилось; на верхнем этаже был световой люк, забранный ржавой решеткой, а в конце лестничной площадки — обычная железная дверь с дырками, выбоинами и отломанной ручкой, так что я просто ткнул ее пальцем, она открылась, и я вошел.

Не знаю, что я ожидал увидеть, но передо мной был короткий пустой коридор со щербатым полом и еще одна дверь, новехонькая некрашеная железная дверь с небольшим глазком, и на этот раз от толчка она не открылась; я постучал, отступил на шаг назад, чтобы тот, кто откроет, увидал пакет, и стал ждать. Неужели они не слышат биения моего сердца, которое колотилось громче ударов молота по наковальне, топора по железу, громче топота дюжины фараонов, бегущих на четвертый этаж по деревянной лестнице?

И вдруг дверь щелкнула и открылась на дюйм-другой, так что вскоре я оказался в симпатичной большой комнате с несколькими потрепанными столами, за каждым столом сидел человек и, облизывая большой палец, пересчитывал бумажные карточки или пачки счетов, звонил телефон; а я стоял у конторки, которая была мне по грудь, оглядывая все это, и протягивал пакет, стараясь не замечать парня, который открыл мне дверь и теперь маячил за моей спиной — детина шести футов ростом и с тяжелым дыханием, такие люди храпят во сне; я почувствовал чесночный запах, а имени его я тогда еще не знал, но это был Лулу Розенкранц, рябой, с непомерно большой, лохматой и нестриженой черной головой, маленькими, почти не видными из-под густых бровей глазками, расплющенным носом и синими щеками, каждый чесночный выдох из его глотки обжигал меня, как сноп огня. Мистера Шульца нигде не было видно; к конторке подошел лысый мужчина с резинками на пузырящихся рукавах рубашки, взглянул на меня с любопытством, взял пакет, перевернул его и опустошил. Я помню его взгляд, когда около дюжины упаковок с завернутыми в целлофан пирожными — две штуки в каждой — высыпались на прилавок: он неожиданно побледнел, в глазах появилась тревога, идиотское непонимание, всего на одну секунду, потом он снова перевернул пакет и потряс его, проверяя, не выпадет ли что еще, а затем несколько долгих мгновений смотрел внутрь, пытаясь понять, что за фокус там кроется.

— Что это такое? Что ты, сволочь, принес? — закричал он.

Все бросили работу и замолчали, один или двое встали со своих мест и подошли ближе. За моей спиной задвигался Лулу Розенкранц. Мы все молча смотрели на эти пирожные. А вообще-то я это не специально, я бы пирожные не покупал, если бы нашел пакет на улице, я бы надул его, словно в нем что-то есть, а когда вы надуваете бумажный пакет, вам хочется шлепнуть по нему, стукнуть так, как бьют в музыкальные тарелки, надо взять пакет за горлышко одной рукой и треснуть по донышку другой, а если предположить, что я бы взорвал пакет перед этим вот типом, то кто знает, что мог бы сделать необузданный человек; скорее всего, мне была бы крышка, дюжина людей окружила бы меня, и Лулу Розенкранц трахнул бы меня кулаком по голове, а когда бы я упал, наступил бы мне ногой на спину, чтобы не трепыхался, и порешил бы меня одним выстрелом в затылок; теперь-то я знаю, что когда имеешь дело с этими людьми, лучше не издавать неожиданно громких звуков. Но поскольку, чтобы раздобыть пакет, мне пришлось хоть что-нибудь купить, я выбрал шоколадные пирожные с ванильной глазурью; я люблю такие, может, я подумал, что они похожи на пачки лотерейных купонов и счетов, перетянутых резинками; я смел их с лотка двумя руками и положил на прилавок бакалейщику, я не думал ни о чем, а просто заплатил деньги, прошел по улице, поднялся по лестнице и под взглядом одного из самых жестоких убийц Нью-Йорка пронес пирожные через железную дверь в самый центр лотерейного бизнеса мистера Шульца. И я это сделал столь же уверенно, как когда-то жонглировал, с форсом перекинув фонтанной струей себе за спину, на рельсы Нью-

Йоркской железной дороги, апельсин, камешек, два резиновых мячика и яйцо; в то время мне удавалось все, что бы я ни делал, ошибиться я не мог, было в этом что-то для меня загадочное, не знаю почему, но я понимал, какой бы ни была моя жизнь, она хоть чем-то будет связана с мистером Шульцем, и я стал подозревать, что, кажется, обладаю сверхъестественными способностями. Вот так возникает чувство, что ты заколдован, а это означает среди прочего и то, что ты уже себе не хозяин.

Именно в этот момент, пока тугодумы обмозговывали Идею Пирожного, из задней комнаты вышел мистер Шульц, впереди него летел звук его голоса и пятился мужчина в сером полосатом костюме, старавшийся засунуть в свой портфель какие-то бумаги.

— За что я, черт возьми, плачу тебе деньги, советник? — кричал мистер Шульц.— От тебя требуется только заключить сделку, простенькую сделку, а вместо этого я получаю от тебя юридический хлам. Почему ты не делаешь того, что полагается, а пудришь мне мозги? Убить меня хочешь? Пока ты оторвешь свою жопу от стула, я успею закончить юридическую школу и получить адвокатский диплом в любом штате.

Мистер Шульц был в рубашке с короткими рукавами, подтяжках и без галстука, в руке он держал мятый носовой платок, которым, наклоняясь на адвоката, вытирал шею и уши. Я впервые видел его отчетливо, не щурясь от слепящего солнца: черные, редеющие, зализанные назад волосы, очень большой лоб, тяжелые веки с розовыми краями, красноватый нос, будто у простуженного или аллергика, бульдожья челюсть, широкий и пугающе подвижный рот, слишком большой для голоса с пронзительным тембром сирены.

— Брось ты эти бумаги и послушай меня,— сказал он и прыгнул вперед, выбив портфель из рук адвоката.— Ты посмотри вокруг. У меня двадцать столов, но, как ты видишь, всего десять работников. Неужели пустые столы тебе ни о чем не говорят? Они грабят меня, слышишь, ты, дерьмовый юрист, каждую неделю, что я под колпаком, я теряю ставки, выручку, мои люди уходят к этим вонючим итальяшкам. Я уже вне игры полтора проклятых года, и пока ты, просвещенный умник, ведешь беседы за чаем с окружным прокурором, они забирают у меня последнее!

Адвокат побагровел и от волнения, и от гнева одновременно и теперь, став на четвереньки, собирал свои бумажки и засовывал их в портфель. Такие светлокожие, как он, легко краснеют от унижения собственного достоинства. Я заметил, что черные блестящие боковины его ботинок были покрыты рядами мелких декоративных дырочек.

— Немец,— сказал он,— ты, кажется, не отдаешь себе отчета в том, что козырей у тебя на руках нет. Я был у нашего друга в сенате штата, и ты видишь, что ему удалось для тебя сделать. Я обратился к трем лучшим юристам в Вашингтоне, я добрался до самого главного специалиста в этой области, очень образованный и уважаемый человек, всех знает, но даже он юлит. Это трудная задача, мы имеем дело с федеральными прокурорами, до которых не добраться. К сожалению, требуется время, и тебе придется смириться.

— Смириться! — заорал мистер Шульц.— Смириться? — Я подумал, что если он убьет адвоката, то именно сейчас. Поток ругательств в его исполнении звучал причитанием, он начал бегать взад-вперед, разражаясь тирадами и впадая в неистовство; я впервые видел его в исступлении, застыв от изумления, я наблюдал, как набухают вены у него на шее, и недоумевал, почему адвокат не съежился под его взглядом, я ничего подобного никогда не видел, бешенство, на мой взгляд, достигло предела, я, в отличие от других, не понимал, что гнев этот не новый, а уже истрепанный, как в привычной семейной ссоре, в которой без ритуалов никак не обойтись. К моему удивлению, мистер Шульц, заметив пирожные, подошел к конторке прямо напротив меня и, не прерывая ругани, схватил одну из упаковок, разорвал ее, снял коричнева-

тую рифленую бумагу, в которой их пекут, и возвратился к спору, поедая шоколадное пирожное с ванильной глазурью, но как бы не отдавая себе в этом отчета, будто еда была извращенной формой ярости и обе были функцией универсального безымянного аппетита. И парню, который держал пустой пакет, этого вполне хватило, загадка Сфинкса была решена, он вернулся к работе, остальные тоже отошли к своим столам, а Лулу Розенкранц возвратился на место у двери, сел на венский стул, оперев его о стену, вытряс из пачки сигарету «Олд голд» и прикурил ее.

А я по-прежнему был жив и оставался, во всяком случае, на ближайшие мгновения, участником всего происходящего. Мистер Шульц даже не заметил меня, зато я почувствовал на себе взгляд умных, насмешливых глаз, которые все видели и все поняли, включая, я думаю, мою бесстыдную мечту; этот немигающий прямой взгляд принадлежал мужчине, сидящему за столом около окна у дальней стены и говорившему по телефону; он, казалось, вел тихую личную беседу, которой совсем не мешали крики и беснование мистера Шульца. Я каким-то озарением догадался, что передо мной великий Аббадабба Берман, финансовый мозг мистера Шульца; возможно, его спокойная улыбка передавала сосредоточенность человека, намного превосходящего разумом свое окружение. Не прерывая разговора, он слегка повернулся, поднял руку и нарисовал в воздухе цифру, мужчина, сидящий справа, немедленно встал и написал на доске цифру 6. И тут же люди за столами начали выбирать лотерейные билеты из своих пачек и выбрасывать их на пол — как на авиационном параде. Позднее он рассказал мне, что шесть было последней цифрой перед запятой в общей сумме всех ставок в первых трех заездах текущего дня, полученной машиной тотализатора в Тропическом парке Майами, штат Флорида. И это была первая цифра выигрышного числа в тот день. Вторая цифра этого числа получалась тем же способом из результатов следующих двух заездов. А последняя цифра чаще всего бралась по последним двум заездам. Я говорю «чаще всего», поскольку случалось, что выигрышное число угадывали многие, это бывало, например, когда его выуживали из астрологических книг, в которые любили заглядывать играющие, и тогда мистер Берман в последнюю минуту звонил своему помощнику на ипподром и делал ставку, тем самым изменяя общую сумму в машинах тотализатора и соответственно последнюю цифру выигрышного числа на не столь часто играемую, чем повышал общую прибыль мистера Шульца и делал честь всему жульническому предприятию. Этот трюк выдумал мистер Берман, именно такие фокусы и принесли ему прозвище Аббадабба.

Я сразу же признал его вошедшие в молву таланты уже хотя бы по тому, как он писал цифру в воздухе, и она, пересиливая шум и крики, появлялась на доске. Когда он кончил говорить по телефону и поднялся из-за стола, намного выше он не стал; на нем был летний желтый двубортный костюм и панама, которую он сдвинул на затылок, пиджак его был расстегнут и висел на нем неровно, я догадался, что мистер Берман горбат. Ходил он раскачиваясь из стороны в сторону. Рубашка была из темно-желтого шелка, к ней был пристегнут серебряной булавкой светло-голубой шелковый галстук. Меня поразило, что человек с физическими недостатками мог одеваться так крикливо. Подтяжки столь высоко поднимали его брюки, что, казалось, у него вообще нет груди. Когда он подошел к конторке со своей стороны, то оказалось, что мы почти одного роста. Его карие глаза глядели сквозь очки в металлической оправе. Взгляд этот ничем мне не угрожал, потому как, видимо, возникал в царстве чистой абстракции. Его карие зрачки имели молочно-голубое обрамление. Из ноздрей его острого носа выглядывали островки вьющихся волосков, подбородок у него был тоже заостренный, а в уголке хитрого рта торчал окурок сигареты, который прыгал вверх-вниз, когда мистер Берман говорил. Он положил похожую на клешню руку на упаковку пирожных.

— Так где же кофе, малыш? — спросил он, щурясь на меня сквозь дым.

Глава пятая

Через минуту я уже мчался вниз по лестнице, повторяя про себя, сколько надо купить чашек черного, черного с сахаром, с молоком, с молоком и сахаром; к ресторану на бульваре я бежал по 149-й улице, обгоняя машины; гудки автобусов и грузовиков, шум моторов, дребезжание лошадиных повозок — гул всех этих транспортных средств, свирепо нарастающий с приближением к кульминации делового дня, звучал музыкой церковного хора в моей груди. Я на бегу сделал колесо и два сальто — в тот момент я просто не знал, как еще отблагодарить Бога за мое первое поручение для банды Немца Шульца.

Я, конечно, как всегда, опережал события. В течение нескольких дней меня едва терпели, и я большей частью был приписан все к тому же бордюрному камню на противоположной стороне улицы, откуда я в первый раз вел наблюдение за конторой. Мистер Шульц не замечал меня, а когда, наконец, заметил — я выметал лотерейные билеты с пола,— то не вспомнил жонглера, а спросил у Аббадаббы Бермана, кто, черт возьми, я такой и что здесь делаю.

— Это просто малыш,— сказал мистер Берман.— Он нам дан на счастье.

Такое объяснение удовлетворило мистера Шульца.

— Счастье нам пригодится,— пробормотал он и скрылся в своем кабинете.

Вот почему каждое утро я ездил туда по Уэбстер авеню на трамвае, как на работу, и если мне поручали что-нибудь,— сбегать за кофе или подмести пол, я считал день удачным. Мистер Шульц почти всегда отсутствовал, всем, казалось, управлял мистер Берман. Я со временем понял, что окончательное слово было за ним. Мистер Шульц лишь высказал суждение, но нанял меня Аббадабба Берман. И потом, когда он решил объяснить мне подробности числовой игры, я вдруг подумал о нем, как об учителе, и я стал гордо смотреть на себя, как на будущего крупного дельца, сидящего пока на бордюрном камне, это успокаивало и придавало терпения.

В отсутствие мистера Шульца жизнь шла нудно, посыльные с бумажными пакетиками начинали приходить с утра, и к полудню доставка заканчивалась; первый забег дня начинался в час, цифры появлялись на доске через каждые час-полтора; построение магической числовой конструкции завершалось к пяти, а в шесть контора закрывалась, и все расходились по домам. Когда преступление вершится без помех, оно скучно. Очень прибыльно и очень скучно. Мистер Берман обычно уходил последним, он нес кожаный портфель, в котором, как я предполагал, лежала дневная выручка; как только он выходил торопливой походкой из подъезда, рядом с ним останавливался седан, в который он садился и уезжал, чаще всего бросив взгляд на меня, сидящего на противоположной стороне улицы, и понимающе кивнув; до этого момента я не считал день законченным, в то время я следил за самыми малыми знаками и незначительнейшими намеками, его лицо в маленьком треугольнике заднего окна, порой еще и спрятанное за облаком сигаретного дыма, было моим сокровенным уроком на вечер. Мистер Берман являлся полной противоположностью мистеру Шульцу, они составляли два полюса моего мира, и яростная мощь одного противостояла спокойному владению числами другого; они во всем разнились, например, мистер Берман никогда не повышал голос, он цедил слова через тот угол рта, который не был занят неизменной сигаретой, а дым продымил его голос настолько, что он говорил не только хрипло, но и прерывисто, словно пунктиром, и мне приходилось внимательно вслушиваться, чтобы все услышать, поскольку он не только никогда не кри-

чал, но и никогда не повторял однажды сказанного. Все, связанное с ним, имело вид какого-то нездоровья — горб, походка на негнущихся ногах — и предполагало хрупкость, физическую немощь, которые он старался компенсировать аккуратной и тщательно подобранной по цвету одеждой, в то время как мистер Шульц воплощал животное здоровье; он жил в неразберихе настроений и избытке чувств, которые никакая одежда не могла ни оттенить, ни изменить.

Как-то около стола мистера Бермана я нашел на полу несколько необычных карточек; убедившись, что никто меня не видит, я поднял их и засунул в карман. Вечером, возвратившись домой, я рассмотрел их, на каждом из трех листков бумаги был нарисован квадрат, разделенный на шестнадцать частей, в каждой из шестнадцати ячеек всех трех квадратов были написаны числа, присмотревшись к ним, я заметил, что сумма чисел была одной и той же, независимо от того, какая линия складывалась — горизонтальная, вертикальная или диагональная. И все числа в квадратах были разные, мистер Берман нашел наборы неповторяющихся чисел, которые обладали вышеприведенным свойством. На следующий день, улучив время, я понаблюдал за ним и обнаружил: то, что мне казалось работой, было на самом деле праздным времяпровождением, весь день он сидел за столом и делал всевозможные вычисления, но не для работы, как я думал раньше, работа этого не требовала, числа интересовали его сами по себе. Мистер Шульц никогда не бездельничал, насколько я мог судить, он не мог думать ни о чем, кроме дела, а Аббадабба Берман жил и грезил числами и, помимо собственной воли, он был во власти чисел точно так же, как мистер Шульц — во власти своих страстей.

В первую неделю после моего появления в конторе мистер Берман не раз спрашивал, как меня зовут, где я живу, сколько мне лет и тому подобное. Я был готов наврать в каждом случае, но у меня ничего не получалось. Обращаясь ко мне, он называл меня малыш. Однажды он спросил:

— Эй, малыш, сколько месяцев в году?

Я ответил, что двенадцать.

— О'кей, теперь предположим, что каждому месяцу ты присвоил число, январь — первый, и так далее, понял?

Я сказал, что да.

— О'кей, ты не говори мне, когда у тебя день рождения, а возьми порядковый номер месяца и прибавь его к номеру следующего месяца, понял?

Я все сделал, меня потрясало, что он вообще говорит со мной.

— О'кей, теперь умножь сумму на пять, ясно?

Я подумал мгновенье, а потом сказал, что готово.

— О'кей, теперь умножь на десять и прибавь к результату число твоего дня рождения, усек?

Я усек.

— А теперь скажи вслух получившееся число.

Я сказал, у меня получилось девятьсот пятьдесят девять.

— О'кей,— сказал он,— спасибо, ты родился девятого сентября.

Это было, конечно, верно, и я заулыбался от восхищения. Но он продолжал.

— Я скажу, сколько мелочи у тебя в кармане. Если я угадаю, то она моя, идет? А если не угадаю, то ты получишь от меня вдвое больше, чем имеешь сейчас. Отвернись и пересчитай, но так, чтобы я не видел.

Я сказал ему, что мне считать не надо, я и так знаю.

— О'кей, умножь сумму в уме на два, хорошо?

Я умножил: в кармане у меня было двадцать семь центов, я удвоил число, получилось пятьдесят четыре.

— О'кей, прибавь три, хорошо?

Пятьдесят семь.

— О'кей, теперь умножь на пять, ладно?

Двести восемьдесят пять.

— О'кей, вычти шесть, результат скажи мне.

Я сказал ему, что получилось двести семьдесят девять.

— О'кей, ты только что потерял двадцать семь центов, я прав?

Он был прав.

Я в восхищении покачал головой и заулыбался, но улыбка была вымученной. Я протянул ему мои двадцать семь центов. Видимо, у меня еще теплилась какая-то надежда, что он отдаст их мне, но он положил их в карман и вернулся к своим бумагам, оставив меня наедине с моей метлой. Я понимал, что с таким складом ума он может узнать и мой день рождения, и сколько денег у меня в кармане. А что если ему надо узнать мой адрес? Или номер школы? Все можно перевести в числа, даже имена, если приписать каждой букве число, как в коде. То, что я принял за пустое времяпровождение, оказалось системой мышления, и мне стало не по себе. Они оба умели получить то, что им хотелось. Даже человек, ничего не знавший о мистере Шульце, ни имени его, ни репутации, сразу же догадывался, что тот покалечит или убьет любого, кто встанет на его пути. А Аббадабба Берман все вычислял, определял ставки, он не мог хорошо ходить, но был быстр как молния, потому что все события и исходы, все желания и способы их удовлетворения он переводил в уме в числовые величины, а это означало, что он никогда не брался за дело, не зная, что из него выйдет. Кого же из них опаснее изучать простому мальчишке, делающему первые шаги на пути к тому, чтобы стать человеком? В каждом из них была несгибаемая взрослая воля.

— Попробуй, может, сам составишь один из таких квадратов, это не так трудно, если ухватить основную идею,— сказал мистер Берман, сухо кашлянув сквозь сигаретный дым.

Неделю или две спустя случилось что-то чрезвычайное, мистер Берман рассылал людей и из конторы, и по телефону, и, видимо, люди у него кончились, он позвал меня и написал что-то на клочке бумаги, это был адрес на 125-й улице и имя Джордж. Я тут же сообразил, что пришел мой час. Вопросов я не задавал, даже не спросил, как туда доехать, хотя в Гарлеме никогда раньше не был. Я решил, что поеду в желтом такси и водитель сам найдет дорогу, из чаевых за подметание и другие мелкие поручения я собрал четыре доллара и решил, что потратить их на такси — дело разумное, в частности, потому, что так я смогу показать, насколько я быстр и надежен. Раньше мне не приходилось останавливать на улице такси, и я был слегка удивлен, когда оно затормозило около меня. Я прочитал адрес водителю так, словно всю жизнь ездил на такси, прыгнул в машину и захлопнул дверцу; как следует вести себя в такси, я знал из кино, лицо мое, несмотря на волнение, оставалось бесстрастным; не успели мы проехать с полквартала — я сидел в центре необъятного заднего сиденья из потрескавшейся красной кожи,— как я решил, что отныне такси — мой любимый способ передвижения.

Мы миновали Грэнд-Конкорс и мост над 138-й улицей. По имеющемуся у меня адресу оказался кондитерский магазин, расположенный на углу 125-й улицы и Ленокс авеню. Я велел водителю подождать, так делали люди в кино, но он ответил, что подождет, только если я заплачу то, что уже набило на счетчике. Я заплатил. Войдя в магазин, я сразу же понял, что человек за стойкой с громадным вздувшимся глазом и красным синяком на щеке и есть Джордж; он прижимал к глазу кусок льда, вода бежала сквозь пальцы, будто слезы; этот светло-коричневый негр с седыми волосами и подстриженными усиками выглядел потрясенным, если не убитым; у стойки стояли двое или трое негров, похожих скорее на друзей хозяина, чем на посетителей; хотя

дело и происходило жарким летом, на головах у них были надеты шерстяные шапочки; мое появление радости у них не вызвало. Я старался сохранять спокойствие и вести себя, как подобает настоящему деловому человеку. Посмотрев через окно на черных прохожих, смотревших, в свою очередь, на меня, я заметил, что большое витринное окно расколото надвое по диагонали, а на линолеуме возле газет валялись осколки стекла, и такси на улице тоже было расколото посредине; все раскололось, и эта маленькая темная кондитерская откололась от мистера Шульца, как остров от континента; Джордж полез в контейнер для мороженого под фонтанчиком, вынул коричневый бумажный пакет, завернутый знакомым манером, и бросил его на мраморный прилавок.

— Ничего больше не могу сделать, я теперь на них работаю,— сказал он, прижимая кусок льда к лицу.— Скажи ему, ладно? Ты сам видишь, что происходит, я старался как мог. Скажи ему. У меня все пошло к чертовой матери, ты ему это тоже скажи. Все белые заодно.

И я поехал обратно в Бронкс, вцепившись в пакет обеими руками; внутрь я не заглядывал, хотя и знал, что там лежат сотни долларов; я был счастлив уже тем, что мне доверили официальную роль посыльного, мне было интересно узнать, что произошло с этим парнем Джорджем, но не особенно; я был очень рад, я выполнил поручение без задержки и без всякого страха, и этот Джордж не спросил у меня, кто я такой, и ничего обо мне не сказал, хотя и был очень сердитый; он отнесся ко мне, как к очередному человеку мистера Шульца, профессионалу, ведь лицо мое не выразило и тени эмоций при виде боли и несчастья, я приехал за деньгами и получил их, а сейчас трясся на мосту через реку Гарлем; сердце мое гулко билось от восторженной благодарности за красоту и напряженность моей жизни, а река внизу блестела промышленной грязью, и огни сварки из мастерских на ее берегу сияли бриллиантами на фоне того июльского утра.

Глава шестая

Как я ни был счастлив, завоевав их доверие, должен сказать, что дела банды Немца Шульца шли паршиво, пока Дикси Дейвис, так звали адвоката, на которого мистер Шульц все время кричал, не выработал план сдачи мистера Шульца на милость окружного прокурора. Если вы не знаете всей хитроумной природы этих дел, вам не понять, почему мистер Шульц мечтал попасть под суд, но он спал и видел себя под судом, один раз он даже рвал на себе волосы — и все от отчаяния, что не может отдать себя в руки правосудия, а весь фокус в том, что, пока его не привлекли к суду и не выпустили под залог, он не мог заняться своим бизнесом по-настоящему. Но, с другой стороны, и властям он сдаться не мог, не получив достаточных юридических гарантий, которые увеличивали бы его шансы на суде, например, гарантий, что суд состоится не в Нью-Йорке, где из-за печальной репутации, связанной с его деятельностью, мистеру Шульцу не приходилось рассчитывать на доброе отношение широкой публики, из которой и набирается жюри присяжных. В этом и состояла суть бесконечных переговоров его адвоката с окружной прокуратурой; прежде чем сдаться властям, мистер Шульц хотел гарантий, а пока их не было, он не мог отправиться в тюрьму.

Он сказал мне, что криминальный бизнес, как и любой другой, требует постоянного внимания хозяина; кто, кроме хозяина, печется о деле, следит за прибылью, за тем, чтобы все ловили мышей, и прежде всего за ростом бизнеса, поскольку, как он объяснил мне, предприятие в наши дни не может держаться, оставаясь на прежнем уровне; если оно не растет, оно усыхает, оно похоже на живой организм, который, остановившись в росте, начинает умирать, не говоря уже о специфической природе его предприятия, очень сложного предприятия, связанного не только со спросом и предложением, но и с тонкими управ-

ленческими ходами и дипломатическим искусством, одна выплата жалованья требовала создания специального контрольного отдела; люди, на которых приходилось полагаться, сущие вампиры: если они не получали своих проклятых денег, они начинали отлынивать, становились немыми, растворялись в тумане; в преступном предприятии ты всегда должен быть на виду или ты его потеряешь, все построенное тобой попадет в чужие руки, и, чем лучше и успешнее ты работаешь, тем скорее вонючки попытаются все отнять у тебя; и под вонючками он имел в виду не только судебные власти, но и конкурентов, а в этой области конкуренция была велика и действовали в ней отнюдь не джентльмены, и если они обнаруживали слабость в твоем бастионе, они тут же устремлялись именно туда, и если самый незначительный страж засыпал на своем посту или если кого-то из рядовых караульных можно было сманить с дежурства, я уже не говорю об уходе с командного поста самого хозяина, то ты конченый человек, потому что они двинут свои танки именно в эту брешь, какой бы она ни была, и здесь тебе каюк; они тебя больше не боятся, а без их страха ты покойник на ничейной земле, и от тебя останется так мало, что и в гроб положить будет нечего.

Я принимал эти заботы близко к сердцу, да и как я мог иначе, сидя на зарешеченном заднем крыльце двухэтажного кирпичного здания на Сити-айленде с великим человеком, поверяющим свои беспокойные мысли сироте Билли, малышу, приносящему счастье, потрясенному столь неожиданным доверием. Не узнав меня сначала, он потом вспомнил миг нашего знакомства и мое жонглирование; как же я мог не рассеять его черных дум, не сделать их навсегда своими, не разделить этот мучительный страх потери, сухие рыдания из-за несправедливых обстоятельств, стоическое удовлетворение от собственного терпения и умения предвидеть? Вот, значит, где находится то потайное место, в котором он скрывался, когда покидал защищенные владения — дом из красного кирпича с плоской крышей был похож на другие частные дома этой округи, правда, здесь, на коротенькой улице, он был единственным среди лачуг, как-никак остров принадлежал Бронксу; теперь я был одним из немногих, кто знал, Ирвинг, конечно, тоже знал — все-таки дом его матери — и его престарелая мать, естественно, знала, она бродила вокруг с мокрыми руками, готовила еду и следила за домом, расположенным на тихой боковой улочке с несколькими зимостойкими криптомериями, которые можно найти в любом городском парке, и мистер Берман знал, это он взял меня однажды прокатиться, когда повез мистеру Шульцу выручку и расчеты, что делал каждый день в одно и то же время. Сидя в огороженном дворе, я рассудил, что все соседи на улице, а может, и в нескольких ближайших кварталах тоже, должно быть, знали, как не знать, если на твою улицу пожаловал знаменитый гость и у тротуара день и ночь стоит черная машина с двумя людьми внутри; это был небольшой приморский поселок нью-йоркского типа, впрочем, мало чем похожий на Бронкс с его бесконечными мощеными холмами и низинами, с его жилыми домами, мастерскими, поездами надземки, трамваями и тележками торговцев; это был солнечный остров, и люди здесь должны были чувствовать себя особо, отрешенными от всего, я так и чувствовал себя теперь, словно воспарив над пространством; Саунд казался мне океаном, далеким горизонтом серого моря, вздымавшимся и опускавшимся лениво, как должны вздыматься шифер и камень, оторванные от земли,— с монументальной величавостью такого большого животного, что у него уже нет врагов. По соседству, за проволочным забором, находилась лодочная станция с самыми разными парусными и моторными лодками; одни были привязаны к мосткам, другие вытащены на песок, третьи стояли на якоре за пристанью. Лодка, привлекшая мое внимание, была пришвартована к пристани: ухоженная и готовая к отплытию быстроходная моторная лодка, корпус отделан лакированным красным деревом, сиденья — из тисне-

ной красновато-рыжей кожи, лобовое стекло украшено бронзой, рулевое колесо как на легковой машине, на корме развевается маленький американский флаг. В заборе между домом и лодочной станцией, как раз на береговой кромке, зияла дыра, оттуда к пристани шла тропинка, и я понял, что все это сделано для бегства мистера Шульца, если, конечно, дойдет до этого. Я восхищался такой жизнью, жизнью, полной опасностей, проводимой в неповиновении властям, которые не любят тебя и ищут случая уничтожить, а ты должен защищаться, используя деньги, людей, оружие, покупая союзников, охраняя границы, будто в штате, вышедшем из федерации, рассчитывая только на свою волю, сообразительность и боевой дух, жизнью прямо в логове страшного зверя, в само́м логове.

Больше всего меня волновала жизнь, сознательно сотканная из опасностей, из постоянного соседства со смертью, вот почему люди на этой улочке никогда не предадут, его присутствие делало честь каждому, он был средоточием жизни и смерти, озарением, которое лучшие из них могут испытать лишь в церкви или в первые мгновения романтической любви.

— Видит Бог, мне пришлось все самому зарабатывать, никто не дал мне и цента, все, что я сделал, я сделал собственными руками,— произнес мистер Шульц. Он сидел, размышляя о своей судьбе и посасывая сигару.— Что и говорить, ошибки у меня были, иначе не научишься, сидел я, правда, только один раз, в семнадцать лет, я попал на остров Блэкуэлл за грабеж, адвоката у меня не было, так что я получил нефиксированный срок, то есть мое освобождение зависело от того, как я буду себя вести,— а это было по мне. Если бы меня защищал один из тех новоиспеченных адвокатов, что я имею сейчас, то, уверяю тебя, меня бы упрятали туда на всю жизнь. Эй, Отто? — позвал он, смеясь, но мистер Берман заснул на стуле, прикрыв лицо панамой, я думаю, что ему уже приходилось слышать жалобы мистера Шульца на то, как тяжело тому живется.

— Но будь я проклят, если ты подумал, будто я лизал им жопу, чтобы выйти оттуда, я им устроил веселую жизнь, такой крепкий орешек им оказался не по зубам, и они отослали меня в исправительную школу, на ферму с коровами и прочим дерьмом. Ты когда-нибудь был в исправительной школе?

— Нет, сэр.

— На пикник не похоже. Я был небольшой парнишка, вроде тебя, худющий, а там было немало головорезов. Я уже тогда понимал, что репутацию надо создавать сызмальства, пока еще есть время. Так что моего закала хватало на десятерых. Шутить я не любил. Я искал драк. Я приставал к самым большим парням. И горе было тем говноедам, которые решались связаться со мной, парочка таких об этом пожалела. Я даже убежал из этого треклятого места, что было нетрудно, я перелез через забор, и, прежде чем они поймали меня, целые сутки провел в лесу, за это мне добавили пару месяцев; потом я достал ядовитый плющ, вымазался им с ног до головы и все время ходил в этом вредоносном зелье, словно чокнутый зомби. Когда я, наконец, вышел оттуда, они вздохнули с облегчением, можешь мне поверить. В какой ты банде?

— Ни в какой, сэр.

— А как же ты хочешь чего-нибудь добиться, чему-то научиться? Я беру людей только из банд. Это хорошая школа. Ты когда-нибудь слышал о банде «Лягушачья Дыра»?

— Нет, сэр.

— Боже! Это была самая знаменитая изо всех старых банд Бронкса. Что происходит с молодежью? Это банда первого Немца Шульца, ты разве не знаешь? Лучшего уличного драчуна всех времен и народов. Он откусывал носы. Выдирал с корнем яйца. Когда я вернулся из исправиловки, мою банду назвали его именем. Класс! Это означало, что

свое я отбыл, получил закваску и окончил школу отличным сукиным сыном. С тех пор меня и зовут Немцем.

Я откашлялся и поглядел сквозь решетку забора и кусты боярышника на воду, где небольшая яхта с треугольным парусом, казалось, плыла в дрожащем мареве.

— У нас там несколько банд,— сказал я,— но большей частью в них одни тупые вонючки. Я не хочу платить за чужие ошибки, а только за свои. В наши дни настоящую учебу можно пройти только на самом верху.

Я затаил дыхание. И, разглядывая свои ботинки, не смел поднять на него глаз. Я чувствовал на себе его взгляд. Вдыхал запах его сигары.

— Эй, Отто,— сказал он,— просыпайся же, черт возьми, так ты проспишь кое-что интересное.

— Да? Ты так думаешь?— откликнулся мистер Берман из-под своей шляпы.

Все происходило не сразу, но происходило ночью и днем, временных правил не было, плана тоже, но вот случалось что-то важное, и, где бы это ни было, мы мчались туда на машине, и когда ты в такие моменты смотрел из окна на жизнь, она принимала странный вид: если, допустим, светило солнце, то оно светило слишком ярко, а если была ночь, то кромешно-темная; весь мир, казалось, замышлял против тебя, и, по какой-то абсолютной моральной необходимости, все естественное вокруг тебя превращалось в свою противоположность. Мое желание исполнилось, я проходил обучение на самом верху. Я помню, например, как меня высадили на углу Бродвея и 49-й улицы, приказав не уходить и смотреть в оба. Вот и все, что было сказано, но каждое слово весило много. Одна из машин рванулась с места, и больше я ее не видел, другая, с мистером Берманом, начала объезжать квартал, появляясь регулярно каждые несколько минут; обычный черный массивный седан «шевроле», незаметный в потоке черных автомобилей и желтых, ищущих пассажиров такси в шашечку, двухэтажных автобусов и относительно пустых трамваев, и ни водитель Микки, ни мистер Берман не замечали меня, проезжая мимо, из чего я понял, что тоже не должен смотреть на них. Я стоял в портале еще закрытого ресторана Джека Демпси, было что-то около девяти или полдесятого утра, и Бродвей выглядел еще достаточно свежим, газетные киоски, лотки с кока-колой и сосисочные уже работали, а из магазинчиков только те, где продают маленькие свинцовые копии статуи Свободы. На другой стороне 49-й улицы на втором этаже находилась танцевальная студия, через большое полуоткрытое окно которой было слышно, как кто-то наигрывал на фортепиано «Прощай, черный дрозд». Есть ведь и обычный, а не увеселительный Бродвей, есть на Бродзее и жители, которых можно увидеть утром до открытия дешевых магазинчиков и баров и которые живут в квартирах над кинотеатрами и выходят с собаками на поводках купить программку бегов, газету «Миррор» или бутылку молока. Есть и поставщики хлеба, которые носят лотки с батонами и большие мешки с булочками в бакалею, есть и мясные фуры с парнями, которые берут большие туши говядины на плечи и бросают их на транспортеры, ведущие в подвалы под ресторанами. Я продолжал наблюдать и заметил дворника с большой метлой и в летней белой шляпе с оранжево-зеленым кантом, который с видом хозяйки, убирающей свою кухню, сгребал на широкую лопату лошадиный помет, бумажки, грязь и хлам бродвейской ночи и кидал все это в большой мусорный бак на двухколесной тележке. Немного позднее приехала поливалка, разбрызгивая воду, и улицы посвежели и засияли, почти одновременно я увидел, как зажглась гирлянда электрических лампочек на театре Лува, что находился на несколько кварталов дальше, там, где Бродвей встречается с Седьмой авеню. Солнце било в глаза, мешая прочитать бегущую элек-

трическую строку на здании «Таймс» на Таймс-сквер. Снова появился черный «шевроле», и на этот раз мистер Берман посмотрел на меня, и я забеспокоился, пытаясь понять, зачем же я должен смотреть в оба, но уличное движение было, как всегда, не особенно большим, и люди на тротуарах шли по своим делам без особой спешки; появился человек в костюме с галстуком и корзиной яблок на плече, он остановился на углу и укрепил табличку «ЯБЛОКИ, 5 ЦЕНТОВ ЗА ШТУКУ»; утро теплело, и я подумал: а может, то, что мне надо, находится в витрине за моей спиной, где висела большая фотография Джека Демпси на ринге в Маниле в окружении тысяч болельщиков, там были и другие фотографии великого человека, пожимающего руки таким знаменитостям, как Джимми Дюранте, Фэнни Брайс и Руди Вэлли, но вдруг в отражении ресторанной витрины я увидел здание на другой стороне улицы и, повернувшись, заметил, как на пятом или шестом этаже на подоконник с ведром и губкой вылез мужчина и прикрепил свой страховочный ремень к торчащим из кирпичной стены крючьям, потом откинулся, опираясь на ремень, и начал широко водить маленькой губкой по стеклу, а затем заметил еще одного мужчину на другом подоконнике, этажом выше, который стал делать то же самое. Я наблюдал за мойщиками окон, и вдруг до меня дошло, что смотреть в оба я должен именно за этими людьми, работающими высоко над землей. На тротуаре под ними стоял предупредительный знак в виде буквы «А», который советовал прохожим быть внимательнее, поскольку над их головами идет работа, знак этот мойщики окон устанавливали от имени своего профсоюза. Я уже пересек Бродвей и находился теперь на юго-западном углу 49-й улицы и Седьмой авеню и смотрел на парней наверху, двое из них работали в люльке, свисающей на веревках с крыши где-то на высоте пятнадцатого этажа; это было удобно, поскольку на верхних этажах окна особенно большие, страховочный ремень их перекрыть не мог. Именно эта люлька с двумя мужчинами, губками, ведрами и тряпками неожиданно накренилась, веревка с одной стороны взмыла вверх, и двое парней, размахивая руками, начали вываливаться из нее. Один из них полетел вниз, переворачиваясь в воздухе. Не знаю, закричал ли я, видел или слышал ли кто еще, что произошло, но когда бедняге оставалось пролететь еще несколько этажей до земли, несколько секунд до смерти, вся улица уже знала. Движение остановилось, словно наткнувшись на непреодолимое препятствие. Раздался всеобщий вопль, крик осознания катастрофы каждым пешеходом на много кварталов вокруг, будто все мы давно следили за происходящим над нашими головами и несчастье почувствовали тотчас же. Тело плашмя ударилось о крышу автомобиля, припаркованного около здания, звук удара был похож на пушечный выстрел, раздался страшный взрыв ряда из костей и плоти, и что было ужаснее всего, от чего я вообще чуть не задохнулся — он двигался, парень с переломанными костями дернулся в образованной им выемке металла и медленно изогнулся, словно червь на раскаленном металле, только после этого ничтожные остатки невыразимо цепкой жизни покинули его тело через подрагивающие пальцы.

Мимо меня по 49-й улице проскакал полицейский на лошади. Второй мойщик окон все еще болтался, держась за край полуоторвавшейся люльки, он дрыгал ногами в поисках несуществующей опоры и сопровождал криками свое непредсказуемое и опасное раскачивание. Какая сила живет в руках человека, висящего на высоте восьми-десяти этажей над землей, в его пальцах, в самых их кончиках, за что мы цепляемся в этом мире, который вдруг разверзается под нами с раскатистым и гулким грохотом, открывая грешную бесконечную бездну — в воздухе, в воде, в заасфальтированной земле? Отовсюду съезжались бело-зеленые полицейские автомобили. С соседней улицы на Бродвей поворачивала пожарная машина с лестницей. У меня перехватило горло, я был заворожен катастрофой.

— Эй, малыш!

Позади меня, у тротуара на Бродвее, стоял «шевроле» мистера Бермана. Дверца открылась. Я пробежал несколько домов, сел в машину, захлопнул дверцу, и водитель Микки рванул с места.

— Не лови ворон, малыш, оставь это занятие ротозеям,— сказал мистер Берман. Он был недоволен мной.— Тебе не достопримечательности поручали осматривать. Где тебе сказали стоять, там и стой.

Я удержался и не бросил взгляд назад, что в другом случае сделал бы обязательно, даже зная, что мы уже отъехали слишком далеко. Я почувствовал в себе достаточно выдержки, чтобы молча сидеть на заднем сиденье и смотреть вперед.

Обычно Микки, если, конечно, не переключал скорость, держал обе руки на руле. Вообразив рулевое колесо циферблатом часов, можно сказать, что он держал их на десяти и двух часах. Машину он вел спокойно, но не медленно, из потока не вырывался, другим не мешал. На желтый проскочить не пытался, трогался с места плавно. Водитель Микки был отменный; наблюдая за ним, вы понимали разницу между дилетантом и профессионалом. Сам я, конечно, водить машину не умел, откуда? Но понимал, что Микки едет на скорости сто миль в час столь же уверенно и безопасно, как и на тридцати, и что машина выполнит любое его требование, и теперь, вспоминая падение несчастного мойщика окон, в профессионализме Микки я видел молчаливый упрек себе, подтверждавший замечание мистера Бермана.

Мне кажется, что до самой смерти Микки я не обмолвился с ним ни единым словом. Он, видимо, стыдился своей речи. Его ум заключался в мясистых руках и глазах, которые лишь на миг можно было увидеть в зеркале заднего вида. Глаза у него были бледно-голубые, голова — совершенно лысая, с оттопыренными ушами, шея — вся в складках. Когда-то он был профессиональным боксером, но далее предварительных боев в клубных турнирах никогда не продвигался. Его наивысшим достижением считался нокаут от Малыша Шоколадки (в самом начале карьеры последнего) на Джероум-арене, которая находится как раз напротив стадиона «Янки». Во всяком случае, я так слышал. Не знаю почему, но мне хотелось плакать обо всех нас. Микки привез нас в какой-то гараж для грузовиков в районе Вест-сайда, и, пока мы с мистером Берманом пили кофе в закусочной, заменил «шевроле» на другую машину. Это был «нэш» с черно-оранжевыми номерами.

— Никто не умирает безгрешным,— сказал мне мистер Берман в закусочной.— И, поскольку это касается всех, мы тоже должны готовиться к такому исходу.— Он бросил на стол одну из маленьких числовых игр — коробочку с шестнадцатью квадратиками и пятнадцатью перенумерованными квадратными же пластиночками, которые надо расставить в порядке возрастания номеров, передвигая по коробочке. Трудность в том, что для маневра есть всего одна пустая клеточка: причем она, как правило, расположена так, что задача становится невыполнимой.

Для меня это было похоже на вступление в армию, я, образно говоря, обратился с прошением и подписал договор. Первое, что я усвоил,— это отсутствие привычного разделения дня и ночи, все жили так, будто день и ночь различались только степенью освещенности. Самый темный и тихий час был всего лишь недостаточно светлым.

Никто и никогда не пытался объяснить, почему делается так, а не иначе, никто не искал никаких оправданий. У меня хватало ума не задавать вопросов. Но вместе с тем я понял сразу, что здесь придерживались своей строгой этики, тут испытывали обиды, тут были в ходу нормальные представления об оскорбленной справедливости, убеждения о добре и зле — при непременном условии, что ты принимал первую

сугубо извращенную посылку. Вот эту посылку мне и предстояло усвоить. Я обнаружил, что легче всего мне это давалось при мистере Шульце; хотя бы на какое-то время все становилось ясно. Я решил, что до сих пор пытался только понять эту посылку, но не почувствовать ее, а присутствие мистера Шульца доказывало — понимание без чувства мертво.

Постепенно я выяснил, что ход дела определялся в тихие послеобеденные часы на задней веранде дома в Сити-айленд. Я расскажу сейчас об Эмбасси-клубе мистера Шульца. Это было одно из его владений, секрета из этого никто не делал, его имя было выведено на причудливом тенте на 56-й улице в Ист-сайде, между Парк авеню и Лексингтон авеню. Я часто читал о ночных клубах в газетных колонках светской хроники, и о посетителях из высшего света, и о шутливых названиях некоторых этих заведений, о звездах кино, актерах и актрисах, которые приходили туда после работы, бейсболистах, писателях и сенаторах, я знал, что там бывают развлекательные программы с оркестрами и хористками или негритянскими исполнительницами блюзов, что в таких местах есть вышибалы для тех, кто плохо себя ведет, и девушки, которые продают сигареты с лотка, разгуливая по залу в одних чулках и маленьких смешных шляпках величиной со спичечный коробок, я все это знал, хотя никогда и не видел.

Поэтому, когда меня послали работать туда помощником официанта, я обрадовался. Вы только подумайте, мальчишка работает в ночном клубе в самом центре города. Но, поработав неделю, я понял, что это никак не похоже на то, что я ожидал. Во-первых, за все время я не видел там ни одного знаменитого человека. Люди приходили поесть, попить, послушать небольшой оркестрик и потанцевать, но люди эти были незначительные. Тут уж я уверен, потому что они все время оглядывались, разыскивая знаменитостей, ради которых сюда и пришли. Бóльшую часть ночи клуб оставался полупустым, если не считать времени около одиннадцати часов вечера, когда начиналось представление. Помещение освещалось голубыми лампами, вдоль стен стояли скамьи, а вокруг небольшой танцевальной площадки — столы с голубыми скатертями; была там и маленькая сцена без занавеса, на которой играл оркестр, точнее, оркестрик — два саксофона, труба, пианино, гитара и ударные — и гардеробщица, а вот девушек с сигаретами не было, да и ночные репортеры не приходили копаться в грязном белье знаменитостей, поскольку ни Уолтер Уинчелл, ни Деймон Раньон сюда не заглядывали; клуб был мертв, а мертв он был просто потому, что в нем не мог появиться мистер Шульц. Он был приманкой. Люди любят бывать там, где что-то происходит или может произойти. Они любят силу. Бармен стоял за стойкой, сложив руки на груди, и зевал. За самым плохим столом, около двери, где сквозило, каждый вечер сидели два помощника прокурора, заказав по стакану лимонада, к которому они не притрагивались и лишь наполняли пепельницы, которые я добросовестно опустошал. На меня они не смотрели. Никто не смотрел на мальчишку в коротком темно-бордовом пиджачке и галстуке-бабочке; я был настолько ничтожен, что едва ли воспринимался всерьез. Я хорошо себя чувствовал в ночном клубе и стал даже внутренне гордиться тем, что старые официанты меня в упор не видят. Это повышало мою ценность. Потому как мистер Берман прислал меня сюда с привычным заданием смотреть в оба. И я смотрел, и понял, какими идиотами бывают посетители ночных клубов, и как им нравится платить за бутылку шампанского двадцать пять долларов, и получать у метрдотеля столик, сунув ему в руку двадцатку, хотя пустых столиков так много, что он бесплатно посадил бы их почти за любой. Зал был узкий, сцена без кулис, так что между номерами оркестранты выходили на воздух в переулок, все они курили марихуану, даже солистка, и на третий или четвертый вечер она сунула мне под нос окурок; я затянулся им, как это делали они, и вдохнул в себя едкий горький чай, в горле появилось такое ощущение,

словно я горячие угли проглотил, я, конечно, закашлялся, а они засмеялись, но смех был добрый; все, кроме певицы, были белые, не намного старше меня, я не знал, за кого они меня принимали, может, думали, что я подрабатывающий на жизнь студент колледжа, и я им не мешал так думать, мне не хватало только пары очков в роговой оправе, какие носил Гарольд Ллойд, и тогда видок у меня был бы что надо. В кухне, хотя это уже совсем другая история, шеф-поваром работал негр, он курил сигареты, пепел от которых падал на жарившееся мясо, у него был большой мясницкий нож, и он грозил им обижавшим его официантам и другим поварам. Сердился он постоянно, ярость в нем загоралась так же быстро, как вспыхивает жир, стекающий с мяса на жаровню. Не боялся его только мойщик посуды, старый, седой, хромой негр, опускавший руки в обжигающую мыльную воду, не поморщившись. Я с ним все время был связан, поскольку приносил ему грязную посуду. Он ценил, что я хорошо очищаю ее от объедков. Мы оба уважали профессиональную работу. На кухне приходилось двигаться осторожно — пол был жирный, как в гараже. На стенках неподвижно сидели тараканы, можно было подумать, что они приклеены, липкая бумага, свисавшая с электропроводов, стала совершенно черной, по столам, от одной продуктовой коробки к другой, время от времени пробегала мышь. Вот что скрывалось за дверьми залитого голубым светом Эмбасси-клуба.

Когда выдавалась возможность, я останавливался послушать певицу. У нее был приятный тонкий голосок, исполняя песни, она смотрела куда-то вдаль. Под ее песни всегда танцевали, женщинам нравились истории о потерях и одиночестве, о возлюбленных, не отвечавших взаимностью. «Любимый мой принадлежит другой». «Песни нежные свои он поет теперь не мне». Она стояла перед микрофоном и пела, почти не жестикулируя, может, из-за травки, которую курила, правда, иногда, в самые неподходящие моменты, она подтягивала вверх свое сатиновое прямое платье, словно боялась, что даже самые незначительные движения могут оголить ее грудь.

Каждое утро около четырех или половины пятого приезжал мистер Берман, свежий, как утренняя заря, и одетый в продуманную гамму пастельных тонов. К этому времени все уже расходились — и помощники окружного прокурора, и официанты, и оркестр, бар был открыт чисто номинально, разве что дежурный полицейский, не снимая шляпы, пил «на посошок» перед тем, как отправиться домой. Я должен был снять скатерти со столов, поставить на столы стулья, чтобы уборщицы, которые придут позднее, смогли пропылесосить ковер, почистить и натереть пол танцплощадки. После этого меня вызывали в подвал, где в точности под залом находился маленький кабинет с пожарной дверью и нишей, из которой железная лестница вела в переулок. И в этом кабинете мистер Берман проверял ночную выручку и расспрашивал меня о том, что я видел. А я ничего не видел, если не считать новой для меня ночной жизни Манхэттена, за неделю все перевернулось, я заканчивал работу на заре, а спать ложился уже днем. Я видел веселое времяпровождение и относительно свободную трату денег, не зарабатывание и сбор, как на 149-й улице, а трату, превращение их в голубой свет, необычные одежды и бесчувственные песни о любви. Я видел, как девушка-гардеробщица платила деньги мистеру Берману за свою работу, хотя должно было быть наоборот, но ей, кажется, все равно было выгодно, поскольку каждую ночь она уходила с новым мужчиной, который ждал ее под тентом на улице. Но мистер Берман, задавая свой вопрос, имел в виду не это. Я видел в воображении, как моя очаровательная маленькая подружка Ребекка, одетая в туфли на высоких каблуках и в черное кружевное платье, танцует со мной под песни негритянки. Мне казалось, что я ей должен понравиться в моем коротком форменном пиджачке. После ухода мистера Бермана я спал в его кабинете и видел себя во сне с Ребеккой, и мне не надо было ей за это платить. Во сне

я был настоящим гангстером, и поэтому она любила меня и получала удовольствие от того, что я с ней делаю. Но мистер Берман, конечно, имел в виду совсем другое. Очень часто я просыпался утром в липкой слизи, что создавало проблему чистого белья, которую я решил, как и подобает жителю Бродвея — нашел китайскую прачечную на Лексингтон авеню, а носки, белье, рубашки и трусы я покупал себе на Третьей авеню под надземкой. Для меня она была похожа на мою Третью авеню в Бронксе. В ту неделю я чувствовал себя неплохо. В центре города мне было хорошо, центр не очень отличался от Бронкса, он был тем, чем Бронкс хотел стать, мне хватало здесь и незнакомых улиц, и работы, за которую я получал двенадцать долларов в неделю; мистер Берман платил мне из своего кармана за собирание грязной посуды и смотрение в оба, хотя на что мне смотреть, я не знал. На третий или четвертый день я уже редко вспоминал тело мойщика окон, которое летело, переворачиваясь в воздухе, со здания на Седьмой авеню. В Истсайде менялись даже воспоминания. Просыпался я обычно около полудня, потом поднимался по железной лестнице в переулок, поворачивал за угол, проходил несколько кварталов до кафетерия на Лексингтон авеню, где в это время обедали водители такси. Завтракал я обильно. Затем покупал булочки для стариков, которых хозяин кафетерия пытался вытолкать за вращающуюся дверь. Размышляя о своей жизни, находил, что мне не за что себя корить, разве только за то, что не навещаю мать. Однажды я вызвал ее к телефону кондитерской на углу нашего квартала и сказал, что мне надо на какое-то время уехать, но я не уверен, что она поняла меня. На то, чтобы найти ее и привести к телефону, ушло пятнадцать минут.

Это был период относительного мира и спокойствия.

Однажды ночью я смог, наконец, рассказать мистеру Берману, что приходил Бо Уайнберг с компанией, поужинал и заплатил оркестру, чтобы исполнили пару песен по его выбору. Узнал я его по оживлению официантов. Мистер Берман не удивился.

— Бо снова придет,— сказал он.— Неважно, с кем он сидит. Смотри, кто сидит у стойки рядом с дверью.

Так я и сделал пару вечеров спустя, когда Бо вновь появился с симпатичной блондинкой и еще одной интересной парой — хорошо одетым светловолосым мужчиной с пышной прической и брюнеткой. Они заняли лучший столик рядом с оркестром. Посетители, пришедшие повеселиться, понимали, что им повезло в тот вечер. И дело не только в том, что Бо прекрасно выглядел, а он именно так и выглядел — высокий, сильный, смуглый мужчина с блестящими белыми зубами, ухоженный до кончиков ногтей, а в том, что, казалось, он впитывал в себя весь свет, так что голубой превратился в красный, и все остальные посетители на его фоне побледнели и скукожились. Он и его компания были при параде, словно пришли из какого-то важного места, например, из оперы или театра на Бродвее. Он здоровался то с одним, то с другим и вел себя так, словно был здесь хозяином. Музыканты пришли пораньше, начались танцы. И вскоре Эмбасси-клуб стал таким, каким в моем представлении и должен быть настоящий ночной клуб. Через несколько минут зал наполнился, словно весь Нью-Йорк сбежался. Люди подходили к столу Бо и представлялись. Мужчина, с которым пришел Бо, оказался знаменитым игроком в гольф, но его имя мне ничего не говорило. Гольф — не мой вид спорта. Женщины смеялись, сделав одну-две затяжки, тушили сигарету, и я тут же менял пепельницу. Странно, но чем больше набивалось людей, чем громче звучали музыка и смех, тем вместительнее становился Эмбасси-клуб, пока, наконец, он не превратился в средоточие мира; я хочу сказать, что вне его уже ничего не было — ни улицы, ни города, ни страны. В ушах у меня звенело, и, хотя я был всего лишь мальчиком на побегушках, когда в зале

появился Уолтер Уинчелл и подсел на несколько минут к столику Бо, я почувствовал себя счастливым, впрочем, Уинчелла я почти не видел, поскольку с ног сбился от работы. Позднее Бо Уайнберг обратился прямо ко мне, попросив сказать официанту, чтобы тот освежил напитки помощников окружного прокурора, сидевших на сквозняке за столиком у двери. Это вызвало большое веселье. Далеко за полночь, когда они решили поесть и я подошел к их столу, чтобы положить серебряными щипцами им на тарелки маленькие твердые булочки — у меня уже это здорово получалось,— мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не схватить три или четыре булочки и не начать жонглировать ими под музыку, в тот момент это был «Лаймхаус блюз», который оркестр исполнял очень величественно и размеренно. «О, малыш из Лаймхауса, мой малыш, ты идешь проторенной дорогой».

И при всем при том я никогда не забывал о поручении мистера Бермана. Человек, пришедший незадолго до появления Бо Уайнберга и севший в конце стойки, был не Лулу Розенкранц с бровями вразлет, и не Микки с оттопыренными ушами, и не кто-либо из тех, кого я видел в грузовиках или в конторе на 149-й улице, короче говоря, в организации я его не видел. Это был маленький толстый мужчина в двубортном перламутрово-сером пиджаке с большими лацканами, зеленом атласном галстуке и белой рубашке, пробыл он недолго, выкурил пару сигарет и выпил бокал минеральной воды. Он, казалось, тихо наслаждался музыкой. Сидел он молча, погруженный в свои мысли, его мягкая шляпа лежала на стойке бара рядом с ним.

Позднее, когда утро проникло в подвальный кабинет, мистер Берман оторвался от стопок кассовых чеков, сказал «Ну?» и посмотрел на меня сквозь очки своими карими, с голубой каймой глазами. Я заметил, что тот человек пользовался собственными спичками и оставил коробок в пепельнице; когда он ушел, я вынул коробок из мусорного ящика за баром. Но время доказательств еще не пришло. Достаточно было только сделать основную аттрибуцию.

— Он не отсюда,— сказал я.— Этот хмырь из Кливленда.

В то утро спать мне не пришлось. Мистер Берман послал меня позвонить из телефонной будки, я набрал номер, который он дал, и после трех гудков повесил трубку. Возвращаясь, я захватил кофе и булочки. Появились уборщицы и навели чистоту в клубе. Теперь внутри было приятно и спокойно, все огни, кроме лампочки над баром, были погашены, кое-какой свет пробивался с улицы и через занавеси входных дверей. Среди прочего я научился понимать, когда я должен быть под рукой и на глазах, а когда под рукой и не на глазах. Теперь я выбрал второе, возможно, потому, что мистер Берман был не расположен говорить со мной. В утренних сумерках я сидел наверху около бара один, усталый как черт, не без гордости думая о том, что я сделал полезное дело, которое называлось, как я уже знал, опознанием. Но затем неожиданно появился Ирвинг, а это означало, что где-то неподалеку и мистер Шульц. Ирвинг зашел за стойку, положил в стакан немного льда, разрезал лайм на четыре части и выдавил сок в стакан, затем наполнил стакан из сифона сельтерской водой. Проделав все это самым тщательным образом — на стойке бара остался только круглый влажный след от стакана,— Ирвинг выпил свой напиток залпом. Потом он вымыл стакан, вытер его полотенцем и поставил под прилавок. В этот миг мне пришло в голову, что мое самодовольство неразумно. Оно покоилось на вере в то, что я являюсь субъектом собственного опыта. А потом, когда Ирвинг пошел открыть входную дверь, в стекло которой кто-то уже стучал несколько минут, и впустил неуместного здесь городского пожарного инспектора, выбравшего именно это время, а причина была разве что в словах, которые искристым утром нежно прошептал ветерок в великом каменном городе, словах о том, что один

вождь умер, а другой умирает, которые разнеслись, будто пыльца с маленьких пустынных цветочков и исполнили пророчества древних племен; еще до того, как это произошло, я понял, к чему может привести ошибка в рассуждении, я понял, что предположение опасно, что уверенность смертельна, что этот человек преувеличивает свое значение в теории инспекций, и тем более в системе пожаров. Ирвинг был уже готов выложить ему деньги из собственного кармана, и парня через минуту и след бы простыл, но случилось так, что как раз в это время мистер Шульц поднимался снизу, ознакомившись с утренними новостями. В другой ситуации мистер Шульц оценил бы наглость этого человека и отсчитал бы ему несколько долларов. Или, возможно, сказал бы, что ему, гаду вонючему, с таким дерьмом лучше бы сюда не соваться. Или, раз тебе что-то не нравится, жалуйся в свое управление. Он мог сказать, что я, мол, сейчас позвоню, и из тебя, ублюдка, отбивную сделают. Но вместо этого он зарычал от ярости, сбил инспектора с ног, сломал ему шею и раскроил череп о пол танцплощадки. Вот что стало с молодым курчавым парнем — кроме молодости и курчавости в рассветных сумерках я больше ничего не разглядел; он, видимо, был всего на несколько лет старше меня, и у него — кто знает? — могли быть жена и ребенок в Квинсе, и он, как и я, мог иметь планы на жизнь. Я еще никогда не видел убийства так близко. Я даже не знал, сколько времени прошло. И самым невероятным были звуки — пронзительные, какими иногда бывают крики женщин в постели, только эти оскорбляли идею жизни, оскорбляли и унижали. Мистер Шульц поднялся с пола и отряхнул пыль с колен. На нем не было и пятнышка крови, хотя она струйками растекалась по полу и стояла лужей вокруг головы убитого. Мистер Шульц подтянул брюки, поправил волосы и галстук. Дышал он тяжело и прерывисто. Казалось, он вот-вот расплачется.

— Уберите отсюда это дерьмо,— сказал он, обращаясь и ко мне тоже. А потом ушел вниз.

Я был не в силах пошевелиться. Ирвинг велел мне принести из кухни пустой мусорный бак. Когда я вернулся, он уже сложил тело пополам, привязав голову к лодыжкам пиджаком этого парня. Теперь я думаю, что Ирвингу пришлось сломать позвоночник убитого, чтобы сложить тело так компактно. Лицо мертвого инспектора закрывал пиджак. Это принесло мне большое облегчение. Торс был все еще теплый. Мы впихнули тело в жестяной мусорный бак головой вверх, а оставшееся пустое пространство заполнили древесной стружкой, в которую упаковывают бутылки французского вина, кулаками забили поплотнее крышку и выставили бак наружу, как раз когда на 56-ю улицу выехал мусоровоз. Ирвинг перебросился парой слов с водителем. Мусор из коммерческих учреждений убирают частные фирмы, муниципалитет обслуживает только граждан. Двое парней подают снизу баки тому, кто стоит на платформе среди мусора. Он вываливает содержимое бака и бросает пустой бак тем, что внизу. С грузовика сбросили все баки, кроме одного, и даже если бы вокруг толпились люди, которых, естественно, не было,— кому захочется прохладным летним утром наблюдать за уборкой вчерашнего мусора; моторы гудят, баки с грохотом швыряют на тротуар — никто бы и не заметил, что грузовик уехал с одним полным баком, который утопили в дурно пахнущих остатках пленительной ночи, и уж тем более не смог бы вообразить, что через час-другой трактор зароет этот бак глубоко под вожделенную поживу морских чаек, летающих кругами над насыпным берегом Флашинг-Медоу.

Ирвинга и Аббадаббу Бермана угнетала незапланированность убийства. Я видел это по их лицам. Их мучил не страх будущих осложнений и не профессиональное беспокойство. Дело в том, что несчастных идиотов, которые имеют собственную точку зрения на сильных мира сего, а точнее, свое убогое представление о сильных мира сего, убивать

необязательно. Этот парень в криминальном бизнесе практически не участвовал. Через какое-то время даже мистер Шульц помрачнел. Он выпил пару коктейлей «черри хирингс», которые приготовил для него Ирвинг. Он понимал, что причиняет вред и себе, и другим, но ничего поделать с собой не мог. Он своим гневом будто бы и не управлял.

— Не могу терпеть, когда лезут в карман на людях,— сказал он.— Ирвинг, ты помнишь Норму Флой, эту язву, которая стоила мне тридцать пять тысяч долларов? Она набросилась на меня из-за дерьмового инструктора по верховой езде. И что я сделал? Я рассмеялся. Ей это было только на руку. Конечно, если она когда-нибудь попадется мне, я вышибу ей все зубы до единого. А может, и нет. Эти типы выставляют все напоказ. Сначала говенные пожарные инспекторы. Дальше кто, почтальоны?

— У нас еще есть время,— сказал мистер Берман.

— Знаю, знаю. Но любое положение лучше нынешнего. Я больше не могу. Я слушал слишком многих адвокатов. Ты знаешь, Отто, что федеральные прокуроры не дадут мне заплатить налоги, которые я им должен.

— Знаю.

— Я хочу еще раз встретиться с Дикси. И мне надо все выяснить с Хайнсом. После этого мы выйдем навстречу тому, что нас ждет.

— У нас есть еще кое-какие ресурсы,— сказал мистер Берман.

— Это верно. Мы должны сделать пару необходимых шагов, а потом будь что будет. Эти сукины сыны у меня попляшут. Они еще попомнят Немца Шульца.

Мистер Берман вывел меня на улицу, мы встали рядом с пустыми мусорными баками у тротуара. Он сказал следующее:

—Предположим, что у тебя есть числа от одного до ста, сколько стоит каждое число? Понятно, что одно число является единицей, а другое — девяносто девятью, равное девяносто девяти единицам, но каждое из них в ряду сотни чисел стоит только одну сотую сотни, понял?

Я сказал, что понял.

— Хорошо,— сказал он,— теперь выброси девяносто из этих чисел и оставь десять, неважно каких, допустим, пять первых и пять последних, сколько теперь будет стоить каждое число? Это зависит не от того, какое оно, а только от его доли в целом, понял?

Я сказал, что понял.

— Поэтому чем меньше чисел, тем больше каждое сто́ит, верно? И каким бы ни было это число само по себе, золотой эквивалент зависит от того, с какими другими числами оно соседствует. Ты понимаешь, что я имею в виду?

Я сказал, что да.

— Ладно, обдумай все это. Число может выглядеть одним образом, а означать другое. Число может быть одно, а стоить как другое. Ты, наверное, думал, что число есть число и все. Но вот тебе простой пример, что это не так. Пойдем прогуляемся. Ты выглядишь ужасно. Совершенно зеленый. Тебе надо подышать свежим воздухом.

Мы повернули на восток, вышли на Лексингтон авеню, пересекли ее и направились к Третьей авеню. Мы двигались очень медленно, иначе с мистером Берманом нельзя. Он шел слегка раскачиваясь.

— Я скажу тебе свое любимое число, но ты попробуй сначала догадаться,— сказал он.

— Я не знаю, мистер Берман,— ответил я.— Не могу догадаться. Может, это число, из которого вы умеете сделать все остальные?

— Неплохо,— сказал он,— только для этого сгодится любое число. Нет, мое любимое число — десять, и знаешь почему? Оно имеет в себе равное число четных и нечетных чисел. Оно содержит единицу и отсутствие единицы, которое ошибочно называют нулем. Оно содержит пер-

вое четное и первое нечетное числа, а также первый квадрат. Первые четыре числа в сумме равны ему самому. Десять — это мое счастливое число. У тебя есть счастливое число?

Я покачал головой.

— Подумай о десяти,— сказал он.— Я хочу, чтобы ты поехал домой.— Он вынул пачку денег из кармана.— Вот твоя плата за работу, двенадцать долларов плюс восемь долларов выходного пособия, поскольку ты уволен.— Прежде чем я успел ответить, он продолжал: — И вот двадцать долларов просто так, потому что ты умеешь читать названия итальянских ресторанов на спичечных коробках. Бери, это твои деньги.

Я взял деньги, свернул их и положил в карман.

— Спасибо.

— А теперь,— сказал он,— возьми еще пятьдесят долларов, пять десяток, но это мои деньги. Ты понимаешь, как я могу отдать деньги, которые все равно остаются моими?

— Вы хотите, чтобы я купил вам что-нибудь?

— Верно. Вот мои пожелания: я хочу, чтобы ты купил мне для себя пару новых брюк или две пары, и красивый пиджак, и рубашку, и галстук, и пару ботинок со шнурками. Ты только взгляни на свои кеды. Я каждое утро со стыдом смотрел, как помощник официанта в шикарном Эмбасси-клубе ходит по залу в баскетбольных кедах без шнурков и с вывалившимся язычком, да еще и палец из дырки торчит. Тебе повезло, что большинство людей не смотрит на ноги. Я, правда, такое замечаю. Я хочу также, чтобы ты постригся, хватит разгуливать, словно Иш Кабибл в дождливый вечер. Купи себе чемодан и положи туда новое хорошее белье, носки и книжку для чтения. Купи настоящую книгу в книжном магазине — не журнал, не комикс, а настоящую книгу — и положи ее в чемодан. Кроме того, купи себе очки, вдруг придется книгу читать. Понял? Такие же, как у меня.

— Я не ношу очки,— сказал я.— У меня отличное зрение.

— Сходи в ломбард, у них есть очки с обычными стеклами. Делай так, как я велю, понял? И вот еще. Отдохни несколько дней. Не переживай, постарайся расслабиться. Пока еще есть время. Когда потребуешься, мы пришлем за тобой.

Теперь мы стояли у подножия лестницы, ведущей к Третьей авеню под надземкой. Летний день обещал жару. В уме я пересчитал деньги в своем кармане, получилось девяносто долларов. В этот момент мистер Берман протянул еще десять.

— И купи что-нибудь для своей матери,— сказал он. Последние его слова звучали в моем мозгу всю дорогу, пока я ехал домой на поезде.

Глава седьмая

Поезд до Бронкса в этот утренний час был пуст, в вагоне я был один и всю дорогу смотрел в проносящиеся мимо окна домов, выхватывая из потока виды квартир, белую эмалированную кровать у стены, круглый дубовый стол с открытой бутылкой молока и тарелкой, настольную лампу с абажуром в складку, прикрытым целлофаном, и все еще горящей лампочкой над заваленным вещами зеленым стулом. Люди смотрели на проходящий поезд, облокотившись на подоконник, словно поезда и не проносились здесь каждые пять-десять минут. Каково жить в постоянном грохоте и при вибрации, от которой со стен валится штукатурка? Эти безумные женщины вешают белье на веревки, протянутые между окнами, а ящики в их шкафах дрожат от проходящих поездов. Раньше мне никогда не приходило в голову, что все в Нью-Йорке ужасно скученно, одно на другом, даже железнодорожные пути и те — над улицами, будто квартиры в многоэтажном доме, и под улицами тоже есть рельсовые дороги. Все в Нью-Йорке располагалось на разных уровнях, город был скалой, а со скалой можно делать все что угодно: стро-

ить на ней небоскребы, долбить в ней туннели метро, втыкать в нее стальные балки и строить железные дороги, проходящие прямо через квартиры людей.

Я сидел, держа руки в карманах брюк. Разделив деньги пополам, я сжимал в каждой руке по пачке. Возвращение в Бронкс оказалось долгим. Сколько же времени меня не было? Я не знал, я чувствовал себя американским пехотинцем, который едет в отпуск из Франции, где он прослужил целый год. Я вышел на одну остановку раньше и один квартал в западном направлении до Батгейт авеню прошагал пешком. Это была торговая улица, сюда приходили за покупками. Я шел по людным тротуарам мимо тележек, поставленных на обочине, и распахнутых киосков, оборудованных прямо в квартирах; торговцы конкурировали друг с другом одним и тем же товаром: апельсинами, яблоками, мандаринами, персиками и сливами по одной и той же цене — восемь центов за фунт, десять центов за фунт, пять центов за штуку, три штуки на десять центов. Цены писали на бумажных пакетах, которые висели, как флаги, на древках над каждым прилавком с фруктами или овощами. Мало того, продавцы еще и выкрикивали свои цены. Они кричали: миссис, смотри, у меня самые лучшие, попробуй эти грейпфруты, свежие персики прямо из Джорджии. Они ворковали, они ласково упрашивали, им отвечали хозяйки. В этой невинной, суетливой и слегка вороватой жизни я чувствовал себя привычно. Тут громко разговаривали, гудели грузовики, мальчишки перебегали с тротуара на тротуар, над головами прохожих на ступенях пожарных лестниц сидели неработающие мужчины в майках и читали газеты. Аристократы торгового ремесла имели настоящие магазины, в которые ты мог войти и купить неощипанных цыплят, или свежую рыбу, или бифштекс из вырезки, или молоко, масло и сыр, или семгу и копченую белую рыбу, или маринованные огурцы. Перед армейскими магазинами на перекладинах под тентами висели на вешалках костюмы, а на полках, вывезенных на тротуар, лежали женские платья; на Батгейт авеню торговали и одеждой, здесь за пять, семь или двенадцать долларов можно было купить две пары брюк с пиджаком. Мне было пятнадцать лет, у меня в карманах лежало сто долларов. Я наверняка знал, что в тот момент я был самым богатым человеком на Батгейт авеню.

На углу был цветочный магазин, где я купил матери герань в горшке, это был единственный цветок, название которого я знал. Запаха он особого не имел, он пахнул землей, скорее, как овощ, а не как цветок, но мать сама когда-то купила именно такой, правда, потом перестала его поливать, и он постепенно завял на ступеньке пожарной лестницы за кухонным окном. Листья герани были плотные и зеленые, маленькие красные бутончики пока еще не раскрылись. Я понимал, что горшок герани — подарок не ахти какой, но он был сделан от чистого сердца, мной, а не Аббадаббой Берманом от имени банды Шульца. Я чувствовал себя не очень уверенно, возвращаясь домой, на свою улицу. Но едва я повернул за угол у кондитерской, как тут же увидел детей Макса и Доры Даймонд, которые бегали в трусах и майках вокруг разбрызгивателя, прилаженного к пожарному крану. Улицу уже закрыли для транспорта, было, видимо, что-то около десяти утра, дети бегали в мокром белье, малыши, блестя быстрыми проворными телами, визжали от восторга. Несколько детей постарше были одеты в настоящие шерстяные купальные костюмы, темно-синие плавки и соединенный с ними верх с бретельками — одинаковые для мальчиков и для девочек — универсальные синие сиротские костюмы, многие в дырах, сквозь которые просвечивало тело. Были там и дети из окрестных домов, каждый в своей одежде, их матери смотрели из окон, и, если бы не представление о достоинстве взрослых, сами с удовольствием побегали бы под искусственным дождем. Вода образовала радужный зонтик над сверкающей черной улицей. Я поискал взглядом мою чаровницу Бекки, но без особой надежды — я знал, что ее там не будет, я знал, что она, как и все дру-

гие неисправимые, не опустится до того, чтобы бегать под искусственным душем; какая бы жарища ни стояла, они себе такого не позволят, совсем как взрослые; во всех нас такое было, и во мне тоже, причем даже больше, чем в остальных; я свернул в темный двор моего дома и, минуя мрачные клетки, облицованные сколотой восьмиугольной плиткой, поднялся в квартиру, где вырос и дожил до нынешних времен.

Мать, как я и предполагал, была на работе. Ни с какой другой квартирой в мире свою я спутать не мог. На кухне желтели язычки пламени, эмаль на столе выгорела большим яйцевидным пятном, краска по краям облупилась. И все же свечи горели, выстроившись в стаканчиках. Иногда в холодную погоду, когда сквозь щели в окнах, из-под двери и через вентиляционную трубу в квартиру проникал ветер, свечи клонились в одну сторону, потом в другую, а то вдруг начинали колебаться хаотично, словно в каком-то танце. Теперь они горели ровно, правда, мне показалось, что их стало больше, чем обычно, возникло ощущение, будто смотришь на люстру или лежишь на полу и любуешься бездонным величественным небесным сводом. В моей матери было что-то царственное. Высокая, выше меня, выше моего отца, напомнил я себе сейчас, глядя на свадебную фотографию на комоде в гостиной, которая, когда мать застилала диван, служила ей и спальней. Много лет назад она на стекле поставила карандашом большой крест на его фигуре. Это случилось уже после того, как она соскребла ему лицо. Такие шутки были в ее вкусе. Маленьким я думал, что все половые тряпки делаются из мужских пиджаков и брюк. Она гвоздями прибила его пиджак к полу, словно это была шкура какого-нибудь дикого зверя, медведя или тигра. Дома всегда пахло горящим воском, свечным огаром, дымом фитилей.

Туалет, темная коробка с унитазом, был вдали от кухни. Зато ванна стояла на кухне, закрытая тяжелой деревянной откидной крышкой. Герань я поставил на эту крышку, чтобы мать сразу увидела подарок.

В моей маленькой спальне я обнаружил кое-что новое — поломанную, но когда-то элегантную коричневую плетеную детскую коляску, которая занимала почти всю комнату. Обода ее колес настолько зазубрились, что коляска запрыгала, когда я подергал ее взад-вперед. Правда, шины мать отмыла добела. Верх коляски был поднят, экранчик, который пристегивают для защиты ребенка от непогоды, стоял на месте, опираясь на декоративные штыри. Экранчик по диагонали испещряли рваные дырки, в которых играл свет из окна спальни. В коляске наискосок лежала старая тряпичная кукла; может, мать нашла коляску и куклу на улице вместе, а может, купила у Арнольда Помойки по отдельности и втащила по лестнице в квартиру, в мою комнату, чтобы, возвратившись, я сразу их заметил.

Вопросов она мне почти не задавала и, судя по всему, была рада видеть меня. Мой приход раздвоил ее внимание, будь огоньки телефоном, я бы сказал, что она стала вести два разговора одновременно, вполуха слушая меня и вполглаза наблюдая за огоньками. Мы поужинали, как всегда, на крышке ванной, мои цветы стояли в центре и, как ничто другое, убеждали мать в том, что я устроился на работу. Я сказал ей, что работаю помощником официанта, в придачу выполняю еще и обязанности ночного сторожа. Работа, сказал я, хорошая, дают много чаевых. Она, похоже, поверила.

— Но это только на лето, в сентябре тебе снова в школу,— сказала она, поднимаясь, чтобы поправить один из огоньков.

Я согласился. Но мне, сказал я, чтобы не выгнали, надо прилично одеваться, поэтому в субботу, когда она вернулась домой, мы по Уэбстер авеню добрались на трамвае до Фордэм-роуд и пошли в магазин И. Коэна купить мне костюм; магазин она сама выбрала, здесь, сказала она, мой отец в прежние времена покупал добротные вещи; у

нее был хороший вкус, она вдруг стала заботливой и умелой, что облегчило мою участь во многих отношениях, я, в частности, не умел покупать для себя одежду. Выглядела она в тот день вполне нормальной, она надела свое лучшее платье с фиолетовыми цветами по белому полю, причесала волосы и уложила их под шляпу так, что никто бы не догадался, какие они длинные. Среди прочего, в матери меня беспокоило и то, что она не стригла свои волосы. Тогда были в моде короткие волосы, но она носила длинные, и утром, собираясь на работу на свою фабрику-прачечную, она заплетала косу, укладывала ее кольцами на голове и закалывала множеством шпилек. На комоде у нее стояла банка из-под сметаны, полная этих длинных декоративных шпилек. Но вечером, когда, приняв на кухне ванну, она ложилась спать, я видел эти длинные, прямые, черно-седые космы, которые лежали на подушке, свисали на пол, а частью даже застревали среди страниц ее Библии. Ее ботинки меня тоже беспокоили, ноги у нее болели, ведь на работе она за день и присесть не могла, поэтому носила белые мужские ботинки, которые каждый вечер, летом и зимой, чистила белой ваксой; в ответ на мои саркастические замечания она называла их медицинскими. Если я начинал спорить, она встречала мою критику улыбкой и лишь глубже уходила в себя. Она никогда не ругала меня, может, из-за своей постоянной рассеянности, иногда только задаст мне беспокойный вопрос, но, еще не успев закончить фразу, уже сама же и отвлечется. Но в этот субботний день на Фордэм-роуд она выглядела прекрасно и вела себя как совершенно нормальный человек. Она выбрала для меня светло-серый однобортный летний костюм с двумя парами брюк, рубашку фирмы «Эрроу» с маленькими косточками, вшитыми в уголки воротника, чтобы они не загибались, и красный вязаный галстук. Мы долго пробыли у И. Коэна, и старый джентльмен, который занимался нами, делал вид, что не замечает нашей бедности, моих драных кед и белых мужских ботинок моей матери. Этот маленький пухлый человечек с метром, висящим на шее, словно молитвенный платок, верил нам на слово, ему была знакома гордость бедных людей. Но когда моя мать открыла кошелек и вынула деньги, которые я ей дал, мне показалось, что в его взгляде мелькнуло выражение облегчения, а может, и любопытства; надо же, эта высокая красивая женщина привела с собой мальчишку-оборвыша и, как ни в чем не бывало, купила ему костюм за восемнадцать долларов и другие вещички к нему. Может, он подумал, что имеет дело с богатой эксцентричной дамой, которая нашла меня на улице и решила облагодетельствовать. Я знал, вечером он скажет своей жене, что работа сделала его философом, каждый день он сталкивается с превратностями человеческой природы, которые свидетельствуют: жизнь выше понимания простого смертного.

В магазине И. Коэна прямо при вас могли сделать мелкие переделки и наставить манжеты на брюки, но мы сказали, что зайдем позднее, и поднялись по холму к Грэнд-Конкорсу. Я нашел магазин фирмы «Адлер» и купил пару новых черных кед с толстыми подошвами и черные ботинки с высокими, но почти незаметными каблуками, какие я видел на ногах Дикси Дейвиса, адвоката мистера Шульца. Все это уменьшило наши запасы еще на девять долларов. Новые кеды я надел на ноги, а ботинки нес в коробке, и мы пошли дальше по Фордэм-роуд, пока не встретили кафе Шрафта. В это время дня там пили чай все самые известные люди Бронкса. Мы присоединились к ним, заказали сандвичи с курятиной и салатом на хлебе без корочки, чай для матери и содовую с шоколадным мороженым для меня; все это официантки в черных униформах и белых кружевных передниках поставили на кружевные салфетки той же выделки, что и их передники. Мне нравилось проводить таким образом время с матерью. Мне хотелось, чтобы она немного развлеклась. Мне нравилось постукивание ресторанной посуды, суетливая важность официанток, снующих со своими подносами, послеобеденное солнце, бросающее сквозь окно лучи света на красный ковер. Мне нра-

вился вентилятор, медленно, под стать достоинству посетителей, вращающий свои большие лопасти под потолком. Я сказал матери, что у меня достаточно денег, чтобы и для нее купить новую одежду и новые удобные туфли, нам надо просто пройти пару минут до главного перекрестка Бронкса, который образуют Фордэм-роуд и Грэнд-Конкорс, где расположен универмаг Александра, и все. Но она вдруг заинтересовалась бумажным кружевом салфетки и, закрыв глаза, стала водить по рисунку пальцем, будто читала азбуку Брайля. И потом сказала какие-то слова, я их плохо расслышал, но побоялся переспросить. «Надеюсь, он понимает, что делает»,— вот что, по-моему, она произнесла. Голос был немного чужой, словно за столом сидел еще кто-то третий. Я не знал, то ли она сказала это для себя, то ли прочитала на кружеве салфетки.

Но все-таки тем же вечером я положил ей в кошелек сорок долларов, после чего у меня осталось чуть больше двадцати пяти. Я обнаружил, что начинаю привыкать к большим суммам и обращаюсь с ними так, будто вырос в достатке. К деньгам человек привыкает очень быстро, очарование их тускнеет, они становятся вполне обычными. И все же двенадцать долларов в неделю, которые мать зарабатывала в прачечной, оставались волшебными в моем воображении, иначе говоря, ценными в прежнем смысле, а вот новые заработки из-за моей расточительности — нет. Именно об этом говорил Аббадабба Берман. Я надеялся, что доллары, которые я вложил ей в кошелек, приобретут свойства долларов ее зарплаты. Вся наша округа заметила, что у меня появились деньги. Я покупал сигареты «Уингс» пачками, и не только сам курил не переставая, но и охотно угощал других. В ломбарде на Третьей авеню, куда я пошел за очками, висел двусторонний атласный клубный пиджак черного цвета, но стоило его вывернуть наизнанку, и он становился белым, я купил его и по вечерам с важным видом прогуливался в нем. Клуб назывался «Шэдоуз», в нашем районе такой команды я не знал, название было вышито смешными белыми буквами на черной стороне и черными — на белой. И мой пиджак, и сигареты, и новые кеды, и, наверное, мои новые манеры, которые я мог не замечать, но которые наверняка замечали другие,— все это выставляло меня в совершенно ином свете, причем не только среди детей, но и среди взрослых; необычно было мое положение: с одной стороны, мне хотелось, чтобы люди знали то, о чем они и сами догадывались — а как иначе сопляк может получить бешеные деньги? — а с другой, мне не хотелось, чтобы они знали; хотелось остаться прежним мальчишкой с изменчивыми детскими мыслями, с репутацией необузданного сына сумасшедшей женщины, подающего надежды на то, что в нем еще обнаружится скрытая честь, и с ее помощью проницательный учитель или какой другой Божий промысл обратит мой ум на благо будущей жизни, и все в Бронксе смогут гордиться мною. Я хочу сказать, что для проницательного взрослого, для незнакомого человека, который мог невзначай заметить меня, оказаться соседом, увидеть в кондитерской или на школьном дворе, я мог явиться одной из ипостасей искупления; быстрота моих движений, уверенность неосознанных жестов, замеченная в игре, могли на мгновение возродить в нем надежду — совсем не связанную с ним самим,— что всегда есть шанс и что, как бы плохо ни шли дела, Америка — это страна-жонглер, и мы все как-нибудь сможем продержаться в воздухе, причем летая не из руки в руку, но от света к тьме, от ночи к дню, ведь мы, в конце концов, живем в Божьем мире.

Но хотел я того или не хотел, изменения произошли значительные, в такой ситуации начинаешь чувствовать себя по-особому, на улице замечаешь много мелких подтверждений нового к себе отношения, словно ты поступил в духовную семинарию или еще куда, и у людей меняется взгляд; одни смотрят на тебя так, что, мол, больше не желают иметь

с тобой ничего общего, а другие, наоборот,— смотрят серьезно и внимательно; все зависит от их собственных представлений о религии, а может, и политике, но в любом случае они, глядя на тебя, пытаются определить, какого зла от тебя ожидать или какой пользы, и отныне и навсегда ты уже занимаешь другое место в системе.

В то же время никто не знал, ни с кем я, ни где работаю,— все это было вторичным по отношению к фантастическому изменению моего статуса, я, конечно, не имею в виду тех, кто сам участвовал в деле и кто из принципа ни за что не обнаружил бы свой интерес к моей персоне, потому что, во-первых, такое выплывает со временем само собой, и, во-вторых, для профессионала я по-прежнему оставался сопляком. Я говорю о слаборазличимом настроении моей улицы, которое уловимо было разве что в летнем воздухе; кроме того, обдумывая свое новое положение, я никогда не питал иллюзий, будто кто-либо понимал истинный масштаб случившегося со мной, догадывался, что я в центре событий, о которых пишут газеты, и спрятан в них, как лиса среди листьев дерева на известном рисунке-загадке, только я был не на дереве, а в сердцевине самых важных новостей нашего времени.

Однажды вечером я сидел на крыльце сиротского приюта в белом варианте своего клубного пиджака с Ребеккой Чаровницей и Арнольдом Помойкой, младших ребят уже загнали внутрь; наступило то время летнего вечера, когда небо еще слабо синеет, а на улице уже стоит темень хоть глаз выколи, из каждого открытого окна неслись звуки радио или споров, из-за угла выехала бело-зеленая патрульная машина местного полицейского участка и, поравнявшись с нами, остановилась у тротуара с работающим мотором; я смотрел на полицейского в машине, а он снизу вверх на меня; оценка была быстрой и точной, и мне почудилось, что все вокруг неожиданно стихло, хотя это, конечно, было не так; я чувствовал, как в последнем свете, падающем с неба, горит мой белый пиджак; я чувствовал, как меня поднимает этим светом и полицейскую машину тоже; казалось, она уплывала прочь, и темно-зеленый низ и верхняя белая половина, висящая над шинами, и тут голова в окошке отвернулась и сказала что-то другому полицейскому, водителю, которого я не видел, и они рассмеялись; с неожиданностью выстрела зажглись фары, они уехали.

В этот миг странных летних сумерек я и ощутил ту первую ярость, о которой говорил мистер Шульц, она снизошла на меня как откровение, как дар. Я почувствовал дерзкую ярость преступника, я узнал ее, хотя она и пришла ко мне, когда я умиротворенно сидел с другими полудетьми на ступеньках дома Макса и Доры Даймонд. Ясно, то, чего я хотел и чего одновременно боялся, произошло, та особая навязчивая детская мечта сбылась, я, несомненно, стал другим человеком. Я злился, потому что все еще думал, будто не дерьмовые полицейские, а я сам должен решать, кем мне быть. Я злился, потому что все в этом мире закономерно. Я злился, потому что мистер Берман послал меня домой с деньгами, только чтобы показать мне, чего стоят деньги, а я этого не понял.

Теперь я вспомнил; он сказал, чтобы я не дергался и ждал; когда я потребуюсь, меня позовут. Я стоял у подножия лестницы, ведущей к надземке. Я ведь не слышал его, почему мы не слышим того, что нам говорят? Минуту спустя я поднялся по ступеням и опустил пятицентовик в щель толстого увеличительного стекла; оно осветилось, и я увидел, как огромен американский бизон.

Итак, тем вечером я сделал то, чего никогда не делал раньше,— я устроил вечеринку. Это казалось мне по-настоящему дерзким поступком. Я нашел бар на Третьей авеню, где за приемлемую цену продавали пиво несовершеннолетним, купил небольшой бочонок и взял напрокат все полагающиеся приспособления для разлива, а Помойка

привез все это, прикрыв тряпкой, в своей коляске, которую мы спустили со стуком в его подвал, где я и устроил вечеринку. Много усилий потребовалось, чтобы откопать в этом складе дерьма что-то похожее на пару диванов и расчистить место для танцев. С другой стороны, именно Помойка снабдил нас высокими пыльными стаканами, из которых мы пили пиво, старым патефоном фирмы «Виктор» с трубой, загнутой, как морская раковина, пачкой стальных игл и коробкой пластинок негритянской музыки, под которые мы танцевали. Я пообещал ему заплатить за прокат всего, что он дал. В ту ночь я хотел платить всем за все, даже Богу — за воздух, которым дышал. Вечеринку я устроил для неисправимых воспитанников приюта Макса и Доры Даймонд, когда уснули все дежурные по этажам и наблюдающий инспектор. Собралось нас человек десять — двенадцать, включая и мою подругу Ребекку, которая, как и некоторые другие девушки, пришла в ночной рубашке, правда, при этом она надела сережки и слегка подкрасила губы. Губы накрасили все девушки, причем помадой одного цвета и, очевидно, из одного тюбика. Мы очень гордились своим пивом, которое, судя по привкусу мочи, привезли, скорее всего, со складов мистера Шульца, так как именно пиво придавало нашей вечеринке некую взрослую испорченность. Кто-то пробрался на кухню приюта и вернулся оттуда с тремя колбасами салями и несколькими батонами белого хлеба в вощеной бумаге; Помойка поковырялся в одной из своих коробок и нашел кухонный нож и сломанный кофейный столик; мы приготовили бутерброды, налили в стаканы пиво, для желающих у меня были сигареты, и в сухом и пепельном воздухе подвала, сдобренном угольной пылью, светившейся в желтом свете старой напольной лампы, мы курили сигареты «Уингс», пили наше беспечное пиво, ели, танцевали под старые негритянские голоса двадцатых годов, поющие свои медленные песни, в которых две строки о любви разрешались одной строкой горечи и в которых говорилось о поросячьих ножках, булочках с джемом, гонках на двуколках, о папах, которые изменили, и о мамах, которые изменили, о людях, которые ждали уже ушедшие поезда, и хотя никто из нас танцевать не умел, если не считать танцев в кружочек, которым учили наверху, сама музыка вела нас. Помойка разместился у патефона, он заводил его, вынимал пластинку из черного конверта и ставил ее на диск, он сидел, скрестив ноги, на столе, подложив под себя подушку, сам не танцевал, ни с кем не говорил, но своим бесстрастным вниманием ко всему происходящему проявлял наивысшую для себя общительность. Он не пил, не курил, а только ел и самозабвенно скармливал нам скрипучую музыку — корнеты и кларнеты, тубы, фортепиано и барабаны грустной страсти; девушки танцевали друг с другом, а затем втянули в танцы и мальчиков, и это была очень торжественная вечеринка, белые ребята из Бронкса жались друг к другу под сладкую черную музыку, исполненные намерений жить по-человечески в сиротском приюте. Но постепенно все изменилось — девушки нашли залежи одежды в больших коробках Арнольда Помойки, и он, похоже, не возражал, так что поверх ночных рубашек они надевали на себя то и это, выбирая и примеряя шляпы, платья и туфли на высоких каблуках, что носили в прежние времена, пока каждая не осталась довольна собой; моя маленькая Ребекка оделась в черное кружевное платье испанского типа, доходившее ей до щиколоток, и тонкую розовую шаль с большими петлеобразными дырами, но продолжала танцевать со мной босиком; а некоторые мальчишки нашли пиджаки с широкими плечами, остроносые замшевые туфли и широкие галстуки, которые они повязали на голые шеи, и мало-помалу в дыму, под джазовые мелодии, мы превратились в тех, кем хотели быть, мы танцевали в пыли наших будущих Эмбасси-клубов, в нарядах стыдливой детской любви и постепенно понимали — а это выпадает на долю только самых везучих,— что Бог наставляет не только разум, но и вихляющие в ритм бедра.

Позднее в тот же вечер мы сидим с Ребеккой на диване, она закинула ногу на ногу, грязные пальцы торчат из-под ночной рубашки, поверх рубашки наброшено черное кружевное платье. Остальные воспитанники уже ушли. Подняв руки, она отбрасывает свои черные волосы и ловко укладывает их так, что они без какой-либо видимой причины принимают нужную ей форму, нарушая закон всемирного тяготения. Кажется, я немного пьяный, а может, и мы оба. Да и танцы были жаркие, тесные. Я курю, она берет у меня сигарету, затягивается, не вдыхая дыма в легкие, и возвращает ее мне. Я теперь вижу, что глаза ее подведены тушью, красная губная помада уже поблекла; качая ногой, она искоса бросает на меня взгляды; эти карие, как черные виноградины, глаза; эта белая шея, завернутая в рваную пыльно-розовую шаль,— каждое новое мгновение таит в себе неожиданность, я вплываю в царство интимности, у меня такое чувство, будто я только что познакомился с ней или только что ее потерял, я абсолютно уверен, что никогда не трахал ее на крыше. У меня пересохло во рту от ее неправдоподобной детской красоты. До этого мига я был устроителем вечеринки, хозяином вечера, который демонстрировал свою щедрость и одаривал гостей милостями. Все танцы — я уверен, что все знали, к кому я совершал дерзкие набеги по пожарной лестнице, но то была физкультура, я платил ей, черт возьми, видимо, я смотрю на нее в упор, она отвернулась, опустила глаза и еще сильней закачала ногой,— все танцы я танцевал с ней и ни с кем другим, только чтобы подчеркнуть свои права на нее. И это древнее чудесное дитя поняло все сердцем раньше меня, мое новое положение в мире сказывалось на всех, словно каждому отныне позволено было увидеть предстоящую дорогу или заглянуть за горизонт. Скорее всего, это понял даже самый говенный участник вечеринки, один только я бездумно наслаждался приятным отдыхом.

Так что, когда все ушли, мы легли вместе, впервые совершенно голые, на все тот же диван, весь дом спал, даже Помойка заснул где-то среди своих сокровищ. Мы лежали в темном пыльном подвале, я лег на спину, Ребекка — сверху, она приникала ко мне с глубоким вдохом, который я ощущал холодком на своей шее, постепенно, хотя и неловко, она нащупывала свой ритм, я терпеливо ждал. Какое-то время мои руки лежали на ее спине, потом перебрались на ягодицы, я ощутил под пальцами мягкий пушок, наверняка такой же черный, как и ее волосы, он змеился по позвоночнику и исчезал в расщелине ног; и вот я наткнулся на маленькое кольцо между ягодицами, когда она поднимала бедра, я прикасался к нему пальцем, а когда опускала — терял его в зажиме плотных ягодиц. Ее волосы то щекотали мне лицо, то ниспадали вокруг моей головы, и тогда я целовал ее щеки и ощущал на своей шее ее губы, маленькие твердые соски прижимались к моей груди, ее потные бедра прилипали к моим; не помню когда, но она вдруг начала делать маленькие открытия, сопровождая их почти не слышными постаныва-ниями мне в ухо; потом вдруг аритмично задергалась, напряглась, и я почувствовал, как ее мышцы стиснули мой член, колечко между ягодицами сжалось вокруг кончика моего пальца, потом расслабилось, оно сжималось и расслаблялось в такт массирующим член мышцам, я уже больше собой не владел, выгнувшись дугой, я начал вонзаться в нее с такой свирепой силой, будто не она, а я лежал сверху, вскоре мои рывки так убыстрились, что она буквально билась о мои грудь и бедра с тихими стонами, потом поймала мой ритм и стала сначала неуклюже, а потом все лучше и точнее встречать меня, наступило невыносимое блаженство, я выстрелил в нее семенем и, прижимая к себе, содрогался, все глубже впиваясь в молочно-милое чудо. И она прижимала меня к себе, наконец на нас снизошел покой, мы прониклись таким доверием друг к другу, что слов или поцелуев уже не требовалось, нежно и неспешно мы провалились в сон.

Глава восьмая

Проснулся я от холода и того пепельно-серого света, который в подвале детского дома Макса и Доры Даймонд обозначал утро. На полу рядом с диваном лежала куча черного и розового кружева, Чаровница лишилась телесной оболочки: моя возлюбленная ушла наверх, в свое детство. Обитатели сиротского дома выработали в себе достаточно хитрости, чтобы не попадаться воспитателям, мне пришло в голову, что подобное умение может пригодиться подружке гангстера. Интересно, с какого возраста можно жениться? Лежа на диване, я размышлял о том, что моя жизнь изменяется слишком быстро — я не успеваю за ней. Или, может, все связано воедино, проистекает из одного источника — меня изменило прикосновение мистера Шульца, а Бекки изменилась от моего,— и существует только один бесконечный канал влияния. Она никогда не испытывала оргазма раньше, по крайней мере, со мной, но я был уверен, что и с другими тоже. У нее и волос-то там почти не было. Чтобы сравняться со мной, она взрослела быстрее обычного.

О боже, какие чувства я тогда испытывал к этой загадочной сиротке, средиземноморской оливке, к этой маленькой проворной колдунье с прямой спиной, покрытыми пушком ягодицами; она переносила все тяготы своей жизни с таким терпением, на какое способны только женщины. Я ей нравился! Мне хотелось бегать с ней наперегонки, я бы дал ей фору, она же младше, но, готов спорить, бегает она здорово. Я видел, как она без устали скачет через веревочку, с вывертами, на одной ноге, через две веревки сразу, когда они вращаются в разных направлениях, успевая сделать два быстрых прыжка за один оборот веревки, лучше и дольше ее никто из девчонок прыгать не умел. Она могла и на руках ходить, юбка задрана, смуглые ноги болтаются в воздухе, а она идет себе и совершенно не стесняется своих белых трусиков, на которые глазеют все мальчишки. Она была настоящая спортсменка, гимнастка, я мог бы научить ее жонглировать и сам бы учился, пока бы мы не начали жонглировать вдвоем шестью булавами сразу.

Но сначала мне хотелось купить ей что-нибудь. Я стал думать, чего бы ей подарить. Потом прислушался. Сиротский приют я знал не хуже своего родного дома и даже в похмелье, лежа в подвале, пропахшем прогорклым пивом, мог по любому знаку — например, по вибрации здания — определить время дня: сейчас только начали ходить на кухне. Значит, светает. Я встал, сгреб свою одежду, по черной лестнице пробрался в мальчишеский душ и через десять минут уже радовался на улице новому утру; мои мокрые, недавно постриженные волосы блестели, клубный пиджак красовался на мне своей белой атласной стороной, завтраком мне служила свежая булка, которую я взял из большого хлебного мешка, оставленного еще до рассвета на раздаточной платформе грузовиком фирмы «Пехтерс Бейкери».

Была такая рань, что все еще спали, даже моя мать. На пустынных улицах под мутным небом горели фонари. Я шел к Третьей авеню, где собирался выбрать в витринах ломбарда подарок, а потом подождать неподалеку, пока ломбард откроется. Мне хотелось купить Бекки какое-нибудь украшение, может, кольцо.

В этот ранний час даже газетный киоск у станции надземки еще не открылся. Газеты лежали в кипах, как их сбросили с фургонов. Что заголовок «Миррор» предназначен для меня, я понял еще до того, как взглянул на него, притягательную силу слов я почувствовал до того, как прочел их: УЖАСНОЕ БАНДИТСКОЕ УБИЙСТВО. Ниже помещался размытый снимок мертвого человека в кресле парикмахера, мне он показался обезглавленным, но подпись объясняла, что голова его завернута в окровавленные салфетки. Какой-то босс подпольной лотереи из Вест-сайда. По рассеянности, прежде чем вытащить газету и прочитать всю статью, я положил три цента прямо на землю.

Я читал статью со всепоглощающим интересом, сначала в тени надземки, потом, дабы увериться, что все понял правильно, встал в освещенный квадрат, утренний свет в который падал из прогала между шпалами, и прочитал ее еще раз, держа «Миррор» на вытянутых руках; нигде ничего пока не двигалось — ни поезда, ни трамваи, разве что тень от надземки на мощеной мостовой была похожа на прутья тюремной камеры, по которым стучит палкой надзиратель; голова у меня начала болеть от напряжения, чередование света и тени, черный шрифт на белой бумаге казались мне таинственным личным посланием.

Я, разумеется, знал, чьих рук это дело, в статье ничего нового по сравнению с фотографией и заголовком для меня не было, но я читал ее с напряженным вниманием, не только как человек той же профессии, но и как сотрудник одной с ним фирмы; я читал о своем наставнике, доказательством чего служило как раз то, что доказательств мне не требовалось, я был так уверен в своей догадке, что принялся искать в статье имя мистера Шульца, и очень удивился, не найдя его там; размягший и отупевший после первой ночи любви, я, видимо, считал, что все в мире должны знать известное мне, что я не могу знать чего-нибудь такого, чего не знают другие, особенно газеты. Вернувшись к киоску, я вытащил экземпляр «Ньюс» и обнаружил в ней почти ту же самую фотографию и уже известные мне сведения, а затем взял напыщенную «Геральд трибюн», у них было не больше сведений, чем у других, хотя понаписали они черт-те чего. Никто ни о чем понятия не имел. Гангстеров убивали каждый день, но кто и почему — оставалось загадкой. Силы противостояли друг другу тайно, союзники становились врагами, партнеры расходились, и любой человек в этом бизнесе мог быть убит любым другим в любой день недели; а прессе и полиции, чтобы найти виновников и сделать выводы, требовались свидетели, показания, документы. У них, возможно, и были свои приемы, но уж больно долго они строили достоверную версию, словно археологи, которые колдуют над молчаливыми развалинами. Я же, наоборот, все сразу понял, будто сам там был. Он всегда хватал первое, что попадало под руку. Ярость подсказывала ему нужный ход, я хочу сказать, что никто не усаживает человека в парикмахерское кресло, чтобы убить его там, а просто, увидев врага в кресле, вы хватаетесь за бритву. Он совершенно потерял голову, как и тогда с пожарным инспектором; я пристал к великому Немцу Шульцу в период упадка его империи, когда он уже терял над ней власть, фотографии на первой полосе газеты изображали дело рук кровавого маньяка, и что теперь, черт возьми, делать? Мне почудилось, будто меня вовлекли во что-то против моей воли, будто он нарушил уговор, и мне уже нечему учиться у него, разве что саморазрушению.

Я покрылся холодным липким потом, меня затошнило — более противного ощущения я не знаю. В такие моменты хочется упасть на землю и прижаться к ней, больше тут ничего не придумаешь. Оглядевшись, я швырнул газеты в мусорный бак, словно меня могли арестовать за них, словно они-то и доказывали мое соучастие в преступлении.

Я сел на порог подъезда, опустил голову между колен и начал ждать, когда пройдет эта ужасная тошнота. Через несколько минут я почувствовал себя лучше, пот сменился ознобом, стало легче, я снова задышал. Возможно, именно в этот миг и родилось у меня тайное убеждение, что я всегда смогу унести ноги, что пусть они ищут меня, все равно не найдут, я знаю столько потайных ходов, что им и не снилось. Но додумался я тогда лишь до того, что мистер Шульц намного опаснее для меня, когда я не вижу его, чем когда я с ним. Он выкинет еще что-нибудь такое, а меня загребут. И любой другой, и мистер Берман тоже, чем меньше я вижу их, тем я уязвимее. Вывод, конечно, сомнительный, но чувство такое я в то время испытывал. Если я вдали от мистера Шульца, то как мне определить, что пришло время уносить ноги? Нет, я должен возвратиться в банду, в ней моя сила, в ней моя защита. Сидя

там, под железной дорогой, я понимал, что быть не с ними — это непозволительная для меня роскошь. Без них я в опасности.

Я признался себе, что мысли мои путаются. Чтобы успокоиться, я принялся ходить. Я ходил и ходил, и мало-помалу, словно некое уверение, дескать, мир стерпит все, что бы с ним ни случилось, над головой с грохотом пошли поезда, на улицах появились легковые машины и грузовики, люди, имеющие работу, отправились на нее, зазвенели трамваи, хозяева открыли двери своих магазинов, я нашел кафе, сел за стойку плечом к плечу с моими согражданами, выпил томатного сока и кофе и, взбодрившись, заказал глазунью из двух яиц, тосты, ветчину, пончик и еще кофе, потом задумчиво выкурил сигарету, и мир показался мне не таким уж плохим. Сказал же мистер Шульц мистеру Берману в моем присутствии: «Мы должны сделать пару необходимых шагов». Мойщики окон, падающие с двенадцатого этажа,— первый из шагов, а это вот — второй. Речь идет о запланированном убийстве, точном и своевременном, как телеграмма «Уэстерн юнион» [1]. Жертва, в конце концов, сам был подпольным лотерейщиком. Конкурентом. Так что этим убийством мистер Шульц посылал сообщение кому надо. Но, с другой стороны, то, что человека зарезали бритвой, для окружной прокуратуры, для репортеров уголовной хроники, полицейских, городских властей,— для всех в подпольном бизнесе, кроме конкурентов мистера Шульца, работа эта по почерку с Немцем не вязалась, по мстительности это было скорее негритянское или сицилийское убийство, впрочем, его кто угодно мог совершить.

Размышления эти немного утешали, зато стали появляться сожаления, зачем меня услали прочь, когда решались такие важные дела? А вдруг мое положение изменилось или, что еще хуже, я его переоценил с самого начала? Возвращаясь по Третьей авеню, я уже снова чувствовал себя так же паршиво, как и раньше, меня снова точило желание быть рядом с мистером Шульцем. Странное это было состояние. Я ведь совершенно позеленел после того убийства в Эмбасси-клубе. Может, не надо было так зеленеть? Может, они подумали, что я не гожусь для таких дел? И я побежал. Я бежал домой в мелькании тени и света. Я бежал по лестнице, перепрыгивая через ступени, а вдруг дома меня ждет вызов?

Но вызова не было. Мать стояла, укладывая волосы. Бросив на меня удивленный взгляд, она не опустила рук и продолжала закалывать косы, держа во рту пару длинных шпилек. Я едва дождался, пока она уйдет на работу. Она все делала с невыносимой медлительностью, казалось, что ее минуты тянутся дольше, чем у других, она двигалась в величавом, собственного изобретения времени. Наконец, входная дверь захлопнулась за ней. Я вытащил из-за шкафа купленный недавно подержанный чемодан, который открывался сверху, как большой докторский саквояж, положил туда свой костюм от И. Коэна, новые туфли, рубашку, галстук, очки с обыкновенными стеклами, которые выглядели совсем как у мистера Бермана, немного белья и носки. Туда же я положил зубную щетку и расческу. Книгу я пока не купил, но это можно будет сделать в центре. Чтобы залезть под кровать, где я спрятал пистолет, мне пришлось откатить ужасную материну коляску. Я положил пистолет на самое дно, щелкнул замками, застегнул ремни, поставил чемодан у входной двери, а сам занял наблюдательный пункт у окна рядом с пожарной лестницей. Я не сомневался, что они придут за мной сегодня утром. Для меня это было теперь совершенно необходимо. Никак нельзя, чтобы они не пришли. Зачем бы мистер Берман просил меня купить новую одежду, если они собирались расстаться со мной? А потом, я слишком много знал. Я же смышленый, я понимал,

[1] «Уэстерн юнион» — американская телеграфная компания.

что происходит. И не только, что происходит сейчас, но и что произойдет дальше.

Единственное, что я не знал и не мог представить,— это как они придут за мной, как они узнают, где я сейчас. Тут я увидел патрульную полицейскую машину, которая медленно проехала по улице и остановилась напротив моего дома. Я подумал: «Вот оно, опоздал, попался, они забирают всех, он допрыгался, всех погубил». А когда из машины вышел гнусный полицейский, который нагло осматривал меня несколько дней назад, я понял, что значит столкнуться с законом, с полицейской формой, испытал ужасное предчувствие, будто меня лишают будущего. Каким бы опытным, хитрым и проворным ты ни был, но когда тебя объял ужас надвигающейся катастрофы, ты становишься таким же беспомощным и безвольным, как животное, попавшее в сноп света автомобильных фар. Я не знал, что делать. Полицейский скрылся в подъезде и начал подниматься по темной лестнице, я слышал его шаги; выглянув на улицу, я увидел, что другой полицейский тоже вышел из машины и, скрестив руки на груди, оперся о дверцу с водительской стороны как раз под пожарной лестницей. Бежать некуда. Я стоял у входной двери и прислушивался к шагам на лестнице. Потом различил даже дыхание полицейского. О Боже! Затем он стал стучать кулаком в мою дверь, сволочь. Я открыл дверь, большой толстый полицейский стоял в темноте, закрывая собой почти весь дверной проем, и вытирал носовым платком свои седые волосы, а потом и внутреннюю поверхность околышка фуражки.

— Ладно, сопляк,— сказал он, весь какой-то унылый и неловкий, они всегда такие, когда понавешают на себя под китель все полицейские причиндалы: и пистолет, и дубинку, и книжку квитанций, и патроны,— не спрашивай зачем, но ты мне нужен. Пошли.

А сейчас я перескажу в общих чертах то, что узнал от мистера Шульца об этом убийстве, в точности передать его слова я даже и пытаться не буду, вы только представьте, каково мне было слушать его откровения, я буквально окаменел от благоговейного ужаса, в таком состоянии слов часто и не разберешь вовсе, а только смотришь на лицо говорящего, дивишься собственной дерзости, что посмел предстать перед его взором, и надеешься, что он не заметит твоего жгучего желания быть похожим на него и в мыслях, и голосом, что, конечно, недостижимо. Слушая его откровения, потеряв дар речи от гордости и вспоминая о паническом страхе, который овладел мною в то утро, я чувствовал себя по-идиотски, как я мог сомневаться в нем или в его отношении ко мне, ведь он сам сказал, пусть история в парикмахерской и произошла случайно, но он понимал, что все идет, как надо, будто по плану, хотя как раз спланированные дела часто и срываются, так что получилось даже лучше, чем по плану; и он сразу понял, что этот гениальный удар, который тотчас решил много взаимосвязанных задач,— ведь успех в любом деле зависит и от удачи, и от вдохновения — мастерский удар, и с деловой точки зрения, и с поэтической, не говоря уже об основном здравом мотиве: простом и справедливом возмездии. Он очень гордился этой работой. По-моему, она скрасила неприятный осадок, оставшийся от потери самообладания с пожарным инспектором. В ней не было никакого привкуса грусти, сказал он, никакой томительной боли, ничего печального, как в случае с Бо, ничего личного, просто Ирвинг застукал этого типа, когда мистер Шульц предавался удовольствиям в публичном доме всего в паре минут ходьбы от отеля «Максуэлл». Мистер Шульц праздновал свое возвращение из Сиракуз, где он сдался судебным властям, внес залог и вышел из судебного зала уже отнюдь не беглым преступником, укрывающимся от уплаты налогов, он праздновал выполнение первой части нового плана и успел лишь пригубить первый бокал вина с девицами легкого поведения, и — я ведь

мог подтвердить, что нет ничего лучше возвращения к прежней жизни, к тому, чтобы снова стать прежним Немцем, с головы в пепельно-серой, не очень чистой шляпе, до ног в нечищенных ботинках,— то была настоящая удача, добрый знак, мистер Шульц добрался до отеля, когда старательный парикмахер все еще подравнивал волосы этой вонючки. А ко времени, когда спинку кресла немного откинули, чтобы брить клиента, мистер Шульц уже все подготовил. Босс подпольной лотереи держал свою пушку на коленях, под полосатой парикмахерской простыней, многие так делают, двое его телохранителей сидели в холле неподалеку от стеклянной двери в парикмахерскую около горшков с пальмами и читали вечерние газеты. Такова была исходная диспозиция. Один из телохранителей случайно бросил взгляд поверх газеты и увидел перед собой густобрового, ухмыляющегося своей редкозубой ухмылкой Лулу Розенкранца, а рядом с ним — Ирвинга, приложившего указательный палец к губам; чтобы привлечь внимание своего товарища, телохранитель тихонько кашлянул, и, обменявшись быстрыми взглядами, они свернули газеты и встали в надежде, что их немедленное и единодушное решение наплевать на профессиональный долг найдет понимание у двоих хорошо известных своей жестокостью людей. В этом они не ошиблись, им без лишних слов разрешили исчезнуть через вращающуюся дверь отеля, отобрав только газеты, которые Ирвинг и Лулу уселись читать в освободившиеся кресла, около пальм, хотя, если уж говорить начистоту, сказал мистер Шульц, Лулу читать не умеет. В это время старательный парикмахер, который после окончания своего рабочего дня брался обслуживать только очень важных клиентов, накладывал горячее полотенце на лицо лотерейщика; парикмахеры делают это как при горчичном компрессе, оставляя снаружи только кончик носа; заметив и поняв значение церемонии за дверью, он бросил навсегда свою профессию — вышел тихо в боковую зеркальную дверь, ведущую в подсобную комнату, а оттуда в переулок и на улицу; при этом он разминулся, глухо извиняясь, с идущим навстречу другим парикмахером в белом халате с короткими рукавами; это был мистер Шульц с толстыми, но не мускулистыми волосатыми руками, толстой короткой шеей и черно-голубыми тенями на мучительно, дважды в день выбриваемых щеках. Немец подошел к полулежащему в кресле клиенту, подражая в движениях парикмахеру, наложил ему на лицо еще несколько полотенец, накапав на них, особенно около ноздрей, из небольшого пузырька без наклейки, который он по наитию, а не по расчету взял у хозяйки публичного дома. Посуетившись вокруг кресла и похмыкав, он, наконец, удовлетворился сделанным, сунул руку под простыню, взял пистолет из ослабевших пальцев, аккуратно отложил его в сторону, приподнял полотенце над горлом лотерейщика, выбрал уже открытую бритву на полке под зеркалом, убедился, что она отменно заточена и безо всяких колебаний полоснул ею по горлу как раз под подбородком. И когда тонюсенькая полоска растянула свои красные губы в кровавой улыбке, а жертва дернулась в полувопросе, не столько обвиняя, сколько недоумевая, он зажал локтем мумифицированный рот и начал заворачивать голову, горло и грудь жертвы горячими полотенцами, лежащими в хромированном ведре за креслом; когда на поверхности полотенец осталось лишь розоватое пятно цвета медленного заката, он с неспешной дерзостью вытер лезвие двенадцатидюймовой бритвы, сложил ее и опустил во внутренний карман рядом с расческой, а потом, бросив мстительный взгляд на холл, словно там, наблюдая, сидели банкиры, контролеры, сборщики и посыльные подпольной лотереи, протер рукоять «смитвессона» полосатой простыней, вложил его снова в руку жертвы, а руку устроил на колене убитого, разровнял полосатую простыню и вышел через зеркальную дверь; дверь закрылась со щелчком, оставив на обозрение зевак два парикмахерских кресла, два тела и две струйки крови, текущие по кафельному полу.

— Ничего ужасного в этом не было,— сказал мне мистер Шульц,

имея в виду газетный заголовок, который привлек мое внимание.— Это все враки писак. От них никогда справедливости не дождешься, а работа была сделана красиво и профессионально. Кстати, сукин сын, скорее всего, умер от наркотических капель. Он, конечно, дернулся, но ведь и курица с отрезанной головой дергается. Ты знаешь, малыш, что курица бегает и после смерти? Я сам это видел в деревне.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава девятая

В первое же утро после приезда мы стояли на ступеньках здания суда и поверх городских крыш и моста над горным ручьем смотрели на поля, пастбища и сиренево-зеленые холмы вокруг нас, поля зеленели пятнами потемнее, солнце светило с синего неба, неподалеку мычала корова, это мычание звучало для меня радостной песней природы, и Лулу Розенкранц пробормотал:

— Я мало что в этом смыслю, но что делать, когда человеку погулять хочется?

В сельской местности я раньше никогда не был, если, конечно, не считать сельской местностью Ван-Кортлэнд-парка, но мне очень понравились и запах, и свет, и покой того неба. Меня, конечно, учили, что в человеческих поселениях все практично. Там, вдалеке, люди растят все необходимое, держат молочный скот, а город этот, Онондага, центр графства,— их рынок. Он построен на склонах холмов над фермерскими угодьями, прямо через него с гор протекает ручей. Поскольку никто мне этого не запрещал, я пошел на экскурсию к старому скрипучему деревянному мосту и полюбовался неглубоким потоком, мчащимся по скалам. Когда стоишь прямо над ним, он кажется шире и скорее похож на реку, чем на ручей. За домами, выстроившимися вверх по реке, стояла покинутая лесопилка, сараи накренились, будто их побило бурей, место давно было заброшено, давно превратилось в кладбище чьих-то прежних попыток освоить сырьевые ресурсы, о которых я читал в школьных учебниках географии, но значение которых до меня никогда по-настоящему не доходило. Я хочу сказать, что фразу «сырьевые ресурсы» не поймешь до тех пор, пока не увидишь деревьев на холмах и лесопилку у ручья, и только тогда до тебя начнет доходить смысл вещей. Сам я, впрочем, такой жизни для себя не хотел.

Много людей жило и умерло в Онондаге, после себя они оставляли дома, я сразу понял, что деревянные дома построили давно; люди в сельской местности живут в деревянных домах, стоящих впритык, в больших коробках, окрашенных в темно-коричневый или облупившийся серый цвет,— высокая крыша, конек, крыльцо, заваленное дровами; встречались и необычные дома с боковыми башенками на крышах, напоминающими дурацкий колпак, с резными наличниками, с дранкой, прибитой то так то эдак, с резными литыми решетками под крышей, словно хозяева защищались от голубей. И как бы там ни было, это тоже Америка, сказал я Лулу Розенкранцу, но, похоже, не убедил. Общественные здания были, впрочем, каменные, здание суда, к примеру,— из красного камня, обрамленного серым гранитом, что напомнило мне приют Макса и Доры Даймонд, только суд был побольше, со сводчатыми окнами и дверями, с закруглениями на углах, что типично для правосудия; четырехэтажное здание школы «Онондага» было из того же уродливого красного камня, что здание суда и публичной библиотеки «Онондага», небольшого зданьица, выглядевшего гораздо серьезнее, чем само отношение людей к чтению. Была там и готическая церковь из серого камня, скромно названная церковью Святого Духа,— единственное, что не носило имени индейца Онондаги, который, похоже, произвел на местных жителей неизгладимое впечатление. На лужайке перед судом стояла его статуя — прикрывая глаза от солнца, индеец смотрел на запад.

Когда мисс Лола, мисс Дрю, вышла из машины и впервые увидела эту статую, она так ею залюбовалась, что мистер Шульц разозлился и силком утащил ее оттуда.

Самым большим сооружением в городишке оказался шестиэтажный отель, он, понятно, назывался «Онондага» и находился в самом центре коммерческой части города, если ее можно было так назвать, поскольку в витринах многих магазинов висели таблички ПРОДАЕТСЯ; легковые машины, стоящие передними колесами на тротуаре, напоминали старые черные консервные банки; а фермерские грузовики поражали цепями на колесах и отсутствием дверей; мало чего происходило в Онондаге, пожалуй, наш приезд и был единственным происшествием; я сразу это понял, когда пожилой мулат-портье в отеле с видимым удовольствием схватил мой чемодан, отнес его в комнату на верхнем этаже и даже не стал ждать чаевых, которые я собирался ему дать. Там, на шестом этаже, мы все и жили, мистер Шульц снял этаж целиком. У каждого была, минимум, одна комната, иначе нас неправильно поймут, сказал мистер Шульц, глядя на мисс Лолу, мисс Дрю, так что у нее был свой номер, а у него — свой, и у остальных по одной комнате, за исключением мистера Бермана, имевшего и вторую комнату, в которую он заказал отдельный прямой телефон, не связанный с гостиничным коммутатором.

Оставшись в номере один, я попрыгал на пружинистой кровати. Потом открыл дверь и — ого! — за ней находилась ванная комната с громадной ванной, несколькими тонкими белыми полотенцами на вешалке и зеркалом в человеческий рост на внутренней стороне двери. Ванная была не меньше кухни у нас дома. Пол был выложен маленькой восьмиугольной плиткой, такой же, как в подъездах у нас в Бронксе, только намного чище. Кровать моя оказалась мягкой, широкой, спинка ее напоминала половину большого кленового колеса со спицами. Рядом с кроватью стояли стол с настольной лампой и стул, дальше гардероб с зеркалом, в верхнем ящике я нашел маленькие углубления для легко теряющихся мелочей. На окнах висели легкие тюлевые занавески, которые раздвигались при помощи шнурка, а за ними — черные шторы, совсем как в нашей школе, их опускали, когда показывали слайды или кино, для этого на подоконнике имелось специальное колесико. На столе стоял приемник, он тихонечко потрескивал, но станций не ловил.

Мне нравилась вся эта роскошь. Я снова лег на кровать, на две подушки и белое покрывало с узором стежков и рядами бугорков, трогая которые я вспоминал Бекки. Заложив руки за голову, я дергал тазом, воображая, что она сидит сверху. Отдельные комнаты в отелях — очень сексуальные места. В холле внизу я заметил стол с письменными принадлежностями и решил, что через день или два напишу ей письмо. Я начал было размышлять, стоит ли извиняться, что уехал, не попрощавшись, и все такое, но вдруг меня вспугнула тишина. Я сел. Стояла полная, неестественная тишина, которая сначала показалась мне частью роскоши, но затем я стал ощущать ее, как чье-то чужое присутствие. Я не хочу сказать, будто чувствовал, что за мною следят, ничего подобного, скорее казалось, будто кто-то ищет моего общества — например, бесконечные ряды лютиков на обоях или отдельные предметы кленовой мебели,— а пока молчит и ждет, когда я первый заговорю. Я сел. В ящике стола нашел Библию и решил, что ее оставил кто-то из постояльцев. Но отменная чистота и порядок в комнате навели меня на мысль, что ей положено здесь лежать. Я выглянул в окно — мои окна выходили во двор,— мне открылся прекрасный вид на плоские крыши складов и магазинов. Ничто не двигалось в Онондаге. Над отелем возвышался поросший сосной склон холма, закрывавший небо.

Я понял, что, должно быть, чувствует Лулу Розенкранц, его гнетет отсутствие той жизни, которую мы знали,— пронзительной, громкой, моторизованной, с гудками и звонками, с визгом шин и скрежетом тормозов, с великим множеством людей на чересчур малом пространстве, где ты только и чувствуешь себя по-настоящему независимым и свободным.

Но он, по крайней мере, мог утешиться обществом Ирвинга и Микки и годами верной службы в банде, а ко мне никто из них особой любви не питал. К тому времени я еще не знал, что мне предстояло делать в Онондаге. Попить кофе я, похоже, опоздал. Как это ужасно — знать, что тебе не доверяют. Уже не первый раз я со страхом думал об их доверии ко мне и о глубине грозившей мне опасности. Всегда было так, стоило мне порадоваться, что все идет хорошо, что живу я прекрасно, как все портила одна только мысль о том, сколь малой, даже неосознанной ошибки достаточно, чтобы изменить мою судьбу. Я ведь оставался сообщником убийц. Меня могли арестовать, судить и приговорить к смерти. Но и это еще было не все. Я вспомнил Бо Уайнберга и открыл дверь в полутемный коридор, застеленный широкой ковровой дорожкой, нет ли там кого? Никого, все двери закрыты. Я вернулся в комнату и осторожно, боясь потревожить тишину, притворил за собой дверь; чтобы как-то побороть уныние, я распаковал мой новый костюм от И. Коэна с двумя парами брюк и повесил его в большой шкаф; рубашки, белье и пистолет положил в ящик стола, пустой чемодан засунул все в тот же шкаф и снова сел на кровать, настроение мое стало еще паршивее. Может, из-за того, что приезд в новое место всегда чем-то загадочен. А может, как я объяснил сам себе, я просто не привык жить один, я ведь к тому времени жил один всего каких-нибудь пять или десять минут и еще не успел привыкнуть к такой жизни. Как бы то ни было, от моего прежнего оптимизма не осталось и следа. Единственное, что меня хоть как-то подбадривало,— это вид таракана, ползущего по стене между лютиками,— значит, отель «Онондага» не так хорош, как его замышляли.

Первую пару дней я был почти все время предоставлен самому себе, мистер Берман дал мне пятьдесят долларов мелкими купюрами и сказал, чтобы я потратил их в самых разных местах. Это оказалось не так просто, Онондага беднее плодами земли, чем Батгейт авеню. Полки магазинов, необычно тихих темных заведений, поражали пустотой, причем один работающий магазин отделяло от другого несколько закрытых и забитых досками. Я зашел в дорогой моему сердцу магазин дешевых товаров фирмы «Бен Франклин», я знал эту фирму по Нью-Йорку, воровал в лучших ее магазинах, но этот был жалок и беден, владелец включил только одну электрическую лампочку в глубине зала, деревенские мальчишки, заходившие сюда босиком, цепляли занозы о щербатые доски деревянного пола. Товаров почти не было. Я купил пригоршню игрушечных машинок и полицейских на мотоциклах и раздал их мальчишкам. В магазине женской одежды я купил для матери широкополую соломенную шляпу, отнес коробку со шляпой на почту и отправил ее домой по высшему разряду. В ювелирном магазине приобрел за доллар карманные часы.

Через витрину я увидел в аптеке Лулу и водителя Микки, они сидели у фонтанчика и потягивали через соломинки подслащенное молоко. Отпив немного, каждый смотрел на бокал, как бы проверяя, долго ли еще осталось мучиться. Я обрадовался, догадавшись, что они получили от мистера Бермана то же самое задание, что и я. Вот они вышли из аптеки, и от нечего делать я стал следить за ними. Сначала они постояли у витрины, за которой находился трактор. Потом набрели на газетный киоск и вошли, я мог бы им и так сказать, что нью-йоркских газет там нет. Выйдя оттуда, они закурили сигары, пересохшие сигары вспыхнули, словно факелы. Лулу рассвирепел, Микки стал его успокаивать. Потом они купили пятидесятифунтовый мешок лука и выбросили его в мусорный бак. Затем зашли в военный магазин, через окно я видел, как они примеряют рубашки, шляпы и форменные ботинки со шнурками, носить которые, я уверен, они не собирались.

На второй день этого покупательного запоя фантазия моя иссякла. Но тут мне пришло в голову, что деньги можно тратить и на друзей, я купил мороженое для мальчишек, которые следовали за мной по пятам, а потом в сквере напротив суда начал жонглировать тремя розовыми шариками. В Онондаге дети были везде, днем на улицах никого другого и не встретишь, в комбинезонах без рубашек босые, с кривыми веснушчатыми мордашками, они напомнили мне о моей улице и сиротском приюте, но в них было меньше задора, они не улыбались и не прыгали, свои радости они переживали солидно, наблюдали за жонглированием с сосредоточенным вниманием, но отбегали прочь, когда я предлагал им показать, как это делается.

Самым же заметным было отсутствие мистера Шульца и мисс Лолы, мисс Дрю, днем и ночью в его номер тянулась обслуга. Интересно, что мисс Лола делала, чтобы ее номер выглядел жилым? Но, кажется, это ее вообще не беспокоило. Я старался не думать о ней, но это оказалось непросто, особенно по ночам, когда я лежал без сна на кровати, курил сигареты «Уингс» и вслушивался в едва различимые звуки танцевальной музыки из трещавшего радиоприемника. Жаль, что я видел ее голой, я знал слишком много и мог теперь легко вообразить ее, если честно, меня просто мутило от мыслей о ней. А потом я разозлился. Она дала мне понять, как мало я знаю женщин, ведь сначала она показалась мне красивой, невинной и благородной жертвой, попавшей под перекрестный огонь гангстерских банд, а затем в номере отеля «Савой-Плаза» я понял, что она сама спуталась с Бо Уайнбергом, лучшим из них; я раньше думал, что только бедные женщины становятся шлюхами, но выходит, богатые шлюхи тоже бывают, и она — одна из них, она, правда, замужем, но ее брак такой вольный, что просто ненормальный, она совершенно дикая, первобытная, я хочу сказать, что сесть в «паккард» перед рассветом и позволить увезти себя черт знает куда, а там пить шампанское с человеком, который только что убил твоего парня,— это может кому-то показаться историей грязной и авантюрной, но когда она одевалась в спальне отеля «Савой-Плаза», я увидел в ее глазах совсем другое, вы ведь знаете, что суть женщины открывается именно в тот момент, когда она тщательно готовится выйти на люди, а не сидит, плотно сжав коленки, или не стоит, поставив одну ногу чуть вперед, а другую слегка отведя в сторону.

Они провели наедине друг с другом двое суток. Только на третье утро, ближе к полудню, я увидел, как они выходили из отеля. Держась за руки. Я боялся, как бы мистер Шульц не заметил, что я жонглирую, стоя среди местных мальчишек на тротуаре. Но, кроме нее, он ничего не замечал, он помог ей сесть в «паккард», пока Микки держал дверцу, и нырнул вслед за ней. По выражению лица мистера Шульца я понял, что два дня и две ночи, проведенные в постели с мисс Дрю, заметно подняли ее акции в его глазах. Когда они уехали, мне пришло в голову, что, если она хочет остаться в живых, обладая смертельно опасной информацией, лучшего способа и не придумаешь. Впрочем, это ерунда — она была такой легкомысленной, что собственная смерть ее не занимала.

На второй день вечером меня ждало развлечение, я получил приглашение на ужин в столовую отеля, мы все устроились за большим круглым столом: мисс Лола, мисс Дрю — по правую руку мистера Шульца, Аббадабба Берман — по левую, все остальные — Лулу, Микки-водитель, Ирвинг и я — веером напротив него. Мистер Шульц был в прекрасном расположении духа, и мне показалось, что все остальные члены банды тоже обрадовались встрече, так что, похоже, не один я скучал по дому.

За двумя-тремя столами сидели пожилые пары, бросавшие на нас взгляды и потом склонявшиеся друг к другу, чтобы обменяться впечатлениями; в окнах столовой появлялись и исчезали лица любопытствующих прохожих; в дверях каждую минуту возникали дежурный адми-

нистратор и пожилой цветной коридорный; они улыбались и смотрели на нас так, словно хотели убедиться, что мы еще здесь. Мистеру Шульцу все это очень нравилось. «Дорогая,— позвал он официантку,— скажика нам, чем богаты ваши погреба»; просьба показалась мне странной, она ответила, что у них есть только нью-йоркское вино «Тейлор» в бутылках «с винтом», отчего он засмеялся, словно знал все заранее; официантка, пухлая прыщавая девушка в форме, которую я видел в кафе Шрафта на Фордэм-роуд — черное платье, отороченное белой лентой, и маленькая накрахмаленная шапочка на голове,— почему-то очень нервничала, постоянно все роняла, наливала бокалы по самый край и, казалось, вот-вот расплачется и убежит. Мистера Шульца это не смущало, он заказал две бутылки красного нью-йоркского вина «Тейлор». Даю голову на отсечение, что Лулу и Микки предпочли бы пиво, раз уж нет крепких напитков, но промолчали. Галстуки им тоже были не по душе. «За правосудие»,— сказал мистер Шульц, поднимая свой бокал и притрагиваясь им к бокалу мисс Лолы, мисс Дрю, которая, взглянув на него, рассмеялась приятным горловым смехом, будто он шутил, и мы все чокнулись, даже я своим молоком.

Наш стол стоял посередине комнаты, прямо под люстрой с голыми лампочками, которые придавали всему вид одновременно неясный и ослепляющий, поэтому трудно было сказать, как выглядел каждый, а так хотелось увидеть, как выглядят люди после двух суток сумасшедшего траханья; мне нужны были хоть какие-нибудь факты, зацепки, намеки, которыми я мог бы в воображении кормить мою отвлеченную ревность, но их не было, по крайней мере, при таком освещении; особенно трудно было увидеть лицо мисс Лолы, мисс Дрю, она была так прекрасна в ореоле своих стриженых золотистых волос, глаза ее были такие зеленые, а кожа так ослепительно бела, что смотреть на нее было все равно, как на солнце: сияние слепит и сразу же приходится отводить взгляд. Все ее внимание было приковано к мистеру Шульцу, стоило ему заговорить, и она тут же поворачивалась к нему, будто глухонемая, которая читает по губам.

Ужин состоял из куска мяса с зеленой фасолью и картофельным пюре, белого хлеба, сливочного масла и бутылки кетчупа, которую поставили в центр стола. Еда была вкусной и горячей, а я был голоден. Как и все остальные, я ел быстро, с жадностью набрасываясь на пищу. Мистер Шульц попросил официантку принести еще одну тарелку с мясом, и, только заморив червячка, я заметил, что мисс Лола, мисс Дрю, не притронулась к еде, а, положив локти на стол, наблюдала, как волчья стая сжимает в кулаках вилки, жует, широко открывая рты, и тянется время от времени за новым куском хлеба. Это, кажется, искренне ее забавляло. Когда я взглянул на нее в следующий раз, она уже подняла свою вилку, сжав ее в кулачке. Осторожно поводив ею из стороны в сторону, как бы проверяя, удобно ли ей, она поддела ломтик мяса с общей тарелки и медленно подняла его до уровня глаз. В этот момент все замолчали и уставились на нее, она, наоборот, кажется, вообще забыла о нашем присутствии. Положив кусок на свою тарелку, она оставила вилку стоять торчком в мясе, словно задумалась о чем-то постороннем, потом взяла со стола салфетку, развернула ее и положила себе на колени. Затем с милой рассеянной улыбкой взглянула на мистера Шульца и опустила глаза на свой бокал, который мистер Шульц тут же торопливо долил. Взяв вилку в левую руку, а нож — в правую, она отрезала маленький кусочек мяса и, переложив вилку из левой руки в правую, отправила его в рот, за мясом последовали фасоль и маленькие катышки картофельного пюре. Все это совершалось с подчеркнутым изыском и обрядовой медлительностью, так школьные учителя пишут на доске слово, одновременно произнося его по слогам. Мы не сводили с нее глаз, а она взяла бокал, поднесла его к губам и отпила вино безо всякого звука,— а я внимательно слушал,— без посасывания, булькания, сглатывания или причмокивания, так что, когда она поставила бо-

кал на стол, я засомневался, отпила ли она вообще хоть капельку вина. Должен сказать, что более угнетающей демонстрации утонченности мне в жизни видеть не приходилось, и, несмотря на всю ее красоту, прелесть ее для меня померкла. Лулу Розенкранц нахмурился так, что любой гангстер испугался бы до смерти, и обменялся взглядами с Микки-водителем, а Аббадабба уставился на скатерть с грустным выражением лица, и даже бесстрастный Ирвинг опустил глаза, но мистер Шульц кивнул несколько раз и сложил губы в одобрительную гримасу. Наклонившись вперед, он окинул взглядом стол и произнес голосом, какой он, видимо, считал проникновенным:

— Благодарю вас, мисс Дрю, мы не сомневаемся в ваших наилучших намерениях и впредь постараемся следить за своим похабным поведением.

Я сразу понял, что произошло нечто важное, но обдумал это, только когда оказался в своей комнате, в постели, и потушил свет, а цикады в окрестных полях Онондаги трещали как бешеные, а что если их треск — это пульс живой ночи, а сама ночь обладает огромным, как у моря, телом, в котором все живет, любит и умирает? Мисс Лола, мисс Дрю, презирала воспоминания. Чисто формально она была пленницей, и жизнь ее висела на волоске. Но она не желала быть пленницей. Она хотела активно участвовать в происходящем. Мистер Шульц был, конечно, прав: нам, подобно туристам в чужой диктаторской стране, следовало следить за своим похабным поведением. Но всех сидящих за столом поразило то, что он взял ее сторону, она сыграла свою безумную пантомиму, назидательно наставляя менее удачливых, чем она сама, и вместо того, чтобы влепить ей по морде, что, скорее всего, сделал бы любой другой, он согласился с ней и нашел в ее наставлении что-то ценное. Они почувствовали, что им послано знамение, что она заняла в банде свое место и что отныне так и будет.

Это, конечно, были только мои догадки, может, остальные так не думали, но за время, проведенное с мистером Шульцем, я понял, что он любит нравиться людям, что он уязвим для тех, кто привязан с нему,— для последователей, обожателей, неофитов, будь то мальчишки-позеры или женщины, чьих мужчин он убил. В конце концов, она была его военным трофеем, и особую прелесть ей придавало то, что ее любил Бо Уайнберг. А может, когда мистер Шульц ложился с ней в постель и трахал ее, он на самом деле проявлял свою любовь к Бо?

На следующее ясное и солнечное утро мистер Берман постучал в мою дверь, велел мне надеть новый костюм и очки, через пятнадцать минут спуститься в холл и ждать там мистера Шульца. Я спустился через десять, поэтому успел еще сбегать за угол и выпить чашку кофе с пирожком. Когда я вернулся, все уже вышли на улицу. Микки был за рулем «паккарда», Лулу Розенкранц забирался на переднее сиденье рядом с ним, а мистер Шульц и мисс Дрю сидели сзади. Я юркнул в машину.

Поездка была недолгой, мы просто повернули за угол к национальному банку Онондаги, который представлял собой узкое здание из известняка, с двумя длинными зарешеченными окнами и колоннами, поддерживающими треугольную каменную крышу над центральным входом. Микки остановился на противоположной от банка стороне улицы, и мы все принялись разглядывать это здание под шум мотора.

— Мне довелось однажды встретиться с Элвином Пинкусом, который работал с Красавчиком Флойдом,— сказал Лулу.— Прекрасно сейфы колупал.

— Да, и где он сейчас? — откликнулся мистер Шульц.

— Какое-то время они неплохо жили.

— Ты сам подумай, Лулу,— сказал мистер Шульц.— Зачем добывать деньги в том единственном месте, где они надежно спрятаны под замок? Глупо. Все это бандитское дерьмо далеко в стороне от основного

экономического русла,— сказал он, похлопывая по чемоданчику, лежавшему на его коленях.— О'кей, леди и джентльмены.— С этими словами он вышел из машины и подержал дверцу для мисс Дрю и для меня.

Я понятия не имел, какая роль мне уготована. Когда мы вышли из машины, мисс Дрю со словами «Подожди минутку» поправила мне галстук. Я инстинктивно отшатнулся.

— Будь хорошим мальчиком,— сказал мистер Шульц.— Я знаю, это трудно.

Ботинки уже натерли мне мозоли на пятках, а проволочные дужки металлических очков царапали за ушами. Я, конечно, забыл купить книгу, как мне велел мистер Берман, поэтому в последний момент схватил Библию, которую и держал теперь в левой руке. Мою правую руку сжимала мисс Дрю, с которой мы переходили улицу следом за мистером Шульцем.

— Ты хорошо выглядишь,— сказала она.

Мне было противно, что даже на высокой подошве я все равно был ниже ее, да и мистер Шульц тоже.— Это комплимент,— добавила она,— так что можно не хмуриться.— Ей было очень весело.

Нас провели мимо зарешеченных будок кассиров во внутреннее помещение, президент банка встал из-за стола и тепло потряс руку мистера Шульца, хотя глаза его в это время холодно оценивали всех нас. Это был осанистый мужчина с большим вторым подбородком, который висел пустым мешочком под нижней челюстью, а когда президент начинал говорить, двигался, как водяной насос. За его спиной виднелась открытая дверь и стальные ворота, ведущие в комнату, которая служила большим сейфом со множеством ящиков, похожих на почтовые.

— Очень хорошо,— сказал он после представлений, мистер Шульц назвал меня вундеркиндом, а мисс Дрю — моей воспитательницей.— Садитесь, пожалуйста, нам в нашем маленьком городе не часто приходится принимать столь знаменитых людей. Надеюсь, что вам здесь понравится.

— О да,— сказал мистер Шульц, начиная расстегивать лямки чемоданчика.— Для нас это летний отдых в деревне.

— Да, именно деревенским отдыхом мы и славимся. Купание, форель в чистых ручьях, девственный лес.— В этот момент он бросил быстрый взгляд на скрещенные ноги мисс Дрю.— С вершин наших холмов открываются прекрасные виды, если вы, конечно, любите пешие прогулки. Воздух у нас превосходный,— сказал он и рассмеялся, будто в его словах было что-то забавное, а потом продолжал молоть такой же вздор, все время поглядывая на чемоданчик, который мистер Шульц открыл, слегка наклонил, а потом резким движением опустил на стол, отчего несколько пачек долларов соскользнуло на большую зеленую конторскую книгу. И в этот миг поток слов изо рта президента иссяк, хотя насос еще некоторое время не мог захлопнуть нижнюю челюсть.

Я никогда еще не видел столько денег, но, в отличие от банкира, никакого удивления не обнаружил. Мистер Шульц сказал, что хотел бы открыть счет на пять тысяч долларов, а остальное поместить на хранение в сейф. В следующее мгновение вызвали старую секретаршу, и они с президентом, посуетившись, ушли пересчитывать добычу, а мистер Шульц тем временем сел на прежнее место и прикурил сигару, которую взял из увлажнителя на столе банкира.

— Малыш,— сказал он,— ты заметил, сколько касс открыто в этом заведении?

— Одна?

— Да. Один седой кассир сидит и читает газету. Друзья Лулу не встретили бы здесь даже охранника у двери. Ты знаешь, каковы активы этого типа? Закладные нищих фермеров. Он целыми днями рассылает извещения о просрочке выкупа и распродает графство Онондага по десять центов за доллар. Можешь мне поверить. Он будет лежать ночи без сна, думая о наличности, хранящейся в заказанном мною сей-

фе. О том, что за нею стоит. Даю ему неделю, ну, десять дней. И он обязательно позвонит.

— И ты клюнешь на все, что бы он ни предложил,— сказала мисс Дрю.

— Ты чертовски права. Перед тобой защитник всех бедных девушек этой дыры.— Он застегнул пиджак своего темного костюма и отряхнул воображаемые пылинки с рукавов. Взял в рот сигару, наклонился и поправил носки.— Вот закончу здесь дела и выставлю свою кандидатуру в конгресс.

— Я хочу поговорить совсем о другом, если ты, конечно, не будешь дуться и злиться,— сказала мисс Дрю.

— Что? Нет. Опять я что-то не так сказал?

— Вундеркинд.

— Ну и что?

— Ты хоть знаешь, что это слово означает? Не хороший мальчик, как ты, наверное, думаешь, а гениальный ребенок.

В этот момент вернулся осчастливленный банкир, радостно потирающий руки, положил для мистера Шульца бумажки на стол, снял со своей авторучки колпачок, надел его на противоположный конец ручки и, не переставая болтать, протянул ее через стол. Но, как только мистер Шульц начал подписывать бумаги, банкир замолчал, и процедура подписания приобрела почти дипломатическую торжественность. Затем появилась старая секретарша с расписками и незаполненной чековой книжкой, и снова возникли суета и оживление, и несколько минут спустя мы уже прощались, улыбались, раскланивались, деньги — уж точно — бодрят людей, приводят их в состояние радостной приподнятости, заставляют заботиться о ближнем и желать ему самого наилучшего. Банкир, до тех пор обращавший внимание только на мистера Шульца, вдруг сказал деланно заинтересованным тоном:

— Ну-с, молодой человек, что же теперь читает ваше поколение? — Он повернул книгу, которую я держал в руках, и прочитал заглавие, не знаю, что уж он ожидал увидеть, может, французский роман, но удивление его было искренним.— Очень достойно, сын,— сказал он. Схватив меня за плечо, он смотрел на мою воспитательницу: — Мои поздравления, мисс Дрю, я сам воспитываю молодежь, с такими юношами мы можем не волноваться за наше будущее.

Он проводил нас до самого выхода, каблуки наши стучали по мраморному полу, единственный кассир встал, когда мы цепочкой проходили мимо.

— До свидания, да хранит вас Бог,— сказал банкир и помахал нам с крыльца рукой.

Лулу держал дверцу, пока все мы не забрались на заднее сиденье, потом сам сел впереди, Микки завел мотор, и мы тронулись. Только тогда мистер Шульц, воскликнув «В чем, черт возьми, дело?», перегнулся через мисс Дрю и выхватил из моих рук Библию отеля «Онондага».

В машине воцарилась тишина, слышался только шелест страниц. Я глядел в окно. Мы медленно спускались с холма по почти пустынной центральной улице. Здесь, в сельской местности, были даже фуражные магазины. Я сидел в новом костюме, длинных брюках и ботинках на высокой подошве, бедром к бедру с прекрасной мисс Дрю, на заднем сиденье роскошной личной машины человека, который еще несколько недель назад был для меня полубогом, недоступной мечтой, и чувствовал себя совершенно несчастным. Я покрутил ручку и опустил стекло, чтобы выветрить сигарный дым. У меня не было никакого сомнения, что сейчас произойдет что-то невообразимо ужасное.

— Эй, Микки,— позвал мистер Шульц.

Блекло-голубые глаза Микки-водителя появились в зеркале заднего вида.

— Остановись у церкви на холме, там, где шпиль виднеется,— ска-

зал мистер Шульц и захихикал.— Это единственное, о чем мы не подумали.— Он положил руку на колено мисс Дрю.— Можно мне засвидетельствовать почтение парню, сидящему рядом с тобой?

— Не смотри на меня, босс,— сказала она,— я не имею к этому никакого отношения.

Мистер Шульц наклонился вперед, чтобы видеть меня за мисс Дрю. Он широко улыбался своим громадным крупнозубым ртом.

— Это верно? Ты сам додумался?

Объяснить я не успел.

— Ты видишь,— обратился он к мисс Дрю,— я знаю слова, которые употребляю. Этот малыш действительно вундеркинд.

Вот каким образом я поступил в воскресную библейскую школу при церкви Святого Духа, в Онондаге, штат Нью-Йорк, бесконечным летом 1935 года. Слушать проповеди о бандах в пустыне, их неладах с законом, трудах, проделках, борьбе друг с другом и непомерном гоноре каждой — такова теперь была моя доля по воскресеньям в церковном полуподвале, со сводов которого капала вода, капало и из носов моих одноклассников; одетые в чересчур большие комбинезоны или выцветшие платья, они каждое воскресенье сидели на скамьях рядом со мной, болтая своими босыми или обутыми ногами. Несмотря на все, что я сделал и пережил в последнее время, по воскресеньям я как бы снова возвращался в сиротский приют.

Хотя хуже воскресенья трудно было что-нибудь придумать, остальные дни были не намного лучше, нам не оставалось ничего другого, как творить добро. Мы посещали больницу и приносили в палаты журналы и конфеты. Мы не обходили вниманием ни один открытый магазин, если он только не торговал тракторными запчастями, и покупали все, что там продавалось. В миле от города находилась небольшая заброшенная площадка для игры в гольф, и несколько раз мы ездили туда с Лулу и Микки погонять мячик сквозь маленькие деревянные воротечки, по горкам и ямкам, у меня это хорошо получалось, и я выиграл у них несколько долларов, но после того как в приступе ярости Лулу сломал клюшку о колено, я решил больше туда не ездить. В самом городе, где бы я ни появился, за мной по пятам следовала ватага ребятишек, я покупал им конфеты, игрушки и мороженое, мистер Шульц в это время давал от имени Американского Легиона обеды для их отцов и матерей или же собирал прихожан церкви, скупал все домашние пироги и устраивал вечеринку для желающих отведать кофе с пирогами. Ему, единственному из нас, нравились эти длинные скучные дни. Мисс Дрю нашла конюшню, где можно было взять лошадей напрокат, и каждое утро выезжала с мистером Шульцем верхом на прогулку, я видел из окна шестого этажа, как они трусили по проселочным дорогам к невспаханному полю, где она давала ему уроки верховой езды. По почте из Бостона пришли специальные костюмы, которые она заказала по телефону: твидовые сюртуки с кожаными заплатками на локтях, шелковые шарфы, темно-зеленые фетровые шляпы с маленькими перьями, глянцевые сапоги из мягкой кожи и галифе, странные, лавандового цвета брюки, расширяющиеся на бедрах, которые хорошо сидели на ней, поскольку ее стройная, удлиненная фигура была плосковатой сзади, но совершенно не шли коренастому мистеру Шульцу, который выглядел в них, по меньшей мере, не по-мужски, о чем никто из нас, даже мистер Берман, не решился ему сказать.

Нравилось мне только раннее утро. Я вставал первый и покупал в газетном киоске «Онондага сигнал», которую читал, завтракая в маленькой закусочной, обнаруженной мною в одной из боковых улочек. Хозяйка заведения хорошо пекла и готовила очень вкусные завтраки, но я никому об этом не рассказывал. Наверное, я единственный из банды читал «Сигнал», это была очень скучная газета, заполненная фермерскими новостями, прописными истинами, домашними советами и прочей

ерундой, но там печатали комиксы «Фантом», а также «Проделки Эбби», а это как-то связывало меня с реальной жизнью. Однажды утром на первой полосе я прочитал, что мистер Шульц купил у банка местную ферму и вернул ее бывшим владельцам. Вернувшись в отель, я обнаружил, что у тротуара стоит больше старых автомобилей, чем обычно, а в холле на скамьях или прямо на корточках сидит множество мужчин в комбинезонах и женщин в домашних платьях. И с этого времени они установили за отелем надзор — снаружи или изнутри,— в зависимости от времени дня там постоянно находилось от одного-двух фермеров и фермерских жен до дюжины. В этих людях меня поражала одна особенность: уж если они были худые, то худоба их была ужасной, а если толстые, то до безобразия. Мистер Шульц вел себя с ними очень предупредительно и обычно приглашал по двое, будто в свою контору, к угловому столику в столовой отеля, недолго беседовал и задавал несколько вопросов. Я не знаю, сколько закладных он выкупил, может быть, ни одной, скорее всего, он давал несчастным немного денег на погашение месячного платежа или несколько долларов, чтобы, как он говорил, отогнать волка от дверей. Он беседовал с деловым видом, записывал их имена и просил прийти на следующий день, а сами деньги в коричневых конвертиках им выдавал потом Аббадабба Берман, который предварительно готовил их в своем кабинете на шестом этаже. Мистер Шульц, проявляя большой такт, не корчил из себя босса.

Для меня оставалось загадкой, как при всей своей красоте сельская местность может быть такой неуловимо печальной. Я спускался к реке, переходил через мост и бродил по проселочным дорогам, каждый раз уходя все дальше и дальше, и привык к окрестностям, и понял, что и это пустое небо, и полевые цветы, и неожиданно появившийся дом, амбар или мелькнувший зверь ничем мне не грозят. Здесь, в глубинке, мне стало ясно, что все города кончились и что впереди открывается безлюдная дорога, путешествие по которой требует веры. Несколько успокаивали только монотонные телеграфные столбы с провисающими проводами да белая линия в центре дороги, усердно бегущая по холмам и долинам. Я привык к соломенному духу полей и редкому необъяснимому запаху навоза, идущему от горячего пятна на обочине дороги, и то, что мне сначала представлялось тишиной, оказалось мелодией звуков — ветер дул и шептал, вокруг что-то испуганно жужжало и возилось в кустах, лаяло и взвизгивало, стрекотало и стучало копытами, плюхалось и квакало — и определить, кто производит эти звуки, казалось выше моих сил. После нескольких таких прогулок я вдруг понял, что жизнь начинаешь слышать и обонять задолго до того, как видишь ее, и что зрение — самое несовершенное из природных чувств. Многому учил таинственно разворачивающийся перед моим взором пейзаж, между неприбранной землей и громадным бездонным небом ничто не ласкало взгляда, от этих просторов я меньше всего ожидал привычной скученности городских кварталов и трущоб. Но со временем я стал сворачивать с мощеных дорог на грязные тропинки, и однажды, пробираясь по каменистой широкой дорожке, услышал деревенский шум, который пугающе нарастал и постепенно превратился в грохот,— казалось, где-то поблизости двигалась моторизованная армия; взойдя на высотку, я увидел облако пыли, поднимающееся с дальних полей, и прямо перед собой обнаружил стоящие на обочине дороги черные развалюхи местных бедняков; а сами жители Онондаги шли по пыльному картофельному полю за тракторами, комбайнами и грузовиками, картофель от комбайнов бежал по транспортерам в кузова грузовиков, а люди поднимали оставшиеся после машин клубни и бросали их в джутовые мешки, которые тащили за собой, самые слабые даже становились на четвереньки, картофель убирали и мужчины, и женщины, и дети, среди них были и мои знакомые по воскресной школе при церкви Святого Духа.

И тут мне открылся смысл стратегии мистера Шульца. Раньше я удивлялся, неужели он надеется кого-то одурачить своей щедростью?

Но теперь я понял: он все делает настолько открыто, что в действительности и не пытается кого-либо дурачить, нет нужды, пусть эти люди и знали, что имеют дело с известным нью-йоркским гангстером, здесь все равно никто Нью-Йорк не любил, и, пока мистер Шульц выказывал добрую волю, их не интересовали его преступления в Нью-Йорке; более того, их не волновало даже то, что они знали, почему он делает то, что делает, лишь бы он соответствовал масштабу своей репутации. Он, конечно, был виден насквозь, но таким и следует быть, если общаешься с массами, надо иметь размах, писать на небе, чтобы было видно за много миль.

Однажды вечером он сказал за ужином:

— Ты знаешь, Отто, я платил председателю совета еженедельно столько же, сколько стоит вся нынешняя операция. Здесь нет посредника, который назвал бы тебе истинную цену.— Он был доволен собой.— Я прав, Отто? Мы напрямую действуем, молочко прямо из-под коровки.— Он рассмеялся, в Онондаге все шло, как он и рассчитывал.

Но Аббадабба Берман особого веселья не испытывал. «Председателем совета» в банде называли мистера Хайнса, члена общества Таммани [1]. Пока агенты ФБР не спутали карты мистеру Хайнсу, он отсылал умников-полицейских на Стейтен-айленд, судей, не понимающих своих задач, заставлял уходить в отставку и, в довершение всего, подкупом добился избрания самого мирного и сговорчивого окружного прокурора за всю историю города Нью-Йорка. Прекрасная работа. Но наше положение было иным: банда, пытавшаяся выбраться из серьезных затруднений, действовала в необычных условиях, она не имела опыта легальной работы и, следовательно, допускала ошибки. А еще надо было учитывать мисс Дрю. С мистером Берманом о мисс Дрю никто не советовался. Чего там говорить, она, конечно, повышала класс и дела, и замыслов, ее воспитание позволяло лучше организовать благотворительность, она знала, что можно и что нельзя. Кроме того, она придавала Немцу некий шик, отвлекая местных жителей от мысли, что перед ними отъявленный гангстер. Но мисс Дрю была неизвестной величиной, Х-ом. В математике, как объяснил мне мистер Берман, когда не знают значения величины и даже того, положительная эта величина или отрицательная, ее обозначают Х. Вместо числа вводят букву. А к буквам мистер Берман особой склонности не питал. Теперь он смотрел, как мисс Дрю с каменным выражением лица ковыряла правой рукой в салате, а левой под столом незаметно схватила мистера Шульца за причинное место: мистер Шульц подскочил на стуле, опрокинул вино, закашлялся в салфетку, побагровел и, давясь смехом, сказал, что она чокнутая бешеная шлюха.

В углу за отдельным столом сидели Ирвинг, Лулу и Микки-водитель. Радости на их лицах не было. Когда мистер Шульц вскрикнул от неожиданности, Лулу, смотревший в другую сторону, ошеломленно вскочил на ноги и, дико озираясь, сунул руку в карман пиджака; он успокоился тогда, когда Ирвинг схватил его за руку. Мисс Дрю расколола банду, теперь в ней установилась иерархия, четверо сидели каждый вечер за одним столом, а Лулу, Ирвинг и Микки — за другим. Жизнь в Онондаге вынуждала мистера Шульца проводить большую часть времени с мисс Дрю и со мной, а точнее, с мисс Дрю, и даже я чувствовал себя ущемленным и обиженным, поэтому представляю, что испытывали остальные мужчины. Мистер Берман должен был все это учитывать.

Конечно, как только нью-йоркские газетчики пронюхают, чем здесь занимается Немец Шульц, положение наше быстро, катастрофически изменится, но я тогда этого знать не мог, все казалось мне каким-то причудливым и дурманящим, мне, например, однажды привиделось, что мисс Дрю может быть моей матерью, а мистер Шульц — отцом, эта мысль, и даже не мысль, а еще хуже, ощущение, пришло ко мне, когда

[1] Таммани — политическое общество, представители которого правили в Нью-Йорке с 1854 по 1932 год. Многие боссы этого общества насаждали в городе коррупцию.

мы однажды в воскресенье посетили службу в католической церкви Святого Варнавы, мы явились туда очень рано, мне нельзя было опаздывать в протестантскую воскресную школу при церкви Святого Духа. Мистер Шульц снял шляпу, а мисс Дрю покрыла голову белым кружевным платком, мы сели, серьезные и нарядные, на одну из последних скамей и стали слушать орган, я ненавижу, терпеть не могу этот инструмент, он забивает уши пугающими аккордами праведности или же заползает в них червяком смиренного благочестия; святой отец в шелковых одеяниях помахивал дымным горшочком под нарисованным на стене окровавленным беднягой Христом на золотом кресте; можете поверить, я совсем не так представлял себе жизнь преступников, но потом произошло нечто такое, о чем я и подумать не мог; когда мы были уже у выхода, мистер Шульц поставил в маленький стаканчик свечку за упокой души Бо Уайнберга, сказав при этом «Что за черт!», а затем за нами на тротуар вышел и отец святой, я не думал, что священники в шелковых одеяниях замечают с кафедры, кто приходит на службу, но, оказывается, замечают, все замечают, а звали священника отец Монтень, говорил он с акцентом, он сказал, что надеется снова увидеть нас, и крепко потряс мою руку; они с мисс Лолой, мисс Дрю, поговорили по-французски, он был канадский француз с жесткими реденькими черными волосами, которые зачесывал наверх, чтобы спрятать лысину, что, конечно, не удавалось. Я чувствовал себя немым, косноязычным, на блинах, ветчине и яблочном соке я понемногу толстел, носил фальшивые очки, ходил в церковь, причесывал волосы, одевался чисто и опрятно, костюмы доставала мне мисс Лола, мисс Дрю; она взяла себе за правило заказывать для меня одежду из Бостона, она делала это так, будто и в самом деле отвечала за меня, странно, но, когда она смотрела на меня, я не видел в ее глазах глубины, присущей сильным характерам, она, похоже, не отличала притворства от реальности, а может, была достаточно богатой, чтобы считать все придуманное существующим; я в этом городке уже не бегал, как прежде, сломя голову, не чувствовал себя самим собой, я слишком много улыбался, говорил, как маменькин сынок, и вообще стал притворщиком и делал такие вещи, которые раньше, когда носил свой клубный пиджак, и представить себе не мог: например, пытаясь понять, что происходит, начал подслушивать — совсем как полицейский на телефонной станции.

Однажды вечером, сидя в своей комнате, я учуял запах сигарного дыма и услышал голоса; выйдя в коридор, я остановился у слегка приоткрытой двери в комнату мистера Бермана, которую он использовал как кабинет, и заглянул внутрь. Мистер Шульц был в банном халате и шлепанцах, в этот поздний час они говорили тихо, так что если бы он меня застукал, то просто не знаю, что бы он со мной сделал, но мне было плевать, я ведь уже член банды, работаю вместе со всеми, убеждал я себя, разве можно жить на одном этаже с Немцем Шульцем и не воспользоваться такой возможностью. Слух мой был по-прежнему остр, я сделал шаг в сторону, чтобы меня не было видно, и прислушался.

— Артур,— говорил мистер Берман,— ты же знаешь, что эти парни ради тебя в тюрьму сядут.

— В тюрьму им садиться не надо. От них требуется только держать ухо востро, вежливо здороваться с дамами и не приставать к горничным. Неужели это слишком много? Я же им плачу, верно? Черт возьми, у них прекрасный оплачиваемый отпуск, чем же они недовольны?

— Никто ни слова не сказал. Но я знаю, что говорю. Мне трудно объяснить. Все эти манеры за столом унижают их достоинство. В двадцати милях к северу отсюда есть придорожный буфет. Может, ты позволишь им время от времени выпускать там пар?

— Ты что, спятил? Хочешь испортить всю работу? Что, как ты думаешь, произойдет, если они там ввяжутся в драку из-за какой-нибудь бляди? Нам не хватает только свары с местной полицией.

— Ирвинг не допустит этого.

— Нет, извини, речь идет о моем будущем, Отто.
— Это верно.
На какое-то время они замолчали. Мистер Шульц сказал:
— Тебя беспокоит Дрю Престон.
— До сих пор мне никто не сообщал полного имени дамы.
— Вот что я тебе скажу, позвони Куни, пускай он достанет несколько порнографических фильмов, кинопроектор и приезжает сюда.
— Артур, как я это скажу? Это серьезные взрослые мужчины, они, конечно, не мыслители, но думать они умеют и, поверь мне, заботятся о своем будущем не меньше, чем ты о своем.
Я услышал, как мистер Шульц ходит по комнате. Потом он остановился.
— Боже мой,— сказал он.
— И тем не менее,— сказал мистер Берман.
— Слушай, Отто, мне даже денег на нее тратить не приходится, у нее больше денег, чем у меня когда-нибудь будет, она не похожа на других, согласен, девчонка она испорченная, но у них так водится,— когда придет время, пинок под зад,— и дело с концом, обещаю тебе.
— Они не забывают Бо.
— Что это значит? Я тоже не забываю, я тоже огорчен, даже больше других. Если я не говорю об этом, значит, не помню, так, что ли?
— Только не влюбись, Артур,— сказал мистер Берман.
Я тихонечко возвратился в свою комнату и лег в постель. Дрю Престон и вправду была очень красива — стройная, с естественной грацией движений, особенно когда она за собой не следила; если бы мы, скажем, выехали на природу, она была бы похожа на рисованных девушек из старых детских книг разоренной библиотеки сиротского дома, она была бы такая же добрая и беседовала бы с маленькими лесными зверьками; я хочу сказать, что, когда она, задумавшись, забывала, где и с кем находится, все это можно было прочитать на ее утонченном лице, в ее пухлых, горделиво поднятых губах, в ее ясных, больших, зеленых глазах, которые могли гореть от распирающего ее любопытства или же прятаться со зловещей дерзостью под вызывающе скромными ресницами. Все мы находились под ее влиянием, даже философичный мистер Берман, который был постарше всех нас и страдал от физического недостатка, не будь рядом столь ослепительной красоты, он и не вспомнил бы о нем. Но это-то и делало ее опасной, она была непостоянной, мгновенно меняла окраску, играла ту роль, которая диктовалась ей конкретной обстановкой. Затем мне пришло в голову, что все мы очень неаккуратны со своими именами; когда пастор, принимая меня в воскресную школу, спросил, как меня зовут, я ответил — Билли Батгейт и стал наблюдать, как он записывает имя в журнал, едва ли понимая в тот момент, что прохожу обряд посвящения в бандиты, приобретаю второе имя, которое смогу использовать по собственному усмотрению, точно так же, как Артур Флегенхаймер мог превратиться в Немца Шульца, а Отто Берман — в Аббадаббу; имена похожи на номера машины, которые в конструкцию не входят и которые можно снимать и прикреплять снова. Та, которую я считал мисс Лолой на буксире, а затем мисс Дрю в отеле, теперь, в Онондаге, стала миссис Престон; в общем, она перещеголяла любого из нас, должен признаться, что сделал неверные выводы, когда провожал ее в «Савой-Плаза» и дежурный регистратор назвал ее мисс Дрю, может, он обратился к ней так, потому что это было ее девичье имя — насколько я знаю, замужние женщины сохраняют девичьи имена,— а может, молодой клерк знал ее еще ребенком, и хотя теперь она стала слишком взрослой, чтобы звать ее просто по имени, он уже не мог обращаться к ней официально.
А может, и не надо добиваться определенности, даже если речь идет о прозвищах, может, в том-то и была моя трудность, что я все хотел знать определенно и представлял вещи неизменными. А ведь я сам изменялся, вы только посмотрите, где я теперь был и что делал, каждое утро я на-

девал очки, которые ничего не увеличивали, а каждый вечер снимал их — совсем как человек, который может обходиться без них только во время сна. Меня готовили к жизни гангстера и одновременно учили понимать Библию. Уличный мальчишка из Бронкса, я жил в сельской местности, как маленький лорд Фаунтлерой. Во всем этом я не видел никакого смысла, кроме разве того, что я зависел от обстоятельств. Менялся ли я вместе с ними? Да, определенно менялся. Из этого я заключил, что, возможно, любое имя временно, поскольку жизненные обстоятельства постоянно меняются. Эта мысль показалась мне интересной. Я решил, что разработал собственную теорию называния, номерную (по аналогии с номерами машин). Как теория она применима ко всем людям, безумным или нормальным, кроме меня. И как только я обрел эту теорию, Лола, мисс Дрю, миссис Престон, стала беспокоить меня меньше, чем мистера Отто Аббадаббу Бермана. У меня был новый банный халат, и почему бы мне не надеть его и, после того как мистер Артур Флегенхаймер Шульц уйдет спать, не постучаться в дверь Аббадаббы и не сказать ему, что обозначает Х. Единственное, чего я не должен забывать и что привело меня к нынешнему положению,— это непременное выполнение моего тайного предназначения. Вот уж что не должно измениться никогда.

Глава десятая

Я проснулся намного позже обычного, что понял тотчас же, как только открыл глаза: комнату заливал свет, а белые занавески на окнах напоминали экран кинотеатра перед началом фильма. Горничная чистила пылесосом коридор, и, судя по шуму, из-за угла во двор отеля въехал грузовик с продуктами. Я встал с кровати совершенно разбитым, но умылся, оделся и через десять минут уже шел в кафе. Когда я вернулся к отелю, около «бьюика» меня ждал Аббадабба Берман.

— Эй, малыш,— сказал он,— поехали покатаемся.

Я влез на единственное свободное место сзади между Ирвингом и Лулу Розенкранцем. Сидеть там было не очень приятно; когда мистер Берман устроился спереди и Микки завел мотор, Лулу, весь напрягшись, наклонился вперед и сказал:

— А зачем нам маленький говнюк?

Мистер Берман не счел нужным ответить или даже повернуть голову, Лулу бухнулся на свое место, бросил на меня устрашающий взгляд и произнес, обращаясь, конечно, не только ко мне, но и ко всем прочим:

— Я этим дерьмом сыт по горло, все, надоело.

Мистер Берман знал это, он все понимал и без чужих подсказок. Мы проехали мимо здания местного суда, полицейская машина, стоявшая у обочины, рванулась за нами. Я обернулся и решил уже было открыть рот, но инстинкт подсказал, что этого делать не надо. Бледно-голубые глаза Микки регулярно появлялись в зеркале заднего вида. Плечи мистера Бермана были едва видны над спинкой сиденья, полотняная летняя шляпа из-за горба почти упиралась в ветровое стекло, но для меня все это были признаки его хитроумия и мудрости, и каким-то образом я знал, что полицейская машина у нас на хвосте для него не секрет и что говорить ему об этом тоже не следует.

Микки проехал по скрипучим доскам моста над Онондагой и оказался за городом. В разгар дня все выглядело выцветшим и пожухлым, в машине тоже дышать было нечем. Минут через десять — пятнадцать он свернул с мощеной дороги на территорию фермы и под протестующее кудахтанье куриц выехал мимо двух скачущих козлов, амбара и силосной башни на грунтовую дорогу; подпрыгивая на камнях и оставляя за собой пыльный шлейф, мы понеслись дальше. Через какое-то время машина остановилась у огороженного забором барака. Вскоре я услышал, как скрипнули тормоза и хлопнула дверца, мимо нас прошел полицейский, отпер ворота в заборе, на которых висела табличка ОПАСНО. НЕ ВХОДИТЬ, открыл их, и мы въехали внутрь.

Барак оказался закрытым тиром, в котором местная полиция тренировалась в пистолетной стрельбе, пол был грязный, дальняя стена засыпана большой кучей земли, наверху по всей длине здания висели, словно бельевые веревки, провода на шарнирах. Полицейский вынул из ящика бумажные мишени, прикрепил их к проводу, подтянул к земляной насыпи, потом сел у двери, наклонил свой стул так, что он опирался только на две ножки, и стал сворачивать сигарету, а Лулу Розенкранц без лишних церемоний подошел к барьеру, вынул свой кольт сорок пятого калибра и начал палить. Я думал, что голова моя разорвется, оглядевшись, заметил, что все остальные надели кожаные наушники, и сразу увидел горку точно таких же на столе, быстро взял пару и натянул на голову, прижимая покрепче к ушам, а Лулу в это время расстреливал мишень в клочья, наполняя барак запахом дыма и эхом пальбы, от которой стены, как чудилось, то расширялись, то сужались.

Лулу, подтащив мишень к себе, сорвал ее, даже не удостоив взглядом, прикрепил следующую и толчком отправил ее по проволоке в конец барака, а сам принялся заряжать свой кольт, роняя в спешке патроны,— так ему не терпелось снова всаживать в мишень пулю за пулей; он словно спорил с кем-то, подчеркивая каждый выстрел рывком указательного пальца; барак наполнился таким непереносимым грохотом, что я вышел наружу и встал под солнцем, опершись о крыло машины; голова моя гудела, в гудении различимы были несколько нот одновременно, как в гудке «паккарда» мистера Шульца.

Пальба на несколько минут прекратилась, а когда возобновилась, я услышал отдельные выверенные выстрелы, выстрел, пауза и снова выстрел. Какое-то время спустя из барака вышел мистер Берман с двумя мишенями и положил их рядом на капот «бьюика».

Мишени были напечатаны в виде черных силуэтов головы и туловища человека, одну испещряли дырки, как внутри, так и вне силуэта, в середине груди зияла большая рваная рана, сквозь которую солнечный свет отражался от капота. В другой мишени аккуратные отверстия образовывали правильный рисунок, одна дырочка находилась в центре лба, еще две — там, где надлежало быть глазам, по одной — в каждом плече, еще одна — в центре груди и две — в районе живота чуть выше талии. Ни один из выстрелов за пределы силуэта не вышел.

— Кто стреляет лучше? — спросил меня мистер Берман.

Я ответил, не раздумывая, показав на мишень с безошибочно точными попаданиями:

— Ирвинг.

— А откуда ты знаешь, что это Ирвинг?

— Он все так делает, очень аккуратно и тщательно.

— Ирвинг за всю жизнь ни одного человека не убил,— сказал мистер Берман.

— Мне бы не хотелось убивать людей,— начал я,— но уж если придется, то вот так,— закончил я, показывая на мишень Ирвинга.

Мистер Берман оперся на крыло, вытряхнул из пачки сигарету «Олд голд» и подхватил ее губами. Потом вытряхнул еще одну и предложил мне, я взял у него сигарету и спички, дал прикурить ему и прикурил сам.

— В тяжелой ситуации ты наверняка предпочтешь, чтобы рядом с тобой стоял Лулу и палил во все, что шевелится,— сказал он.— Ты поймешь, что в таких случаях решают мгновенья.— Он выбросил вперед руку с одним вытянутым пальцем, потом еще раз с двумя и так далее, пока не раскрыл всю пятерню.— Бум, бум, бум, бум, бум — и точка,— сказал он.— Вот так. Ты номер телефонный набрать за это время не успеешь. Или сдачу взять из автомата.

Его слова звучали убедительно, но мнения своего я все же менять не хотел. Я молча стоял, глядя себе под ноги. Он сказал:

— Мы говорим не о дамском вышивании, малыш. В нашем деле аккуратность не главное.

Мы постояли молча. Было жарко. В небе кружилась одинокая птица, в белизне жаркого пасмурного дня она парила, словно планер, в оперении были красные и ржавые тона, птица лениво скользила в вышине. Я слышал «поп, поп» пистолетной стрельбы.

— Разумеется,— сказал мистер Берман,— времена меняются, и, глядя на тебя, я думаю о новом поколении, которому, возможно, потребуются новые навыки и умения. Может быть, все будет гладко и четко, люди начнут спокойно делать свое дело, без пальбы на улицах. Нам потребуется меньше людей типа Лулу. И если все пойдет именно так, то тебе, возможно, и не придется никого убивать.

Я взглянул на него, он слабо улыбнулся в ответ.

— Как ты думаешь, это возможно? — спросил он.

— Не знаю. Судя по тому, что происходит вокруг, вряд ли.

— В какой-то момент люди начинают подбивать бабки. Числа не лгут. Человек видит числа, видит единственно осмысленные знаки. Числа образуют какое-то подобие языка, в котором буквы превращены в цифры, так что разночтений быть не может. Исчезает звучание букв, и уже не важно — щелкаешь ты языком, высовываешь его или притрагиваешься им к нёбу, произносишь «ох», «ах» или что-нибудь еще, что может отвлечь тебя или околдовать своей музыкой, а то и вызванными в мозгу образами; все это перестает существовать вместе с акцентом, ты приходишь к совершенно новому пониманию, к языку чисел, и все становится яснее ясного. Вот здесь-то и наступает время изучения чисел. Ты понимаешь, на что я намекаю?

— На сотрудничество.

— Именно. Железные дороги — прекрасный пример, ты только посмотри, что там происходило, существовали сотни железнодорожных компаний, которые грызлись между собой. А сколько теперь осталось? По одной на каждый регион страны. Наверху они создали промышленную ассоциацию, чтобы легче было действовать в Вашингтоне. Все теперь тихо, спокойно, всё работает.

Я затянулся сигаретой и почувствовал в груди и горле — ошибки быть не могло — зарождающееся волнение, будто бы во мне просыпалась какая-то сила. Ясно, что я услышал предсказание, но вот чего — неизбежного события или же задуманного предательства — я сказать не мог. А какая, впрочем, разница, если меня ценят?

— Но что бы там ни было, ты должен научиться самому главному,— сказал мистер Берман.— Что бы ни случилось, ты должен уметь постоять за себя. Я уже предупредил Ирвинга, чтобы он помог тебе. Как только они закончат, твоя очередь.

— Что? Мне можно пострелять?

Он вытянул руку, на его ладони лежал пистолет, который я купил у Арнольда Помойки. На вычищенном и смазанном пистолете не было ни единого пятнышка ржавчины; взяв его в руки, я увидел, что патронная обойма на месте, и, судя по весу, пистолет заряжен не холостыми.

— Если хочешь носить его с собой, носи,— сказал мистер Берман.— Если нет, то не клади его в ящик комода под белье. Ты способный мальчишка, но, как все мальчишки, делаешь глупости.

Никогда не забуду, как первый раз в жизни держал заряженный пистолет в руке, как поднимал его и выстрелил, никогда не забуду страх от одушевленного толчка в кость руки; он твой, в этом нет никакого сомнения, он дан тебе, дарован, как рыцарский титул, и, хотя ты не изобретал его, не конструировал, не изготовлял, он всецело твой, потому что он в твоей руке, и пусть ты не знаешь, как он работает, он все равно твой, ведь самого легкого нажатия твоего пальца достаточно, чтобы на куске бумаги в шестидесяти футах от тебя появилась дырка; и как не восхититься собой, как не влюбиться в это изогнутое, подпружиненное существо; я был потрясен, ошарашен, я ведь не знал, что пистолеты оживают, когда из них стреляешь. Я пытался не забывать наставлений, ста-

рался дышать спокойно, стоять боком к мишени, прицеливаться вдоль руки, но понадобились весь тот день и еще почти целая неделя ежедневных тренировок и множество фонтанчиков из сухой и хрупкой, как керамика, земли, прежде чем я свыкся с ним, а он привык к теплоте моей руки и начал палить, куда я захочу, как того заслуживали моя потрясающая координация, упругие руки, сильные ноги и острое зрение, прежде чем я научился легким нажатием пальца убивать любого, кто был нарисован на мишени. Несколько дней спустя я прицеливался и уже без промаха попадал в середину лба, в левый и правый глаз, в плечи, сердце, живот — куда угодно; Ирвинг подтаскивал мишень к себе, снимал ее, накладывал на предыдущую и убеждался, что отверстия совпадают. Он никогда не хвалил меня, но и не прекращал наставлять. Лулу не снизошел до того, чтобы понаблюдать за мной. Откуда ему было знать, что я собираюсь соединить технику Ирвинга с собственными талантами, что, потеряй я выдержку, сбей руку, начни стрелять с его гневливой быстротой, все равно пули попадут в те же дырки в тех же местах. Я знал, что бы он сказал, если бы увидел мои успехи, он сказал бы, что пальба по бумажным мишеням — дерьмо, пусть он попадет в человека, который поднимается из-за столика в ресторане, когда на тебя со всех сторон смотрят чужие пистолеты, громадные, как полевые пушки или могучие мортиры, тогда посмотрим, на что он годен.

Как это ни странно, то же самое отношение я заметил и у полицейского, который каждое утро открывал ворота, садился, откинувшись на стул, и крутил свои сигареты; только на второй день моих стрельб я понял, что он здесь шеф, у него на фуражке была косичка, которой не было ни у кого другого, даже у сержантов, по рукам этого немолодого брюхастого человека в рубашке с короткими рукавами можно было судить о его прежней силе; мне казалось, полицейский чин мог найти себе занятие и получше, чем собственноручно открывать ворота стрелкового тира для заплативших ему горожан и ошиваться поблизости, впрочем, в Онондаге времени у него было навалом, он вполне мог понаблюдать за мальчишкой; стреляя по мишеням, я думал об улыбающемся полицейском у меня за спиной, занятом, как и отец Монтень, мелкими делами в глухом местечке, и пусть кругозор его невелик, он доволен своей жизнью; дым от его крепкой сигареты все время напоминал мне о его присутствии, было в нем что-то от фермера, который сидит на крыльце своего дома и глазеет на проходящий мимо парад.

Впервые после приезда в Онондагу я почувствовал, что занимаюсь чем-то серьезным, эти несколько дней пальбы по мишеням так захватили меня, что по утрам я с трудом мог дождаться отъезда на стрельбище, а когда вечером возвращался голодный в отель, в ушах все еще звучало эхо выстрелов, а нос щекотало от едкого порохового дыма. Они, без сомнения, учили меня, и я теперь понимаю, что во внешне хаотичной жизни мистера Шульца все было прекрасно организовано, они терпеливо решали самые разные задачи — улаживали сегодняшние неприятности с законом и готовились к будущему; следили за своими делами в Нью-Йорке и пускали пыль в глаза жителям этого северного графства; а попутно еще и кое-какие проблемы решали или, как мистер Шульц, даже прогуливались верхом с красоткой. Чем не жонглирование, когда все предметы находятся в воздухе одновременно?! Стрелять из пистолета мне и вправду нравилось; по моим оценкам, я был самым молодым мастером стрельбы в истории преступного бизнеса, не думаю, что я тогда открыто хвалился этим, но по ночам я представлял, как за мной по Вашингтон авеню гонятся соседские обормоты, а я вдруг останавливаюсь, поднимаю руку с пистолетом в их сторону и вижу, как они тормозят, падают, спотыкаясь друг о друга, и ползут под машины, эта картина вызывала у меня в темноте улыбку.

Все остальное, что я мог мысленно сделать с помощью пистолета, улыбки у меня не вызывало.

(Окончание следует)

ИОГАННЕС БОБРОВСКИЙ

Перевод с немецкого Г. РАТГАУЗА

Находить имена

Всегда находить имена
для дерева, птицы в полете,
красных утесов над медленной
зеленой рекой или рыбы
в белом плесканье, когда
опускается тьма над лесом.

Но контуры — такая
игра сомнительна мне:
добра
не жди.

Кто же научит меня
забытому мною: дреме
камней, дреме
летящих птиц, дреме
деревьев, чья речь
звучит в темноте?

Если где-то живет
Бог во плоти и меня
к себе призовет, мне захочется
побыть еще здесь,
пусть немного.

Каунас в 1941 году

Город,
праздничным медным сияньем
клены горят над рекой. Берега
зовут из глубин. В сумерках
хромая девушка вышла
в юбке из кумача.

И я узнаю ступени,
этот холм, этот дом. В доме нет
огня. Под этою кровлей
живет еврейка, притихнув,

как все евреи. Она
еле шепчет. Белы, как вода,
дочерей ее лица. Бесшумно
мы уходим в гнилом тумане. Как волки, идем.

Вечером мы увидали
каменный дол. Плавал ястреб
над куполом мощным. Мы видели
древний город, плотный узор
улиц, спешивших к реке.

Ты хочешь взойти
на холм? Там серым потоком
движутся к смерти старцы
и дети. Они идут
по холму, а за ними беснуются волки.

Я посмею ль взглянуть на тебя,
мой брат? У кровавой стены
сон сразил нас. Потом
мы дальше ушли, как слепые,
ничего не видя. Из дубрав
цыганским взором глядели деревни,
летом на крыши
лег снег.

В зарослях темных дождя
я выйду на камень прибрежный,
увижу равнинный туман. Умчались
ласточки прочь, и зелена
ночь, гулит горлица:
«Вот и пришла моя тьма».

Монастырь близ Новгорода

Тяжкий поток,
волнуемый древним ветром,
и духи сырых равнин
под дождем
говорят с берегами. Щука
замерла в камыше.

На белую стену упал
свет, как удар колокольный,
упал на крыши
ветхий платок ночи, пробитый
примолкшими птицами.

Зияет дверь, по камням —
тропа, на заросших ступенях —
старик белоглавый,
слушает, как под звучащим
сводом песнь восстает,
и ветер в медные
ворота стучит, ярче
блестит серебряными
плавниками
щука, всплывая со дна.

Неман

За полями широкими,
за лугами —
река.
Ее дыханье
веет в ночи.
Над горою
птица летит, крича.

Однажды мы вместе с ветром
вдаль забрели, и сеть
закинули в устье ручья.
На ольхе
висел фонарь. Старик
снял его.
Таясь, причалили лодку свою
барышники.

Из тьмы
плывешь ты, моя река,
из облаков.
К тебе дороги ведут
и реки, Юра и Митува,
лесные, юные,
и от глины тяжкая
Шешупе. Плотовщики
идут на шестах. Паром
лежит на песке.

А небо
темнеет от войска птиц.
Воздух от крыльев шумит,
камыш говорлив, и смолою бор напоен.
Под березами на берегу
стоят женщины в ярких уборах
из красных и желтых лент.
Одна беременна, и она
обняла свою дочку. В реке
купаются сыновья.

Река,
я одинок
и только тебя я могу
любить.
Ты — образ молчанья.
Грядущего знак: мой стон.
Но мне тебя не вернуть.
Лишь в темноте
обниму я тебя.

Обрыв

Ветер тонул в вышине.
Мы жили в хижинах возле речки.
В полутьму погружая берег,
пел камыш.

Детская радость играла
в наших сердцах. Они пели.
Мы жили с землей заодно,
знали дождь и мороз,
тучи, и грозы, и годы,—

и годы,
сужденные нам,
алые от плодов,
мы щедро их раздарили. Зима
излучала свет.

Все это — в былом.
Уходят в песок деревни.
Мы уплыли, как зов
дальнего плотовщика.

Познали мы горечь беды,
разжигая костры на чужбине.
Помним песню о том,
как яблоня прежде цвела.

Где же
нам жить теперь?
Вечной пребудет земля,
где упокоимся мы.
И не разыщут дети
нашей деревни.

Но сад, прибрежный камыш
и обрыв над рекою, dauba [1],
и белый от солнца сарай,—
и воз, выезжавший из леса,—
и ястреб в пустой синеве,—

волнуют сердце, как прежде.
Так мы вступаем под своды
тех лет. И радости наши
земле предаем.

Кровь живая стучится в виски,
и, погладив локон пушистый
дочери, вечером ты
жене говоришь: Любимая,
не уходи, останься,
чтобы я не так тосковал.

---

[1] В стихотворении поэт вспоминает пейзажи Мемельской области Литвы, где он часто бывал в детстве. Dauba *(лит.)* — обрыв, котловина. *(Здесь и далее прим. перев.)*

Кассандра

В черных прядях — терновник
алый, и жгут травяной —
в руке — так стояла она.
Она сказала: Тени уходят
по дороге, кончился дождь,
тени исчезли.

Она молчала. Ползали мухи
по окну. И она сказала:
Венчали твое чело
радости многих путей,
волны дней и звездные ночи,
звуколюбивый тростник.

Она молвила: Будут отныне
венчать тебя цепи страха,
ты будешь великою тьмой
дышать и смертным предвестьем.
И шаг твой будет опутан
плотным кустарником плача.

Она замолчала. Я вышел
корму задать моим овцам,
сорвать у входа ромашку,
в колодце — сон зачерпнуть.

Памяти Б. Л.[1]

Когда слышнее шум
деревни и зелень дышит
у песчаной тропы, у забора,
когда после дождя
летают ласточки, небо
белое, ждет оно радуги,
вечер, ладонь
подпирает висок, рот
поет без звука.

И
не о чем больше кричать.
Летят звезды, шумя
крыльями, твоя смерть
жизнь мою вопрошает.
Дождь (говорю я) и листья,
птица задела радугу, взлетели
пылинки света,
яркое облако, мы
уже не увидим его.

---

[1] Стихотворение написано 31 мая 1960 г., на следующий день после смерти Б. Л. Пастернака; по цензурным соображениям Бобровский указал только инициалы адресата.

Ответ[1]

За оградой
твоя речь:
с деревьев тяжко
падает снег.

Ствол бузины срублен,
но в ветвях
поют дрозды, и стрекот
кузнечика в летней траве
царапает стену, ласточки
взмывают круто
перед дождем, созвездья
мерцают на небе,
как иней.

Те, кто зароют меня
под корнями,
услышат:
Я говорю
с песком,
забившим мне рот,— и тогда
заговорит песок, и тогда
будет камень кричать, и тогда
будет вода крылатой.

---

[1] Стихотворение написано в ответ на стихи швейцарского поэта Вальтера Гросса, посвященные Бобровскому.

ИВЛИН ВО

Черная беда

РОМАН

Перевод с английского и вступление А. ЛИВЕРГАНТА

До недавнего времени в нашем литературоведении бытовала теория, в соответствии с которой торопиться знакомить читателя со «спорными» книгами не следует — если они пролежат несколько десятилетий под спудом, и читатель, и автор (если доживет, конечно) только выиграют; чем дольше «сложное явление искусства» будет находиться в безвестности, тем объективнее будет затем его прочтение — глядишь, крамола и выветрится. Следуя этой конструктивной концепции, в которой, пожалуй, есть что-то от виноделия, «выдерживали», как известно, многих талантливых отечественных и зарубежных авторов XX века, и остается только пожалеть, что принцип «пусть полежит» не применен к Щедрину, Гоголю, Сухово-Кобылину, Достоевскому — сейчас бы они, выдержанные, наверняка составили конкуренцию Булгакову и Джойсу, Эрдману и Оруэллу, Хармсу и Беккету.

Ивлина Во эта практика, казалось бы, благополучно миновала; советские издательства и журналы всегда охотно его печатали, а чтобы английский сатирик особенно «не кусался», в предисловиях, как это еще совсем недавно было принято, разъяснялся локальный, антибуржуазный характер его сатиры. Из пяти ранних романов Во со спасительной биркой «это не про нас» были выпущены три: «Упадок и разрушение» (1928), «Мерзкая плоть» (1930) и «Пригоршня праха» (1938), а с «Черной бедой» (1932) и «Сенсацией» (1938) решено было повременить: к мрачному видению мира, скепсису, объективизму (не путать с объективностью), традиционным огрехам большинства западных сатириков добавилось обвинение гораздо более серьезное — в расизме, одно ведь название Black mischief (черное зло, черная беда, черная напасть) чего стоит! Действительно, чернокожим азанийцам, туземцам, вождям, да и самому императору достается в романе здорово, но не из-за цвета кожи, а из-за коварства одних, простодушия других, суеверия и невежества. Да и потом, что это за расизм, если французы, арабы, армяне, не говоря уж о соотечественниках Во, высмеиваются ничуть не менее едко, чем местные жители?

Можно, конечно, порассуждать о том, что общего у Бэзила Сила с такими же неприкаянными, как и он, Полом Пеннифезером из «Упадка и разрушения» или Адамом Фенвик-Саймзом из «Мерзкой плоти», подумать, чем этот мечтатель и авантюрист от них отличается; в какой степени герои романа, будь то выпускник Оксфорда Сет, проходимец Сил, «непотопляемый» Юкумян или увлекающийся мистикой и вязанием английский посол сэр Уильям Кортни, являются жертвами обстоятельств и почему все они, каждый на свой лад, живут по абсурдной логике; насколько все романы раннего Во, в том числе и «Черная беда», являются «упадком и разрушением» и не потому ли в заглавиях всех первых книг писателя упрямо повторяются мрачные по колориту слова «упадок», «мерзкая», «черная», «прах».

И все же в наши дни не это бросается в глаза в первую очередь. «Черная беда», написанная без малого шестьдесят лет назад о вымышленном острове у Восточного побережья Африки, при ближайшем рассмотрении оказывается бедой отнюдь не чужой — и этим, думается, мы обязаны не только провидческому дару сатирика, но и нашим доморощенным перестраховщикам. Ведь если бы советские издатели не «выдерживали» роман Во, а издали его лет, скажем, пятнадцать назад, мы не смогли бы по достоинству оценить ни Министерства модернизации, ни венчания немощного Ахона на царство, ни тем более скандальные истории с азанийскими банкнотами и императорскими декретами. Читая «Черную беду» сегодня, лишний раз убеждаешься, что теория «выдерживания» спорных книг нередко оборачивается против самих теоретиков: лежа под спудом, талантливый роман становится не менее, а более актуальным.

1

«Мы, Сет, император Азании, верховный вождь племени сакуйю, повелитель племени ванда и гроза морей, бакалавр искусств Оксфордского университета, взошедший на двадцать четвертом году жизни мудростью Всемогущего Господа и единой волей народа нашего на наследный престол, имеем заявить следующее...» Сет перестал диктовать и посмотрел на гавань, откуда, воспользовавшись свежим утренним ветерком, в открытое море уходил последний парусник.

— Крысы! — вырвалось у Сета.— Гнусные псы! Все бегут, все!

Его секретарь, индиец в пенсне, сидел с почтительным видом, держа блокнот в одной руке и авторучку — в другой.

— Новостей из горных районов по-прежнему никаких?

— Только непроверенные слухи, ваше величество.

— Я же распорядился, чтобы починили радиоприемник. Где Маркс? Устранить неполадки было поручено ему.

— Вчера поздно вечером Маркс бежал из города.

— Бежал из города?!

— Да, в моторной лодке вашего величества. Туда набилась целая компания: начальник станции, шеф полиции, армянский архиепископ, редактор «Курьера Азании», американский вице-консул. Все самые высокопоставленные люди.

— Удивительно, что к ним не присоединился и ты, Али.

— Мне не хватило места. И потом, когда на борту столько крупных персон, лодка может перевернуться.

— Твоя преданность будет вознаграждена. Итак, где я остановился?

— Последние шесть слов, сказанные вашим величеством в порицание беглецов, не считаются?

— Ну, конечно, нет.

— В таком случае я их вычеркиваю. Последние слова вашего величества были: «Имеем заявить следующее».

— «...имеем заявить следующее: если те из наших подданных, которые в недавнем прошлом изменили короне, в течение ближайших восьми дней вернутся к выполнению своего долга, они будут помилованы и прощены. Более того...»

Они находились в Матоди, в башне старого форта. Здесь триста лет назад португальский гарнизон в течение восьми месяцев отчаянно отбивался от осаждавших крепость арабов. Из этого же окна осажденные с надеждой смотрели на море в ожидании посланного им на помощь флота, который приплыл с опозданием на десять дней.

Над входной дверью еще можно было разглядеть следы от сорванного арабами португальского герба — суеверные завоеватели не переносили идолопоклонства.

На протяжении двух столетий арабы были полновластными хозяевами на побережье, а в горах, вместе со своими стадами, тощими, низкорослыми быками и коровами с искусно выжженным на коже клеймом и шаткой походкой, селились коренные жители — чернокожие голые людоеды из племени сакуйю. Еще дальше от побережья, за горами, находилась территория другого местного племени, ванда-галла, переселенцев с материка, которые задолго до прихода арабов поселились на севере острова и сообща обрабатывали землю. С этими двумя племенами арабы не желали иметь ничего общего, часто до побережья доносился угрожающий барабанный бой, а иногда склоны гор заволакивались дымом — это горели туземные деревни. А на берегу между тем вырос богатый город с громадными домами арабских купцов с зареше-

ченными окнами замысловатой формы и обитыми медью дверьми; дворами, засаженными манговыми деревьями; улицами с пряным запахом гвоздики и ананасов, такими узкими, что всякий раз, когда навстречу друг другу шли два мула, между погонщиками начиналась перебранка; базаром, где на корточках возле весов сидели менялы, тщательно взвешивая австрийские талеры, маратхские грубой чеканки золотые, испанские и португальские гинеи. Из Матоди парусные суда плыли на материк, в Тангу, Дар-эс-Салам, Малинди и Кисмайо, а им навстречу через пустыню шли с великих озер караваны, груженные слоновой костью. Знатные арабы в роскошных одеждах неспешно прогуливались под руку по набережной или сплетничали в кофейнях. Ранней весной, когда с северо-востока дули муссоны, из Персидского залива в Матоди приплывали торговать люди с более светлой кожей; они говорили на чистом арабском языке, мало понятном островитянам, ведь по прошествии стольких лет в языке местных арабов появилось множество заимствований: из банту, с материка; из языков сакуйю и ванда, живших по соседству. Их семитская кровь, смешавшись с кровью рабов, стала богаче и темнее, а инстинкты болот и лесов смешались с традиционным аскетизмом пустыни.

Вместе с этими торговцами и приплыл в Матоди дед Сета, Амурат. Сын раба, негр на три четверти, крепкий, кривоногий, он мало походил на своих спутников. Воспитывался Амурат возле Басры у несторианских монахов. Прибыв в Матоди, он продал парусник и поступил на службу к султану.

Остров переживал нелегкие времена. Возвращались белые. Выйдя из Бомбея, они закрепились в Адене. Были они и на Занзибаре, и в Судане. От мыса Доброй Надежды белые двигались на север, от Суэцкого канала — на юг. Их военные корабли бороздили воды Красного моря и Индийского океана, перехватывая невольничьи суда. Караванам из Таборы становилось с каждым годом все сложнее добираться до побережья. Торговля в Матоди почти замерла, и купцы, которые и прежде особенно себя не утруждали, теперь погрузились в полную апатию: целыми днями они сидели в городе, с мрачным видом жуя кхат[1]. Содержать свои роскошные виллы на побережье им стало не по карману; сады постепенно зарастали, крыши домов начинали течь. В удаленных от города арабских поместьях стали появляться травяные хижины племени сакуйю. Однажды туземцы явились в город и с наглым видом прошлись по базару, а спустя некоторое время, всего в миле от городских стен, напали из засады на возвращавшихся в город арабов и перебили всех до одного. Поговаривали даже, что туземцы собираются устроить в городе резню. Европейцы же тем временем терпеливо ждали своего часа, готовясь ввести на острове протекторат.

Этим смутным временем и воспользовался дед Сета, который за какие-нибудь десять лет проделал путь от главнокомандующего войсками султана до императора Амурата Великого. Вооружив и возглавив племя ванда, он пошел войной на сакуйю, оттесняя их в отдаленные уголки острова, угоняя скот и сжигая деревни. Когда же сакуйю были наголову разбиты, Амурат повернул свою победоносную армию против бывших союзников, арабов, и через три года провозгласил остров независимым государством, а себя — его единоличным правителем. Остров, называвшийся на картах «Сакуйю», был переименован в Азанийскую империю, а в Дебра-Дове, в двухстах милях от побережья, на границе земель сакуйю и ванда, была заложена новая столица. Дебра-Дова была маленькой, наполовину сожженной деревушкой, в которой Амурат стоял со своим штабом перед последним сражением и которая соединялась с морским берегом лишь узкой, заросшей кустами извилис-

---

[1] Кхат (или кат) — листья африканского кустарника, который жуют для получения наркотического эффекта. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

той тропкой, где мог пройти разве что опытный разведчик. Этой деревушке и предстояло стать столицей империи.

Из Матоди в Дебра-Дову решено было провести железную дорогу. За строительство одна за другой брались три европейские компании — и все безуспешно; вдоль путей были похоронены два скончавшихся от лихорадки французских инженера и сотни индийских кули. Туземцы из племени сакуйю выдирали из земли стальные рельсы, из которых получались отличные наконечники для копий; рвали — женам на украшения — телеграфные провода. По ночам на строительные площадки забредали и уносили рабочих львы; строителей жалили москиты, змеи, мухи цеце, клещи; приходилось строить мосты через быстрые горные реки, которые — это продолжалось несколько дней в году — бешеным потоком устремлялись с гор, унося с собой бревна, валуны, а иногда и людей; приходилось перекидывать железнодорожное полотно через потоки лавы, долбить камень, вести рельсы через горное плато, достигавшее порой пяти миль в ширину. В летнее время от раскаленного металла руки рабочих покрывались волдырями, а в сезон дождей оползни и лавины за несколько часов сводили на нет труд многих месяцев. И все же варварство медленно, пядь за пядью, но отступало, семена прогресса постепенно прорастали и наконец, спустя несколько лет, дали желанные всходы: Матоди и Дебра-Дову соединила узкоколейка с громким названием «Grand Chemin de Fer Impérial d'Azanie» [1]. На шестнадцатом году своего правления Амурат, в сопровождении представителей Франции, Великобритании, Италии и Соединенных Штатов, а также своей дочери, наследницы престола, и ее мужа, сел в первый поезд, следовавший по маршруту Матоди — Дебра-Дова. Император и сопровождавшие его лица путешествовали в первом вагоне, во второй, товарный, набилось человек двадцать его незаконнорожденных детей, в третьем разместились иерархи различных церквей Азании, а в четвертом сидели арабские шейхи с побережья, верховный вождь племени ванда и представлявший племя сакуйю высохший от старости одноглазый негр. Поезд был увешан флажками, перьями и цветами; всю дорогу, от моря до столицы, паровоз оглашал окрестности пронзительным свистом; вдоль путей выстроились солдаты нерегулярной армии; анархист из Берлина, еврей, бросил в поезд бомбу, которая не взорвалась; от паровозных искр то и дело вспыхивал кустарник, что привело к нескольким большим лесным пожарам; по приезде в Дебра-Дову Амурат принял поздравления, поступившие из многих цивилизованных стран, и даровал французскому подрядчику титул пэра Азанийской империи.

Поначалу местные жители часто попадали под поезд, так как не сразу могли оценить силу и мощь этого диковинного изобретения. Со временем, однако, они стали более осмотрительными, да и поезда ходили теперь гораздо реже. Амурат собственноручно составил подробное расписание скорых, пассажирских, товарных, туристических поездов; ввел билеты различной стоимости — первого класса, второго класса, обратные, дневные, экскурсионные; напечатал подробную карту острова с густой сетью железнодорожных путей, которой должна была в самом ближайшем будущем покрыться страна. Однако всем этим планам не суждено было сбыться: через некоторое время после открытия узкоколейки Амурат впал в кому и вскоре скончался, а поскольку жители Азании свято верили в бессмертие своего императора, его министры только через три года, да и то чтобы покончить с упорно ходившими слухами, рискнули сообщить народу о его смерти. В последующие годы Grand Chemin de Fer Impérial d'Azanie, вопреки предсмертной воле императора, постепенно пришла в запустение. Когда же Сет, закончив Оксфорд, вернулся в Азанию, поезд «Матоди — Дебра-Дова» ходил только раз в неделю и состоял всего из двух вагонов: товарного, для скота, и пассажирского — грязного, разболтанного, с обитыми по-

---

[1] Большая железная дорога Азанийской империи *(франц.)*.

тертым плюшем сиденьями. Дорога в столицу занимала два дня, ночевать пассажирам приходилось в Лумо, где владелец отеля, грек по национальности, заключил с президентом железнодорожной компании обоюдовыгодный контракт. Необходимость ночевки объяснялась как недостаточно сильными паровозными фарами, так и частыми нападениями туземцев.

Ввел Амурат и другие новшества — быть может, не такие сенсационные, как железная дорога, однако не менее существенные. Он, например, объявил об отмене рабства, чем вызвал положительный отклик в европейской прессе. Закон об отмене рабства был расклеен в столице повсюду, на самых видных местах, на английском, французском и итальянском языках — чтобы его мог прочесть любой иностранец; в то же время в провинции об этом законе не знал никто, на местные языки он не переводился, в связи с чем старая система продолжала беспрепятственно действовать, зато опасность интервенции со стороны европейских держав Азании больше не угрожала. Благодаря своему несторианскому воспитанию Амурат хорошо знал, как надо вести себя с белыми. Теперь же, став императором, он провозгласил христианство официальной религией империи, предоставив вместе с тем полную свободу вероисповедания всем своим подданным, в том числе мусульманам и язычникам. Кроме того, Амурат всячески поощрял приток в страну миссионеров, и вскоре в Дебра-Дове было три епископа: англиканский, католический, несторианский и — соответственно — три собора. Появились в столице и многочисленные секты: квакеры, Чешские братья, американские баптисты, мормоны и шведские лютеране, которые безбедно существовали на щедрые иностранные пожертвования. В результате в городскую казну непрерывным потоком шли деньги, да и репутация императора за границей значительно укрепилась. Однако главным козырем Амурата против посягательств европейцев на независимость Азании оставалась его десятитысячная армия, которая находилась в постоянной боевой готовности и которую обучали прусские офицеры. Поначалу, правда, духовые оркестры, военные парады и безупречная выправка марширующих гусиным шагом солдат вызывали лишь снисходительную улыбку. Но тут на острове вспыхнул международный скандал: иностранного коммивояжера зарезали в доме терпимости, на побережье. Амурат приказал повесить преступников (а заодно, для острастки, и двух-трех свидетелей, чьи показания были признаны неудовлетворительными) на площади перед англиканским собором, однако на родине убитого потребовали денежной компенсации, после чего на остров высадился десант, состоявший наполовину из европейцев, а наполовину из туземцев с материка. Амурат бросил против захватчиков регулярную армию, оттеснил их к морю и уничтожил всех до одного. Шесть взятых в плен европейских офицеров были повешены прямо на поле боя, а военный флот, с которого высадился десант, вынужден был без единого выстрела уплыть восвояси. После триумфального возвращения в столицу Амурат преподнес «белым отцам»-миссионерам серебряный алтарь «Богоматери Победительницы».

Островитяне боготворили своего императора. Сказать «Клянусь Амуратом!» и солгать считалось тягчайшим грехом. Только арабы не разделяли всеобщего восторга. Амурат жаловал им дворянство, раздавал титулы графов, виконтов и маркизов, но эти суровые, обнищавшие люди, чья родословная уходила в глубь веков, во времена Пророка, предпочитали старые имена новым. Он выдал свою дочь за внука старого султана — однако молодой человек к оказанной ему чести, а также к необходимости принять христианство отнесся без большого энтузиазма. Арабы же сочли этот брак позором. Их отцы не то что жену — лошадь бы не взяли таких кровей! Зато индийцы охотно селились в Азании, постепенно прибирая к рукам торговлю и промышленность острова. Громадные особняки, где раньше жили арабы, теперь сдавались в аренду под казенные дома, гостиницы или конторы, и вскоре

«арабским кварталом» стали называть в Матоди лишь несколько темных кривых улочек за базаром.

Большинство арабов предпочитало не переезжать в новую столицу, где во все стороны от императорского дворца разбегались улицы с построенными как попало, налезающими друг на друга лавками, домами миссионеров, казармами, посольствами, одноэтажными виллами и хижинами туземцев. Да и сам дворец, занимавший огромную территорию, обнесенную неровным укрепленным частоколом, отнюдь не являлся чудом архитектуры. Вокруг большого, во французском стиле, особняка — дворца как такового — расположились всевозможные пристройки, служившие кухнями, помещением для прислуги и конюшнями. Кроме того, на территории дворца находились деревянный сарай, который использовался под караульное помещение; огромных размеров крытый соломой амбар, где устраивались банкеты и светские приемы; восьмиугольная часовня с куполом и большой, обшитый деревом каменный дом — резиденция принцессы и ее двора. Между домами, нередко на самом видном месте, были в беспорядке свалены жбаны с горючим, сломанные повозки, пушка, боеприпасы; под ногами хлюпали вылитые прямо на землю помои, иногда валялась облепленная мухами туша осла или верблюда; после дождей по улицам города разливались зловонные лужи. Часто можно было видеть, как колонна закованных в цепи арестантов что-то роет — то ли ровняют землю, то ли копают яму для стока воды,— но, если не считать нескольких эвкалиптов, посаженных по кругу перед дворцом, при жизни старого императора ничего для придания городу столичного вида сделано не было.

Вместе с Амуратом в новой столице поселились многие его солдаты; вскоре к ним присоединились и некоторые туземцы — прельстившись утехами столичной жизни, они порвали с традиционным укладом и тоже подались в Дебра-Дову. Однако в большинстве своем население города было интернациональным. По мере же того, как Азания, про которую говорили, что это «страна открытых возможностей», притягивала к себе все больше и больше искателей счастья, съезжавшихся сюда со всего света, Дебра-Дова и вовсе утратила свой национальный колорит. Первыми на остров приехали индийцы и армяне, которых с каждым годом становилось все больше. За ними последовали австралийцы, евреи и греки, а спустя некоторое время в Азанию потянулись и более представительные эмигранты из цивилизованных стран: горные инженеры, старатели, плантаторы, подрядчики — все те, кто неустанно ездит по свету в поисках дешевых концессий. Некоторым из них посчастливилось, и они увезли из Азании небольшой капитал; большинству же не повезло, и они, навсегда оставшись на острове, слонялись по барам и сетовали со стаканом виски в руках на то, как несправедливо обошлась с ними страна, которой «заправляют эти черномазые».

Когда Амурат умер и объяснять его затянувшееся отсутствие придворные больше были не в состоянии, императрицей стала его дочь. Похороны Амурата явились значительным событием в истории Восточной Африки. Из Ирака отслужить заупокойную мессу прибыл несторианский патриарх, в похоронной процессии шли представители европейских держав; когда же императорские гвардейцы приложили к губам трубы и над пустым саркофагом полилась траурная мелодия, толпы туземцев ванда и сакуйю разразились истошными рыданиями и стонами, измазали себя с головы до ног мелом и углем, стали топать ногами, раскачиваться и в исступлении хлопать в ладоши, выражая таким образом глубокую скорбь по умершему повелителю.

Потом, когда скончалась и императрица, из Европы прибыл Сет — законный наследник азанийского престола.

В Матоди полдень. Море неподвижно, как на фотографии; неподвижно и пусто, только у причала несколько рыбачьих лодок. Над старым фортом безжизненно повис императорский стяг. На набережной

ни души, конторы заперты, на окнах — ставни. С веранды отеля убраны столы. В тени мангового дерева, свернувшись калачиком, спят двое часовых, их винтовки лежат поодаль, в пыли.

«Его величеству королю Англии. Мы, Сет, император Азании, верховный вождь племени сакуйю, повелитель племени ванда и гроза морей, бакалавр искусств Оксфордского университета, приветствуем тебя, английский король. Да будет мир дому твоему...»

Он диктовал с рассвета. На столе секретаря аккуратной стопкой были сложены письма, свидетельства о присвоении дворянских титулов, списки амнистированных, постановления о лишении гражданских и имущественных прав, приказы по армии, инструкции по работе полиции, заказы в европейские фирмы на автомобили, спецодежду, мебель, завод электроаппаратуры, а также приглашения на коронацию и официальное сообщение о государственном празднике в ознаменование победы.

— А новостей с гор по-прежнему нет. К этому часу мы могли бы уже получить донесение о победе.

Секретарь записал эти слова, затем, слегка склонив голову набок, перечитал их и косой чертой перечеркнул написанное.

— Мы бы знали, если б победа была одержана, правда, Али?

— Правда.

— Что же случилось? Почему ты мне не отвечаешь? Почему у нас нет никаких сведений?

— Откуда мне знать? Я — человек маленький, слышу только то, что говорит на базаре простой люд, ведь вся знать покинула город. А простой люд говорит, что армия вашего величества не добилась победы, которую ожидает ваше величество.

— Болваны! Много они понимают! Я — Сет, внук Амурата. Поражение исключено. Я жил в Европе. Мне лучше знать. И потом, у меня есть Танк. Это не война Сета против Сеида, это война Прогресса против Варварства. И прогресс должен взять верх. Я видел военный парад в Олдершоте, Парижскую выставку, посещал Оксфордское дискуссионное общество. Я читал современных писателей: Шоу, Арлена [1], Пристли. Что знают обо всем этом твои базарные сплетники?! На моей стороне вся мощь Эволюции, моими союзниками являются женская эмансипация, вакцинация, вивисекция. Я — Новое время. За мной — Будущее.

— Обо всем этом мне ничего не известно,— сказал Али.— Но на базаре говорят, что гвардейцы вашего величества перешли на сторону принца Сеида. Помните, я докладывал, что им уже несколько месяцев не платили жалованья?

— Они получат причитающиеся им деньги. Это говорю тебе я. Как только война кончится, им заплатят. Кроме того, я повысил их в звании. Все солдаты по моему приказу произведены в капралы. Неблагодарные свиньи. У этих придурков устаревшие представления о жизни. Ничего, скоро у нас не будет больше солдат. Только танки и аэропланы. Как сейчас принято. Я сам видел. Да, кстати. Ты передал мои распоряжения о медалях?

Али перелистал бумаги:

— Ваше величество заказывали пятьсот «Больших крестов Азании» первого класса, столько же — второго, семьсот — третьего, а также эскиз медали «Звезда Сета»: позолоченное серебро и эмаль на разноцветной ленте...

— А что с «Медалью победы»?

— Относительно «Медали победы» я никаких указаний не получал.

— В таком случае пиши.

— Приглашение королю Англии?

---

[1] Майкл Арлен (1895—1956) — английский писатель, автор модного в свое время романа «Зеленая шляпа» (1924).

— Король Англии подождет. Записывай, как должна выглядеть «Медаль победы». На лицевой стороне — голова Сета, для этого можно использовать мою оксфордскую фотографию — ты же понимаешь, у меня должен быть современный вид, европейский: цилиндр, очки, стоячий воротничок, галстук. И подпись: «SETH IMPERATOR IMMORTALIS»[1]. Скромно и со вкусом. А то многие медали моего деда чересчур вычурны. На обратной стороне — женская фигура, символ Прогресса. В одной руке у нее аэроплан, в другой — какой-нибудь небольшой предмет, олицетворяющий высокий уровень современной технологии. Что это будет конкретно, пока не знаю... Подумаю... Возможно, телефон... Посмотрим. А теперь пиши:

«В ювелирный магазин «Маппин энд Уэбб», Лондон. Мы, Сет, император Азании, верховный вождь племени сакуйю, повелитель племени ванда и гроза морей, бакалавр искусств Оксфордского университета, приветствуем Вас, мистер Маппин, и Вас, мистер Уэбб. Да будет мир вашему дому...»

Вечер. Стало прохладнее. На минарете муэдзин сзывает мусульман на молитву. «Аллах велик. Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед пророк Его». В часовне при доме миссионера звонят колокола. Молитва Пресвятой Богоматери: «Ecce ancilla Domini: fiat mihi secundum verbum tuum»[2]. Господин Юкумян, владелец универсального магазина и кафе «Амурат», зашел за стойку, налил себе греческой водки и разбавил ее водой.

— Я хочу знать только одно: мне за бензин заплатят?

— Поймите, господин Юкумян: я стараюсь изо всех сил. Мы же с вами друзья, и вы это знаете. Но, к сожалению, сегодня император занят. Я и сам только что освободился. Работал весь день. Сделаю все возможное, чтобы получить ваши деньги.

— Ты ведь мне многим обязан, Али.

— Знаю, господин Юкумян. И надеюсь, что в долгу не останусь. Если бы я мог просто попросить у императора ваши деньги, вы получили бы их сегодня же.

— Но эти деньги мне нужны именно сегодня. Я уезжаю.

— Уезжаете?

— Да, я уже все устроил. Ты мой друг, Али, а от друзей у меня секретов нет.— И господин Юкумян настороженно окинул глазами пустой бар. Разговор шел на сакуйю.— Неподалеку от гавани, за деревьями, возле старого сахарного завода у меня припрятана моторная лодка. Больше того, в ней есть одно свободное место. Только имей в виду, это секрет. В ближайшие две-три недели в Матоди будет неспокойно. Сет разбит — об этом все знают. Я отправляюсь на материк — у меня там брат. Но перед отъездом я бы хотел получить деньги за бензин.

— Благодарю вас за ваше предложение, господин Юкумян, но едва ли император захочет заплатить за то, что у него украли моторную лодку.

— Я тут ни при чем. Вчера вечером приходит ко мне в магазин господин Маркс и говорит, что хочет заправить бензином моторную лодку императора. Пришлось дать ему бензина на восемьдесят рупий. Господин Маркс ведь и раньше обращался ко мне, если императору нужен был бензин. Откуда я знал, что он собирается украсть у императора лодку? Неужели ты думаешь, что тогда бы я дал ему горючее?

Со свойственной людям его национальности экспрессией господин Юкумян всплеснул руками:

— Я бедный человек. Со мной нехорошо обошлись. Несправедливо. Но тебе, Али, я верю. Ты — честный человек, и ты мне многим обязан.

---

[1] Сет, бессмертный император *(лат.)*.

[2] «Се, раба Господня; да будет Мне по слову твоему» *(лат.)*.

Верни мне мои восемьдесят рупий, и я возьму тебя с собой в Малинди к своему брату. А когда беспорядки на острове прекратятся, мы сможем вернуться сюда или поехать куда-нибудь еще — как сам пожелаешь. Ты же не хочешь, чтобы арабы перерезали тебе глотку. Я о тебе позабочусь.

— Спасибо вам за ваше предложение, господин Юкумян. Я сделаю все, что в моих силах. Больше пока ничего обещать не могу.

— Я знаю тебя, Али. И доверяю тебе как собственному отцу. Только смотри, про лодку никому ни слова, хорошо?

— Конечно, господин Юкумян. Можете не беспокоиться. Я к вам еще загляну попозже вечером.

— Вот и отлично. Спасибо тебе. Au revoir [1] и помни: о лодке — никому ни слова.

Стоило Али покинуть кафе «Амурат», как жена Юкумяна выглянула из-за занавески, за которой стояла все это время.

— Что ты выдумал? Мы не сможем взять с собой в Малинди этого индийца.

— Мне нужны мои восемьдесят рупий. И вообще, дорогая, не вмешивайся не в свое дело.

— Но ведь в лодке есть место только для нас двоих. Она и так уже перегружена. Сам знаешь.

— Да. Знаю.

— Крикор, ты что, с ума сошел? Ты хочешь, чтобы мы все утонули?

— Не волнуйся, цветок души моей. Я все улажу. Никуда Али с нами не поедет, можешь не беспокоиться. Просто я хочу получить назад свои восемьдесят рупий. Ты все уложила? Учти, мы уезжаем, как только Али принесет деньги.

— Крикор, а ты... ты меня не бросишь? Не уедешь без меня?

— Надо было бы — уехал бы. Иди укладывай вещи, женщина. Не плачь. Иди укладывай вещи. Ты поедешь в Малинди. Даю слово. Собирай вещи. Я честный человек. Честный и мирный. Сама знаешь. Но во время войны надо думать о себе и о своей семье. Да, о своей семье, слышишь? Али принесет нам деньги. Но мы его с собой в Малинди не возьмем. Поняла? А если он устроит скандал, я ударю его по голове палкой. Ну, что рот разинула? Иди собирайся.

Солнце уже село. По дороге в форт Али обратил внимание на то, как возбуждены на улицах люди. Одни бежали в сторону набережной, другие стояли перед своими домами и о чем-то взволнованно переговаривались. «Сеид», «победа», «армия» — доносилось до него. На берегу собралась большая толпа; стоя спиной к воде, люди смотрели на вздымавшиеся над городом горы. Али подошел и тоже стал всматриваться в темноту: отроги гор были усыпаны многочисленными огоньками, издали похожими на мерцающие точки. Али выбрался из толпы и зашагал в сторону старого форта. Во дворе стоял командующий охраной майор Джоав и изучал горы в полевой бинокль.

— Вы видели в горах огни, секретарь?

— Да, видел.

— Мне кажется, там стоит армия.

— Победоносная армия, майор.

— Слава Богу. Наконец мы видим собственными глазами то, чего столько времени ждали.

— Да, слава Богу. Господа следует славить и в радости и в горе,— благочестиво отозвался Али — он принял христианство, когда пошел служить к Сету секретарем.— А теперь послушайте, что приказал вам император, майор. Вы должны взять с собой взвод охранников и пойти в бар «Амурат». Найдете там армянина Юкумяна, маленького толстого человечка в черной ермолке. Знаете такого? Тем лучше. Арестуете его и

---

[1] До свидания *(франц.)*.

отведете за город — куда, не важно, лишь бы поблизости не было людей. Отведете его за город и повесите. Таков приказ императора. О выполнении приказа сообщите лично мне. Докладывать непосредственно его величеству необходимости нет. Вы все поняли?

— Я все понял, секретарь.

Наверху Сет рассматривал в рекламном каталоге радиоприемники последней марки.

— Знаешь, Али, больше всего мне нравится корпус из мореного дуба. Напомни мне завтра заказать эту модель. Новостей по-прежнему никаких?

Али молча сложил на столе бумаги и вставил пишущую машинку в футляр.

— Нет новостей?

— Есть, кое-какие новости есть, ваше величество. Судя по всему, в горах стоит армия. Горы усыпаны огнями. Если ваше величество соблаговолите выйти на улицу, вы сами все увидите. Завтра армия будет в городе, в этом сомневаться не приходится.

Сет от радости подскочил на стуле и бросился к окну:

— Это же великолепно! Ты принес мне замечательную весть, Али! Завтра же сделаю тебя виконтом. Наконец-то армия возвращается. Уже полтора месяца мы ждем не дождемся этого, верно, виконт?

— Я очень признателен вашему величеству, но ведь я не сказал, какая армия стоит в горах. Узнать это невозможно. Если это, как вы предполагаете, армия генерала Коннолли, то странно, что он не прислал к вам гонца с известием о победе.

— Да, он дал бы мне знать.

— Ваше величество, вы разгромлены и преданы. В Матоди об этом знают все, кроме вас.

Впервые с начала войны Али почувствовал, что император теряет самообладание.

— Если я разгромлен,— сказал Сет,— эти варвары знают, где меня найти.

— Ваше величество, еще не поздно бежать. Буквально час назад я совершенно случайно узнал, что у одного человека в гавани припрятана моторная лодка. Этот человек сам собирался уплыть на материк, но за хорошую цену он готов свою лодку продать. Ведь маленькому человеку спастись всегда проще, чем великому императору. За две тысячи рупий он уступит вам лодку. Он сам намекал на это. Даже цену назвал. Для спасения жизни императора это не так уж и много. Дайте мне две тысячи, ваше величество, и к полуночи лодка будет в вашем распоряжении. А утром войска Сеида войдут в город, но вы уже будете недосягаемы.

Секретарь с надеждой поднял на Сета глаза, но тот — Али это понял сразу — вновь овладел собой.

— Войска Сеида в город не войдут. Ты забываешь, у меня есть Танк. Ты несешь предательский вздор, Али. Завтра я буду принимать в городе парад победы.

— Увидим, ваше величество.

— Вот увидишь, Али.

— Послушайте,— сказал Али,— мой друг — благородный человек, он очень предан вашему величеству. Думаю, если хорошенько его попросить, он снизит цену.

— Завтра я буду принимать в городе парад победы.

— А что, если он уступит вам лодку за тысячу восемьсот рупий?

— Вопрос исчерпан.

Поняв, что дальнейшие уговоры бесполезны, Али взял со стола пишущую машинку и молча направился к выходу. За дверью послышалось поспешное шарканье голых ног — это в темном коридоре скрылся

осведомитель. За последние несколько месяцев они уже успели привыкнуть к этим звукам.

Придя домой, Али налил себе виски и закурил манильскую сигару. Затем вытащил из-под кровати фибровый чемодан и начал — аккуратно, не торопясь — отбирать нужные в дорогу вещи. Но тут раздался стук в дверь и в комнату вошел майор Джоав.

— Добрый вечер, секретарь.

— Добрый вечер, майор. Армянин мертв?

— Мертв. Боже, как он голосил! Я вижу, вы пьете виски?

— Наливайте себе, если хотите.

— Спасибо, секретарь... В дорогу собираетесь?

— Да нет, просто вещи разбираю... На всякий случай. Сейчас ведь нужно ко всему быть готовым.

— В горах стоит армия.

— Да, говорят...

— Армия Сеида.

— Говорят и такое.

— Как вы выражаетесь, секретарь, сейчас ко всему нужно быть готовым.

— Закуривайте, майор. В Матоди, думаю, найдется немало людей, которые бы с удовольствием отсюда уехали. Ведь завтра армия уже будет здесь.

— Да, она недалеко. Но бежать из города невозможно. Все лодки исчезли, железная дорога вышла из строя, а шоссе ведет прямо в лагерь противника.

Али аккуратно сложил белый костюм и, нагнувшись над чемоданом, сказал, не подымая головы:

— Сегодня на базаре один человек говорил, будто у него есть лодка. Забыл, как его зовут. Простой человек, надо думать. Лодку он где-то за гаванью припрятал. Сегодня вечером он собирается в ней на материк. Говорят, два места в лодке свободны. Как вы считаете, майор, найдет он себе попутчиков за тысячу рупий? По пятьсот с каждого? Такую, говорят, он назначил цену.

— Цена немалая.

— Да, но человеческая жизнь стоит дороже. Так ка́к вы думаете, майор, найдет он себе попутчиков, если у него и впрямь есть лодка?

— Может быть. Кто знает? Возможно, какой-нибудь инородец, деловой человек, смекалистый, весь капитал которого — пишущая машинка да пара костюмов, с ним и поедет. А военный — едва ли.

— А за триста рупий?

— Маловероятно. Посудите сами, что делать военному на чужбине? Да и на родине он запятнает свое имя позором.

— Но другим он, надо полагать, чинить препятствий не станет? Если уж выкладывать пятьсот рупий за лодку, можно приплатить еще сотню часовому, чтобы тот его пропустил, вы не находите?

— Как вам сказать... часовые бывают разные... Сто рупий — не такие уж большие деньги, а ведь тут речь идет о нарушении присяги...

— А двести рупий?

— Военные, как правило, люди бедные. Двести рупий для них — большие деньги... Ну-с, мне пора, надо возвращаться к солдатам. Спокойной ночи, секретарь.

— В котором часу вы сменяетесь с поста, майор?

— После полуночи. Еще, может быть, увидимся.

— Кто знает... Да, майор, вы забыли ваши бумаги.

— В самом деле? Спасибо, секретарь. И спокойной ночи.

Майор пересчитал небольшую пачку денег, которую Али положил на туалетный столик. Ровно двести рупий. Он сунул деньги в карман гимнастерки и вернулся на гауптвахту.

Там, во внутреннем помещении, сидел господин Юкумян и беседо-

вал с капитаном. Полчаса назад маленький армянин находился на волосок от гибели и еще не вполне пришел в себя: на его открытом, живом лице выступили капли пота, он был, против обыкновения, неословоохотлив, говорил едва слышным, срывающимся голосом. Про лодку он хранил упорное молчание до тех пор, пока солдаты не набросили ему на шею петлю.

— Что сказал этот подонок? — спросил он майора.

— Он пытался продать мне место в лодке за пятьсот рупий. Он знает, где спрятана лодка?

— Увы. Я по глупости все ему рассказал.

— Ничего страшного. Он дал мне двести рупий, чтобы его пропустили мои часовые. Кроме того, он угостил меня виски и манильской сигарой. Для нас Али опасности не представляет. Когда мы отправляемся в путь?

— Еще один вопрос, господа офицеры... Моя жена... Для нее теперь места в лодке не остается, поэтому про наш отъезд она не должна ничего знать. Где она была, когда вы... когда мы вышли из кафе?

— Она шумела, и пришлось ее запереть на чердаке.

— Она взломает дверь.

— Это уже наше дело.

— Очень хорошо, майор. Я ведь честный человек. Честный и мирный. Сами знаете. Для меня главное, чтобы все были довольны.

Али уложил чемодан и теперь в ожидании сидел на кровати. «Интересно, что задумал майор Джоав? — размышлял он.— Странно все-таки, что он не хочет бежать. Наверное, рассчитывает утром получить за Сета хорошие деньги».

Ночь и страх темноты. Сет лежал без сна у себя в комнате, в башне старого форта, и с унаследованным от предков ужасом перед джунглями, с тоскливым ощущением оторванности от мира мучительно вглядывался во мрак. В ночи притаились хищные звери, колдуны и призраки убитых врагов. Перед властью ночи пасовали и предки Сета, они панически пятились от нее, теряя всякие признаки индивидуальности. Они ложились по шесть-семь человек в одной хижине, от ночи их отделяли лишь намытая дождями насыпь да крытая соломой крыша, но в темноте слышно было дыхание лежавшего рядом, всего в нескольких дюймах, такого же теплого, обнаженного тела, и они из шести-семи перепуганных чернокожих превращались словно бы в одно целое, ощущали себя одним огромным существом, способным дать отпор крадущемуся где-то рядом врагу. Сет же был в одиночестве и страх преодолеть не мог, ночь застала его врасплох, навалилась на него всем своим весом, и он физически ощущал свое одиночество, незащищенность, оторванность от людей.

Непроницаемая темнота отзывалась глухим барабанным боем неизвестных завоевателей. На узких городских улочках велась какая-то потаенная и в то же время необычайно активная деятельность. Одни, прячась в подворотнях, незаметно, словно призраки, сновали взад-вперед по улицам; другие, запершись у себя в домах, лихорадочно рассовывали по укромным местам какие-то свертки, шкатулки с монетами и драгоценностями, картины и книги, позолоченные рукояти шпаг старинной работы, доставшиеся им по наследству, дешевые украшения и безделушки из Бирмингема и Бомбея, шелковые шали, духи — словом, все, что наутро, когда город подвергнется разграблению, могло попасться на глаза. Сбившихся в кучу женщин и детей либо прятали в погреба и подвалы, либо гнали в поле, за городскую стену. Вместе с ними у ворот толклись козы, овцы, ослы; испуганно кудахтали куры, мычали коровы. На полу своей спальни, с кляпом во рту, связанная по рукам и ногам, словно курица, которую собираются жарить, бессильно корчилась и выла госпожа Юкумян. Изо рта у нее текла слюна, все тело было в синяках.

Али, которого арестовали и теперь вели обратно в форт, пытался, вне себя от ярости, спорить с капитаном караульной службы:

— Вы сильно рискуете, капитан. О своем отъезде я заблаговременно поставил в известность майора.

— Никто не имеет права покидать город — приказ императора.

— Майор вам сам все объяснит.

Капитан ничего не ответил, и отряд двинулся дальше. Впереди под конвоем ковылял слуга Али с чемоданом своего хозяина на голове.

Придя на гауптвахту, капитан доложил:

— Господин майор, эти два человека арестованы у южных ворот при попытке выйти из города.

— Майор, вы же меня знаете. Капитан ошибся. Скажите ему, что мне разрешено покинуть город.

— Да, я знаю вас, секретарь. Капитан, доложите об арестованных его величеству.

— Но, майор, всего час назад я дал вам двести рупий. Вы слышите, капитан, я дал ему двести рупий. Вы не имеете права так со мной обращаться. Я буду жаловаться императору.

— Придется обыскать его чемодан.

Чемодан открыли, содержимое вывалили на пол. Безделушками и предметами туалета занялись капралы, а офицеры стали с интересом рассматривать вещи более ценные. На дне чемодана были обнаружены два тяжелых, завернутых в грязную ночную рубашку предмета, которые при ближайшем рассмотрении оказались массивной золотой короной Азанийской империи и изящным скипетром слоновой кости, подаренным Амурату Президентом Французской республики. Майор Джоав и капитан некоторое время молча разглядывали находку, после чего майор ответил на вопрос, мелькнувший у них обоих:

— Нет,— сказал он,— эти вещи, мне кажется, следовало бы все же показать Сету.

— И корону, и скипетр?

— Скипетр, во всяком случае. Сбыть его все равно будет не просто. Двести рупий,— ядовито заметил майор, поворачиваясь к Али.— Думал за двести рупий улизнуть с королевскими регалиями?

Господин Юкумян, сидевший во внутреннем помещении гауптвахты и прислушивавшийся к тому, о чем говорили офицеры, пребывал в замечательном настроении: сержант угостил его сигаретой из коробки, вынесенной, впрочем, из его же магазина во время ареста; капитан дал ему бренди — жгучий, успокаивающий напиток из его же запасов, приобретенный таким же способом; виселица господину Юкумяну, по-видимому, больше не угрожала, и вот теперь, в довершение всего, был схвачен с поличным Али, попытавшийся убежать из города с королевскими регалиями. Для полного счастья господину Юкумяну не хватало разве что спокойного моря, чтобы наутро благополучно добраться до материка, однако, судя по ласковому морскому ветерку, судьба благоприятствовала ему и в этом.

Майор Джоав вкратце доложил о случившемся императору, предъявив вещественное доказательство: завернутый в грязную рубаху злополучный скипетр. Арестованный с абсолютно безразличным видом стоял перед Сетом в окружении часовых. Когда майор кончил говорить, Сет поднял на обвиняемого глаза:

— Что скажешь, Али?

До сих пор разговор шел на сакуйю, однако индиец ответил императору по-английски — он всегда обращался к своему повелителю на этом языке:

— Скажу, что очень сожалею о случившемся, ваше величество, только и всего. Эти глупые люди чуть было не сорвали план отъезда вашего величества.

— Моего отъезда?!

— Для кого же еще я приготовил лодку, ваше величество? Зачем,

рискуя жизнью, я выносил на себе императорские скипетр и корону, которую, кстати говоря, ваши офицеры почему-то забыли принести с гауптвахты?

— Я не верю тебе, Али.

— И очень напрасно, ваше величество. Подумать только, выдающаяся личность, человек с европейским образованием — и уподобляетесь этим двум неучам. Разве я не доказал вам свою преданность, ваше величество? Разве мог я, жалкий индиец, надеяться обмануть коронованную особу, европейски образованного человека? Прикажите этим ничтожным людям оставить нас наедине, и я все вам объясню.

Офицеры охраны, которые с тревогой вслушивались в звуки непонятного языка, велели своим людям выйти.

— Прикажете подготовить виселицу, ваше величество? — спросил майор, когда часовые удалились.

— Да... то есть.... нет... Я скажу, когда... Отправляйтесь на гауптвахту и ждите дальнейших распоряжений, майор.

Офицеры отдали честь и покинули комнату. Когда они ушли, Али, облегченно вздохнув, сел напротив своего повелителя и стал оправдываться. Угрозу или упрек, негодование или решимость, доверие или прощение — ничего этого на смуглом юном лице императора не было: в его темных глазах застыл ужас. Али это заметил и понял, что самое худшее уже позади.

— Ваше величество, могу объяснить, почему меня задержали. Офицеры охраны арестовали меня, чтобы помешать бежать вам, ваше величество. Они намереваются получить за вас выкуп. Я точно знаю. Мне об этом сообщил один преданный нам капрал. Именно поэтому я и спрятал лодку, рассчитывая, когда все будет готово, прийти к вам, ваше величество, доложить о предательстве и увезти вас на материк.

— Ты говоришь, они хотят получить за меня выкуп? Выходит, я действительно разбит?

— Ваше величество, об этом известно всему миру. Британский генерал Коннолли перешел на сторону принца Сеида. Сейчас их армия стоит в горах. А завтра они уже будут в Матоди.

— А Танк?

— Ваше величество, конструктор Танка, выдающийся инженер господин Маркс, вчера вечером бежал, о чем я имел честь докладывать вашему величеству.

— И Коннолли туда же. Почему он меня предал? Ведь я доверял ему. Почему меня все предают? Коннолли был моим другом.

— Поставьте себя на его место, ваше величество. Выдающемуся военачальнику ничего не оставалось делать. Он мог, разумеется, победить Сеида и получить от вашего величества награду, но ведь мог и потерпеть поражение. Если же он переходит на сторону Сеида, то награду он тоже получает, зато поражение ему не грозит. Что же, по-вашему, должен был выбрать выдающийся полководец, европейски образованный человек?

— Все против меня. Никому нельзя доверять. Все — предатели.

— Все, кроме меня, ваше величество.

— Тебе я тоже не доверяю. Тебе — особенно.

— И совершенно напрасно, ваше величество. Мне вы должны верить, неужели непонятно? Если вы не поверите мне, то останетесь в одиночестве. В полном одиночестве.

— Я и так одинок. У меня никого нет.

— Если вас окружают одни предатели, то доверьтесь предателю. Доверьтесь мне. Вы должны мне довериться. Послушайте. Еще не все потеряно. О лодке теперь знаю только я один. Армянин Юкумян мертв. Вы меня поняли, ваше величество? Если вы отдадите часовым приказ пропустить меня, я пойду туда, где спрятана лодка, и через час приплыву на ней прямо к форту. А когда охрана сменится, вы спуститесь ко мне. Понимаете? Это единственная возможность спастись. Доверь-

тесь мне, ваше величество. Иначе вы окажетесь в полном одиночестве.

Император встал:

— Не знаю, могу ли я тебе верить. По-моему, верных людей вообще не осталось. Я всеми брошен. Но тебя я отпускаю. Живи. Всех же все равно не перевешаешь. Ступай с миром.

— Как будет угодно вашему величеству.

Сет открыл дверь — и опять, как всегда, в темноте прошмыгнул осведомитель.

— Майор!

— Ваше величество.

— Я отпускаю Али. Он может покинуть форт.

— Казнь отменяется?

— Али может покинуть форт.

— Слушаюсь, ваше величество.— Майор Джоав отдал честь.— Ваше величество правильно делает, что верит мне,— вполголоса добавил он, когда фигура Али растворилась во мраке коридора.

— Я никому не верю... Я одинок.

Император остался один. Издали с гор до него доносился едва слышный барабанный бой. Четверть третьего. Еще почти четыре часа темноты.

И тут вдруг тишину разорвал пронзительный крик. Он шел откуда-то снизу, эхом разнесся по всему форту и смолк. Какой-то бессмысленный, ничего не выражающий крик. И опять тишина, ни шагов, ни голосов — только далекий, глухой бой тамтамов в горах.

Сет бросился к двери:

— Эй! Кто-нибудь! Что случилось? Майор! Офицер охраны!

Тишина. Только привычное шарканье удаляющегося осведомителя.

Гнетущая тишина.

Затем тихий голос снизу:

— Ваше величество?

— Кто это?

— Майор Джоав из Королевского пехотного полка к услугам вашего величества.

— Что это было?

— Ваше величество?

— Что это был за крик?

— Произошла ошибка, ваше величество. Оснований для беспокойства нет.

— Что произошло?

— Часовой допустил ошибку. Только и всего.

— Что он сделал?

— Пустяки, это всего лишь индиец, ваше величество. Часовой неправильно понял приказ. Он будет наказан.

— Что случилось с Али? Он ранен?

— Убит, ваше величество. Ошибка часового. Виноват, что потревожил сон вашего величества.

И майор Джоав, а также капитан караульной службы и господин Юкумян в сопровождении трех тяжело нагруженных капралов вышли из форта через боковую дверь и двинулись извивающейся вдоль моря тропинкой по направлению к заброшенному сахарному заводу.

А Сет остался один.

Светало. Еле волоча ноги, господин Юкумян вошел в Матоди. На улицах было пусто. Все, кто мог, покинули город в течение ночи; те же, кто остался, притаились за заколоченными дверьми и забаррикадированными окнами. Сквозь щели в ставнях и замочные скважины несколько пар любопытных глаз с интересом наблюдали, как маленькая, поникшая фигурка проковыляла в кафе «Амурат».

Госпожа Юкумян лежала на пороге спальни. За ночь ей удалось выплюнуть кляп и доползти до двери, но это отняло у нее столько энер-

гии, что она, не в силах больше кричать и рвать веревку, которой ее связали, впала в беспамятство, прерываемое кошмарами, мучительными приступами судороги и беготней крыс по земляному полу. Господин Юкумян, натура тонкая, не мог без отвращения смотреть на ее распухшее, грязное, покрытое кровоподтеками тело, которое в серебристо-зеленом свете подымающегося солнца и впрямь являло собой отталкивающее зрелище.

— Крикор, Крикор... Слава Богу, ты вернулся... А я уж думала, что никогда тебя не увижу... Пресвятая Мария и Иосиф... Где ты пропадал?.. Что с тобой?.. О Крикор, муж мой... Да будут благословенны Господь и Его ангелы, которые вернули мне тебя.

Господин Юкумян сел на кровать и, тяжело дыша, стал расшнуровывать высокие ботинки с эластичными задниками.

— Я устал,— сказал он.— Боже, как я устал. Кажется, лег бы и проспал целую неделю.— Он взял с полки бутылку и налил себе виски.— Это была самая жуткая ночь в моей жизни. Сначала меня чуть было не повесили. Можешь себе представить? Мне уже набросили на шею петлю. Затем повели за город, довели до сахарного завода, а что было потом, не помню; прихожу в себя — кругом никого, я лежу на берегу, вещей нет, лодки нет, этих проклятых солдат тоже нет, а на затылке у меня шишка величиной с яйцо. Пощупай.

— Не могу, Крикор, я же связана. Перережь веревку, и я тебе помогу. Бедный ты мой, бедный.

— Боже, как болит голова. Как я дошел домой, сам не знаю. И лодки у меня теперь нет. Еще вчера я мог получить за нее полторы тысячи рупий. Бедная моя голова. Полторы тысячи рупий. Ноги тоже болят. Я должен лечь в постель.

— Развяжи меня, Крикор, и я уложу тебя. Бедный ты мой.

— Не беспокойся, цветок души моей. Я сам лягу. Буду спать целую неделю.

— Крикор, развяжи меня.

— Не волнуйся, мне просто надо как следует выспаться. Господи, как все болит! — И с этими словами господин Юкумян залпом выпил виски, закинул, удовлетворенно фыркнув, ноги на кровать и повернулся к стенке.

— Крикор, пожалуйста... развяжи меня... Я ведь связана, ты разве не видишь? Я всю ночь так пролежала, мне больно...

— Полежишь еще. Сейчас у меня нет сил тобой заниматься. Только о себе и думаешь. Видишь же, я устал. Неужели непонятно?

— Но, Крикор...

— Заткнись ты.

И не прошло и минуты, как господин Юкумян, забыв о многочисленных невзгодах этой ночи, нашел утешение в глубоком, продолжительном сне.

Через несколько часов он был разбужен барабанным боем и ревом труб — в Матоди входила победоносная армия. Под окном печатали шаг воины Прогресса и Новой эры. Господин Юкумян вскочил с кровати, протер глаза и прильнул к щели в ставне.

— Господи, помилуй! — воскликнул он.— Значит, Сет все-таки победил! — И, захихикав, добавил: — А майор Джоав и капитан остались в дураках!

Лежа на полу, госпожа Юкумян кротко смотрела на него своими грустными темными глазами.

— Лежи тихо, женщина,— сказал он, ткнув ее по-дружески ногой в шерстяном носке.— Потерпи еще немного, и я тебя развяжу.— И господин Юкумян улегся на кровать, уткнулся носом в подушку и, несколько раз фыркнув и повертевшись, вновь погрузился в сон.

Зрелище было великолепное. Первым, в серых изорванных полевых гимнастерках, выступал духовой оркестр императорской гвардии:

Бог с войском ангелов сбираются на сечь,
Дабы вражды людской течение пресечь;
В воздух взвился Господень тяжкий острый меч —
И правды час настал.

За оркестром, подымая тучи пыли, маршировала пехота: мозолистые, голые ступни, изношенные мундиры, спущенные гетры, фуражки набекрень, на плечах — винтовки «ли-энфилд» с примкнутыми штыками, курчавые головы, черные как смоль лица, черная лоснящаяся кожа под расстегнутыми гимнастерками, набитые добычей карманы. Между гвардейцами и нерегулярными войсками, в окружении штабных офицеров, верхом на высоком сером муле ехал генерал Коннолли — коренастый ирландец лет сорока пяти, который на своем веку понюхал пороху: прежде чем защищать цвета Азанийской империи, он воевал на стороне «чернопегих»[1], служил в южноафриканской полиции, а потом в егерских войсках по охране Кенийского национального заповедника. В то утро, впрочем, Коннолли больше напоминал сбившегося с пути путешественника, чем главнокомандующего вступающей в город армии: из-под кавалерийских усов торчал заросший густой рыжей щетиной подбородок; бриджи были так изодраны, что превратились в шорты, а вместо мундира и фуражки на нем были рубашка с открытым воротом и белый, видавший виды тропический шлем, которые совершенно не вязались с полевым биноклем, планшетом, саблей и кобурой на ремне. Коннолли курил трубку, набитую крепчайшим местным табаком.

Следом шли туземцы из племен ванда и сакуйю. В горах они следовали за регулярной армией нестройной толпой, как придется, теперь же двигались небольшими группами, по пять-десять человек, держась за стремена своих вождей, и гнали перед собой гусей и коз, украденных с окрестных ферм. Иногда они присаживались на корточки передохнуть, а потом вскакивали и бегом догоняли остальных. У вождей были свои оркестры: верхом на мулах, колотя что есть силы по огромным деревянным либо обтянутым воловьей шкурой барабанам, ехали барабанщики, им отзывались дувшие в длинные шестифутовые трубы волынщики. То там, то здесь над толпой возникал, покачиваясь, верблюд. Оружие у туземцев было самое разнообразное: старинные ружья с пустыми, а также туго набитыми патронташами; короткие охотничьи копья, мечи и ножи; устрашающих размеров копье племени ванда длиной не меньше семи футов; за одним вождем раб нес пулемет, на который было наброшено бархатное покрывало; некоторые туземцы были вооружены короткими луками и допотопными палицами из дерева и железа.

Туземцы племени сакуйю носили пышные прически, их грудь и руки были — для красоты — изрезаны шрамами самой причудливой формы; у туземцев ванда передние зубы были остро заточены, а волосы заплетены в маленькие грязные, похожие на крысиные хвостики косички. В соответствии с чудовищным обычаем этих племен, всякий, кто мог, увешивал себя отрубленными руками и ногами убитых врагов.

После того как все это огромное войско, обрушившись на Матоди, просочилось через городские ворота, оно, словно вода из сгнившего шланга, брызнуло в разные стороны, разлилось по всему городу реками и ручьями. Люди, скот и птица, выбиваясь из основного потока, рассыпались по улицам и переулкам, устремились в тупики и за ограды домов. Посреди несущейся толпы стояли, продолжая бить в барабаны и дуть в трубы, одинокие музыканты; некоторые туземцы, отделившись от основной массы, танцевали группами в проходах между домами; двери винных лавок были сорваны, и вскоре разыгравшееся на улицах города празднество приобрело несколько неожиданный, мрачноватый колорит: опьяневшие воины, дабы продемонстрировать, на что они способ-

---

[1] Английские карательные войска в Ирландии во время освободительной войны ирландцев против англичан (1919—1921).

ны в бою, набрасывались с ножами и дубинками на своих бывших товарищей и жестоко с ними расправлялись.

— Черт,— вырвалось у Коннолли,— поскорей бы сбыть с рук всю эту команду! Неужели его люди действительно дали деру? В этой проклятой стране все возможно.

На улицах не было ни души. Только испуганные глаза наблюдали в щели между ставнями, как медленно растекается по городу армия победителей. На главной площади генерал остановил гвардейцев, а также тех туземцев, которые еще подчинялись дисциплине; и когда те, жуя сахарный тростник, с хрустом грызя орехи и полируя зубы короткими щепками, уселись на корточки, он, не слезая с мула и перекрывая шум пировавшей на соседней улице солдатни, обратился к своим доблестным воинам с традиционной речью:

— Гвардейцы! Вожди и туземцы Азанийской империи! Выслушайте меня. Вы — герои. Вы отважно сражались за своего императора. Бойня удалась на славу. За это вас будут чтить ваши дети и дети ваших детей. В лагере прошел слух, что император уплыл на большую землю. Я не знаю, правда ли это, но если он действительно уехал, то только для того, чтобы привезти вам с большой земли награду. Но что может быть лучшей наградой для солдата, чем смерть его врага?!

— Гвардейцы! Вожди и туземцы Азанийской империи! Война окончена, и теперь вы имеете право на отдых и развлечение. Вы можете делать все что хотите, кроме двух вещей: во-первых, вам нельзя трогать белых людей, грабить их дома, брать их скот, добро и женщин; и, во-вторых,—разжигать огонь на улицах и в домах. Тот, кто нарушит эти приказы, будет убит. У меня все. Да здравствует император!

— Гуляйте, ребята,— добавил он по-английски.— Сегодня ваш день. Развлекайтесь вволю. А мне первым делом надо бы почистить перышки да заморить червячка.

Генерал подъехал к отелю «Азания». Здание было погружено во мрак, ставни наглухо закрыты, двери заколочены. Двум денщикам главнокомандующего объединенными усилиями удалось взломать дверь, и Коннолли проник внутрь. Даже в лучшие времена, когда в Матоди из Европы дважды в месяц приплывал пароход и европейские туристы веселой гурьбой бродили по городу, у «Азании» был угрюмый, неприветливый вид. Сегодня же генерал Коннолли, который в одиночестве прошелся по пустым, нежилым комнатам, почувствовал себя здесь заживо погребенным. За прошедшую ночь все, что только можно было вынести из комнат и снять со стен, было снято, вынесено и тщательно куда-то припрятано. По счастью, единственная имевшаяся в наличии ванна сохранилась, и Коннолли решил незамедлительно ею воспользоваться, приказав своим денщикам накачать воды и распаковать чемоданы. Спустя час генерал вышел из ванной в весьма мрачном настроении, однако чистый, бритый и вполне прилично одетый. Из отеля Коннолли отправился в форт, где на башне в неподвижном воздухе тряпкой повис императорский флаг. Жители домов, расположенных за крепостной стеной, также не подавали никаких признаков жизни: никто его не приветствовал, никто не оказывал сопротивления. По улицам, прижимаясь к стенам, крались мародеры, а прямо перед ним из сточной канавы внезапно выпрыгнул какой-то перепуганный индиец и, точно заяц, перебежав дорогу, скрылся. Только в доме миссионера генералу удалось кое-что разузнать про императора. Когда Коннолли подъехал к миссии «белых отцов», он увидел в дверях канадского священника, здоровенного детину с окладистой бородой малинового цвета, в белой сутане и широкополой соломенной шляпе, который, схватив за волосы бригадного старшину императорской гвардии, тряс его изо всех сил. Заметив приближение генерала, преподобный отец, продолжая одной рукой крепко держать старшину за черные вихры, а другой вынув изо рта манильскую сигару, радушно помахал Коннолли и сказал:

— Привет, генерал. С победой вас. Заставили вы нас тут поволноваться, ничего не скажешь. Этот тип случаем не из вашей армии?

— Да, вроде бы. Что он натворил?

— И не спрашивайте. Возвращаюсь после мессы, а этот мерзавец уплетает мой завтрак.— Последовал страшный удар, и бригадный старшина приземлился на другой стороне улицы.— Еще раз увижу, что кто-то из ваших ребят околачивается возле миссии,— шкуру спущу. Когда войска входят в город, всегда творится черт знает что. Помню, во время восстания герцога Джапета эти негодяи забрались в инфекционную больницу и насмерть перепугали медсестер.

— Скажите, преподобный отец, правда ли, что император сбежал?

— Не знаю. Во всяком случае, люди его сбежали. Вчера вечером ко мне приходил армянский архиепископ. Этот старый жулик пытался уговорить меня уплыть вместе с ним на материк на моторной лодке. Я сказал ему: пусть лучше мне перережут горло на суше, но по морю на этой посудине плыть отказываюсь. Держу пари, что, пока он доплыл до места, его вывернуло наизнанку.

— А где может быть сейчас император, не в курсе?

— В форте, где ж еще. На днях, по крайней мере, был там. Этот мальчишка по дурости воззвания писал — по всему городу висят. Мне до вашего Сета дела нет, у меня своих забот хватает. А вашим людоедам передайте, чтобы они к миссии на пушечный выстрел не подходили, а то они у меня попляшут! У меня здесь много наших людей прячется, и я их в обиду не дам, учтите. Всего наилучшего, генерал.

Коннолли двинулся дальше. У крепостных ворот часового не было. Двор был пуст, если не считать лежавшего ничком на земле Али. Веревка, на которой он был повешен, по-прежнему плотно облегала его шею. Коннолли поддел труп носком сапога, перевернул его на спину, но лицо секретаря так распухло и посинело, что он его не узнал.

— Выходит, его императорское величество все-таки смылся под покровом ночи!

Заглянув на опустевшую гауптвахту и в комнаты нижнего этажа, генерал по винтовой каменной лестнице поднялся в комнату Сета, где, раскинувшись на походной койке, в шелковой пижаме в горошек, совсем недавно приобретенной на площади Вандом, крепко спал, совершенно измучившись после злоключений предыдущей ночи, юный император Азании.

Лежа в постели, Сет не пожелал выслушивать подробный отчет о победоносной кампании; он довольствовался лишь сообщением о том, что победа одержана, после чего главнокомандующий был отпущен, а сам император, выдержке которого можно было позавидовать, тщательным образом совершил свой туалет и только тогда, облачившись в безупречно отутюженный мундир Императорского конногвардейского полка, сбежал вниз и, не скрывая своей радости, крепко пожал генералу руку.

— Вот видите, Коннолли,— вскричал он,— я оказался прав, я же знал, что поражение нам не грозит.

— Не скажите, пару раз мы были чертовски близки к нему,— отозвался Коннолли.

— Вздор, голубчик. Ведь мы — это Прогресс и Новая эра. Наше дело правое, как вы не понимаете? Мир принадлежит нам, это наш мир, ибо мы с вами — люди сегодняшнего дня. А Сеид с его бандой головорезов — люди вчерашнего дня. Вандалы. Темные варвары. Паутина на чердаке, гнилое полено, еле слышный шепот на дне глубокого колодца — вот что они такое! А мы — это Свет, Скорость, Сила, Сталь и Пар, Молодость; мы — это настоящее и будущее человечества. Неужели непонятно? Наша нынешняя победа была одержана пять столетий назад, совсем на других полях сражений.— Молодой человек совершенно преобразился: сверкая глазами и откинув назад голову, он упивался собственными словами. Что же касается генерала, то он, в отличие от чернокожего императора, долгое время хранил молчание, а затем, по-

стучав трубкой о подошву своего кавалерийского сапога, полез в карман за кисетом.

— Не знаю, Сет, может, вы и правы, только я свою победу одержал не пять столетий назад, а позавчера и пользовался при этом самым допотопным оружием: ложью и острым копьем.

— А как же мой Танк? Разве победой мы обязаны не ему?

— Танку?! Этой консервной банке Маркса?! Не смешите меня. Этот ваш танк ни к черту не годится. Я же говорил, что вы бросаете деньги на ветер, а вы меня не слушали. Его бы в Дебра-Дове в качестве военного мемориала на площади поставить — там ему самое место, только ведь он туда не доедет. Поймите, в такой машине в тропическую жару невозможно находиться. Через пять миль танк раскаляется докрасна. Двое греков чуть заживо в нем, бедняги, не сгорели. В конце концов, правда, мы нашли этому танку применение — устроили в нем камеру пыток. Ничем другим этих черномазых ублюдков не проймешь. Хорошо вам рассуждать о Прогрессе да о Новой эре, когда война уже кончилась и все самое худшее позади, но, если хотите знать, на той неделе вы были на волосок от гибели. Знаете, что этот пройдоха Сеид придумал? Раздобыл где-то вашу оксфордскую фотографию, где вы в шапочке и в мантии, размножил ее и раздал гвардейцам из миссионерской школы, заявив, что с англиканской церковью вы порвали и подались в ислам. Ну, а гвардейцы уши развесили и стали каждую ночь сотнями переходить на сторону противника. Тут даже я приуныл, вижу, дело — табак. И тут приходит мне в голову идея. Вы же знаете, что значит Амурат для этих туземцев. Созвал я вождей сакуйю и ванда на совет и сообщил им, что Амурат вовсе не умер (они, впрочем, в этом и не сомневались), а уплыл за море пообщаться с духами своих предков и назад вернулся в вашем обличье. Вожди так и обомлели, когда услышали. Видели бы вы их рожи. После этого они начали Сеида ругать на чем свет стоит, рвались даже с ним расправиться, я их насилу удержал. Вскоре эта история распространилась в лагере противника, и через два дня на нашу сторону перешло несколько тысяч сеидовских ребят — вдвое больше, чем мы потеряли на истории с фотографиями, да вдобавок — настоящие бойцы, не чета этим разодетым миссионерским выкормышам. Три дня я их с трудом удерживал — так они в бой рвались. Мы стояли в горах, на самом верху, а Сеид разбойничал в долине, жег деревни, думая нас дымом с гор выкурить. Массовое дезертирство его, конечно, беспокоило. На третий день посылаю я вниз полроты своих гвардейцев с духовым оркестром и целым стадом мулов и приказываю солдатам, чтобы они, когда дойдут до перевала Укака, погромче шумели. Гвардейцы, сами понимаете, рады стараться. Сеид, как я и предполагал, попался на эту удочку: решил, что вся моя армия перешла в наступление, и стал ее окружать. Тут-то я и бросил ему в тыл туземцев. Господи! Такой резни я в жизни не видал. Мои ребята, благослови их Бог, порезвились вволю. Некоторые, кстати, еще до сих пор с гор не спустились — охотятся за этими бедолагами.

— А сам узурпатор сдался?

— Да, Сеид сдался, куда ж он денется. Но, понимаете, Сет, надеюсь, вы не будете в претензии... Сеид сдался и...

— ...бежал — вы это хотите сказать?

— Нет, вовсе нет. Видите ли, он сдался туземцам из племени ванда... а они... вы же сами знаете, что они собой представляют.

— Вы имеете в виду, что его...

— Да, увы... Я бы этого, естественно, никогда не допустил, но мне сообщили слишком поздно.

— Как же они посмели съесть его?! Ведь он как-никак мой отец... Это такое... такое варварство.

— Я знал, Сет, что вы будете недовольны. Мне очень жаль. Вожди племени наказаны: я посадил их в танк на двенадцать часов.

— Я вижу, туземцев еще совершенно не коснулась современная

цивилизация. Им необходимо образование. Со временем мы должны будем, когда жизнь войдет в нормальную колею, открыть для них школы и университет.

— То-то и оно, Сет. Туземцы не виноваты. Им просто не хватает культуры. В этом все дело.

— Возможно, имеет смысл обучать их по программе Монтессори,— задумчиво проговорил Сет.— Да, они не виноваты...— Он вновь воодушевился: — Коннолли, я сделаю вас герцогом.

— Спасибо, Сет. Мне-то это без разницы, а вот моя Черномазая с ума от счастья сойдет.

— Коннолли?

— Да?

— Не кажется ли вам, что герцогине стоило бы подыскать другое имя? Видите ли, на мою коронацию, по всей вероятности, из Европы съедутся многие знаменитости. Нам бы хотелось покончить с расизмом — насколько это возможно, разумеется. Имя, которое вы дали миссис Коннолли, вполне приемлемо, когда вы остаетесь с ней наедине, однако на людях оно выглядит... несколько неестественно, тем самым вы как бы даете понять, что у вас с женой разный цвет кожи...

— Что ж, вы правы, Сет. Буду стараться в обществе так ее больше не называть. Хотя для меня она все равно остается Черномазой, тут уж ничего не попишешь. Да, кстати, что случилось с Али?

— С Али? А, вспомнил. Вчера вечером он был убит майором Джоавом. Не забыть бы заказать себе новую корону.

2

— Котик-ротик-обормотик.

— Это ты не сама придумала.

— Верно. Как ты догадался?

— Это же из книжки. Я ее тоже читал. Ее все в посольстве читали.

— Подумаешь, уж и процитировать нельзя — надоело говорить одно и то же. Хочется чего-то нового.

Теперь Уильям и Пруденс лежали рядом, на спине, в надвинутых на глаза одинаковых соломенных шляпах — тропическое солнце пекло нещадно. Они забрались на самую вершину подымавшихся над Дебра-Довой гор; здесь, на высоте восьми тысяч футов, было немного прохладнее. У них за спиной, за живой изгородью из высоких кактусов, находился несторианский храм с соломенной крышей. У дверей храма, подставив обжигающим солнечным лучам голый живот, безмятежно глядя в небеса и не обращая ни малейшего внимания на мух, которые облепили ему все личико, лежал младший сын священника. Под ними, среди синеющих внизу эвкалиптов, виднелись железные крыши Дебра-Довы. Поодаль посольский конюх сторожил пони.

— Уильям, любимый, у тебя на шее какая-то гадость. Ой, это муха, нет, целых две.

— Сгони их, я тебе разрешаю.

— Боюсь — а вдруг укусят: здешние мухи ужасно больно кусаются.

— Черт!

— Все, улетели. Надо же, две сразу.

— Никуда они не улетели, я чувствую, как они по мне ходят.

— Это не мухи, милый, это я. Я тебя ласкаю, а ты даже не посмотришь в мою сторону. Я придумала новый способ целоваться. Ресницами.

— Открыла Америку! Я этот способ давно знаю. Называется «поцелуй бабочки».

— Не хочешь — не надо. Я думала, тебе приятно будет.

— Мне очень приятно, дорогая, разве я что-нибудь говорю? Просто я сказал, что этот способ отнюдь не нов.

— А по-моему, тебе не понравилось.

— Да нет, просто мне показалось, что меня укусила муха.

— Господи, как обидно, что кроме тебя, здесь не с кем больше заниматься любовью.

— Какой у тебя неестественный голос.

— Это я пластинке подражаю. Неестественный голос — совсем другое. Вот послушай.

— Ты почему-то заговорила с американским акцентом.

— А хочешь, изображу тебе «голос, дрожащий от страсти»?

— Нет.

— О Боже, как с вами, мужчинами, скучно.— Пруденс села и закурила.— И вообще, ты какой-то изнеженный. В тебе нет ничего мужского. Не люблю тебя.

— Просто ты еще слишком молода и не способна вызывать сильные чувства. Дай и мне сигарету.

— Так и знала, что попросишь. Между прочим, эта сигарета последняя. Причем не только у меня, но и во всей Дебра-Дове. Сегодня утром я стащила ее из спальни Неполномочного.

— Черт, когда же наконец кончится эта идиотская война? Посылок не было уже полтора месяца. Шампунь кончился, новых детективов нет, и вот теперь — сигареты. Оставишь докурить?

— Без шампуня ты у меня совсем облысеешь. Ладно, так и быть, оставлю.

— Какая ты лапочка, Пруденс. А я уж думал, пожалеешь.

— Вот такая я лапочка.

— Дай я тебя поцелую.

— Нет, попробуй новым способом — ресницами.

— Так?

— Изумительно. Еще...

Через некоторое время они опять сели на пони и поехали обратно в посольство.

— Боюсь, у меня теперь будет подергиваться веко,— прервал молчание Уильям.

— Из-за чего, любимый?

— Из-за «поцелуя бабочки». Я встречал таких людей. Жуткое зрелище. Теперь я понимаю, откуда это у них. Знаешь историю про человека, которого судили за то, что он подмигивал девицам на улице? Вызывают его в суд, а он и судье подмигивает — это, мол, болезнь у меня такая. Судья поверил и его отпустил, а он с тех пор так и подмигивает, остановиться не может.

— Одного у тебя не отнимешь, Уильям,— сказала Пруденс.— Анекдотов ты знаешь много. За что я тебя и люблю.

Официальные отношения с Дебра-Довой поддерживали три великие державы: Великобритания, Франция и Соединенные Штаты. В дипломатической иерархии пост посла в Азании котировался невысоко. Американский посол мистер Шонбаум, дуайен дипломатического корпуса, сделал карьеру сравнительно недавно. Впрочем, он и гражданином страны, которую теперь представлял, стал лишь в зрелом возрасте, в связи с падением валютного курса в странах Центральной Европы. С десяти до сорока лет он вел весьма активную жизнь, подвизаясь то журналистом, то инженером-электриком, то агентом по продаже недвижимости; служил Шонбаум и в акционерном обществе, был и управляющим отеля, и судовым маклером, и театральным антрепренером. Когда же началась мировая война, он ретировался сначала в Соединенные Штаты, а затем, когда Америка тоже вступила в войну, переехал в Мексику. Вскоре после заключения мира Шонбаум получил американское гражданство и надумал, разнообразия ради, попробовать себя в политике, а поскольку он был одним из тех, кто субсидировал с успехом закончившуюся президентскую кампанию, новая администрация предложила ему на выбор несколько весьма престижных государствен-

ных постов, среди которых назначение послом в Дебра-Дову было, безусловно, наименее почетным и прибыльным. Однако для него, человека с европейскими корнями, профессия дипломата обладала каким-то особым очарованием, которое не смогли развеять ни годы, ни богатый жизненный опыт; к тому же в деньгах он уже не нуждался, климат в Дебра-Дове считался здоровым, а окружающая обстановка — экзотической. В результате мистер Шонбаум принял предложение стать американским послом в Азании и не пожалел об этом — последние восемь лет он пользовался популярностью и уважением, которых бы вряд ли достиг на родине.

Французский посол мсье Байон был франкмасоном.

По общему мнению, дипломатическая карьера сэра Самсона Кортни, чрезвычайного и полномочного посла его величества, человека исключительного личного обаяния и широкого кругозора, не задалась не столько из-за его бездарности, сколько из-за нерадивости. Совсем еще молодым человеком он подавал большие надежды: учился блестяще, имел связи, и немалые, в министерстве иностранных дел. Однако с самого начала стало ясно, что возложенных на него надежд сэр Самсон не оправдает. Поехав в Пекин третьим секретарем посольства, Кортни почему-то вдруг с увлечением принялся, забросив дела, мастерить из картона модель Летнего дворца; будучи переведенным в Вашингтон, он столь же неожиданно увлекся велосипедным спортом, целыми днями где-то пропадал и возвращался грязный, но совершенно счастливый оттого, что побил какой-нибудь рекорд скорости или расстояния; вызванный этим увлечением скандал достиг своей кульминации, когда имя сэра Самсона обнаружилось в списке участников международных соревнований по велосипедным гонкам на длинные дистанции. Тогда родственники из министерства иностранных дел, не теряя зря времени, перевели его в Копенгаген, а пока молодой человек, по пути из Америки в Данию, находился в Лондоне, подыскали ему выгодную партию и женили на дочке министра, видного либерала. Решающий удар по его карьере был нанесен позже, в Швеции; присутствующие на званых обедах и раньше обращали внимание на то, что Кортни не принимает участия в беседе, если она ведется на иностранных языках; теперь же вдруг открылась страшная правда: оказалось, что даже по-французски он не в состоянии связать и двух слов; в отличие от дипломатов старой школы, которые, забыв иностранное слово, умели незаметно повернуть разговор в нужное им русло, сэр Самсон пускался в рискованную импровизацию или же, чтобы его поняли, сбивался на «пиджин-инглиш». Надо отдать должное его родственникам — они поддержали его и тут: отозвали в Лондон и устроили работать в министерство иностранных дел. Наконец, когда самому сэру Самсону стукнуло пятьдесят, а его дочери — тринадцать, он был возведен в звание кавалера ордена Святого Михаила и Святого Георгия и направлен послом в Азанию. Назначение это привело его в совершеннейший восторг; сэр Самсон был бы искренне удивлен, если б узнал, что в дипломатических кругах считается неудачником и за глаза зовется «неполномочным послом» или для краткости «Неполномочным».

Британское посольство, находившееся в семи милях от столицы, представляло собой миниатюрный, утопающий в зелени городок за глухим забором, охранявшийся отрядом индийской кавалерии. В посольстве имелась телеграфная связь с Аденом и телефонная — с Дебра-Довой. Телефон хоть и плохо, но работал, а вот дорога в город никуда не годилась. Большую часть года из-за разливающихся рек, завалов, оползней, поваленных ветром деревьев и притаившихся в засаде бандитов ею невозможно было пользоваться. По этому поводу предшественник сэра Самсона неоднократно обращался с протестами в правительство Азании, в результате чего несколько бродяг, по подозрению в разбое, были повешены, дорога же осталась такой, как была; переписка посла с властями между тем продолжалась, и ее прекращение мож-

но, пожалуй, считать самым крупным успехом в дипломатической карьере сэра Самсона. Воодушевившись новым назначением и стремясь к собственному комфорту, Неполномочный впервые в жизни с головой окунулся в проблемы общественного благоустройства. Внимательно изучив подшивку писем и документов, связанных с ремонтом дороги, сэр Самсон уже через неделю после вручения верительных грамот вновь поднял эту тему во время аудиенции у принца-консорта. Затем в течение нескольких месяцев королевский дворец, британское посольство, министерство иностранных дел и министерство труда (в то время должности гофмейстера двора, министра иностранных дел и министра труда совмещал один человек — несторианский митрополит) обменивались дипломатическими нотами, пока наконец, вернувшись как-то утром с прогулки верхом, Пруденс не сообщила отцу, что видела на дороге в Дебра-Дову караван мулов, груду камней и три группы закованных в цепи каторжников. Но тут сэра Самсона поджидало разочарование. Дело в том, что коммерческий атташе американского посольства в свободное от работы время подвизался в качестве торгового агента по продаже тракторов, сельскохозяйственной техники и паровых котлов. По его совету, каторжников с дороги убрали, и императрица вместе со своими приближенными остановила выбор на паровом катке. Она всегда питала слабость к иллюстрированным каталогам и после многодневных консультаций со специалистами выписала себе из Америки молотилку, сенокосилку и механическую пилу. Что же касается парового катка, то она никак не могла выбрать нужную модель; митрополит, которому американский атташе предложил делить выручку пополам, рекомендовал великолепный каток под названием «Монарх Пенсильвании», а принц-консорт, который платил за подобное расточительство из собственного кармана, возглавлял группу лиц, высказывавшихся в пользу «Лилипута из Кентукки» — модели более скромной. Тем временем приглашенные на обед в британское посольство были по-прежнему вынуждены ехать из города верхом на мулах, в сопровождении вооруженного охранника и мальчика с фонарем. Когда же все решили, что выбор между «монархом» и «лилипутом» будет наконец сделан, императрица внезапно скончалась, а начавшаяся сразу после ее смерти гражданская война развеяла всякую надежду на скорое улучшение дел в дорожном строительстве. Неполномочный держался стойко, но в глубине души очень переживал неудачу. Он отдал ремонту дороги слишком много сил, принимал все происходившее близко к сердцу, а потому испытывал теперь обиду и разочарование. Груда камней на обочине служила ему постоянным укором, это был памятник его единственному — и неудачному — опыту государственной деятельности.

В результате обитатели посольского городка были вынуждены вести замкнутое и размеренное существование. Леди Кортни посвятила себя садоводству. Из Лондона с каждой посылкой ей начали приходить мешки с семенами и вырезки из журналов — и вскоре вокруг здания посольства разросся роскошный английский сад с сиренью и лавандой, бирючиной и самшитом, садовыми дорожками и крокетными лужайками, декоративными каменными горками и диким кустарником, цветочным бордюром, увитыми вьющейся розой беседками, водяными лилиями и лабиринтами еще не хоженых тропок.

Уильям Бленд, почетный атташе, был холост и жил в одном доме с семейством Кортни. Остальные сотрудники британской миссии имели семьи и жили отдельно. У второго секретаря была собственная площадка для часового гольфа, у консула — два теннисных корта. Второй секретарь и консул были на «ты», ни на минуту не расставались, слоняясь из одного дома в другой, и были посвящены в мельчайшие подробности семейной жизни друг друга. В отличие от них капитан Уолш, советник по восточным делам, вел более независимый образ жизни. Он был нелюдим, постоянно страдал приступами малярии и, по слухам, дурно

обращался с женой. Вместе с тем капитана уважали: он единственный знал сакуйю и часто во время споров между слугами использовался в качестве арбитра.

Британская колония в Дебра-Дове была невелика и в основном состояла из людей, доверия не внушавших. Это были управляющий банка с женой, которая, как говорили, была наполовину индианкой; два мелких банковских служащих; торговец кожами, именовавший себя «Президентом торговой ассоциации Азании»; механик на железной дороге, женатый одновременно на двух азанийках и не скрывавший этого; англиканский епископ Дебра-Довы, окруженный постоянно сменяющими друг друга канониками и викариями; управляющий Восточной телеграфной компании и генерал Коннолли. Общение между всеми этими людьми и сотрудниками посольства ограничивалось теперь лишь рождественским завтраком, на который получали приглашение наиболее уважаемые представители английской колонии, да ежегодным чаепитием в саду по случаю дня рождения короля, куда приглашались все британские подданные без исключения, от грузинского князя, владельца ночного клуба «Попугай», до миссионера из секты мормонов. Работники британского посольства всегда держались обособленно, и объяснялось это отчасти плохой дорогой, а отчасти глубоко укоренившимся нежеланием общаться с людьми второго сорта. Когда леди Кортни впервые приехала в Дебра-Дову, она попыталась было нарушить эту традицию, заявив, что англичан в Азании слишком мало, а потому все условности — вздор и придавать им значение не следует. Коннолли дважды обедал в посольстве, и его дружба с послом, которая уже пустила корни, наверняка бы со временем расцвела, если бы в один прекрасный день леди Кортни не заявилась без предупреждения к генералу домой. В тот день она завтракала с императрицей и, по пути в посольство, зашла к Коннолли пригласить его на партию в крокет. Часовые у входа отдали честь, одетый с иголочки слуга распахнул перед леди Кортни дверь, но тут путь ей преградила невысокого роста негритянка в длинном, до полу красном платье, которая, неизвестно откуда взявшись, решительно шагнула гостье навстречу:

— Я — Черномазая,— без всяких обиняков представилась она.— Что вам надо в моем доме?

— А я — леди Кортни. Приехала повидать генерала Коннолли.

— Генерал сегодня пьян и женщинами не интересуется.

С этого дня Коннолли не звали даже на рождественский завтрак.

Недоразумения подобного рода, хоть и не всегда столь драматичные, возникали и с другими членами английской колонии Дебра-Довы, пока наконец, через шесть лет после приезда в Азанию сэра Самсона, единственным человеком, которого иногда приглашали поиграть в крокет на посольской лужайке, не остался англиканский епископ. Впрочем, в последнее время визиты в посольство его преосвященства также особенно не поощрялись. Немолодой уже человек, он был не в силах за один день проделать путь в посольство и обратно, а потому приглашение на обед означало, что епископ останется ночевать, а наутро, перед отъездом обратно в город,— еще и завтракать. Главное же, Неполномочного, который постепенно утратил вспыхнувший было интерес к происходящему в стране, раздражали и утомляли подобные светские мероприятия. Епископ любил порассуждать о политике, о стоящих перед страной проблемах, о благосостоянии народа, образовании и финансах. Он мог часами говорить о местных законах и обычаях и о том, какие партии существуют сейчас при дворе. Вдобавок у него была довольно развязная — с точки зрения Неполномочного — привычка называть по имени членов королевской семьи и губернаторов, которых сам сэр Самсон по забывчивости называл не иначе, как «старый негр, который ужасно любит анисовую водку», или «эта, как ее, которая, по словам Пруденс, похожа на тетю Сару», или «этот, в очках, с золотыми зубами».

Ко всему прочему, в крокет епископ играл из рук вон плохо и составить конкуренцию дипломатам не мог.

И все же, когда, опоздав на двадцать минут к столу, Пруденс и Уильям вернулись с прогулки домой, они обнаружили за столом епископа.

— А я уже решила, что вас убили! — воскликнула леди Кортни.— Вот бы мсье Байон обрадовался. Он ведь вечно шипит, чтобы, пока не кончилась гражданская война, я не выпускала вас за ворота. Звонил сегодня утром, спрашивал, какие мы предприняли меры для укрепления посольства. Мадам Байон набила мешки песком и обложила ими все окна. Байон сказал, что последний патрон он хранит для мадам Байон.

— В городе все находятся в состоянии жуткой паники,— сказал епископ.— Столько всяких слухов. Скажите, сэр Самсон, только откровенно: нам угрожает резня или нет?

— Каждый Божий день мы едим на обед консервированную спаржу...— сказал Неполномочный.— Почему, непонятно... Простите, вы спрашиваете, будет ли резня? Трудно сказать. Я, признаться, об этом всерьез не думал... Да, пожалуй, будет. Ведь если эти молодцы вобьют себе что-нибудь в голову, их уж ничем не остановишь. И все-таки, мне кажется, все уладится. Волноваться не стоит... Надо бы нам спаржу самим выращивать. Все лучше, чем с утра до ночи копаться в этом идиотском саду. А то каждый день консервированная спаржа — как будто на корабле плывешь.

— Я приехал к вам сегодня еще и потому, что надеялся узнать какие-нибудь новости,— сказал епископ после того, как леди Кортни и сэр Самсон в течение нескольких минут выясняли сравнительные достоинства тюльпанов и спаржи.— Мне бы очень хотелось вернуться в город с хорошей вестью... Вы себе не представляете, как все удручены... Уже много недель полное отсутствие новостей, одни слухи. Здесь-то вы, по крайней мере, в курсе событий.

— Новости, говорите? — отозвался Неполномочный.— Что ж, кое-какие новости действительно есть. Когда вы были у нас последний раз? Я не говорил вам, что Анстрадеры решили записать Дэвида в Аппингемскую школу? Очень, по-моему, правильное решение. А сестра Перси Легга — та самая, помните, что гостила у них здесь в прошлом году,— выходит замуж. У Бетти Анстрадер на днях понесла пони, и она, бедняжка, крепко расшиблась. Я всегда говорил, что на этой лошади детям ездить нельзя. Что еще рассказать епископу, дорогая?

— У Леггов сломался холодильник, и они смогут теперь починить его только после окончания войны. Бедный капитан Уолш опять слег с малярией. Пруденс на днях начала писать новый роман... Надеюсь, это не тайна, детка?

— Конечно, тайна. И потом, никакой это не роман. Это «Панорама жизни». У меня тоже есть новость, причем совершенно потрясающая: сегодня утром Перси набрал, играя в багатель, тысячу двести восемьдесят очков.

— Не может быть,— удивился сэр Самсон.— В самом деле?

— Так ведь это на бильярдном столе в канцелярии! — сказал Уильям.— Это не считается. Мы все набираем там массу очков. Там же лузы кривые. Я считаю, что мой рекорд — тысяча сто шестьдесят пять очков, которые я набрал у Анстрадеров,— не побит до сих пор.

— А о гражданской войне вам что-нибудь известно? — спросил епископ после того, как посол, леди Кортни, Пруденс и Уильям в течение нескольких минут обсуждали недостатки бильярдного стола в канцелярии.

— Боюсь, что нет. Во всяком случае, ничего конкретного припомнить сейчас не могу,— сказал Неполномочный.— Ведь всем этим занимается у меня Уолш, а у него сейчас лихорадка. Вот поправится — тогда, возможно, что-нибудь и узнаем. Он у нас единственный в курсе

местных событий... А впрочем, на днях, кажется, приходили какие-то телеграммы. Скажите, Уильям, в них было что-нибудь о войне?

— Трудно сказать, сэр. Дело в том, что мы опять потеряли шифровальный код.

— Ах, этот Уильям! Вечно он все теряет. Что бы вы сказали, епископ, если б у вас был такой капеллан? Как только код найдется, немедленно прочтите телеграммы, слышите? Может быть, на них надо было ответить.

— Обязательно, сэр.

— И еще, Уильям... Пожалуйста, исправьте лузы на бильярдном столе в канцелярии. Какой смысл играть, если лузы кривые?

— Неполномочный был за обедом в ударе, черт возьми! — сказал Уильям, когда они с Пруденс остались наедине.— Проходу мне не давал. Сначала взъелся на меня из-за шифровального кода, а потом пристал с бильярдным столом. Что я ему сделал?

— Любимый, как ты не понимаешь, это он хотел епископу пустить пыль в глаза. Сейчас, наверно, самому стыдно стало.

— Непонятно только, почему ради этого епископа надо было из меня дурака делать?

— Милый, ну не сердись. Я же не виновата, что у меня отец солдафон. Знаешь, я придумала много новых способов целоваться. Давай попробуем?

Когда пришли Анстрадеры и Легги, сели пить чай с бутербродами с огурцом и паштетом, горячими булочками, печеньем с тмином.

— Как себя чувствует Бетти? Она сильно ударилась?

— Да, тряхнуло ее здорово, бедную. Но Артур, представьте, хочет, чтобы она, как только сможет, опять начала ездить верхом. Он опасается, как бы у нее не закрепилась боязнь лошадей.

— Неужели она снова сядет на Красотку?

— Нет, конечно. Мы надеемся, что Перси отдаст ей на время своего Непоседу. Красотка ей пока что не по силам.

— Еще чаю, епископ? Как дела в миссии?

— О Боже, какой голый сад. Просто сердце разрывается. А ведь в это время он бывает особенно хорош. Мешок с львиным зевом куда-то запропастился.

— Никак эта война не кончится! Я уже полтора месяца жду, когда мне пришлют из Англии шерсть, чтобы довязать кофточку ребенку. Остались одни рукава. Как вы думаете, очень будет нелепый вид, если я свяжу рукава из другой шерсти?

— Отчего же, по-моему, это даже мило.

— Еще чаю, епископ? Я бы хотела, чтобы как-нибудь вы поподробнее рассказали о детской школе.

— Я нашел шифровальный код, сэр.

— Правда? И где ж он был?

— В верхнем ящике комода. На прошлой неделе я расшифровывал телеграммы, лежа в постели.

— Великолепно. Но впредь будьте внимательнее — вы же знаете, какое значение придают в министерстве таким вещам.

— Бедный мсье Байон. Все пытается вызвать из Алжира аэроплан.

— По словам миссис Шонбаум, у нас кончаются запасы, потому что французское посольство скупает все, что только можно, и забивает товарами подвалы.

— Может, тогда они и мой джем купят? В этом году он все равно не получился.

— Еще чаю, епископ? Я хотела бы поговорить с вами о конфирмации Дэвида. Что-то последнее время он совсем от рук отбился. Иногда такое сказанет, что страшно делается.

— Может быть, вам удастся прочесть телеграмму? Я, честно говоря, ничего не понимаю. Какой-то странный шифр. Лd2 Фс8.

— Это не шифр, а запись шахматных ходов. Перси ведь играет по переписке в шахматы с Беббитом из министерства. Он как раз искал эту бумажку.

— Бедная миссис Уолш. Выглядит хуже некуда. Этот климат не для нее.

— В Аппингеме Дэвиду будет очень хорошо, я в этом ни секунды не сомневаюсь.

— Еще чаю, епископ? Вы наверняка устали с дороги.

В шестидесяти милях к югу, на перевале Укака, кровожадные головорезы из племени сакуйю, прячась за скалы, выслеживали и добивали последних беглецов из армии Сеида, а следом за ними из пещер, где люди жили с незапамятных времен, выползали старухи и, подкравшись к трупам, раздевали их.

После чая зашел консул и позвал Пруденс и Уильяма поиграть в теннис.

— К сожалению, мячи старые, никуда не годятся,— посетовал он.— Уже два месяца ждем новых. Проклятая война.

Когда стемнело и играть дальше стало невозможно, Пруденс и Уильям зашли к Леггам выпить по коктейлю, засиделись, и, чтобы успеть переодеться к ужину, обратно пришлось бежать бегом. Вернувшись, они бросили жребий, кому идти в ванную первому. Пруденс выиграла, но первым принял ванну все-таки Уильям, который к тому же израсходовал всю ароматическую соль, и к столу молодые люди пришли с большим опозданием. Епископ, как и ожидалось, решил остаться ночевать. После ужина в холле разожгли камин — в горах вечерами было холодно, сэр Самсон взялся за вязание, а леди Кортни и епископ вместе с Анстрадером и Леггом сели играть в бридж.

В посольстве в бридж играли мирно, без ссор.

— Пойду-ка я с маленькой червы.

— Это бескозырная игра — надеюсь, вы меня поняли.

— Сколько можно жульничать.

— Это я жульничаю?!

— Послушай, у тебя что, не было другого хода?

— А что ты назначил?

— Черву.

— Тогда пойду с двойки червей.

— То-то же.

— Проклятье! Забыл, что у нас некозырная игра. Тогда «пас».

— Нет. Боюсь, на Визире придется ездить с мундштуком. У него очень отяжелела челюсть.

— Нет. Ваш ход, епископ. Стальной мундштук тут не поможет.

— Надо же быть таким тупицей! Хуже ты пойти не мог?

— Ты же сам хотел, чтобы я показал масть. Скажите конюхам, чтобы они, перед тем как седлать, мочили мундштук водой. Тогда все будет нормально.

Пруденс поставила пластинку. Уильям лежал на ковре перед камином и курил одну из последних остававшихся в наличии сигар.

— Черт возьми,— сказал он,— когда же наконец придут новые пластинки?

— Эй, Пруденс, взгляни, как получается. Сейчас начну вязать рукава.

— Потрясающе, папа.

— Мне это занятие ужасно нравится...

— Симпатичная мелодия. Что, разве сейчас мой ход?

— Перси, не отвлекайся от игры.

— Прошу прощения, но эту взятку я беру в любом случае.

— Она и так наша.

— В самом деле? Пруденс, переверни пластинку. Послушаем «Крошку Сару».

— Перси, твой ход, сколько можно повторять? Что ты задумался? Бей козырем.

— Легко сказать «бей козырем». А если у меня нет козырей? Хорошие слова: «...хлестала виски — кончила пургеном».

В это время во французском посольстве, находившемся в нескольких милях от английского, посол и первый секретарь обсуждали очередной рапорт о действиях англичан, который каждый вечер доставлял им дворецкий сэра Самсона.

— Епископ Гудчайлд опять там.

— Клерикалы.

— Через него они поддерживают связь с городом. Этот сэр Кортни — старая лиса.

— Сведения подтвердились: они даже не пытались укрепить здание посольства.

— Стало быть, действуют в ином направлении. Сэр Кортни финансировал Сета.

— Я в этом не сомневаюсь.

— Думаю, неустойчивость цен — его рук дело.

— Они разработали новый шифр. Вот копия сегодняшней телеграммы. Мне этот код ничего не говорит. И вчера был такой же.

— Лd2 Фс8. Да, шифр необычный. Придется вам сегодня ночью поломать над ним голову. Пьер вам поможет.

— Я нисколько не удивлюсь, если окажется, что сэр Самсон работает на итальянцев.

— Очень может быть. Охрана выставлена?

— Да, часовые получили приказ стрелять без предупреждения.

— Сигнал тревоги отлажен?

— Все в полном порядке.

— Отлично. В таком случае спокойной ночи.

Мсье Байон поднялся по лестнице в спальню. Войдя в комнату, он первым делом проверил металлические ставни и дверной замок. Затем подошел к кровати, на которой спала его супруга, и осмотрел москитную сетку. После этого посол полил окно и дверь жидкостью от мух, прополоскал горло антисептическим средством и разделся, сняв с себя все, кроме шерстяного пояса. Потом облачился в пижаму, проверил револьвер и положил его на стул у кровати, рядом с часами, электрическим фонариком и бутылкой минеральной воды «Витель». Второй револьвер он спрятал под подушку, после чего на цыпочках подошел к окну и негромко позвал:

— Сержант.

Внизу в темноте щелкнули каблуки.

— Ваше превосходительство?

— Все в порядке?

— Все в порядке, ваше превосходительство.

Мягко ступая, мсье Байон пересек комнату и потушил верхний свет, предварительно включив маленький ночник, осветивший спальню призрачным бледно-голубым сиянием. Затем осторожно приподнял москитную сетку, посветил на нее фонариком и, убедившись, что насекомых нет, и слегка фыркнув, улегся в постель. Прежде чем погрузиться в сон, он машинально сунул руку под подушку и нащупал там маленький шершавый орех — талисман на счастье.

В одиннадцать часов утра епископ наконец отбыл, и жизнь в посольстве пошла своим чередом. Леди Кортни отправилась в сарай за рассадой, сэр Самсон заперся в ванной, Уильям, Легг и Анстрадер сели в канцелярии играть в покер, а Пруденс принялась за третью главу

«Панорамы жизни». «Секс,— выводила она крупными, неровными буквами,— это крик Души, стремящейся к Совершенству». Написала, перечитала написанное, зачеркнула «Души» и сверху надписала «Духа», затем после «Духа» вставила «мужчины», слово «мужчина» заменила на «мужское начало», а «мужское начало» — на «человечество». Вынула чистый лист бумаги и переписала все предложение, а потом взялась за письмо: «Уильям, любимый. За завтраком, когда все еще пребывали в полусне, ты был такой хорошенький, что мне захотелось тебя ущипнуть, но я не стала. Почему ты сразу ушел? Сказал «расшифровывать телеграммы». Тебя же никто не просил. Наверно, из-за епископа. Милый, он уехал, поэтому возвращайся, и тогда я тебе кое-что покажу. «Панорама жизни» сегодня идет со скрипом. Получается слишком литературно и непонятно. Короче, не пишется. Зло берет. Пруденс». Она аккуратно сложила письмо, вложила его в треугольную шляпу, надписала: «Достопочтенному Уильяму Бленду, Attaché Honoraire, Legation de Grande Bretagne» [1] и послала мальчика отнести письмо в канцелярию, велев ему дождаться ответа. «Прости, дорогая, сегодня ужасно занят, увидимся за обедом»,— набросал Уильям и прикупил к двум королям еще два.

Пруденс в сердцах бросила ручку на стол и вышла из дома посмотреть, как ее мать пропалывает клумбы с астрами.

Накануне Пруденс и Уильям оставили в ванной надутого резинового змея, и теперь он привлек внимание сэра Самсона. Неполномочный сел в ванну, бросил змея в воду, поймал его ногами, схватил за хвост и, вспенив воду, стал возить его взад-вперед, изображая корабль в бурном море. Потом сел змею на голову, и тот, хвостом вперед, выпрыгнул у него между ног на поверхность воды; после этого сэр Самсон выпустил из змея немного воздуха, и по воде пошли пузыри. С таких развлечений обычно начинался день посла, и его настроение во многом зависело от того, хорошо ли он наигрался утром. Вскоре сэр Самсон мысленно погрузился в далекую эпоху плейстоцена: «На подернутые дымкой утреннего тумана скалы из пенящихся волн, резвясь и плескаясь, выбираются целые стада морских чудовищ... О пятый счастливый день сотворения мира,— думал Неполномочный,— о ты, сияющее, совсем еще молодое солнце, только недавно отлученное от груди твоей матери, тьмы; о земная твердь, над которой подымаются густые испарения болот... о киты и динозавры, резвящиеся в океанских волнах...»

Стук в дверь.

— Приехал Уокер, сэр,— раздался снаружи голос Уильяма.— Вы можете его принять?

Горькое разочарование.

Сэр Самсон вынужден был вернуться в двадцатый век, в состарившийся, переполненный людьми мир. Он сидел в остывшей ванне, а рядом лежала резиновая игрушка...

— Уокер? Первый раз слышу.

— Вы знаете его, сэр. Это секретарь американского посольства.

— Ах да, вспомнил. Другого времени для визитов он найти не мог? Что этому типу надо? Если он опять приехал за машинкой для разметки теннисного корта, скажите ему, что она у нас сломалась.

— Нет, сэр, Уокер привез последние новости о войне. Наконец-то, кажется, произошла решающая битва.

— Правда? Ну и слава Богу. И кто же победил?

— Уокер сказал, но я забыл.

— Не важно. Он сам мне все расскажет. Передайте ему, что я скоро спущусь. Дайте ему клюшку, пусть покамест поиграет в часовой гольф. И дайте знать на кухне, что Уокер остается обедать.

Через полчаса сэр Самсон спустился вниз и протянул Уокеру руку:

— Рад вас видеть, голубчик. Простите, что не сразу вас принял —

---

[1] Почетному атташе, посольство Великобритании *(франц.)*.

утром, знаете ли, всегда столько дел. Надеюсь, вы не скучали? По-моему, Уильям, сейчас самое время выпить по коктейлю.

— Посол подумал, что вас заинтересуют новости о сражении. Вчера мы связались по телеграфу с Матоди. Вечером пытались вам дозвониться, но не смогли.

— Ничего удивительного, после ужина я всегда отключаю телефон. Надо же когда-нибудь и отдохнуть, верно?

— Пока, разумеется, мы еще не знаем всех подробностей.

— Разумеется. Но Уильям сказал, что война кончилась,— и это самое главное. Я лично очень этому рад. Слишком уж долго она продолжалась. Масса из-за нее неудобств. Интересно, и кто же победил?

— Сет.

— Вот как? Сет, говорите. Очень рад. Он ведь был... минуточку... дайте вспомнить... Сет... Сет...

— Сын покойной императрицы.

— Ну да, конечно, теперь вспомнил. Скажите, а что с самой императрицей?

— Она в прошлом году умерла.

— Очень за нее рад. Женщине ее возраста перенести все эти катаклизмы было бы нелегко. А как зовут ее мужа? Он что, тоже умер?

— Сеид? О нем пока нет никаких известий. Думаю, что больше мы его не увидим.

— Жаль. Славный был человек. Мне он всегда нравился. Кстати, кто-то из них, кажется, учился в Англии?

— Да, Сет.

— В самом деле? Значит, он говорит по-английски?

— Свободно.

— Бедный Байон. А он-то старался, учил сакуйю. А вот и Уильям с коктейлями.

— Боюсь, что сегодня коктейль не получился, сэр. У нас кончилось бренди.

— Ничего, скоро опять все появится. За обедом обязательно поделитесь вашими новостями, Уокер. Я слышал, ожеребилась кобыла миссис Шонбаум. Любопытно, как это вам удается? Наши, например, лошади потомства не дают, как мы ни бьемся. По-моему, местные конюхи ни черта не смыслят в породах лошадей.

До французского посольства тоже дошли известия о победе Сета.

— Что ж,— сказал мсье Байон,— выходит, англичане и итальянцы взяли верх. Но игра еще не кончена. Старого Байона не так-то просто перехитрить. Вся борьба еще впереди. Разумеется, сэр Самсон будет стремиться не упустить достигнутого.

В это же время Неполномочный говорил:

— Все решает климат. Я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь в здешних широтах выращивал спаржу. А с другой стороны, почему бы и не попробовать? Горох же мы тут имеем — и преотличный.

3

Спустя два дня в европейской прессе появилось сообщение о битве на горном перевале Укака. На миллионы лондонцев, развернувших в тот вечер газеты, сообщение это не произвело ровным счетом никакого впечатления.

«Что-нибудь интересное, дорогой?»

«Нет, дорогая, ничего интересного».

«Азания? Это, кажется, в Африке, да?»

«Спроси Лил, она же в школе учится, а не я».

«Лил, где находится Азания?»

«Не знаю, папа».

И чему вас только учат?»

«Сплошные черномазые».

«Эта Азания недавно попалась мне в кроссворде: «Независимое островное государство». Ты бы, наверно, решила, что это Турция».

«Азания? А я думала, это название парохода».
«Неужели ты не помнишь этого черномазого красавчика в Бейллиоле?»

«Сбегай принеси атлас, детка... Да, в папином кабинете, за журнальным столиком — он всегда там стоит».

«В Восточной Африке стало вроде бы поспокойнее. Наконец-то в этой Азании взялись за ум».

«Ты хочешь посмотреть вечернюю газету? Там ничего нет».

На Флит-стрит, в редакциях ежедневных газет:
— Ренделл, в Азании творятся любопытные вещи. Оказывается, их новый царек учился в Оксфорде. Посмотрите, может, получится статья?
«Его величество и по совместительству бакалавр искусств...— отстукивал на машинке Ренделл.— Выпускник Бейллиола среди людоедов... Отчаянная попытка бывшего студента Оксфорда завладеть троном... варварское великолепие... кровожадные орды... слоновая кость... верблюды... Восток идет навстречу Западу...»

«Сандерс, в нашем лондонском выпуске надо бы разнести эту статью об Азании».
«В утренней газете есть что-нибудь интересное?»
«Нет, дорогая, ничего особенного».

Во второй половине дня, зайдя в клуб по дороге к леди Метроленд, чтобы получить деньги по фальшивому чеку, Бэзил Сил просмотрел колониальную и зарубежную хронику в «Таймс».
Последние четыре дня Бэзил, как он сам выражался, прожигал жизнь. Час назад он проснулся на диване в совершенно неизвестной ему квартире. Играл патефон. В кресле, у газового камина, сидела женщина в халате и рожком для обуви ела из консервной банки сардины. Глядясь в зеркальце, стоящее на каминной полке, брился мужчина в рубашке с засученными рукавами.
— Проснулся... теперь проваливай,— сказал Бэзилу мужчина.
— А я уж решила, что ты помер,— сказала женщина.
— Не пойму, как я здесь оказался,— сказал Бэзил.
— А я не пойму, как бы выставить тебя отсюда.
— Господи, как мне Лондон осточертел!
— У меня была с собой шляпа?
— Лучше бы у тебя ее не было.
— Почему?
— Господи, уйди ты наконец.
И Бэзил, спустившись по обитой потертым линолеумом лестнице и выйдя через боковую дверь какого-то магазина, очутился на Кингз-роуд в Челси.
В клубной гостиной у камина сидел очень старый джентльмен и пил чай с горячими булочками. Бэзил присел рядом и раскрыл «Таймс»:
— Про Азанию читали?
К такому вопросу старый джентльмен был явно не готов.
— Н-нет... в общем, нет.
— Сет победил.

— В самом деле? Знаете, сказать по правде, я не очень внимательно слежу за событиями в Азании.

— А зря. Там сейчас очень интересно.

— Не сомневаюсь.

— Кто бы мог подумать, что этим кончится, а?

— Нельзя сказать, чтобы я всерьез об этом думал.

— Ведь в сущности борьба шла между арабами и обращенными в христианство туземцами из племени сакуйю.

— Вот как?

— По-видимому, наша ошибка состояла в том, что мы недооценили престиж королевской династии.

— Гм...

— Откровенно говоря, мне и раньше казалось, что старая императрица узурпировала власть.

— Вас, я вижу, молодой человек, всерьез занимают события в Азании. Но поймите, мне о них ничего не известно, а расширять кругозор в моем возрасте пожалуй что поздновато.

С этими словами старый джентльмен отвернулся от Бэзила и погрузился в чтение.

— Ни один из двух номеров не отвечает, сэр,— доложил, войдя в комнату, слуга.

— Лондон вам не осточертел?

— А?

— Лондон, говорю, вам не осточертел?

— Нет, я всю жизнь здесь прожил. Мне Лондон никогда не надоест. Помните: «Если надоел Лондон, значит, надоела жизнь»? [1]

— Какой вздор,— сказал Бэзил.

— Я на время уезжаю,— сообщил он портье, выходя из клуба.

— Очень хорошо, сэр. Как прикажете поступить с корреспонденцией?

— Сжечь.

— Очень хорошо, сэр.— Мистер Сил оставался для него загадкой. Портье ведь прекрасно помнил отца мистера Сила, почетного члена клуба. Совсем другой человек был. Всегда подтянут, одет с иголочки, на голове — цилиндр, орхидея в петлице. Член парламента от консервативной партии. На протяжении двадцати лет — бессменный парламентский партийный организатор. Кто бы мог предположить, что у него вырастет такой сын, как мистер Сил? «На неопределенный срок выехал из города. Корреспонденцию не пересылать»,— пометил портье в своем гроссбухе против имени Бэзила. В это время из гостиной вышел старый джентльмен:

— Артур, этот молодой человек — член клуба?

— Мистер Сил, сэр? О да, сэр.

— Как, ты говоришь, его зовут?

— Мистер Бэзил Сил.

— Бэзил Сил, да? Бэзил Сил. Уж не сын ли это Кристофера Сила?

— Да, сэр.

— В самом деле? Бедный Сил. Грустно, ничего не скажешь. Кто бы мог подумать? Чтобы у Сила — и такой...— И старый джентльмен зашаркал обратно в гостиную к жарко натопленному камину и горячим булочкам. На душе у него было легко и спокойно — как бывает у стариков, когда они раздумывают о неудачах своих сверстников.

Бэзил пересек Пиккадилли и поднялся по Керзон-стрит. У леди Метроленд был прием с коктейлями.

— Бэзил,— сказала она,— зачем ты пришел? Я ведь тебя не звала.

— Знаю. Я совершенно случайно услышал, что у вас прием, и пришел узнать, нет ли здесь моей сестры.

---

[1] Хрестоматийное высказывание известного английского критика и лексикографа Сэмюэла Джонсона (1709—1784).

— Барбары? Она обещала быть. Какой у тебя жуткий вид.
— Грязный?
— Да.
— Небритый?
— Да.

— Естественно, я же только что встал. Еще дома не был.— Бэзил огляделся по сторонам.— Я смотрю, народ все тот же. Друзей у вас, Марго, как видно, не прибавилось.

— Говорят, ты отказался участвовать в выборах?

— В общем, да. Это лишено всякого смысла. Я так и сказал премьер-министру. Тарифную реформу я защищать не стану. Премьер имел возможность отложить обсуждение законопроекта, но оппозиция рвала и метала, и я решил, что с меня хватит. К тому же хочу за границу съездить. Что-то я в Англии засиделся.

— Коктейль, сэр?

— Нет, принеси мне рюмку перно и стакан воды. Что? Перно нет? Тогда виски. Не сюда — в кабинет. Мне надо позвонить. Я сейчас вернусь, Марго.

«Господи, и что я нашла в этом мальчишке?» — подумала леди Метроленд.

— Какой симпатичный,— сказала одна девица другой, посмотрев вслед Бэзилу.
— Где?
— Только что вышел.
— Ты имеешь в виду Бэзила Сила?
— Бэзила Сила?
— Одет черт знает как, небрит.
— Да. Расскажи мне про него.

— Дорогая, он очарователен... Это брат Барбары Сотхилл. Последнее время ему здорово не везет. Сил выставил свою кандидатуру в парламент от какого-то северного округа, и отец говорил, что на следующих выборах он обязательно победит. Анджела Лайн оплачивала его расходы на предвыборную кампанию, но что-то у них, как видно, сорвалось, а Анджела, сама знаешь, денег попусту тратить не станет. Мне-то всегда казалось, что Бэзил ей не пара. Уж очень они разные...

— А щетина ему идет.

Обсуждали Бэзила и другие гости:

— Главная беда Бэзила в том, что он — зануда. Ладно бы только хамил, а ведь он еще и поучить любит. Как-то раз меня посадили рядом с ним на одном званом обеде, и он, поверишь ли, весь вечер об индийских диалектах рассуждал. Ну что тут сказать? Потом я навела справки, и выяснилось, что он и сам в этих диалектах абсолютно ничего не смыслит.

— Чем он только не занимался...

— Именно. А все почему? Потому что зануда. Вечно он участвует во всяких там революциях, заговорах, убийствах... Ну что тут сказать? Бедняжка Анджела совершенно на нем помешалась. Вчера я была у нее, и она весь вечер только и говорила о том скандале, который Бэзил учинил в своем окружном комитете. Да и на приеме, устроенном местными консерваторами, он тоже вел себя не лучшим образом. А потом он, Аластер Трампингтон и Питер Пастмастер загуляли: пили, расплачивались фальшивыми чеками и даже попали в автомобильную аварию, за что одного из них арестовали... Впрочем, вам и без меня известно, что такое попойки Бэзила. И ладно бы еще в Лондоне — а то ведь в провинции. Вы же знаете эти провинциальные городки. Как бы то ни было, пришлось ему свою кандидатуру снять. Все бы ничего, только бедняжка Анджела по-прежнему к нему неравнодушна.

— И что же с ним теперь будет?

— Спросите меня что-нибудь полегче. Барбара божится, что больше для него ничего делать не станет.

— А мне, признаться, ваш Бэзил порядком надоел,— вступил в разговор еще один гость.— То он меня не замечает, а то читает длиннейшие лекции о положении в Азии. Поразительно, что Марго его к себе приглашает,— ведь Питеру больше всех от него достается.

В это время в гостиную вернулся Бэзил. Держа в руке стакан виски и откинув назад голову, он с наглым видом смотрел на гостей. Сутулый, с тяжелым подбородком, темные спутанные волосы лезут на лоб, под презрительно прищуренными серыми глазами мешки, надменный, по-детски капризный рот, на щеке шрам.

— Боже, как хорош,— шепнула одна из девиц.

Бэзил обвел взглядом комнату:

— С кем бы мне хотелось увидеться, Марго, так это с Рексом Мономарком. Он здесь?

— Да, в том конце гостиной, кажется. Но, Бэзил, я категорически запрещаю тебе дразнить его.

— Хорошо, не буду.

Лорд Мономарк, газетный король, стоял в противоположном конце комнаты и рассуждал о диете. Вокруг него, то и дело исчезая в клубах сигарного дыма, мелькали мужские и женские лица его свиты: три броско одетые красавицы с изысканно-неправильными чертами лица, не спускавшие глаз со своего патрона; два потасканных светских льва вульгарного вида, громко сопевших от натуги, и с иголочки одетый, вертлявый пожилой секретарь с розовой плешью и тусклым, затуманенным взором, какой бывает у моряков и секретарей великих мира сего и вызван недостатком сна.

— Последние восемь месяцев я ем на обед только две сырые луковицы и тарелку овсянки,— говорил лорд Мономарк.— И должен сказать, чувствую себя на пять с плюсом — и физически, и интеллектуально, и морально.

Лорд Мономарк со свитой держался в стороне от остальных гостей. Он вообще крайне редко и неохотно соглашался покидать свои многочисленные особняки и появляться в свете. Несколько близких друзей, которых он удостаивал этой чести, должны были, если хотели его видеть, выполнять поставленные им жесткие условия: представлять лорду новых знакомых можно было, только предварительно заручившись его согласием; политиков надлежало держать от него на почтительном расстоянии; всех тех, кого он к себе приблизил, следовало приглашать вместе с ним; вдобавок хозяин дома обязан был готовить специальные блюда — в зависимости от того, какой диете в данный момент отдавал предпочтение лорд Мономарк. На таких условиях он время от времени появлялся в обществе; играя роль непереодетого Гаруна аль-Рашида, он наблюдал за прихотью моды, а иногда, потакая собственному капризу, выбирал в этом призрачном мире какую-нибудь приглянувшуюся ему тень и, вдохнув в нее жизнь, переносил в свой мир, мир реальных ценностей. Остальные гости тем временем скользили мимо, словно не замечая его присутствия, стараясь всем своим видом показать, что нисколько на его общество не претендуют.

— Моя б воля,— говорил лорд Мономарк,— я бы обязал всю страну сесть на эту диету. По моему распоряжению была составлена и распространена по всем редакциям бумага, рекомендующая эту систему питания. Мы, не задумываясь, тратим на обед фунт и шесть шиллингов, а то и целых два фунта ежедневно, а ведь это составляет восемь-девять фунтов в неделю.

— Рекс, вы просто великолепны.

— Прочтите эту бумагу леди Эвримен, Сандерс.

— «Лорд Мономарк настоятельно рекомендует всем сотрудникам редакции воспользоваться преимуществами тщательно составленной

диеты...»

— Как удачно, что я нашел вас, Рекс,— вмешался в разговор Бэзил.— Вы вот рассуждаете о луковицах и овсянке, а Гриффенбах, когда я был в Вене три года назад, эту диету раскритиковал. Но я, собственно, хотел с вами поговорить не об этом.

— Это вы, Сил? Какими судьбами? Вы, по-моему, мне некоторое время назад писали. О чем мне писал мистер Сил, Сандерс?

— Об Афганистане.

— Да, верно. Я передал ваше письмо одному из своих главных редакторов. Надеюсь, он вам все объяснил?

В свое время, когда Бэзил был еще совсем юн и подавал надежды, лорд Мономарк им заинтересовался и пригласил его в круиз по Средиземному морю на своей яхте. Сначала Бэзил отказался, однако затем, когда лорд Мономарк с друзьями уже уплыл, передумал и дал телеграмму, что он присоединится ко всей компании в Барселоне. Целых два дня, изнывая от жары, лорд Мономарк прождал Бэзила в Барселоне, но так его и не дождался. Когда же, после возвращения из круиза, он встретился с Бэзилом в Лондоне, тот довольно сбивчиво принялся объяснять своему покровителю, что очень хотел поехать, но буквально в последний момент не смог. Впрочем, подобных историй у Бэзила набралось немало, отчего, собственно, и пострадала его репутация.

— Видите ли, Рекс,— сказал он,— меня интересует ваше отношение к Сету.

— К Сету? — Лорд Мономарк бросил на Сандерса вопросительный взгляд.— Каково мое отношение к Сету?

— К Сету?

— На мой взгляд, в Азании сейчас складывается очень любопытная ситуация. Вы же читали сообщения из Укаки. Из газет, впрочем, ничего понять нельзя. Я хочу иметь информацию из первых рук. Возможно, я отправлюсь туда в самое ближайшее время. Вот мне и пришло в голову, что вы могли бы использовать меня в одной из ваших газет, например в «Эксцессе», в качестве специального корреспондента в Азании.

И тут только лорда Мономарка, который с полным недоумением слушал эту длинную речь, осенило: да этот молодой человек просто ищет работу.

— К сожалению,— сказал он,— сам я такими мелочами не занимаюсь. Вам надо обратиться к одному из моих редакторов. Но сомневаюсь, чтобы сейчас кто-нибудь из них согласился взять в штат нового сотрудника.

— В таком случае я сошлюсь на вас.

— Нет, нет, оказывать протекцию не в моих правилах. Обратитесь в газету обычным порядком.

— Ладно, дам вам знать, если из этого что-нибудь получится. А заодно, если найду, пришлю вам статью Гриффенбаха о луковицах и овсянке. А вот и моя сестра. Простите, мне надо с ней поговорить. До моего отъезда, надеюсь, еще увидимся.

Барбара Сотхилл уже не относилась к своему брату с тем обожанием, которое наложило отпечаток на первые двадцать лет ее жизни.

— Бэзил,— сказала она,— что ты вытворяешь? Сегодня я завтракала у мамы. Она ужасно на тебя зла. Ты, оказывается, обещал быть на ее званом обеде, и она до сих пор не знает, придешь ты или нет,— тебя ведь всю ночь дома не было. Ты же знаешь, если тебя не будет, ей придется для пары приглашать еще одного мужчину.

— Я загулял. Начали мы у Лотти Крамп. Что было потом — забыл, помню только, что Аллана избили какие-то подонки.

— Кроме того, мама узнала про скандал, который ты устроил в окружном комитете.

— Подумаешь! Я все равно собирался отказаться от участия в выборах. Сейчас стать членом парламента — не фокус. Лучше в Азанию съезжу.

— В Азанию? Что ты там будешь делать?

— Рекс Мономарк хочет, чтобы я ехал специальным корреспондентом «Эксцесса», но, по-моему, будет лучше, если я смогу принадлежать самому себе. Единственное, что мне нужно,— это деньги. Как ты думаешь, мамаша подкинет мне пять сотен?

— Уверена, что нет.

— Ничего, на ней свет клином не сошелся. Если честно, мне сейчас в Англии лучше не оставаться. Неудачная полоса. А ты меня, конечно, не ссудишь?

— Бэзил, ты же прекрасно знаешь, что для этого мне придется просить у Фредди, а он прошлый раз пришел в бешенство.

— Не понимаю, кстати, почему. У него же денег куры не клюют.

— Да, но ты бы мог быть с ним повежливей — хотя бы на людях.

— Ну, разумеется, ведь твой супруг полагает, что, одалживая мне несколько фунтов, он совершает великий подвиг...

В бытность сэра Кристофера парламентским партийным организатором леди Сил вела светскую жизнь. Теперь же, когда сама она овдовела, дочь Барбара удачно вышла замуж, а сыновья разъехались, она давала не больше четырех-пяти званых обедов в год, да и те — строго придерживаясь этикета. Леди Метроленд, дама довольно богатая, имела обыкновение, когда уставала, вызвать в пять часов вечера своего дворецкого и заявить ему как бы между прочим: «Сегодня я дома. К обеду будет человек двадцать», после чего садилась к телефону и приглашала на вечер гостей, повторяя всем одну и ту же фразу: «Нет, вы просто обязаны все отменить и приехать — мне так одиноко, я такая несчастная». Иное дело леди Сил, которая еще за месяц до званого обеда рассылала гостям пригласительные билеты с тиснением, спустя неделю подыскивала отказавшимся замену по резервному списку; когда же приходили открытки, извещавшие, что приглашение с благодарностью принято, она начинала волноваться, как бы не перепутали именные карточки возле кувертов, посылала к сестре за поваром, к дочери — за лакеями, а утром, в день обеда, без устали бегала по всему дому на Лаундз-сквер, лихорадочно расставляя в вазах цветы. Затем, в половине шестого, удостоверившись, что все идет по плану, леди Сил удалялась вздремнуть к себе в спальню; будить ее с блюдцем овощного пюре и чашкой китайского чая через два часа приходила горничная; в ванну выливалась ложечка нашатырного спирта, на щеки наносился тонкий слой румян, на шею и за уши брызгалась лаванда; еще полчаса она проводила перед зеркалом, надевая, пока ее причесывали, драгоценности; последнее совещание с дворецким — и обворожительная улыбка в гостиной, предназначавшаяся всем тем, кто опоздал не больше, чем на двадцать минут. Начинался обед с суфле из омаров и седла барашка, а на десерт неизменно подавали шоколадное мороженое и какие-то особые, разложенные на позолоченных блюдах конфеты, которые леди Сил уже лет двадцать покупала у одного французского кондитера, чье имя она иногда под большим секретом сообщала подругам.

Бэзил пришел одним из первых. На ступеньках перед входом был расстелен ковер, дверь, вопреки обыкновению, открылась незамедлительно. Холл был полон — хризантем и лакеев.

— Привет! У ее светлости прием? А я-то совсем забыл. Пойду переоденусь.

— Фрэнк не смог найти ваш фрак, мистер Бэзил. Мне кажется, вы не привезли его, когда вернулись из последней поездки. И, по-моему, ее светлость не ждала вас к обеду.

— Меня кто-нибудь спрашивал?

— Да, два человека, сэр.

— Кредиторы?

— Не могу знать, сэр. Я сказал им, что мы не располагаем сведениями о вашем местопребывании.

— Правильно сделал.

— Миссис Лайн звонила пятнадцать раз, сэр. Передать ничего не просила.

— Если будут меня спрашивать, скажешь, что я уехал в Азанию.

— Сэр?

— В Азанию.

— За границу?

— Да, если угодно.

— Прошу меня извинить, мистер Бэзил...

Это приехали герцог и герцогиня Стейлские.

— Так вы сегодня с нами не обедаете? — сказала Бэзилу герцогиня.— Еще бы. Занятая теперь молодежь пошла. На развлечения времени не остается. В вашем избирательном округе, я слышала, дела идут хорошо.— Герцогиня обо всем узнавала с опозданием. Когда они стали подыматься по лестнице, герцог сказал:

— Смышленый парень. Впрочем, еще вопрос, выйдет ли из него толк.

Пройдя в маленький темный кабинет, находившийся рядом с входной дверью, Бэзил позвонил Трампингтонам:

— Соня? Какие у вас с Аластером планы на вечер?

— Мы дома. Бэзил, что ты сделал с Аластером? Я на тебя ужасно злюсь. Он ведь еле жив.

— Да, гульнули мы здорово. Можно прийти к вам обедать?

— Приходи. Мы лежим в постели.

Приехав на Монтегю-сквер, Бэзил поднялся в спальню. Соня и Аластер лежали на широкой низкой кровати, а между ними стояла доска для игры в трик-трак. У каждого на столике у изголовья стояло по телефонному аппарату и по бокалу шампанского с портером, а в ногах резвились бультерьер и чау-чау. В комнате были еще какие-то люди: один крутил ручку патефона, другой читал, а третий стоял перед Сониным туалетным столиком и красил губы ее помадой.

— Ужасно обидно по вечерам сидеть дома,— сказала Соня.— Но из-за кредиторов мы боимся нос на улицу высунуть.

— О каком обеде может идти речь, когда по комнате бегают эти проклятые твари,— сказал Аластер.

— С таким брюзгой, как ты, лежать в постели одно удовольствие! Какой нехороший! Обозвал тебя тварью, да? — Первая фраза предназначалась Аластеру, а вторая — чау-чау.— О Боже, она опять сделала лужу!

— Эти люди будут с нами обедать? — поинтересовался Аластер.

— Нет, мы приглашали только одного.

— Кого?

— Бэзила.

— А остальные? Они что, тоже останутся?

— Очень надеюсь, что нет.

— К сожалению, нам придется остаться,— сказали не знакомые Бэзилу молодые люди.— Уже поздно идти куда-нибудь еще.

— Какая грязная у тебя кровать, Соня,— сказал Бэзил.

— Знаю. Это все из-за собаки Аластера. Можно подумать, что ты очень чистый.

— Тебе Лондон не осточертел?

— Не вполне понимаю, почему бы этим людям не пообедать внизу? — сказал Аластер.

— Нам будет только лучше,— откликнулись они.

— Кто это такие?

— Одного мы подобрали вчера вечером. А другой живет у нас уже несколько дней.

— Почему, собственно, я должен кормить этих болванов?

— Если бы нам было куда пойти, мы бы вас не стеснили.

— Позвони, милый, пусть несут обед. Я забыла, что́ мы будем есть, но, кажется, что-то вкусное. Я сама заказывала.

На обед были рыба, жареные почки и тосты с сыром. Бэзил сидел между Соней и Аластером на кровати, держа тарелку на коленях. Соня бросила почку собакам, и между ними началась драка.

— Фу! — сказал Аластер.— Кусок в рот не лезет.

— Как поживают внизу наши гости? — спросила Соня горничную, когда та вошла в комнату с подносом.

— Они требуют шампанского.

— Пусть пьют. Оно ведь все равно никуда не годится.

— Шампанское превосходное,— сказал Аластер.

— Не знаю, лично мне оно показалось отвратительным. Бэзил, дорогой, расскажи о себе.

— Я еду в Азанию.

— Ты так говоришь, как будто я знаю, где это. Это далеко?

— Да.

— Там интересно?

— Да.

— Ой, Аластер, давай тоже поедем?

— Черт побери, опять эти проклятые собаки все опрокинули.

— Господи, какой ты скучный.

После ужина стали играть в «садовника»:

«Я садовником родился, не на шутку рассердился, все цветы мне надоели, кроме... розы».

«Я».

«Что такое?»

«Влюблена».

«В кого?»

«В гладиолус».

Бэзил ушел рано, чтобы успеть перед сном поговорить с матерью.

— До свидания, дорогой. Пиши мне. Только мы, наверно, скоро отсюда переедем.

— Вы не могли бы одолжить мне пятерку? — обратился к Бэзилу один из неизвестных молодых людей.— У меня свидание в «Кафе де Пари».

— Нет, попросите лучше у Сони.

— Я и так все время беру у нее в долг. Сколько можно!

Во время обеда леди Сил подошла к своему старому другу сэру Джозефу Маннерингу, взяла его за локоть и шепнула:

— Не уходите вместе со всеми, Джо. Мне надо с вами поговорить.

Когда последние гости ушли, Джо Маннеринг, заложив руки за фалды фрака, подошел к камину с выражением мудрости, такта, сочувствия, многоопытности и довольства на лице. Играя необременительную и в то же время почетную роль друга семьи, этот старый олух был призван усложнять большинство щекотливых ситуаций, возникающих в жизни его круга.

— Обед был бесподобен, Цинтия. Просто бесподобен. Иногда мне кажется, что ваш дом — единственный в Лондоне, где одинаково безупречны и бордо, и компания. Но вы ведь, кажется, хотели со мной посоветоваться? Уж не о Барбаре ли?

— Нет, Барбара тут ни при чем. А что, у девочки разве неприятности?

— Да нет, что вы. Так, ерунда, прошел тут кое-какой слушок... Я рад, что вас это не волнует. Признавайтесь, наверняка Бэзил опять что-нибудь натворил?

— Вы угадали, Джо. Ума не приложу, что с ним делать. Скажите все-таки, что с Барбарой?

— Говорю же, пустяки. Не обо всем сразу. Я тоже слышал, что у Бэзила опять что-то стряслось. В принципе ведь он парень неплохой. Дайте срок, перебесится.

— Я иногда в этом сильно сомневаюсь.

— Полно, Цинтия, вы просто перенервничали. Расскажите-ка лучше все по порядку.

И леди Сил, путаясь и сбиваясь, начала свое горькое повествование: «...если б его отец был жив... все деньги, которые оставила ему тетя, потратил на эту идиотскую экспедицию в Афганистан... я назначила ему очень приличное содержание... делаю для него все, что могу, и даже больше... сколько раз оплачивала его долги... никакой благодарности... никакой силы воли... пора бы уже повзрослеть — в этом году, слава Богу, двадцать восемь стукнуло... отец в его годы... сэр Уильям, по доброте, пристроил его в Бразильский банк, место — лучше не придумаешь, да и работа такая интересная... ни разу не ходил на службу... неразборчив, дружит Бог знает с кем: Соня Трампингтон, Питер Пастмастер, еще какие-то темные личности... его связь с миссис Лайн тоже не вызывает у меня большого энтузиазма — впрочем, в ней вроде бы ничего плохого нет, поначалу я даже надеялась, что она приведет его в чувство... решил выдвинуть свою кандидатуру в парламент... его отец... в своем избирательном округе вел себя самым непотребным образом... премьер-министр... Центральный совет... Соня Трампингтон швырнула этим в мэра... на приеме, устроенном местными консерваторами... одного из них даже арестовали... терпение мое лопнуло, Джо.... я твердо решила, больше я ради него пальцем не пошевелю; почему, собственно, Бэзил имеет все, а Тони — ничего... где же справедливость?.. пусть сначала женится и остепенится... если б его отец был жив... такой, как он, и в Кении был бы не у дел»,— закончила она с тяжелым вздохом.

Сэр Джозеф выслушал этот рассказ с выражением мудрости, такта, сочувствия, многоопытности и довольства на лице, в нужные моменты важно кивал, что-то понимающе бурчал себе под нос и, наконец, заговорил:

— Дорогая Цинтия. Признаться, я не представлял себе, что все настолько плохо. Как же тяжело вам приходится и как мужественно вы держитесь! Но впадать в отчаяние не стоит. Поверьте, даже эта весьма неприятная история может пойти ему во благо. Возможно даже, в жизни вашего мальчика она станет поворотным пунктом. Эта история многому научила его. Я не удивлюсь, если окажется, что дома он не ночевал потому, что ему было стыдно взглянуть вам в глаза. Знаете, по-моему, будет лучше, если я сам с ним переговорю. Когда он объявится, посылайте его ко мне. Мы пойдем с ним в клуб обедать и поговорим с глазу на глаз. По-мужски. Быть может, к моим советам он и прислушается. Мне кажется, он когда-то начинал изучать право? Вот и давайте снова определим его на юридический факультет. Держите его при себе. Не давайте ему много денег. Пусть зовет своих друзей домой — не станет же он приглашать к вам в дом невесть кого! Мы поменяем ему окружение. Я же помню, вы сами говорили, что за все лето он ни разу не был на балу. А значит, у него не было возможности познакомиться с хорошей девушкой нашего круга. И потом, пусть идет работать. У парня ведь есть голова на плечах, и рано или поздно работа его увлечет. А когда вы убедитесь, что он взялся за ум, снимите ему квартирку в «Линкольнз инн». Пусть видит, что вы ему доверяете. И я уверен, он оправдает...

Почти полчаса они строили планы относительно будущего Бэзила, воздавая должное той силе воли, которую молодой человек проявит на пути нравственного перерождения.

— Джо, как вы мне помогли! — сказала, наконец, леди Сил.— Что б я без вас делала?

— Дорогая Цинтия, одно из преимуществ преклонного возраста состоит в том, что в этом возрасте старая дружба обретает новую силу и красоту.

— Я никогда не забуду этот вечер, Джо.

Старикан нырнул в такси и покатил в клуб «Сент-Джеймс», а леди Сил стала медленно подыматься по лестнице к себе в спальню — оба под большим впечатлением от зажигательной детской игры «А что, если?..»,

в которую они только что с таким энтузиазмом играли, сидя у камина. Леди Сил сняла платье, опустилась в кресло у огня и позвонила в стоявший на каминной доске колокольчик.

— Дай мне стакан молока, Брэдшо. Я ложусь.

Горничная сняла кувшин с молоком с каминной решетки, где он стоял, чтобы молоко не остыло, и, ловко придержав серебряной ложечкой пенку, налила горячее молоко в стакан. Затем принесла шкатулку с драгоценностями, и в нее — медленно, одно за другим — попáдали снятые с пальцев кольца, браслет, ожерелье, серьги. После этого горничная стала вынимать шпильки из волос хозяйки, а леди Сил, держа стакан обеими руками, начала неторопливо пить горячее молоко.

— Можешь сегодня долго мне волосы не расчесывать. Я устала.

— Надеюсь, обед прошел с успехом, миледи?

— Думаю, да. Безусловно. Капитан Кратуэлл, правда, ужасно глуп, но слава Богу, что он пришел,— я ведь позвала его в последний момент.

— Младшая дочь ее светлости впервые на званом обеде?

— Кажется, впервые. Выглядела она превосходно. Щебетала без умолку.

Леди Сил пила горячее молоко, погрузившись в благостные раздумья, которые вызвал в ней сэр Джозеф. Она представляла себе, как Бэзил утром спешит на работу — на первых порах на автобусе, а потом, когда на деле докажет, что образумился,— в двухместном автомобиле. Одет он будет неброско, но элегантно, а в руке будет держать портфель или кожаную сумку. Перед обедом, как правило, он будет просматривать бумаги. Обедать они будут вместе, а после обеда — ходить в театр или в кино. Аппетит у него к вечеру разыграется не на шутку — ведь днем он будет завтракать на скорую руку, в каком-нибудь недорогом кафе возле работы. Время от времени она, чтобы ему не было скучно, будет звать гостей, человек семь-восемь: умных, респектабельных молодых людей его возраста и хорошеньких благовоспитанных девушек. Летом он будет ходить два раза в неделю на танцы и рано возвращаться домой...

— Брэдшо, где ложечка? Надо снять пенку...

...Потом, уже позже, она будет приезжать к нему в «Линкольнз инн» пить чай. Когда она войдет, он снимет с кресла груду книг, чтобы дать ей сесть. «Я привезла тебе зеркало».— «Ой, мама, огромное тебе спасибо».— «Сегодня утром я заметила его в витрине «Елены Рубинштейн» и решила, что ты повесишь его над камином. А то без зеркала в комнате мрачновато. Только оно с маленькой трещинкой, но это не беда».— «Спасибо, я сейчас же его повешу».— «Оно у меня в машине, дорогой. Пусть Эндрюс сбегает»...

Стук в дверь.

— Даже в такое время нет покоя. Брэдшо, посмотри, кто там.

— Мистер Бэзил, миледи.

— О Боже!

Вошел Бэзил. На стряпчего из «Линкольнз инн» он был настолько не похож, что леди Сил с трудом его узнала.

— Брэдшо, я позову тебя через две минуты... Прости, Бэзил, но сейчас я не смогу уделить тебе время. Нам надо серьезно поговорить, но я ужасно устала. Где ты был?

— Лучше не спрашивай.

— Мог бы предупредить, что не придешь обедать. Я же на тебя рассчитывала.

— Извини, надо было съездить к Аластеру с Соней. Обед удался?

— В общем, да. Пришлось вместо тебя срочно приглашать безотказного Тоби Кратуэлла. Кто бы еще согласился прийти в последний момент? Прошу тебя, не верти в руках драгоценности. Закрой шкатулку, будь добр.

— К твоему сведению, я бросил политику. Тебе это известно?

— Да, меня вся эта история ужасно огорчила — огорчила и возмутила. Но сейчас у меня нет сил это обсуждать — я очень устала. Я уже обо всем договорилась: на днях ты завтракаешь в клубе с сэром Джозефом Маннерингом, и он тебе все объяснит. Мы познакомим тебя с новыми, приличными девушками, а потом подыщем тебе зеркало... что я говорю, квартиру в «Линкольнз инн». Ну что? Доволен? Только, пожалуйста, сейчас ни о чем меня не спрашивай.

— Я, собственно, пришел сказать, что уезжаю в Азанию.

— Нет, нет, милый, ты что-то путаешь. На днях ты завтракаешь с Джо в «Странниках».

— И мне понадобятся деньги.

— Это решенный вопрос.

— Пойми ты, мне осточертел Лондон. Мне осточертела политика. Я хочу уехать. Причем именно в Азанию. В свое время, когда я еще учился в Оксфорде, я как-то завтракал с их императором. Забавный малый. Дело в том,— продолжал Бэзил, ковыряя в трубке изящными золотыми маникюрными ножницами, которые он взял с туалетного столика,— что каждый год на земном шаре есть всего одно место, куда действительно стоит поехать, где происходят любопытные вещи. Вся штука в том, чтобы найти это место и вовремя туда попасть.

— Бэзил, милый, не ковыряй в трубке ножницами.

— История одновременно во всех странах не делается. В Азании сейчас потрясающе интересно. Короче, завтра я туда отправляюсь. До Марселя — самолетом, а дальше — морем. Но на поездку мне нужно как минимум пятьсот фунтов. Барбара мне эту сумму предлагала, но я решил, что проще всего потратить на путешествие свое годовое содержание. Возможно, пока меня не будет, придется оплатить кое-какие мои долги... Вот я и подумал, не сделать ли тебя своим поверенным...

— Мой мальчик, ты несешь какой-то вздор. После встречи с сэром Джозефом ты сам все поймешь. Завтра же утром мы с тобой ему позвоним. А пока пойди хорошенько выспись. У тебя неважный вид.

— На худой конец попробую обойтись и тремястами фунтов.

— Ну, будет, будет. Я уже позвала Брэдшо. Завтра утром ты и думать забудешь про эту свою Азанию. Спокойной ночи, детка. Слуги уже поднялись к себе. Не забудь выключить внизу свет, ладно?

Когда Бэзил вышел, леди Сил разделась и наконец-то опустилась на свою роскошную постель. А Брэдшо тем временем бесшумно плавала по комнате, выполняя свои последние дневные обязанности: отнесла халат, белье и чулки леди Сил к себе в комнатку, навела порядок на туалетном столике, задвинула ящики комода, протерла ваткой маникюрные ножницы, приоткрыла на четыре дюйма о́кна, взяла совок, набросала в камин мелкого угля, подняла каминную решетку, поставила на столик у кровати бутылку «Виши» и стакан, после чего, прихватив поднос с кувшином молока, подошла к двери и замерла на пороге, держа свободную руку на выключателе.

— Что-нибудь еще, миледи?

— Нет, Брэдшо. Все в порядке. Утром я позвоню. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, миледи.

Бэзил спустился в холл к телефону и позвонил миссис Лайн. В трубке раздался тихий, слегка раздраженный голос:

— Алло. Кто это?

— Бэзил.

Пауза.

— Алло! Как дела, Анджела? Это я, Бэзил.

— Я узнала тебя, милый. Я молчу потому, что не знаю, что сказать... Я только что вернулась... Ужасно было скучно... Я тебе сегодня звонила... Никак не могла тебя застать.

— У тебя какой-то странный голос.

— Правда? Да... Почему ты позвонил? Ведь уже поздно.

— Я сейчас приеду.
— Ты с ума сошел.
— Я хотел попрощаться — я уезжаю.
— Что ж, правильно делаешь.
— Ты хочешь меня видеть?
— С одним условием, милый,— если ты будешь со мной ласков. Последнее время я что-то совсем скисла. Ты будешь со мной ласков, обещаешь? Если нет, я этого просто не перенесу.

Через час они лежали рядом на спине и курили. Ее нога касалась под одеялом его ноги.

— Может, хватит про этот остров? — наконец перебила его Анджела.— Давай поговорим о чем-нибудь другом... Мне ведь будет плохо, когда ты уедешь.
— Поскорей бы!
— Я знаю,— сказала Анджела.— Я не обольщаюсь.
— Ты — фантастическая девушка, Анджела.
— Тебе уже пора.... Знаешь что?
— Пока нет.
— Я дам тебе денег.
— Хорошая мысль.

— Понимаешь, когда ты позвонил, я сразу догадалась, что тебе нужны деньги. Правда, сегодня ты был со мной по-настоящему ласков, хотя и надоедал с этим своим островом. Когда ты положил трубку, я подумала, что было бы хорошо, если бы хоть сегодня ты не просил у меня взаймы. Раньше ведь, честно говоря, я любила тебя подразнить. Ты не замечал? Должна же я была доставить себе удовольствие, и, по-моему, иногда мне удавалось вывести из равновесия даже такого, как ты. Я любила наблюдать, как ты юлишь, как ходишь вокруг да около. Видела, как бегают у тебя глаза... Надо же мне было хоть как-то поднять себе настроение, согласись? От тебя ведь не дождешься. Но в этот раз мне хотелось, чтобы ты не волновался, чтобы был со мной ласков. И сегодня мне было хорошо. Пока ты ехал ко мне, я выписала чек на твое имя... Он на туалетном столике. Сумма вполне приличная...
— Ты фантастическая девушка, Анджела.
— Когда ты едешь?
— Завтра.
— Я буду скучать без тебя. Счастливого пути.

Без двадцати десять утра леди Сил позвонила в колокольчик. Брэдшо раздвинула занавески, закрыла окна, а затем принесла апельсиновый сок, письма и газеты.

— Спасибо, Брэдшо. Я прекрасно спала. Проснулась всего один раз, но тут же заснула опять. Дождь?
— Увы, миледи.
— Мне необходимо сейчас же поговорить с мистером Бэзилом.
— Мистер Бэзил уже уехал.
— Так рано? Не сказал куда?
— Сказал, миледи, но я забыла. Куда-то в Африку, кажется.
— Какая досада, он был мне сегодня очень нужен.

В одиннадцать часов от сэра Джозефа Маннеринга принесли корзину цветов, в полдень леди Сил отправилась на заседание комиссии и только через четыре дня обнаружила пропажу браслета с изумрудом — однако к тому времени Бэзил был уже далеко.

Кройдон, Ле-Бурже, Лион, Марсель; серенький, ветреный день; по окнам хлещет, растекаясь тонкими струйками, нескончаемый мелкий дождик; к вечеру гул пропеллера стихает; под ногами пропитанный влагой дерн; всю дорогу, от аэродрома до гавани, сильно пахнет влажным кустарником; на набережной ряды побитых ветром пакгаузов, мальчишка-вьетнамец драит палубу; угрюмый стюард: «Отплываем только завтра... распределением кают занимается commissaire[1]... сейчас он на бе-

[1] Здесь: чиновник морского министерства *(франц.)*.

регу... когда вернется — неизвестно... багаж оставить негде... багажное отделение закрыто, ключ у commissaire... попробуй оставь его на палубе — украдут... спасибо (прячет двадцать франков в карман)... можете положить чемоданы в одну из кают, там их никто не возьмет... да, ключ у меня... конечно, присмотрю, не беспокойтесь»; обед в Верденском ресторане; Бэзил наедине с бутылкой отличного бургундского.

На следующий день после полудня немецкий трофейный пароход, старая, уродливая посудина, наконец отплыл; с утра до ночи в баре на палубе играют на скрипке и на пианино два маленьких человечка в пальто из альпака; второй завтрак — в двенадцать, обед — в семь; красное алжирское вино; на десерт — сморщенные, в крапинку яблоки; в маленькую кают-компанию набились дети; в курительной комнате играют в карты французские колониальные чиновники и плантаторы. Большие пароходы в Матоди не останавливаются. За обеденным столом Бэзил говорит не закрывая рта на безупречном французском языке, по вечерам ухаживает за мулаткой с Мадагаскара; вскоре, однако, и мулатка, и пароход ему надоедают, за обедом он сидит с надутым видом и читает книжку, жалуется капитану, что газетам нельзя верить, часами валяется на койке у себя в каюте, дымит манильской сигарой и пялится на трубы под потолком.

Из Порт-Саида он отправил Соне несколько неприличных открыток, за бесценок продал индийскому ювелиру материнский браслет, познакомился в баре «Истерн иксчейндж» с инженером из Уэльса, на глазах у изумленного египетского полицейского с ним подрался и на следующее утро, заметно повеселевший, вернулся на пароход за несколько секунд до поднятия трапа.

На Суэцком канале — штиль; мулатка с Мадагаскара изнемогает от любви. Красное море; на нижней палубе неподвижно, словно трупы, лежат вповалку пассажиры третьего класса; надрываются неугомонные скрипка и пианино; в плескающемся на дне стакана лимонном соке плавает грязный кубик льда; Бэзил лежит на койке и с угрюмым видом курит сигару за сигарой, не обращая внимания на страдания соседа по каюте. Джибути; иллюминаторы задраены, чтобы внутрь не попадала пыль; на пароход по трапу взбегают кули с корзинами угля; на улицах, натирая зубы ивовыми прутьями, злобно скалятся туземцы; во французском универмаге у прилавка стоит богатая абиссинка в зеленой вуали; возле почты на акацию с хитрым видом забралась черная обезьяна. Бэзил познакомился с буром из Южной Африки; пообедав прямо на мостовой перед отелем, они поехали в кабриолете в сомалийский квартал, где в грязной, залитой тусклым светом хижине Бэзил принялся рассуждать о финансах различных стран, пока бур не уснул, повалившись на плетеную кушетку, а четыре танцовщицы не забились в угол и не начали, жестикулируя, точно шимпанзе, о чем-то с негодованием шептаться.

Пароход отплывал в Азанию в полночь. Три ряда далеких огней отражались в черной неподвижной воде; из темноты до берега доносились звуки скрипки и пианино, которые время от времени заглушались прерывистым воем возвещавшей об отплытии корабельной сирены. Бэзил сидел на корме маленькой лодки, опустив одну руку в воду; когда лодка уже подплывала к пароходу, лодочник перестал грести, поднял весла и стал уговаривать Бэзила купить у него корзину лайма; некоторое время они препирались на ломаном французском, а затем весла снова зашлепали по воде. На носу корабля раскачивался фонарь; Бэзил взбежал на палубу и спустился в каюту; его сосед уже спал и, когда зажегся свет, сердито повернулся к стенке; иллюминатор не открывался весь день, и в каюте нечем было дышать; Бэзил закурил сигару, лег и раскрыл книгу. Вскоре старенький пароход стало покачивать, а когда он вышел из бухты в открытый океан — легонько подбрасывать на волнах. Бэзил выключил свет и, счастливый, закурил очередную сигару.

В Лондоне леди Метроленд устраивала прием.

— Теперь никто не приглашает нас в гости, кроме Марго. Может, правда, только она одна и устраивает приемы,— сказала Соня.

— Идешь на званый обед в надежде встретиться с новыми, интересными людьми, а встречаешь старых, скучных знакомых, с которыми можно было бы и по телефону поговорить.

— Непонятно, почему нет Бэзила. У Марго он всегда бывает.

— А разве он не уехал за границу?

— По-моему, нет. Ты что, забыла, на днях он у нас обедал.

— Правда? Когда?

— Дорогая, не могу же я все помнить... Вон стоит Анджела, спроси ее, она наверняка знает.

— Анджела, Бэзил уехал?

— Да, в какую-то невероятно экзотическую страну.

— Дорогая, так ты, наверно, на седьмом небе от счастья?

— Да как тебе сказать...

Бэзил проснулся от лязга падающей якорной цепи и, как был, в пижаме вышел на палубу. Все небо переливалось зелеными и серебряными бликами рассвета. Развалившись на скамьях и шезлонгах и укрывшись чем попало, спали пассажиры. Между ними, открывая люки, бегали босоногие матросы; младший офицер что-то кричал с мостика людям на лебедке. К пароходу уже подплыли принять груз два лихтера, а вокруг них сновало с десяток груженных фруктами лодок.

Вдалеке, на расстоянии примерно четверти мили, выступала из воды набережная Матоди; над белыми и мшистыми крышами домов возвышались минарет, португальский форт, миссионерская церковь, несколько самых крупных городских магазинов, отель «Император Амурат»; за городом и по обеим его сторонам вдоль побережья тянулись луга и зеленые плантации, а у самой воды раскинулись пальмовые рощи. Над городом высоко в небо уходили еще окутанные предутренним туманом крутые отроги гор Сакуйю, где через перевал Укака вилась дорога в Дебра-Дову.

К облокотившемуся на поручни Бэзилу подошел интендант:

— Вы здесь сходите, мистер Сил?

— Да.

— В таком случае вы — единственный. Мы отплываем в полдень.

— Я уже готов, мне только одеться.

— Вы в Азанию надолго?

— Возможно.

— По делу? Говорят, страна интересная.

Однако на этот раз Бэзил был не склонен просвещать своего собеседника и, буркнув: «Нет, на отдых», возвратился в каюту, оделся и собрал вещи. Его сосед посмотрел на часы, выругался и повернулся к стене; проснувшись, он обнаружил пропажу крема для бритья, комнатных туфель и отличного тропического шлема, который он всего несколько дней назад приобрел в Порт-Саиде.

4

Конечная станция Grand Chemin de Fer d'Azanie находилась в миле от Матоди. К ней вела широкая, совершенно разбитая дорога, с обеих сторон обсаженная акациями, между которыми были развешены разноцветные флажки. Посреди дороги, на покрытой рытвинами и выбоинами красной земле лежал на боку заржавевший грузовик, который пытались оттащить в сторону скованные цепью каторжники. Грузовик валялся здесь уже полгода после того, как шофер-араб на большой скорости врезался на нем в идущее навстречу стадо. В настоящее время шофер за отказ оплатить стоимость ремонта отбывал срок в городской тюрьме. Автопокрышки были изъедены белыми муравьями, многие детали разворованы на починку других машин, а между задними колесами, отгородив-

шись от мира сложнейшим сооружением из лохмотьев, листового железа, грязи и травы, устроилась жить семья туземцев.

Под машиной туземцы нашли себе пристанище еще в то спокойное время, когда император был в горах. Теперь же он вернулся и отдал приказ оттащить грузовик на обочину, чтобы освободить дорогу на станцию. С возвращением Сета Матоди наводнили солдаты и государственные чиновники, и уже три недели город бурлил, стены домов были оклеены прокламациями, по улицам маршировали войска, играла музыка, на городской площади вешали пленных — покоя не было ни днем, ни ночью. В арабском клубе росло возмущение новым режимом.

Махмуд аль-Хали ибн-Саид, болезненный отпрыск старейшего в Матоди арабского рода, сидел в окружении своих соотечественников и с мрачным видом жевал кхат. Сквозь зарешеченные ставни в комнату пробивалось солнце, бросавшее узорчатый свет на потертые ковры и диваны; у кальяна не хватало двух янтарных мундштуков, у стоявшего в углу кресла-качалки сломалась спинка, на старинном, сандалового дерева столе треснула крышка и отошла фанеровка. Только эти несколько человек, шесть стариков и двое изнеженных юнцов, один из которых вдобавок страдал эпилепсией, и остались от исконного населения Матоди — все арабские конники давным-давно полегли в бою. Разговор в клубе шел о том, что сейчас в городе нет места истинным аристократам, уже не расскажешь на улице забавную историю, не постоишь на набережной, во всех подробностях обсуждая цену земельного участка или чистокровного жеребца; теперь не то что постоять — пройти нельзя: столько понаехало чернокожих, индусов, этих грязных, необрезанных, неверных рабов; в судах заседают выскочки и мошенники, с которыми невозможно иметь дело... евреи скупают землю.... налоги... беззастенчивая наглость во всем... никакого уважения к досугу... повсюду развесили эти идиотские флажки, освобождают улицы, куда-то тащат разбитые машины, пользуясь тем, что их владельцы не могут этому помешать... Сегодня вышел указ, запрещающий одеваться в арабское платье. Неужели теперь придется, точно каким-то клеркам, ходить в пиджаках, брюках и тропических шлемах?.. И это при том, какие бешеные деньги берут сейчас портные... Нет, все это специально подстроено, не иначе... Такое впечатление, что живешь в английской колонии.

С самого утра с ведущей на станцию дороги доносились крик, ругань надсмотрщиков, удары палок — это город готовился к пуску первого с начала войны поезда «Матоди — Дебра-Дова», который должен был отойти во второй половине дня.

Пустить поезд оказалось делом непростым. Накануне сражения на перевале Укака начальник станции и все его подчиненные, наиболее крупные чиновники железной дороги, сбежали на материк. Правда, через неделю после победы Сета все они, один за другим, каждый по-своему объясняя причину бегства, вернулись обратно. Немало времени ушло и на ремонт железнодорожных путей, которые враждующие армии серьезно повредили в нескольких местах; не хватало также дров для топки паровоза и проволоки для телеграфных линий, отчего возникали наибольшие сложности,— не успевали с материка привезти дерево и проволоку, как солдаты из расформированной армии генерала Коннолли крали их на украшения своим женщинам. Наконец, когда все трудности остались позади, было решено подождать с пуском поезда до прибытия почтового парохода из Европы — того самого, на котором плыл в Азанию Бэзил Сил. Таким образом, Сил прибыл в Матоди в тот самый день, на который было намечено триумфальное возвращение Сета в Дебра-Дову.

Вся церемония была тщательно продумана самим императором, что и отразилось в специальном приказе, развешенном по всему городу на сакуйю, арабском и французском языках наряду с множеством других постановлений, знаменующих наступление Прогресса и Новой Эры.

Отъезд императора в Дебра-Дову

1) Император отправляется на железнодорожный вокзал в Матоди в 14.30 (8.30 по мусульманскому времени) в сопровождении личной свиты, а также главнокомандующего и его штаба. В почетный караул встанет первый батальон императорской лейб-гвардии. Всем военным, независимо от званий, надлежит быть в полной парадной форме (офицерам — в сапогах); гражданским лицам — в пиджаках, с орденами в петлицах: боевых патронов войскам не раздавать.

2) У входа на вокзал императора встретит начальник станции, который проводит Его величество в вагон. В помещение вокзала, а также на перрон публика не допускается, за исключением (в порядке очередности): дипломатического корпуса, несторианского митрополита Матоди, викария апостольской церкви, старейшины мормонов, офицеров Его императорского величества, директоров железнодорожной компании Grand Chemin de Fer d'Azanie, высшей знати Азанийской империи, представителей прессы. Ни один человек, независимо от его положения, не будет допущен на перрон, если он неряшливо одет или находится в состоянии алкогольного опьянения.

3) Публике разрешается стоять вдоль дороги на станцию, по пути следования торжественного кортежа. Полиции надлежит внимательно следить, чтобы встречающие не пустили в ход огнестрельное оружие.

4) Продажа спиртных напитков запрещается с полуночи до отправления императорского поезда.

5) Один вагон поезда предназначается для пассажиров, следующих в Дебра-Дову по частным делам. За билетами обращаться к начальнику станции. Ни один пассажир не будет допущен на перрон после 14.00.

6) Всякое нарушение вышеизложенных правил будет караться тюремным заключением сроком до десяти лет либо конфискацией имущества и поражением в правах, либо — и тюремным заключением, и конфискацией имущества одновременно.

Это объявление Бэзил прочел на вокзале, куда он приехал на извозчике прямо с набережной. Он пошел в кассу и купил билет первого класса до Дебра-Довы, который обошелся ему в двести рупий.

— Пожалуйста, зарезервируйте мне место в сегодняшнем поезде.

— Это невозможно. Билеты продаются только в один вагон. Все места зарезервированы уже несколько дней назад.

— А когда будет следующий поезд?

— Кто знает? Возможно, через неделю. Ведь паровоз должен вернуться обратно. Он у нас один — все остальные сломаны, а механик занят танком.

— Позовите начальника станции.

— Я начальник станции.

— Послушайте, мне совершенно необходимо попасть в Дебра-Дову именно сегодня.

— В таком случае вам надо было закомпостировать ваш билет заранее. Поймите, мсье, вы не в Европе.

Бэзил двинулся было к выходу, но тут увидел маленького человечка, который, соскочив с груды чемоданов, засеменил в его сторону. Он был в полушерстяном костюме и в ермолке, с живыми глазами, круглым сальным желтоватым лицом и чаплиновскими усиками.

— Хелло! Вы англичанин? Вам что-то нужно?

— Мне нужно попасть в Дебра-Дову.

— О'кей, могу устроить.

— Буду вам очень благодарен.

— Почту за честь. Знаете, кто я? Вот, смотрите.— И человечек протянул Бэзилу визитную карточку, на которой значилось: «M. Krikor Youkoumian, Grande Hotel et Bar Amurath Matodi, Grande Hotel Café

Epicerie, et Bibliothèque Empereur Seyid Debre-Dowa. Touts les renseignements»[1]. Имя «Сеид» было замазано красными чернилами и сверху подписано «Сет».

— Оставьте карточку у себя,— сказал господин Юкумян.— Вы едете в Дебра-Дову. Со мной едете. Я все устрою. Как ваше имя, сэр?

— Сил.

— Послушайте меня, мистер Сил. Вы хотите ехать в Дебра-Дову. У меня есть два места. Вы платите мне двести рупий, и я пересаживаю госпожу Юкумян в товарный вагон. Договорились?

— Нет, двести рупий я вам не заплачу.

— Послушайте меня внимательно, мистер Сил. Я все устрою. Вы же не знаете этой страны. Гиблое место. Если не попадете на поезд, будете сидеть в Матоди одну, две, три, может, шесть недель. Тогда придется платить больше. Я англичан уважаю. Настоящие джентльмены. Давайте так: вы мне даете сто пятьдесят рупий, и госпожа Юкумян едет в телятнике. Вы не понимаете, что такое ехать в телятнике вместе с мулами. Это мулы генерала. Злые, как черти. Весь день будут бить ее копытами. И воздуха в телятнике нет. Вонь, микробы. Она может задохнуться, ее могут затоптать мулы. А ведь она хорошая жена, работящая, любящая. Не будь вы англичанином, я бы меньше чем за пятьсот рупий никогда бы не пересадил госпожу Юкумян в товарный вагон. Ну что, договорились?

— Договорились,— сказал Бэзил.— По-моему, вы хороший малый.

— Послушайте, дайте мне деньги сейчас, хорошо? А я поведу вас в свое кафе. Тут вам не Лондон — кафе маленькое, грязное, но бренди у меня отличное. Сам его только в воскресенье настаивал.

В два часа пополудни Бэзил и господин Юкумян заняли свои места в поезде и стали ждать прибытия императора. В вагоне, кроме них, было еще шесть пассажиров: один грек, который сразу же предложил купить у него апельсины и вскоре уснул; четыре индийца, которые жарким шепотом жаловались друг другу на то, что их здесь за людей не считают, и азанийский аристократ с супругой, которые молча и почти непрерывно жевали завернутый в газету пирог с бараниной. Личные вещи господина Юкумяна поместились в одном небольшом чемодане, однако у него было еще несколько корзин с товаром, которым он собирался торговать в Дебра-Дове и который теперь, за незначительную мзду, удалось пристроить в почтовый вагон. Что же касается госпожи Юкумян, то она тихо всхлипывала, забившись в угол телятника и прижимая к груди банку вишневого варенья, которую, чтобы компенсировать отсутствие удобств, подарил ей муж. В нескольких футах от нее из темноты время от времени раздавались тревожное мычанье, храп и хруст соломы под копытами.

Освободить вокзал от зевак, несмотря на приказ императора, полиции не удавалось. Над железной оградой то и дело появлялись курчавые головы, по которым полицейские, человек двадцать — тридцать, с остервенением колотили бамбуковыми дубинками. Немало зрителей залезло и на крышу вокзала. Индиец, продававший представителям Международного пресс-агентства открытки с экзотическими видами Азании, теперь поспешно фотографировал местных знаменитостей, которые, кстати, также не до конца выполнили приказ императора: митрополит, например, был так пьян, что не держался на ногах и, качаясь, виснул на руке своего капеллана; корреспондент «Courier d'Azanie»[2] явился на вокзал в расстегнутой рубахе, продавленном тропическом шлеме и парусиновых туфлях; грек, агент по погрузке и отправке судов, он же — вице-консул Великобритании, Нидерландов, Швеции, Португалии и Латвии, приступил к выполнению своих обязанностей, напялив

---

[1] «Мсье Крикор Юкумян. Гранд-отель и бар «Амурат» в Матоди; Гранд-отель-кафе-магазин и библиотека императора Сеида в Дебра-Дове. Любые услуги» *(франц.)*.

[2] «Курьер Азании» *(франц.)*.

плащ поверх пижамы и еще толком не проснувшись; директор банка, наполовину индиец, по совместительству — вице-консул Советской России, Франции и Италии, еще спал у себя дома, а один из главных коммерсантов страны, представитель других великих держав, человек загадочного происхождения, вообще находился в настоящее время на материке, занимаясь отправкой из Александрии в Матоди долгожданной партии гашиша. Несколько сановников, облачившись в национальные костюмы, уселись в кружок на расстеленном прямо на перроне ковре и завели, почесывая голые пятки, пространный разговор о женщинах. Две козы и несколько небольших индеек, принадлежавших начальнику станции, были, по случаю праздника, выпущены из женской уборной, где их обыкновенно держали, и теперь, копаясь в отбросах, разбрелись по всему перрону.

Только через час после назначенного времени барабаны и дудки гвардейцев возвестили о прибытии императора, задержавшегося в пути из-за сломанного грузовика, который, несмотря на все усилия, так и не удалось сдвинуть с места. Прежде чем императорский кортеж вновь двинулся в путь, губернатор, которому надлежало освободить дорогу, был поколочен дубинками и разжалован из виконта в баронеты. Императору же пришлось выйти из машины и продолжать путешествие верхом на муле, за которым, с императорскими чемоданами на голове, шли человек десять тут же мобилизованных зевак.

На вокзал император прибыл в скверном расположении духа, накричал на начальника станции и на обоих вице-консулов, не обратил никакого внимания на местную аристократию, в том числе и на подвыпившего епископа, а фотокорреспонденту лишь кисло улыбнулся в объектив. Гвардейцы взяли на караул, незаконно проникшие на крышу зрители устроили нестройную овацию, и император, в сопровождении генерала Коннолли и свиты, направился к предназначенному для него вагону. Начальник станции с фуражкой в руке стоял по стойке «смирно» в ожидании дальнейших распоряжений.

— Его величество дал сигнал к отправлению.

Начальник станции махнул фуражкой машинисту, гвардейцы вновь взяли на караул. Грянул национальный гимн. Две дочери директора железной дороги бросили лепестки роз на ступеньки императорского вагона. Паровоз засвистел, Сет продолжал улыбаться... но ничего не произошло. Доиграв куплет до конца, оркестр смолк; солдаты с нерешительным видом переминались с ноги на ногу; в наступившей тишине митрополит продолжал отбивать рукой какую-то одному ему известную мелодию; среди озадаченных зрителей, то появляясь, то вновь исчезая, важно разгуливали козы и индейки. И тут, когда все замерло, паровоз вдруг дернулся, тряхнул весь состав, от тендера до товарных вагонов с мулами, и, к неописуемому восторгу сидящих на крыше чернокожих, уехал.

— Император не давал указаний задерживать отправление поезда.

— Этого я не учел,— сказал начальник станции.— Наш единственный паровоз ушел, а поезд остался. Теперь мне несдобровать.

Но Сет никак не отреагировал на случившееся. Пассажиры стали выходить на платформу, закуривали, шутили. Сет старался в их сторону не смотреть. Он был оскорблен до глубины души: его опозорили в момент величайшего триумфа; планы, которые он с таким увлечением строил, рухнули в одночасье; нерадивость служащих железной дороги компрометировала его в глазах всего мира, подрывала его авторитет. Проходя мимо императорского вагона, Бэзил мельком увидел в окне мрачное, но весьма решительное лицо чернокожего в белом тропическом шлеме. «У меня никудышный народ,— размышлял между тем император.— Я отдаю приказы, которые не выполняются. Я сродни великому музыканту, у которого нет инструмента. На пути моего кортежа валялась разбитая машина... императорский поезд без паровоза... козы

на платформе... Эти люди неисправимы. Митрополит пьян. Старые болваны хихикали, когда ушел паровоз... Мне нужен образованный, современный человек... представитель Прогресса, Новой Эры». И тут Бэзил снова прошел мимо, на этот раз беседуя с генералом Коннолли.

В это время паровоз, под улюлюканье толпы, пыхтя, подкатил задним ходом к перрону.

Рабочие побежали чинить сцепку.

Наконец поезд тронулся.

Бэзил пребывал в отличном настроении — с генералом он сразу же нашел общий язык и на вокзале в Дебра-Дове получил приглашение: «Заходи — гостем будешь».

Поезд доставил в Дебра-Дову не только императора Азании, но и почту из Европы. В английском посольстве по этому поводу царило всеобщее ликование. Все собрались в столовой и стали рыться в мешках с корреспонденцией, раздавая посылки, сличая почерк на конвертах; письма читали, заглядывая друг другу через плечо... «Наконец-то Флора объявилась».— «Мейбл, дашь потом прочесть письмо от Энтони?» — «Вот следующая страница».— «Кто-нибудь хочет прочесть письмо Джеку от Сибил?» — «Я хочу, но я еще не дочитала письмо Мейбл от Агнес».— «У Уильяма огромные долги. Пришел счет на восемьдесят два фунта от его портного».— «И еще один счет на двенадцать фунтов из книжного магазина».

— От кого это письмо, Пруденс? Что-то я не узнаю почерк...

— Полно официальных бумаг,— пожаловался сэр Самсон.— У меня сейчас нет времени этим заниматься. Питер, сделайте одолжение, просмотрите их на досуге.

— Боюсь, сэр, в ближайшие дни не получится. У нас сейчас из-за этой джимкханы [1] и так работы невпроворот.

— Да, да, конечно, голубчик, я понимаю. Всему свое время. Никогда не надо делать два дела одновременно. Насколько я могу судить, отвечать на эти бумаги особой необходимости нет, да и потом, кто знает, когда еще будет оказия?.. Смотрите-ка, а вот что-то действительно любопытное. Ничего не понимаю... «Перепишите это письмо девять раз и разошлите девяти вашим знакомым. Желаем удачи...» Странная идея.

— Папа, пожалуйста, не так громко. Я хочу послушать новые пластинки.

— Нет, Пруденс, ты только подумай. Все это дело затеял какой-то американский офицер во Франции. Если это письмо не разослать и цепочка порвется, беды не миновать, а если разослать — наоборот, улыбнется счастье. Тут написано, что одна женщина потеряла мужа, зато другая выиграла в рулетку целое состояние — и все из-за этого письма... Чудеса, да и только...

Пруденс поставила пластинку. Каждый из присутствующих не мог отделаться от мысли, что теперь предстоит слушать эту мелодию день за днем, неделю за неделей, до тех пор, пока из Европы не придет очередная почта. Слушать везде: у себя в коттеджах, на территории посольства... даже во время редких, кратковременных выездов слова этих песенок будут преследовать их, звучать в ушах... А пока открывались новые письма, распечатывались пакеты с газетами.

— Что это у тебя?

— Дорогая, еще одна совершенно невероятная вещь. Смотри. Это про Великую Пирамиду. Понимаешь, все это «космическая аллегория». Связано с «Категорией вытеснения». Вот послушай: «Общая длина двух Галерей Рока составляет ровно 153 дюйма; 153 — это символическое число Божьего Избранника в мистическом законе о пятидесяти трех Великих Рыбах». Надо будет в этом разобраться. Чертовски интересно! Ума не приложу, кто бы мог послать мне такое. А впрочем, какая разница.

[1] Спортивные соревнования *(инд. англ.)*.

Дошла очередь до газет и журналов. Одиннадцать номеров «Панча», одиннадцать «Грэфикс», пятьдесят девять номеров «Таймс», два «Вога», а также «Нью-Йоркеры», «Уик-энд-ревьюз», «Сент-Джеймс-газетт», «Хорсиз энд хаундз» и «Ориентал стадиз». Были в посылке также библиотечные детективы, сигары, кристаллы для приготовления содовой.

— В следующий раз, когда придет почта, надо будет устроить новогоднюю елку.

Вместе с пустыми конвертами и обертками в камине сожгли несколько депеш из министерства иностранных дел.

— По всей видимости, внутри Пирамиды находится тайник, где хранится Тройной Покров Древнеегипетского пророчества... восточная стена олицетворяет собой Перемирие в Хаосе...

— Завтра в «Попугае» торжественный прием. Пришло приглашение. Пойдем, папа?

— «Четыре известняковые глыбы символизируют Окончательный Крах в 1936 году...»

— Папа!

— Что? Прости. Да, конечно, пойдем. А то я уже несколько недель никуда не выезжал. Засиделся...

— Да, чуть не забыл,— сказал Уильям,— сегодня у нас был посетитель.

— Епископ?

— Нет, я его вижу впервые. Он записал свое имя. Бэзил Сил.

— Что ему надо? Вам это имя что-нибудь говорит?

— Да, имя знакомое. Не помню только откуда.

— Вы считаете, надо пригласить его погостить у нас? Писем он с собой не привез?

— Нет.

— И слава Богу. Ладно, позовем его как-нибудь обедать. Думаю, что он и сам по такой жаре не станет к нам часто ездить.

— Господи,— сказала Пруденс.— Наконец-то новый человек. Об этом можно было только мечтать. Может, хотя бы он научит нас играть в трик-трак.

В тот же вечер мсье Байон получил весьма неутешительный рапорт: «Мистер Бэзил Сил, британский политик, путешествующий по частным делам, прибыл в Дебра-Дову и остановился в доме господина Юкумяна. Связь с посольством всячески скрывает. Сегодня вечером нанес послу неофициальный визит. Его приезд, разумеется, неожиданным не является. Видели, как он беседовал с генералом Коннолли, новоявленным герцогом Укакским».

— Что-то не нравится мне этот мистер Сил. Эта старая лиса сэр Кортни затеял опасную игру. Но старый Байон себя в обиду не даст.

По своему размаху и веселью бал-маскарад в ознаменование Победы превзошел самые смелые ожидания устроителей. На нем были широко представлены все слои азанийского общества: двор и дипломатический корпус, армия и правительство, церковь, деловые круги, местная аристократия, лица неопределенной национальности.

Из Европы в самом широком ассортименте были заблаговременно выписаны фальшивые носы, бумажные колпаки, хлопушки и маски — однако спрос значительно превышал предложение. По танцевальной площадке в непрерывном хороводе кружились фески и тюрбаны, мужчины были в мантиях и белых пиджаках, в мундирах и во фраках с длинными фалдами; женщины — на все вкусы и всех цветов — были разодеты по предпоследней моде и демонстрировали необъятных размеров фальшивые бриллианты и аляповатые украшения из чистого золота. На балу присутствовали городская куртизанка «мадам Фифи» — Фатим

Бей — и ее нынешний покровитель, министр внутренних дел виконт Боз; несторианский патриарх со своим любимым дьяконом; герцог и герцогиня Укакские; распорядитель, князь Федор Крононин, элегантный джентльмен, который, стоя в дверях, с угрюмым видом приветствовал запаздывающих гостей; Бэзил Сил и господин Юкумян, потративший весь день на то, чтобы приглашенные на бал не испытывали недостатка в шампанском. У стены за длинным столом разместились сотрудники английского посольства в полном составе.

— Дорогой, послу не пристало надевать фальшивый нос.

— А почему бы и нет? По-моему, это очень забавно.

— Если хочешь моего мнения, тебе вообще не стоило ехать на этот бал.

— Но ведь мсье Байон поехал.

— Да, но вид у него, если ты обратил внимание, совсем невеселый.

— Как ты думаешь, может, вручить ему одно из тех писем, которые я должен был размножить и разослать?

— А что, это идея.

— Представляю, как он удивится.

— Папа, кто этот молодой человек? Он англичанин, сразу видно.

Бэзил подошел к столику генерала Коннолли.

— Привет, старина. Присаживайся. Познакомься, это моя Черномазая.

— Очень приятно.— Маленькая негритянка отложила хлопушку, с важным видом кивнула головой и протянула Бэзилу руку: — Только теперь я не Черномазая, а герцогиня Укакская.

— Рожа у нее — страшней не бывает,— сказал Коннолли.— Но сама бабенка — что надо.

Черномазая густо покраснела и, польщенная, ослепительно улыбнулась. Сегодня она была на вершине счастья: муж наконец-то вернулся с войны да еще взял ее с собой в общество, где сплошь белые дамы... и все это в один день...

— Видите,— спросил мсье Байон своего первого секретаря,— вон того человека, рядом с Коннолли? Вы установили за ним слежку?

— Разумеется. Мои люди не спускают с него глаз.

— Вы дали указания официанту подслушивать разговоры англичан?

— Да, но официант только что вызывал меня в гардероб: он не понимает, о чем идет разговор у них за столом. Сэр Самсон все время говорит о размерах какой-то Великой Пирамиды.

— Очередная уловка, я в этом ни секунды не сомневаюсь.

Император дал понять, что намеревается почтить бал-маскарад своим присутствием, и в конце зала была сооружена специальная ложа из позолоченного картона, окруженная кадками с пальмами и развешенными по стенам национальными флагами. Император приехал вскоре после полуночи. По знаку князя Федора, оркестр перестал играть танцевальную музыку и грянул азанийский гимн. Танцующие расступились, сидящие за столиками начали поспешно вставать, роняя бокалы и гремя ножами и вилками. Все присутствующие, за исключением разве что сэра Самсона, который по рассеянности остался в маске, стали незаметно, смущаясь, поправлять галстуки и снимать бумажные колпаки. Наконец, в окружении гвардейцев, одетых в обшитые тесьмой мундиры, в зал, торжественно ступая по натертому паркету и не глядя по сторонам, вошел император — черный фрак, белые лайковые перчатки, белоснежная, туго накрахмаленная сорочка, крохотные жемчужные запонки и черное, как вакса, лицо.

— Разоделся, как на свадьбу,— процедила леди Кортни.

Князь Федор скользнул вперед, провел императора в ложу и уса-

дил за стол. Император сидел в одиночестве, а свита разместилась у него за спиной. Устроившись, Сет едва заметно кивнул князю Федору, и оркестр вновь заиграл танцевальную музыку.

Некоторое время Сет с безразличным видом наблюдал, как гости вновь начинают веселиться, однако затем, через посредство одного из своих приближенных, пригласил на танец жену американского посла. Остальные пары отошли в сторону, Сет с важным видом вывел свою даму на середину зала, сделал с ней два круга, отвел ее обратно за столик, галантно поклонился и, не проронив ни слова, вернулся в свою ложу.

— Между прочим, он отлично танцует,— сообщила миссис Шонбаум.— Интересно, что бы сказали в Америке, если б видели, что я танцую с цветным.

— Вот бы он маму пригласил! — сказала Пруденс.— Может, попробовать его соблазнить? Или он интересуется только замужними женщинами, как ты думаешь?

Бал продолжался.

Метрдотель с обеспокоенным видом подошел к князю Федору:

— Ваше высочество, гости недовольны шампанским.

— Кто именно?

— Французы.

— Скажешь им, что оно идет в полцены.

— ...Ваше высочество, продолжают поступать жалобы на шампанское.

— От кого теперь?

— От герцога Укакского.

— Унеси бутылку на кухню, долей в нее стакан самогона и принеси обратно.

— ...Ваше высочество, министр внутренних дел требует вина, а когда я приношу, выливает его своей даме на колени. Может, его не обслуживать?

— Я тебе дам «не обслуживать»! Разноси вино и не задавай идиотских вопросов.

За английским столом начали играть в «чепуху», записывая слова прямо на меню. Получалось довольно смешно: «Влюбленный герцог Укакский... Поджидал пьяную мадам Байон... Во дворце, в туалете... Он сказал ей: «Floreat Azania»...

— Папа, если ты будешь так громко смеяться, нам придется прекратить игру.

— Господи, как смешно...

— Мам, к нам заезжал тот самый молодой человек, который сидит сейчас рядом с Коннолли?

— Кажется, да. Надо будет как-нибудь его позвать. Может, на рождественский завтрак, если он еще будет здесь... А впрочем, у него и без нас уже знакомых хватает.

— Это все твой снобизм, мама! Не забудь, Коннолли ведь теперь герцог. Пожалуйста, давай всегда будем звать этого молодого человека, хорошо? На все обеды и завтраки...

— Пытаюсь встретиться с императором глазами,— сказал Бэзил.— Хотя вряд ли он меня помнит.

— Сейчас, когда война кончилась, он, я смотрю, здорово нос дерет. Ничего, еще поглядим, что он запоет, когда начнут приходить счета. Вот сейчас выпивка — первый сорт, не то что в прошлый раз. За этим Федором глаз да глаз нужен.

— Хорошо было бы попасть к императору на прием.

— Послушай, старик, ты что, сюда дела, что ли, делать пришел? Дался тебе этот император! Я уже полгода с ним нянчусь, он у меня в

печенках сидит, император твой. Забудь ты про него. Плесни-ка лучше Черномазой шампанского, да и себя не забывай. Все император да император — как будто, черт побери, других тем нет!

— Мсье Жан, я только что узнал одну ужасную новость,— сказал второй секретарь французского посольства.

— Рассказывайте,— сказал первый секретарь.

— Язык не поворачивается. Это затрагивает честь супруги посла.

— Невероятно. Немедленно рассказывайте. Это ваш долг перед Францией.

— Да, вы правы, долг перед Францией... под воздействием спиртного она назначила свидание герцогу Укакскому. Он — ее возлюбленный.

— Кто бы мог подумать? Где?

— Во дворце, в туалете.

— Но во дворце нет туалета.

— Мне удалось перехватить письмо, адресованное сэру Самсону Кортни. Сложенный лист бумаги. Шпионское донесение — по всему видно. Не исключено, что этот листок был запечен в хлебе.

— Неслыханно. От посла мы эту информацию утаим. Установим за ними слежку. И никому ни слова. Такие сведения лучше не разглашать. Бедный мсье Байон. Он верил ей. Мы должны помешать этому.

— Ради Франции.

— Ради Франции и ради мсье Байона.

— ...Я никогда не замечал, что мадам Байон так плохо пьет...

Карнавал возобновился. Что только не водружалось на головы всех цветов и оттенков — черные, как вакса, белые, как бумага, коричневые и «кровь с молоком»: колпаки фригийские и клоунские — из тех, что надеваются в виде наказания нерадивым ученикам; жокейские фуражки, наполеоновские треуголки, шапки, шляпки и шляпы, в которых ходят пьеро и арлекины, почтальоны и горцы, матушка Хаббард и маленькая мисс Маффет[1]. В маски из раскрашенного картона, словно клинок в ножны, вкладывались любых размеров и антропологических типов носы: семитские — с горбинкой; нордические — маленькие, курносые, усыпанные веснушками; широкие, с огромными ноздрями носы туземцев с материка, из затопленных болотами деревень; красные, мясистые носы алкоголиков и отвратительные провалившиеся носы сифилитиков. Танцующие то и дело наступали на разбросанные по полу ленты из цветной бумаги, между столами летали разноцветные мячики. Один из них, брошенный мадам Фифи, едва не угодил в королевскую ложу, что привело министра внутренних дел в неописуемый восторг. Князь Федор с тревогой смотрел по сторонам — гости разошлись не на шутку. Поскорей бы император уехал — «инцидент» мог возникнуть в любую минуту.

Но Сет неподвижно сидел среди пальм и гирлянд и, глубоко задумавшись, вертел в пальцах ножку бокала. Изредка он исподлобья быстрым взглядом окидывал зал. У него за спиной нетерпеливо переминались с ноги на ногу приближенные — им тоже хотелось поскорее пуститься в пляс. Если бы его величество сейчас уехал почивать, они бы еще успели вернуться, пока праздник не кончился...

— Смотри, старик, все гуляют, веселятся, только твой дружок-император надутый сидит. Ехал бы лучше домой, остолоп черномазый, не портил бы настроения.

— Не могу понять, отчего Сет не танцует. Чем-то он, видно, расстроен.

---

[1] Персонажи шуточных английских песенок.

Но император уезжать не собирался. Сегодня был его день. День победы. В этом зале собрались сливки столичного общества. Вон, словно взрослый на детском празднике, заливается счастливым смехом английский посол. Вон министр внутренних дел — ведет себя совершенно недопустимо. А вон главнокомандующий азанийскими вооруженными силами разговаривает с Бэзилом Силом. Сет узнал Сила, как только вошел в зал ресторана и первый раз суровым взглядом окинул собравшихся. Увидев его, Сет, могущественный император, празднующий победу своего оружия в своей столице, почему-то вдруг испытал робость. Последний раз они встречались без малого три года назад... Шел мелкий дождик, слуга пересек двор колледжа с грязными тарелками на подносе, в воротах, облокотившись на велосипеды, стояли несколько старшекурсников в твидовых костюмах. В своем колледже Сет держался в тени, его ставили на одну доску с выпускниками государственных школ или какими-нибудь бенгальцами или сиамцами — как и они, он был представителем далекой страны; как и их, его привела в Оксфорд похвальная тяга к знаниям. Бэзил же пользовался репутацией одного из самых блестящих оксфордцев. В тех редких случаях, когда сердобольные сокурсники приглашали Сета на чай или кофе, разговор неизменно заходил о Силе, имя которого упоминалось с благоговейным ужасом. Сил проигрывал баснословные суммы в покер; его завтраки кончались за полночь, а обеды длились до рассвета и заканчивались скандалом; из Лондона на роскошных автомобилях к нему приезжали юные красавицы; на выходные он уезжал без спроса и возвращался в колледж глубокой ночью, перелезая через каменную стену; он объездил всю Европу, свободно говорил на шести языках, называл оксфордских профессоров по именам и запросто обсуждал с ними их научные труды.

Сет познакомился с Силом на завтраке у главы колледжа. Бэзил заговорил с ним о топографии Азании, о несторианской церкви, о диалектах сакуйю, об отличительных свойствах находящихся в Дебра-Дове дипломатов, а спустя два дня пригласил его на ленч, где были два пэра, президент Оксфордского дискуссионного общества, издатель только что созданной студенческой газеты и молодой профессор. За ленчем Сет сидел молча и, как завороженный, слушал, а затем, спустя еще несколько дней, после долгих переговоров со своим слугой, пригласил Сила к себе. Бэзил принял приглашение, однако в последний момент под каким-то предлогом отказался. На этом их отношения и кончились. За эти три года Сет стал императором, но Бэзил остался для него олицетворением той блестящей европейской культуры, к которой он так стремился. И вот теперь этот человек каким-то непостижимым образом очутился в Азании и сидит за одним столиком с четой Коннолли. Интересно, о чем он думает? Если бы только министр внутренних дел был потрезвее...

Метрдотель опять подошел к князю Федору:

— Ваше высочество, в ресторан рвется какой-то человек. По-моему, его пускать нельзя.

— Хорошо, я сейчас посмотрю.

Князь Федор двинулся было к выходу, но запоздавший гость уже стоял в дверях.

Это был громадный негр в полном праздничном облачении: на голове у него красовалась косматая шапка из львиной гривы, на плечи была наброшена бесформенная меховая накидка. Красная атласная юбка, медные браслеты на запястьях, ожерелье из львиных клыков. На боку висела длинная сабля с инкрустированным эфесом, а могучая грудь была опоясана двумя патронташами с медными патронами. Глазки у него были маленькие, налитые кровью, а щеки и подбородок заросли густой черной щетиной. За его спиной сгрудились, слегка пошатываясь, шестеро рабов, вооруженных допотопными ружьями.

Перед князем Федором стоял могущественный феодал, граф Нгумо, владелец раскинувшихся на пятьсот квадратных миль и заросших непроходимыми джунглями горных земель. На протяжении всей гражданской войны он упорно пытался созвать под свои знамена соплеменников, однако сражение при Укаке завершилось раньше, чем набор в его армию, что и позволило ему сохранить нейтралитет. Когда война кончилась, он, оставив армию в горах и взяв с собой лишь несколько сот воинов личной охраны, спустился в долину, дабы воздать должное победителю. Победу Сета Нгумо праздновал уже не первый день, что не могло не сказаться даже на его богатырском здоровье.

Князь Федор преградил ему путь:

— Все столики заняты. Я очень сожалею, но свободных мест в ресторане нет.

— Дашь мне стол, джина и женщин,— тупо прищурившись, сказал граф.— А моим людям, которые на улице,— сырой верблюжатины.

— Но все столы заняты.

— Не беспокойся, мои рабы место найдут, это им пара пустяков.

Оркестр смолк, и в переполненном ресторане наступила мертвая тишина. Из-под масок и бумажных колпаков выглядывали перепуганные лица.

— Живо под стол, Черномазая,— сказал Коннолли.— Сейчас начнется заварушка.

Упитанная спина господина Юкумяна исчезла за ведущей на кухню дверью.

— Что тут происходит? — раздался голос английского посла.— По-моему, кто-то чем-то недоволен.

Но тут бычий взгляд графа, скользнув по перепуганным лицам, упал на сидевшего среди пальм и флагов императора. Его рука легла на выложенный драгоценными камнями эфес сабли, и в тот же миг десятки рук в разных концах зала потянулись к пистолетам и бутылкам. Сверкнул дамасский клинок — и, издав громоподобный рев, граф рухнул перед императором на колени.

Сет встал и, как того требовал местный обычай, сложил на груди руки:

— Мир дому твоему, граф.

Вассал поднялся с блестящего паркета, после чего, к огромному облегчению князя Федора, император со свитой удалились.

— Я сяду за тот стол,— сказал Нгумо, показывая пальцем на опустевшую ложу.

И через несколько минут могущественный феодал как ни в чем не бывало уже сидел в императорской ложе, пил прямо из бутылки джин господина Юкумяна, попыхивал огромной манильской сигарой и миролюбиво подмигивал танцующим дамам.

Поджидая императора, шофер заснул и проснулся далеко не сразу. Небо было усыпано звездами, холодный, пропитанный пылью воздух благоухал травами. За эвкалиптами, вокруг костра расположились воины Нгумо, от горящего помета тянуло вонючим дымком, из темноты раздавался глухой барабанный бой. Сет опустился на сиденье, и автомобиль двинулся к черневшим впереди зданиям дворца.

«Неисправимые варвары,— думал Сет.— Уверен, английские лорды не ведут себя так в присутствии своего короля. Даже самые преданные мне офицеры — негодяи и шуты. Мне нужен человек, которому я мог бы доверять... прогрессивный, культурный человек...»

Прошло полтора месяца. Победоносная армия постепенно разоружалась и уходила в горы, разбившись на сотни беспорядочных отрядов; впереди брели женщины и скот, а сзади, груженные будильниками и прочим украденным на базаре разнообразным товаром, шли воины: борцы за дело Прогресса и Новой Эры возвращались домой по своим деревням.

Матоди опустел, и городские улицы вновь погрузились в привычную тишину. Кокосовые орехи, гвоздичное масло, плоды манго и кхат; «Аллах велик», «Славься, пресвятая Матерь Божья»; старухи погоняют упрямых ослов; пирожные на подносах черны от мух; ученики миссионерской школы хором читают катехизис; на закате дня по набережной, как встарь, ходят взад-вперед прокаженные, разносчики и знатные арабы под старыми зонтами. В разбитом грузовике, лежащем на боку неподалеку от станции, вновь поселилась, отгородившись, как и раньше, грязью, хворостом, лохмотьями и сплющенными канистрами, безропотная семья местных жителей.

В маленькой гавани у причала стоят два почтовых парохода из Марселя и еще три, что зашли в Матоди на положенные шесть часов по пути с Мадагаскара и из Индокитая. Из Матоди в Дебра-Дову уже четыре раза, пыхтя, проходил поезд; за окном вагона пальмовые рощи сменяются покрытыми лавой полями, поля — бушем, буш — предгорьем; на скудных пастбищах пасутся тощие коровы; мелкие борозды в сухой земле; азанийцы в белых рубахах пашут деревянным плугом неподатливую землю; из-за пальм и кактусов торчат конусообразные соломенные крыши; в чистом небе, словно нарисованный, вьется дым от костров.

Из миссий из-под железных крыш слышны туземные гимны; в мрачных несторианских храмах звучит древняя литургия; тонзура и тюрбан; барабанный бой и перезвон бесчисленных колоколов из потемневшего серебра. А за горами, на низком берегу, там, где живут туземцы ванда, где джунгли тянутся до самого моря и куда никогда не пристают корабли, царят другие обычаи, совершаются иные, более древние и таинственные обряды. По лесам разбегаются погруженные во мрак заросшие дорожки, запретные тропы, где часовых заменяет неприметная на вид, сплетенная из травы гирлянда, которую как бы невзначай повесили между стволами соседних деревьев. Там, в глухой чаще, стучат в барабаны, творят заклинания и танцуют одетые в маски туземцы — там прячутся тайна и смерть.

Фанфары и трубы, барабанная дробь. Через весь бульвар Амурата, от левантийского кафе до индийской аптеки, протянулось трехцветное полотнище; под ним в своем «ситроене» на закладку Императорского института гигиены проехал Сет; по главной улице прошел, подымая пыль, духовой оркестр императорской гвардии.

5

К югу от дворца, между кухнями и забором, находился большой пустырь, где обычно забивали быков для званых обедов. Теперь там стояла небольшая виселица, которой пользовались лишь в тех случаях, когда следовало наказать кого-то из нерадивых придворных. Этим ясным солнечным утром на пустыре никого не было, если не считать небольшой группы чернокожих, которые с озабоченным видом собирались возле Управления однолетнего плана, да одинокой дворняги, которая грызла свой собственный хвост, лежа в тени, отбрасываемой двумя повешенными, что лицом к лицу, на высоте десяти футов вращались под перекладиной — один вполоборота на восток, другой — на запад.

Министерство модернизации разместилось в часовне покойной императрицы — круглом здании с крышей из рифленого железа и бетонными стенами, увешанными красочными плакатами, где европейские и американские фирмы рекламировали станки, модные туалеты, туризм. Возле этих плакатов вечно толпился народ, а сегодня к зевакам, которые, как обычно, стояли, тупо уставившись на рекламу, присоединились еще пять-шесть солидного вида людей в синих хлопчатобумажных плащах, надевавшихся в Дебра-Дове по случаю траура. Родственники двух преступников, казненных за казнокрадство и клятвопреступление, они пришли к виселице, чтобы, по обычаю, подергать повешенных за пят-

ки, и, потрясенные, остановились возле плакатов, знаменующих собой начало Прогресса и Новой Эры.

На двери висела табличка на арабском, сакуйю и французском языках:

МИНИСТЕРСТВО МОДЕРНИЗАЦИИ
Верховный комиссар и генеральный инспектор
БЭЗИЛ СИЛ
Финансовый директор
КРИКОР ЮКУМЯН

Внутри еще стоял едва различимый запах ладана и оплывающих свечей; в остальном же бывшая часовня стала совершенно неузнаваемой. Перегородка разделяла ее на две неравные части; в большей находился кабинет Бэзила, где не было ничего, кроме нескольких стульев и заваленного бумагами и картами письменного стола с телефоном. На меньшей же половине, которую занимал господин Юкумян, было несравненно колоритнее: вся его финансовая деятельность ограничивалась двумя-тремя тонкими тетрадками, исписанными цифрами и какими-то каракулями, зато личность финансового директора в полной мере проявлялась во всей обстановке — и в старом красном плюшевом диване, который он облюбовал себе в одном из дворцовых покоев; и в разбросанных по углам предметах туалета; и в висящих на стене парижских фотографиях, а также в объедках на эмалированной тарелке, в дезодоранте, окурках, плевательнице и маленькой спиртовке, на которой в медной кастрюльке постоянно варился кофе. Господин Юкумян имел обыкновение, приходя в кабинет, снимать обувь; поэтому если у окна стояли высокие кожаные ботинки с эластичными задниками, это означало, что финансовый директор находится на своем рабочем месте.

В вестибюле, в ожидании вызова, собирались туземцы-рассыльные, без чьих услуг Министерство модернизации пока что обойтись не могло.

Ровно в девять утра Бэзил и господин Юкумян уже сидели за своими письменными столами. Учрежденное всего месяц назад по указу императора Министерство модернизации уже развило бурную деятельность. Правда, насколько деятельность эта была эффективной, могли судить пока лишь те немногие, кто был вхож в круглое, увешанное рекламными объявлениями здание. Задача министерства, как говорилось в императорском указе, состояла в том, чтобы «способствовать внедрению прогрессивных веяний в жизнь Азанийской империи», что, по существу, давало министерству неограниченное право вмешиваться во все происходящее в стране. Пробежав глазами сложенную на столе корреспонденцию и мельком взглянув на сегодняшнее расписание, Бэзил вынужден был признать, что любой другой на его месте и на месте господина Юкумяна счел бы, что он свои силы переоценил. Сегодня Бэзилу предстояло изучить ответы восьми вице-королей из провинций на анкету, касающуюся экономических ресурсов и состава населения вверенных им территорий; присланные ответы отличались льстивой витиеватостью формы и полным отсутствием содержания. Сегодня предстояло также ознакомиться с поступившими от европейских золотоискателей заявками на концессии, с запросами туристических бюро относительно перспективы охоты на хищников, серфинга и альпинизма; с ходатайствами о назначении на государственную службу, с многочисленными протестами от миссий и посольств, со сметами на строительство жилых зданий, с законопроектом о судейской этике — все эти бумаги шли прямиком к Бэзилу. Министры двора его величества не только не видели в Бэзиле своего соперника, но чистосердечно верили в то, что этот англичанин послан им с небес, ведь он, не покушаясь на их доходы и титулы, совершенно освободил их от работы. На всех бумагах стоял штамп «В Министерство модернизации» — уже через несколько дней после создания министерства и министр внутренних дел, и гофмейстер двора, и верховный судья, и мэр города, и даже сам Сет одним

движением каучукового кружка перекладывали решение всех вопросов на Бэзила. Только несторианский патриарх и главнокомандующий вооруженными силами не воспользовались услугами нового министерства и по старинке продолжали — пусть медленно, пусть нерадиво, зато собственноручно — управлять подотчетными им ведомствами.

Накануне Сил допоздна просидел с императором над новым уголовным кодексом, однако количество дел, которыми ему предстояло заняться, отнюдь не повергло его в уныние.

— Юкумян!

— Вы звали, мистер Сил? — Финансовый директор неслышными шагами вошел в комнату.

— Коннолли наотрез отказывается приобретать сапоги.

— Наотрез отказывается?! Но, мистер Сил, он должен приобрести сапоги. Я купил их в Кейптауне. Они придут следующим пароходом. Понимаете, купил по собственной инициативе. На собственные средства. Что мне прикажете делать с тысячью пар сапог, если Коннолли их не возьмет?

— Надо было подождать.

— Подождать?! А что будет, когда выйдет приказ, что гвардия должна быть в сапогах, а? Что будет, скажите? Какой-нибудь негодяй захочет на этом заработать, пойдет к императору и скажет, что достанет сапоги дешевле, чем Юкумян. И что я тогда, спрашивается, делать буду? По мне эти черномазые могли бы и дальше босиком ходить, я не против. Нет, мистер Сил, так дела не делаются. Я ведь все рассчитал: в один прекрасный день выйдет приказ всем гвардейцам надеть сапоги. Приказ приказом, а сапог-то нет. В этой вонючей дыре разве можно купить столько сапог? Одни обещают достать их за три недели, другие — за месяц, третьи — за полтора, и так дальше. А тут прихожу я и говорю: «У меня есть сапоги. Сколько вам пар надо? Тысячу? Пожалуйста. Устроим». Вот как делаются дела. И что же говорит генерал?

Бэзил молча протянул ему резкое, до неприличия короткое письмо — ответ Коннолли на вежливое, тщательно продуманное послание Бэзила, которое начиналось словами: «Министр модернизации рад засвидетельствовать свое почтение Главнокомандующему императорской армии и, в соответствии с полномочиями, каковыми наделил его императорский указ, настоятельно рекомендует...»

На вырванном из записной книжки клочке линованной бумаги карандашом было нацарапано следующее: «Пусть министр вместе со своей модернизацией катится к чертовой матери. В сапогах мои люди и шагу ступить не смогут. Советую в следующий раз вместо сапог всучить Сету цилиндры и трости. Герцог».

— Цилиндры, говорите? — переспросил, ненадолго задумавшись, господин Юкумян.— Это можно.

— Ты не понял — это генерал так шутит.

— Шутит?! Он, значит, шутит, а я — оставайся с тысячью пар кожаных сапог на руках, так? Ха, ха, ха. Хороши шутки. Да во всей стране не найдется сотни человек, которые бы носили сапоги. И потом, такие сапоги никто не купит. Они же армейские. Вы меня поняли?

— Не волнуйся,— успокоил его Бэзил.— Мы найдем им применение. В крайнем случае продадим духовенству.— Он снова, нахмурившись, перечитал записку генерала, подколол ее к остальной корреспонденции и бросил на армянина свой обычный дерзкий, угрюмый и в то же время наивный взгляд.— Мне кажется,— добавил он,— Коннолли зарывается. Надо бы его проучить.

— Говорят, у генерала роман с мадам Байон.

— Не верю.

— И напрасно. Мне об этом под большим секретом рассказал парикмахер, который бреет все французское посольство. В городе об этом только и разговоров. Даже госпожа Юкумян слышала. А все потому,—

господин Юкумян самодовольно улыбнулся,— что мадам Байон пьет. С этого у них с Коннолли все и началось.

Через четверть часа Бэзил и господин Юкумян занялись более важными делами.

Утром в Министерстве модернизации, как всегда, кипела работа.

— Послушайте, мистер. Говорю вам, как обстоит дело. Мы должны защищать интересы его величества. Вы меня поняли? Вы считаете, что в горах Нгумо есть большие залежи олова. Такого же мнения придерживаемся и мы. Такого же мнения придерживаются и другие компании. Думаете, вы один хотите концессий? Только сегодня ко мне с аналогичной просьбой приходили два джентльмена. «Устрой,— говорят,— нам концессии». А я им говорю, что концессии мы можем предоставить только той компании, которой доверяем. Послушайте, а почему бы вам не включить в совет директоров кого-нибудь, кто пользуется в стране репутацией хорошего финансиста? Кому доверяет его величество?.. Вы меня поняли?.. И чтобы у него тоже были свои акции... Такой человек защищал бы интересы его величества и интересы компании... Вы меня поняли?

— Ваша идея мне нравится, господин Юкумян, но ведь найти такого человека совсем не просто. Мне, например, в данный момент никто в голову не приходит.

— Неужели не приходит? А вы подумайте.

— Разве что вы сами, господин Юкумян... Признаться, вашу кандидатуру я не рассматривал. Вы же такой занятой человек.

— Послушайте, мистер, для интересного дела я всегда найду время, можете не сомневаться...

За перегородкой Бэзил беседовал с американским коммерческим атташе:

— Вот какая ситуация, Уокер. Я... император хочет потратить в этом году четверть миллиона на строительство дорог. Налогами таких денег не соберешь, поэтому я намереваюсь, чтобы накопить нужную сумму, выпустить акции. Вы, насколько мне известно, представляете здесь две компании, нефтяную «Космополитен ойл траст» и автомобильную «Стетсон карз». Каждая миля азанийского асфальта обеспечит вам пятьсот лишних машин в год, а уж сколько галлонов нефти — и не подсчитать. Если ваши компании согласятся приобрести мои акции, я готов предоставить им монополию на десять лет...

Следующим посетителем был редактор «Courier d'Azanie». На вид — как, впрочем, и по сути — мсье Бертран был человеком незначительным. Его «Курьер» выходил раз в неделю на одном листке небольшого формата. Своих немногочисленных подписчиков, которых в Матоди и в Дебра-Дове было меньше тысячи, газета знакомила с событиями в стране (дипломатические приемы, официальные встречи, дворцовые циркуляры, программы кинотеатров), а также с теми сообщениями из-за рубежа, которые передавались по местному радио. Впрочем, на газету мсье Бертран тратил всего один день в неделю, а остальное время выпускал меню, пригласительные билеты, свадебные и похоронные объявления, работал в местном отделении европейского агентства новостей, корреспондентом которого он по совместительству являлся, а также торговал канцелярскими товарами в своем маленьком офисе. В Министерство модернизации мсье Бертран пришел по приглашению Бэзила, надеясь получить выгодный заказ на фасонную почтовую бумагу.

— Доброе утро, мсье Бертран. Спасибо, что пришли. Давайте, если не возражаете, сразу же перейдем к делу. Я хочу купить вашу продукцию.

— Разумеется, мсье Сил. У меня есть очень хорошего качества кремовая конторская бумага, а также глянцевая, с лазоревым оттен-

ком, которая стоит чуть дороже. Полагаю, вы хотите, чтобы на бумаге был выбит гриф вашего министерства?

— Боюсь, вы меня не поняли. Я имел в виду не бумагу, а газету. «Курьер Азании».

По лицу мсье Бертрана видно было, что он разочарован и даже обижен. Неужели ради того, чтобы приобрести номер газеты, нужно было вызывать к себе ее владельца и главного редактора? Не слишком ли много этот молодой человек на себя берет? Непростительная наглость.

— Я поставлю в известность своего секретаря. Вы желаете подписаться на год?

— Нет, нет, речь не об этом. Я хочу приобрести вашу газету — стать ее владельцем. Сколько вы за нее просите?

Только теперь мсье Бертран наконец понял, чего от него хотят.

— Нет, это исключается. «Курьер» я продавать не собираюсь.

— Полно, газета же большой выгоды вам не приносит, а я готов заплатить за нее хорошие деньги.

— Дело не в деньгах, мсье, а в престиже — как вы не понимаете? — со всей серьезностью заявил мсье Бертран.— Видите ли, владелец и редактор «Курьера» — это человек с определенным положением. Два раза в год мы с мадам Бертран обедаем во французском посольстве, раз в год нас приглашают на прием в английское посольство, мы бываем при дворе и в поло-клубе. А ведь это немало. Если же я буду просто печатником Бертраном, никто в мою сторону даже не посмотрит. Мадам Бертран мне этого не простит.

— Понятно,— сказал Бэзил. «Человек с определенным положением» в Дебра-Дове... Скромные притязания, ничего не скажешь. Нехорошо лишать мсье Бертрана его положения...— Понятно. А как вы смотрите на то, чтобы остаться редактором и номинальным владельцем? Меня бы это вполне устроило. Дело в том, что мне хочется расширить рамки вашей газеты. Я хочу, чтобы в «Курьере» публиковались передовицы, политические обзоры... Слушайте...— И в течение четверти часа Бэзил делился с мсье Бертраном своими обширными издательскими планами: шесть страниц вместо двух... реклама европейских фирм и правительственных служб, которая будет покрывать возросшую стоимость издания... большой тираж... статьи на сакуйю и на арабском... продуманная поддержка политики правительства... Из кабинета Бэзила мсье Бертран вышел совершенно сбитый с толку; в одной руке он держал чек на круглую сумму, а в другой — набросанный Бэзилом план передовицы, где прогнозировались изменения в уголовном кодексе... исправительные колонии должны были прийти на смену тюрьмам... Странные темы для «Курьера»!

В одиннадцать часов с протестом против учреждения государственной лотереи пришел англиканский епископ.

В четверть двенадцатого, чтобы обсудить возможности строительства дороги из Дебра-Довы в английское посольство, пришел, по поручению сэра Самсона Кортни, Уильям. Уильям и Бэзил друг друга не взлюбили.

В половине двенадцатого пришел гофмейстер двора. На следующей неделе предстоял банкет в честь вождей племени ванда, и гофмейстер пришел обсудить с Бэзилом меню. Сырую говядину Сет запретил.

— Чем же тогда кормить?

— Сырой говядиной,— ответил Бэзил.— Только назовите это блюдо «бифштексом по-татарски».

— А это не противоречит современным веяниям?

— Нисколько.

В полдень Бэзил отправился к императору.

Жара для горных районов стояла небывалая. Крыша дворца раскалилась докрасна. Поднявшийся ветерок обсыпал пылью раскачиваю-

щиеся под перекладиной тела повешенных придворных и подхватил несколько листков бумаги, которые валялись на земле, свернувшись от жары, словно осенние листья.

Полузакрыв глаза, Бэзил, не торопясь, поднялся по ступенькам к главному входу.

Солдаты вскочили и неловко отдали честь. Капитан быстрым шагом последовал за Бэзилом и дернул его за рукав.

— Доброе утро, капитан.

— Доброе утро, ваше превосходительство. Вы к императору?

— Да, как обычно.

— У меня к вам маленькая просьба, ваше превосходительство... Дело в том, что один из повешенных — мой двоюродный брат.

— Да?

— Место, которое он занимал, еще свободно. Эта должность всегда была за нашей семьей... Мой дядя подал прошение его величеству...

— Хорошо, хорошо, я замолвлю за него слово.

— Как раз этого-то и не следует делать. Мой дядя — дурной человек, ваше превосходительство. Это он отравил моего отца. Я в этом уверен. Он домогался моей матери. Было бы очень несправедливо, если б эта должность досталась ему. У меня ведь есть младший брат — человек исключительно способный и преданный императору...

— Очень хорошо, капитан. Я сделаю все, что смогу.

— Да хранит вас Бог, ваше превосходительство.

Кабинет императора был завален европейскими газетами и каталогами. Сет, вооружившись линейкой и карандашом, чертил план реконструкции Дебра-Довы.

— Входите, Сил. Вот видите, город перестраиваю. Боюсь, что англиканским собором придется пожертвовать. Как, впрочем, и всем южным кварталом. Смотрите, вот площадь Сета, а от нее во все стороны будут расходиться бульвары. Вот этот бульвар я назову именем Бэзила Сила.

— Спасибо, Сет.

— А этот — Коннолли авеню.

— Да, кстати, я как раз хотел поговорить с вами о генерале.— И Сил, опустившись на стул, начал издалека, прощупывая почву: — Лично я против Коннолли ничего не имею. Я знаю, вам он нравится, да он и в самом деле настоящий солдат, по-солдатски груб и невоздержан на язык. Но не кажется ли вам, Сет, что он недостаточно современен?

— Да, во время войны он отказался использовать наш Танк.

— Вот видите. Коннолли вообще противник прогресса. Он хочет, чтобы армия подчинялась ему одному. А тут возникла проблема сапог. Вы, наверно, не в курсе, но министерство, рассмотрев этот вопрос, рекомендовало Коннолли обуть своих людей в сапоги. Ведь от этого боеспособность армии увеличится вдвое. Половина всех больных, как вам известно, выбывает из строя из-за нематодоза. Я уж не говорю о престиже. В Европе нет ни одного гвардейского полка, где солдаты ходили бы босиком. Вы же сами видели британских гвардейцев возле Букингемского дворца. До тех пор, пока вы не обуете свою армию в сапоги, Европа не будет вас уважать.

— Да, да, разумеется. Мои солдаты будут в сапогах в самое ближайшее время.

— Я был уверен, что вы со мной согласитесь. А вот Коннолли, к сожалению, решительно против. Нашему министерству армия не подчиняется — приказ по войскам может отдать либо генерал, либо вы — как верховный главнокомандующий.

— Распоряжусь сегодня же. Армия должна быть в сапогах, тут не может быть двух мнений. Теперь, если увижу солдата босиком,— повешу.

— Прекрасно. Я знал, Сет, что вы нас поддержите... Вообще, надо сказать,— задумчиво заметил Бэзил,— что пятьдесят лет назад нам было бы гораздо труднее модернизировать страну. Тогда бы нам пришлось вводить конституционную монархию, двухпалатную законодательную систему, пропорциональное представительство, избирательное право для женщин, независимый суд, свободу печати, референдумы...

— Что все это значит? — спросил император.

— Какая разница, все эти понятия уже устарели.

После этого они занялись неотложными делами.

— Английское посольство опять жалуется на дорогу.

— Они давно уже жалуются. Надоели. И потом, в моем плане реконструкции предусмотрены только четыре дороги из города: на север, юг, запад и восток. Что ж мне теперь, из-за них весь план менять?

— Но посол настроен очень решительно.

— Ладно, поговорим об этом как-нибудь в другой раз... хотя нет, знаете, что я сделаю? Назову-ка бульвар его именем. Тогда он успокоится.

И император, взяв резинку, стер с плана города имя Коннолли и на его месте написал: «Бульвар сэра Самсона Кортни».

— Надо бы метро построить,— сказал Сет.— Как вы полагаете, оно окупится?

— Нет.

— Этого я и боялся. Ничего, когда-нибудь будет у нас и метро. Можете сказать сэру Самсону, что, когда мы построим метро, у него будет своя, личная станция «Английское посольство». Да, чуть не забыл, я получил письмо из Общества защиты животных. Они хотят прислать сюда комиссию, чтобы выяснить, не слишком ли туземцы жестоко обходятся с хищниками, когда на них охотятся. Как вы, например, находите: жестоко охотиться на львов с копьями?

— Нет.

— По-моему, тоже. Вот это письмо. От леди Милдред Порч. Вы ее знаете?

— Слышал. Старая балаболка.

— Что такое «балаболка»? Оратор?

— Да, вроде того.

— Так вот, она возвращается в Англию из Южной Африки и хотела бы на неделю заехать в Азанию. Пускай приезжает?

— Не уверен.

— Пускай приезжает... И последнее. В газетах мне все время попадается какое-то современное словосочетание «противозачаточные средства». Что это такое?

Бэзил объяснил.

— Мне они нужны. И в большом количестве. Позаботьтесь об этом. Наверно, указ о введении противозачаточных средств издавать не стоит, правда? Лучше использовать пропаганду. Можно было бы даже в целях пропаганды устроить небольшой праздник...

Отказ императора отремонтировать дорогу в посольство сэр Самсон воспринял со свойственным ему хладнокровием:

— Так, так... Не думаю, чтобы юный Сет долго продержался на троне. Скоро наверняка опять будет революция. Я слышал, что он по уши в долгах. Будем надеяться, что новое правительство, каким бы оно ни было, пойдет нам навстречу. И знаешь, Пруденс, ты будешь надо мной смеяться, но я очень тронут тем, что молодой человек назвал бульвар моим именем. Мне этот Сет всегда нравился. Как знать, когда-нибудь Дебра-Дова, возможно, превратится в огромный европейский город. Представляешь, подъезжает лет эдак через сто к магазину такси, выходит чернокожий водитель и спрашивает продавца: «Дом номер сто по Самсона Кортни — не подскажете?», а сам думает: кто такой этот Самсон Кортни? Ну, как, скажем...

— Как бульвар Виктора Гюго, папа?

— Вот именно, или Сент-Джеймсская площадь.

К сожалению, проблему сапог решить так же легко не удалось.

Вечером того самого дня, когда вышел закон о сапогах, Бэзил и господин Юкумян сидели в министерстве и совещались, как быть со строительством новой гостиницы при дворце. Дело в том, что император, заинтересовавшись фотографиями в каком-то немецком архитектурном журнале, заявил, что здание гостиницы следует строить из стали, а в окнах должны быть стекла, пропускающие ультрафиолетовые лучи. Все утро Бэзил убил, тщетно пытаясь втолковать помазаннику, что стиль этот для тропиков совершенно непригоден, и сейчас вместе с финансовым директором обдумывал, как воплотить в жизнь сумасбродные планы императора, как вдруг дверь распахнулась, и в комнату ввалился герцог Укакский.

— Проваливай, Юкумян,— сказал он.— Хочу поговорить с твоим шефом наедине.

— Конечно, генерал. Ухожу. Разговаривайте — я не в обиде.

— Что за вздор! Господин Юкумян — финансовый директор министерства, и я бы хотел, чтобы он при нашем разговоре присутствовал.

— Кто? Я, мистер Сил? Мне нечего сказать генералу.

— Прошу вас остаться.

— Живо,— сказал герцог, замахнувшись.

— Извините, джентльмены,— сказал господин Юкумян и юркнул за перегородку.

Коннолли повел со счетом «один-ноль».

— Я смотрю, даже у этого армяшки хватило ума сапоги снять.— «Два-ноль» в пользу Коннолли.

Но вскоре Бэзил наверстал упущенное.

— Прости, что выставил этого типа, Сил,— начал генерал.— От него воняет, как от кучи дерьма. Давай потолкуем. Что это ты начудил с сапогами?

— Приказ его величества, по-моему, обсуждению не подлежит.

— «Обсуждению не подлежит»! Ишь как загнул! Брось ты мне мозги пудрить. Послушай, мне на всю эту вашу модернизацию плевать с высокой колокольни. Да и не мое это дело. Можешь, если хочешь, заставить этих черномазых придурков хоть кроссворды разгадывать — мне до фонаря! Но своим людям морочить голову я вам не дам. Да ты мне всю армию покалечишь, если заставишь солдат в сапоги влезть. Послушай, нам с тобой делить нечего. Я в этой дыре не первый день живу и знаю, чем такие, как Юкумян, промышляют. В Дебра-Дове спокон веку норовили всучить правительству всякую дрянь. Пойми, я же не против, чтоб и ты на этом деле руки нагрел. Давай так: я своим людям строго-настрого запрещу обуваться, всю партию сапог мы сплавим туземцам, ты получишь компенсацию, приказ забудется — и все останутся довольны. Ну? По рукам?

Бэзил надолго задумался, но размышлял он о вещах куда более значительных, чем сапоги. Похлопывая стеком по колену, генерал небрежно сидел на краю стола с выражением радушия и неподдельного желания дружить. «Почему я отношусь к нему свысока? — думал Бэзил.— Из-за какого-то атавистического чувства кастовости или инстинкта превосходства? А может, потому, что он задел мое достоинство, выставив Юкумяна, который пулей вылетел из комнаты, стуча по полу босыми пятками?»

— Свою точку зрения вам следовало бы высказать раньше,— сказал он генералу.— Записка же ваша выдержана в таком тоне, что дальнейшие разговоры на эту тему лишены всякого смысла. На следующей неделе сапоги будут выписаны и переданы в хозяйственную часть министерства обороны.

— Сосунок паршивый,— сказал Коннолли, направляясь к двери.

Когда генерал открыл дверь, господин Юкумян поспешно отскочил

от замочной скважины. Но Коннолли, не оборачиваясь, прошел мимо и покинул министерство.

— Мистер Сил, зачем вам с ним ссориться? Хотите, я догоню его и все улажу? А, мистер Сил?

— Только этого еще не хватало. Давай-ка лучше займемся программой праздника противозачаточных средств.

— Ох, мистер Сил, мистер Сил. И зачем вы только с ним ссоритесь? Ссорой ведь ничего не добьешься.

Сведения о размолвке распространились по городу с быстротою молнии. Это была новость номер один. Десятка два шпионов при императорском дворе разнесли ее по всем посольствам и коммерческим бюро. Гонцы поставили в известность графа Нгумо; Черномазая поделилась случившимся со своей парикмахершей; клерк евразийского банка все выложил своему директору, а директор банка — епископу; господин Юкумян, стоя за стойкой «Императора Сета», пересказал завсегдатаям кафе всю историю в лицах; Коннолли, страшно сквернословя, известил об этом в «Попугае» князя Федора; министр внутренних дел, все переврав и давясь от смеха, потешил этим анекдотом девушек из лучшего maison de société [1] города. Уже вечером того же дня в Дебра-Дове не было ни одного обеденного стола, где бы ссора не обсуждалась во всех подробностях.

— Жаль,— заметил сэр Самсон Кортни.— Теперь этот Сил будет приезжать в посольство еще чаще. Прости, Пруденс, в принципе он парень неплохой, но, если честно, говорить мне с ним особенно не о чем... что его только не интересует... любит порассуждать о политике... Тоже мне, нашли из-за чего ссориться! Носил бы себе сапоги, если ему так хочется.

— Дело обстояло не совсем так, папа.

— Может, я что-то и перепутал — какая разница...

— Ха! Ха! — сказал мсье Байон.— Такого поворота событий сэр Самсон наверняка не ожидал. Каково ему плести свою паутину, а? Где тонко — там и рвется. Коннолли теперь — наш человек.

— Увы, он словно ослеп, этот трогательный, доверчивый муж,— сказал первый секретарь посольства на ухо второму.

— Союз «Сил — Кортни» и их марионеточный император потеряли доверие армии. Мы должны объединить наши усилия.

На следующее утро в жизни Черномазой произошло чрезвычайное событие. Она стояла во дворе своего дома, стирала генералу носки (Черномазая не могла допустить, чтобы одежды ее супруга касалась другая женщина), жевала орех и сплевывала темный сок в мыльную пену, как вдруг к дому подъехал улан в ало-зеленом кителе французского посольства и, спешившись, спросил:

— Ее светлость герцогиня Укакская?

Черномазая задрала платье, чтобы его не запачкать, и вытерла руки о панталоны:

— Это я,— сказала она.

Улан отдал честь, вручил ей большой конверт, снова отдал честь, вскочил в седло и ускакал.

Оставшись одна, герцогиня присела на корточки и с любопытством стала рассматривать конверт: она повертела его во все стороны, поднесла к уху и, настороженно повернув голову набок, встряхнула. Потом встала, пошла в дом, на цыпочках поднялась к себе в спальню и, воровато осмотревшись, сунула конверт под циновку.

В течение часа Черномазая трижды бросала стирку и бежала в дом посмотреть, цело ли ее сокровище. Когда же в полдень приехал обедать генерал, она с затаенным страхом вручила ему письмо.

---

[1] Публичный дом *(франц.)*.

— Смотри-ка, Черномазая, мадам Байон приглашает нас завтра на обед во французское посольство.

— Ты пойдешь?

— Говорю же, нас позвали вдвоем, старушка. Приглашение адресовано тебе. Ну, что скажешь?

— Господи, я буду обедать с мадам Байон! Вот это да!

Герцогиня не могла скрыть своего возбуждения, она откинула назад голову, закатила глаза и, мыча от удовольствия, принялась, как безумная, прыгать по комнате.

— Молодец, старик, ничего не скажешь! — заметил герцог, а позднее, когда приглашение было с благодарностью принято и бравый старшина императорской гвардии отвез ответ в посольство, когда Коннолли ответил на многочисленные вопросы, касающиеся обращения с ножом, вилкой, бокалом и перчатками, и герцогиня побежала в магазин господина Юкумяна за лентой, золотой тесьмой и искусственными пионами себе на платье,— он отправился обратно в казармы, преисполнившись к французам самых теплых чувств и повторяя: — Молодец, старик. Это ведь первый человек, который за все восемь лет, что я здесь, удосужился позвать в гости мою Черномазую. А моя-то обрадовалась! Вся трясется от счастья, разрази ее гром!

С приближением обеда Черномазая окончательно потеряла покой и так надоела супругу бесконечными вопросами об этикете, что генералу пришлось дать ей увесистую затрещину и запереть на несколько часов в буфет, прежде чем она обрела столь необходимую для дипломатических приемов сдержанность. Обед, на котором присутствовали все сотрудники французского посольства, герцог и герцогиня Укакские, президент железнодорожной компании с женой и дочерьми, а также министр внутренних дел лорд Боз, прошел с огромным успехом. Черномазую, в соответствии с ее титулом, посадили рядом с мсье Байоном, который говорил с ней по-английски, всячески превознося боевые заслуги ее супруга, его влиятельность и благоразумие. Если манеры Черномазой и были в чем-то небезупречны, то поведение министра внутренних дел было поистине вызывающим. Он жаловался, что его плохо кормят, слишком много пил, щипал сидящих по обе стороны от него дам, прикарманил дюжину сигар и приглянувшуюся ему серебряную перечницу, а потом, когда гости перешли в гостиную, рвался танцевать в одиночестве под патефон, пока, наконец, рабы насильно не посадили его в машину и не отвезли к мадам Фифи, о прелестях которой он во всеуслышание распространялся весь вечер, не упустив случая блеснуть анатомическими подробностями, которые, по счастью, большинству собравшихся остались непонятны.

Когда все вина были перепробованы, сладкое шампанское, поданное на десерт, выпито и мужчины остались одни за столом (министр внутренних дел порывался последовать за дамами и был с трудом остановлен), мсье Байон приказал подать бутылку спирта, подсел к генералу, наполнил его бокал и завел с ним весьма нелицеприятный разговор об императоре и нынешнем режиме.

В гостиной тем временем дамы обступили свою новую знакомую, и не прошло и часа, как некоторые из них, в том числе и мадам Байон, опустив титул, стали запросто называть герцогиню Черномазой. Они приглашали ее в гости, звали посмотреть их сад и познакомиться с их детьми, предлагали научить играть в теннис и в пикет, порекомендовали ей армянского портного и индийскую гадалку, вызвались дать выкройки своих пижам, всерьез уговаривали предохраняться, а главное — пригласили войти в специальную комиссию по подготовке к празднику противозачаточных средств. Иными словами, чета Коннолли в тот вечер совершенно офранцузилась.

Спустя десять дней в Дебра-Дову привезли сапоги; соблюсти необходимые формальности ничего не стоило, поскольку соответствующие службы находились теперь под контролем Министерства модер-

низации. Господин Юкумян сам составил заявление на собственное имя от Министерства обороны; он же написал бумагу из Министерства обороны в отдел по снабжению, заверил ее в казначействе, поставил на ней вторую подпись, выписал чек на свое имя и, заручившись поддержкой акцизного и таможенного управления, добился скидки на пошлину под предлогом того, что ввозимый товар является «государственным заказом». Вся процедура заняла от силы десять минут. А уже через несколько часов тысячу пар сапог свалили на площади перед казармами, где их тут же разобрали солдаты, которые весь день рассматривали сапоги с неподдельным, хотя и настороженным интересом.

В тот же вечер в честь доставки сапог был устроен праздник. На огне дымились солдатские котелки, туземцы отбивали руками нескончаемую барабанную дробь, в незабываемом ритме шаркали по земле голые ступни, тысячи темнокожих что-то напевали и раскачивались, сидя на корточках и сверкая в темноте зубами.

Когда Коннолли возвращался в казармы после обеда во французском посольстве, праздник еще продолжался.

— Какого черта они сегодня веселятся? — спросил он часового.— Разве сегодня какой-то праздник?

— Да, сегодня большой день, ваше превосходительство,— ответил часовой.— Очень большой день. День сапог.

Когда Бэзил, далеко за полночь, сидел у себя в кабинете и сочинял уголовный кодекс, до него донеслось пение.

— Что там в казармах? — спросил он слугу.

— Сапоги.

— Нравятся?

— Еще как.

«То-то Конноли разозлится»,— подумал он и на следующий день, повстречав у входа во дворец генерала, не удержался и сказал:

— Вот видите, Коннолли, сапоги пришлись вашим людям по вкусу.

— Не то слово.

— Надеюсь, пока никто не охромел?

— Нет, никто не охромел,— отозвался генерал и, перегнувшись в седле, с ласковой улыбкой добавил: — А вот брюхо у некоторых разболелось. Я как раз собираюсь написать докладную в отдел по снабжению. Там ведь, кажется, наш друг Юкумян сидит? Понимаешь, мой адъютант повел себя как последний дурак: он по неопытности решил, что сапоги — это продовольственный паек. Вчера вечером мои ребята сожрали всю партию без остатка.

В горле першит от пыли, на ветру шелестят листья эвкалиптов. Пруденс сидит у окна и пишет «Панораму жизни». За окном раскинулась высохшая лужайка для крокета: между воротцами видна примятая порыжевшая трава, сзади, на клумбах — несколько увядших стеблей. Пруденс рисовала на полях какие-то каракули и думала о любви.

Стояла — как всегда перед сезоном дождей — засуха, когда скот приходилось пасти далеко в горах, за многие мили от обычных пастбищ, а пастухи, отталкивая друг друга, жадно приникали к заросшим кустарником лужицам питьевой воды; когда в город в поисках воды заходили львы, которые степенно шли по улицам под визг перепуганной детворы; когда, по выражению леди Кортни, «на цветочный бордюр было страшно смотреть».

«Просто поразительно, насколько дух человека не соответствует состоянию природы! — выводила Пруденс своим размашистым школьным почерком.— Когда земля пробуждается от сна, когда бегут ручьи, лопаются почки, когда спариваются птицы и резвятся ягнята — тогда мысли человека заняты спортом и садоводством, живописью и домашним театром. Зато теперь, в сезон засухи, когда кажется, что природа навечно похоронена под холодной землей,— только и думаешь о люб-

ви». Она покусала перо и, перечитав написанное, исправила «холодную землю» на «раскаленную почву». «Что-то тут не то»,— подумала она и пошла к леди Кортни, которая, с лейкой в руке, насупившись, разглядывала увядший розовый куст.

— Мам, как скоро у птиц рождаются детеныши?

— Не детеныши, а птенцы,— поправила ее мать и пошла поливать поникшую от жары азалию.

— Надоела мне эта «Панорама жизни»,— сказала, вернувшись к себе, Пруденс и набросала на полях мужской профиль, который, судя по тяжелому подбородку и растрепанным волосам, принадлежал не Уильяму, как это было еще полтора месяца назад, а Бэзилу Силу. «Как же нужно хотеть мужчину,— подумалось ей,— чтобы заниматься любовью с Уильямом!»

— Завтракать! — раздался под окном голос матери.— Я, как обычно, немного опоздаю. Иди, развлеки отца.

Но когда леди Кортни через несколько минут вошла в столовую, муж, дочь и Уильям хранили гнетущее молчание.

— Опять консервированная спаржа,— вздохнул сэр Самсон.— И письмо от епископа.

— Неужели он приедет обедать?

— Слава Богу, нет. Насколько я понял, Сет почему-то хочет снести англиканский собор. Интересно, а чем, собственно говоря, я тут могу помочь? Можно подумать, что я всесилен. Здание, кстати, жутко уродливое. Пруденс, вы бы с Уильямом поехали после обеда прокатиться на пони, а то они у вас что-то совсем застоялись.

— Сегодня так душно,— сказала Пруденс.

— Сегодня столько дел,— сказал Уильям.

— Как хотите,— сказал сэр Самсон Кортни.— Они что, поссорились? — спросил он у жены, когда они остались вдвоем.— А то раньше — водой не разольешь!

— Я уже давно хочу с тобой поговорить, Сэм. Все руки не доходят — последнее время я ужасно волновалась из-за львиного зева. Знаешь, мне кажется, Пруденс не в своей тарелке. По-моему, девушке ее возраста здешний климат не показан. Может, отправить ее на несколько месяцев в Англию, как ты полагаешь? Харриет поселила бы ее у себя, на Белгрейв-плейс. Девочка ходила бы в гости, общалась со своими сверстниками. Что ты на это скажешь?

— Думаю, ты права. Эта ее «Панорама», над которой она корпит днями и ночами... Только напиши Харриет сама, а то у меня дел по горло. Надо подумать, что сказать епископу...

Но на следующий день Пруденс и Уильям все же поехали кататься на пони. У Пруденс было назначено свидание с Бэзилом.

— Послушай, Уильям, из города ты поедешь по улице, которая проходит за баптистской школой и еврейскими скотобойнями. Потом — мимо тюрьмы для смертников и инфекционной больницы.

— Хорошенький же ты мне придумала маршрут!

— Не злись, милый. Иначе ведь тебя могут увидеть. Когда минуешь арабское кладбище, можешь ехать куда хочешь. Жди меня в пять часов возле дома Юкумяна.

— Отличная меня ожидает прогулка! На двух пони. Попробуй удержи Забияку!

— Не выдумывай, Уильям. Ты же прекрасно сам знаешь, что Забияка тебя слушается. Кроме тебя, я бы никому ее не доверила. Не могу ведь я оставить Забияку перед домом Юкумяна — это же неприлично, пойми!

— А, по-твоему, прилично заставлять меня целый день таскаться по жаре на двух лошадях, пока ты будешь лежать в постели с этим типом, который, ко всему прочему, перебежал мне дорогу?

— Уильям, не сердись. Никто тебе дорогу не перебегал, не сочиняй. Наверняка за полгода я тебе до смерти надоела.

— Уж ему-то ты точно надоешь. И очень скоро.

— Скотина.

Бэзил по-прежнему жил в большой комнате над магазином господина Юкумяна. На задний двор, заваленный ржавым железом и мусором, выходила веранда, на которую со двора можно было подняться по внешней лестнице. Пруденс прошла через магазин, вышла во двор и поднялась по лестнице. От табачного дыма в комнате нечем было дышать. Бэзил, в рубашке с засученными рукавами, сидел в шезлонге и курил манильскую сигару. Когда Пруденс вошла, он встал ей навстречу, запер за ней дверь и бросил окурок в наполненную водой сидячую эмалированную ванну. Окурок зашипел, погас и, постепенно размокая, стал плавать в мыльной воде. В комнате стоял полумрак. На доски пола и на старые пыльные циновки сквозь щели в ставнях падал солнечный свет. Пруденс неловко остановилась посреди комнаты с шляпкой в руке. Оба молчали. Пруденс заговорила первой:

— Ты мог бы побриться.— И добавила: — Помоги мне снять сапоги.

Во дворе госпожа Юкумян громким голосом отчитывала козу. Полоска света из окна медленно передвигалась по полу. От размокшего окурка вода в ванне постепенно потемнела.

Стук в дверь.

— Господи! — воскликнула Пруденс.— Неужели это уже Уильям?

— Мистер Сил! Мистер Сил!

— В чем дело? Я отдыхаю.

— Вставайте,— раздался за дверью голос господина Юкумяна.— Вас по всему городу ищут. Даже после обеда поспать не дадут!

— Что им надо?

— Император хочет немедленно вас видеть. У него очередная идея. Очень современная и очень важная. Какая-то шведская стенка, будь она неладна!

Бэзил поспешил во дворец и нашел своего повелителя в состоянии крайнего возбуждения:

— Я тут читаю одну немецкую книгу. Мы немедленно должны издать декрет... повсеместные занятия физкультурой... Все население, каждое утро — понимаете? Нам необходимы рекомендации из Европы. Свяжитесь со специалистами. Пятнадцатиминутная утренняя гимнастика. И пение хором. Это очень важно. От этого зависит здоровье нации. Я об этом уже давно думаю. Почему в Европе нет холеры? Потому что там поют хором и занимаются утренней гимнастикой... И бубонной чумы тоже нет... И проказы...

Вернувшись в посольство, Пруденс вновь открыла «Панораму жизни» и начала писать: «Влюбленная женщина...»

— Женщина,— сказал мистер Юкумян.— Вот что надо Сету, чтобы он успокоился. Всюду сует свой нос. Послушайте меня, мистер Сил, если мы подыщем Сету женщину, наша модернизация пойдет как по маслу.

— На худой конец есть Фифи.

— Нет, мистер Сил, она ходила к нему, когда он был еще маленьким мальчиком. Вы не беспокойтесь. Я все устрою. В лучшем виде.

С тех пор как император ознакомился с книгами, присланными ему из Европы с последней почтой, его вмешательство в работу министерства становилось несноснее день ото дня. Хуже всего было то, что подготовка праздника противозачаточных средств отнимала немалю сил и нервов, причем император, несмотря на постоянно поступающие протесты, продолжал проявлять к празднику повышенный интерес. Площадка, которая должна была образоваться на месте снесенного англи-

канского собора, уже была, по его приказу, названа площадью Мэри Стопс [1].

— То ли еще будет, когда он изучит психоанализ,— мрачно заметил Бэзил, живо представив себе бульвар Крафта-Эббинга [2], авеню Эдипа и скатофиликов [3].

— Если в самое ближайшее время мы не найдем ему женщину, он изучит все современные науки,— сказал господин Юкумян.— Вот очередное письмо от наместника папы. Если заранее не заказать эти штуки из Каира, весь праздник пойдет насмарку. Но учтите, противозачаточные средства — не сапоги, съесть их нельзя, придется по назначению использовать.

Противников праздника набралось немало, и настроены они были весьма решительно. Возглавил оппозицию граф Нгумо, у которого имелось сорок семь братьев и сестер (правда, большинством из них, когда граф унаследовал титул, пришлось пожертвовать) и который был отцом более шестидесяти сыновей и бессчетного числа дочерей. Потомство было его гордостью и постоянным предметом хвастовства; достаточно сказать, что у себя при дворе граф специально держал семерых менестрелей, которые, когда Нгумо собирал друзей, пели застольные песни на эту тему. Находясь в расцвете сил и имея на своем счету столь громкие победы, он ощущал себя в преддверии праздника израненным воином в окружении пацифистов, его репутации был нанесен тяжкий удар, его блестящие заслуги замалчивались самым злостным образом. Нововведения императора подрывали основы существования земельной аристократии, и граф выразил общее мнение, когда, под одобрительное мычание своих соратников, пригрозил кастрировать всякого, кто посмеет в его владениях воспользоваться этими новомодными и нечестивыми приспособлениями.

Что же касается более утонченного столичного общества, которое объединилось вокруг виконта Боза и состояло из чернокожих космополитов, придворных, младших отпрысков знатных семейств и нескольких представителей загнивающей арабской интеллигенции, то оно, хотя и не было настроено столь агрессивно, как земельная аристократия, в принципе также выступало в поддержку Нгумо; столичная знать вяло обсуждала проблему контроля над рождаемостью в салоне мадам Фифи и в большинстве своем придерживалась той просвещенной точки зрения, что, разумеется, подобные «меры» всегда были им известны, однако рекламировать их нецелесообразно — в лучшем случае противозачаточные средства будут применяться средним классом. Так или иначе, мнение этих людей никогда не пользовалось популярностью среди простого населения, а потому их достаточно лояльная позиция едва ли могла склонить общественное мнение на сторону императора.

Церковь же не скрывала своего резко отрицательного отношения к противозачаточным средствам. Никто не мог обвинить несторианского патриарха в религиозном фанатизме (напротив, в карьере его преосвященства бывали случаи, когда с трудом удавалось избежать большого скандала), однако жизнелюбие сочеталось у него с безупречным служением Богу: человеческие слабости у патриарха могли быть, но теологические — никогда. Всякий раз, когда возникал богословский спор и требовалось его веское слово, патриарх с готовностью забывал про удовольствия и непреклонно отстаивал религию предков. Был случай, когда митрополит из Матоди объявил себя четвертой ипостасью Святой Троицы; в другой раз один приходский священник неверно истолковал богочеловеческую природу Христа; в провинции Мхомала распространилась нелепейшая ересь, будто у пророка Исаии были крылья и он жил на дереве; в Попо во время посвящения местного священника в сан

---

[1] Мэри Стопс (1880—1958) — английская исследовательница, сторонница контроля над рождаемостью.

[2] Рихард фон Крафт-Эббинг (1840—1902) — немецкий психоневролог.

[3] Скатофилия — патологическое влечение к манипуляции каловыми массами.

епископа несколько человек было принесено в жертву — по всем этим, а также по многим другим вопросам патриарх неизменно стоял на строго ортодоксальной позиции.

Когда же возникла проблема контроля над рождаемостью, его преосвященство вполне недвусмысленно дал своей пастве понять, какого ей следует придерживаться мнения. В качестве главы господствующей Церкви он созвал совет, на котором присутствовали верховный раввин, старейшина мормонов, а также представители всех имевшихся в империи вероисповеданий за исключением англиканского епископа, приславшего вежливый отказ, где говорилось, что, поскольку его прихожане — в основном англичане, которые знакомы, причем не понаслышке, с этой проблемой, а потому едва ли будут недовольны новой политикой императора, в его участии необходимости нет, однако он желает его преосвященству всяческих успехов на поприще защиты института семьи и очень просит за него помолиться. Епископ также писал, что с прогрессистами, которые угрожают снести англиканский собор, у него свои счеты и ему бы не хотелось переключаться на совсем другое дело, сколь бы благородным оно ему ни казалось.

После окончания совета патриарх составил энциклику, выдержанную в цветистом, высокопарном стиле, и разослал ее во все концы острова. Будь господствующая Церковь более влиятельной, праздник бы определенно не состоялся, однако, как уже говорилось, христианизация страны была еще настолько далека до своего завершения, что большая часть населения империи сохраняла, причем нередко совершенно открыто, свои старые вульгарные верования, в результате чего прогрессивную политику Сета поддержали, как это ни странно, жители деревень, туземцы.

Привлечь местных жителей удалось главным образом благодаря рекламе. В самые тяжелые дни, когда Сету казалось, что предрассудки его народа преодолеть невозможно, и даже Бэзил склонялся к тому, чтобы праздник отложить, среди книг, которые ежемесячно приходили императору из Европы, Сет обнаружил набор на редкость зажигательных советских плакатов. Поначалу казалось, что перепечатать их не удастся: в типографии «Курьера» копировальных станков не было. Сет уже подумывал о том, не использовать ли рабов для тиражирования его эскиза, но тут господин Юкумян вспомнил, что несколько лет назад один предприимчивый филантроп завещал ввести литографирование в программу американской баптистской школы. Как выяснилось, литографский станок, несмотря на все старания нерадивых учеников, уцелел. Господин Юкумян купил его у пастора и перепродал — с немалой выгодой для себя — отделу изящных искусств Министерства модернизации. Затем в армянской колонии Дебра-Довы — опять же не без помощи господина Юкумяна — был найден художник, который согласился сделать плакат по эскизу Сета. Плакат этот, предназначавшийся для неграмотных туземцев и превозносивший неоспоримые преимущества контроля над рождаемостью, получился большим, красочным и явился самым значительным достижением нового министерства. Господин Юкумян ходил в героях. Плакат расклеили по всей столице, он висел во всех нужниках по пути следования поезда «Матоди — Дебра-Дова», в особняках вице-королей и в хижинах туземных вождей, в тюрьмах и казармах, на виселицах и на деревьях джу-джу, под которыми творились заклинания. И где бы этот плакат ни висел, вокруг него всегда толпилась кучка любопытных, совершенно сбитых с толку азанийцев.

На плакате было два рисунка — один слева, другой справа. На левом рисунке изображалась старая, полуразвалившаяся хижина, забитая больными детьми разного возраста: тут были и увечные, и обезображенные, и слепые, и прыщавые, и полоумные; возле пустой миски сидел на корточках преждевременно состарившийся многодетный отец; в дверях, дробя мотыгой жалкую кучку зерна, стояла высохшая и согбенная от деторождения мать. Дом на правом рисунке, по контрасту, был

светлый и просторный; в комнате за столом сидела молодая мать и с аппетитом уплетала громадный кусок сырого мяса; рядом, покуривая кальян (который по-прежнему считался в стране признаком сытой, досужей жизни), расположился ее муж, а между ними, с газетой на коленях, сидел их единственный, пышущий здоровьем ребенок. Между этими двумя домами было во всех подробностях изображено ультрасовременное противозачаточное приспособление, под которым стояла подпись на сакуйю: А КАКОЙ ДОМ ВЫБИРАЕТЕ ВЫ?

Интерес этот плакат вызвал необычайный. Повсюду, во всех самых отдаленных уголках острова, азанийцы задумчиво качали своими курчавыми головами, тыкали в плакат черными пальцами и что-то лопотали, прищелкивая языком и скаля белые зубы. Смысл красивых новых картинок был понятен абсолютно всем:

«Видишь, справа — богатый человек, трубку курит, прямо как вождь. Но жена у него плохой, сидит мясо ест. И муж тоже плохой — только один сын имеет.

Видишь, слева — бедный человек, есть нечего. Но жена у него очень хороший, работает хорошо. И муж тоже хороший, одиннадцать детей имеет, один совсем сумасшедший — святой, значит. А посередине императорское джу-джу; захочет — будешь ты хороший человек, бедный человек, одиннадцать детей иметь будешь».

В результате, несмотря на протесты земельной аристократии и Церкви, туземцы начали со всей страны стекаться в город на праздник, с нетерпением ожидая, что благодаря новому колдовству они обретут невиданную потенцию и плодовитость.

«В очередной раз,— писал Бэзил в передовице «Курьера»,— простой народ империи отверг притязания предвзятого и корыстного меньшинства и единодушно откликнулся на призыв своего императора следовать по пути Прогресса и Новой Эры».

Спрос на «джу-джу императора» был столь велик, что за несколько дней до праздника господин Юкумян был вынужден срочно телеграфировать в Каир, чтобы прислали очередную партию противозачаточных средств.

Тем временем несторианский патриарх стал частым гостем французского посольства.

— Теперь с нами армия, с нами Церковь,— сказал мсье Байон.— Осталось только подыскать подходящую кандидатуру на королевский трон.

— Если хочешь знать мое мнение,— сказал как-то утром Бэзил вскоре после распространения плакатов,— самое трудное в нашей работе — это преданность короне.

— Господи, мистер Сил, что это вы такое говорите? За такие слова и отравить ведь могут. Что он на этот раз выдумал?

— Вот, полюбуйся.— И Бэзил вручил господину Юкумяну только что пришедшую из дворца бумагу:

«Прошу ознакомиться и принять необходимые меры. Мною решено упразднить следующее:

Смертную казнь
Брак
Язык сакуйю и все местные диалекты
Детскую смертность
Тотемизм
Варварскую жестокость
Заклад земельных участков
Эмиграцию

Пожалуйста, займитесь всем этим. А также организуйте систему резервуаров для снабжения города водой и набросайте план экзамена-

ционных программ для приема в корпорацию общественного обслуживания. Предлагаю в качестве обязательного языка ввести эсперанто. Сет».

— А все потому, что он читает книги, мистер Сил. Пока вы не найдете ему женщину, он вас в покое не оставит, и не надейтесь. Хоть бы пил, что ли...

Как вскоре выяснилось, заслуги министерства в деле контроля над рождаемостью возымели весьма неприятные последствия. Если раньше у Бэзила и мистера Юкумяна были основания сетовать на упрямство и прямолинейность своего повелителя, то теперь они страдали от противоположной крайности его характера. Казалось, фантазия Сета в момент наивысшего успеха уподобилась вулканическому озеру, которое, внезапно вздыбившись из-за извержения невидимых подземных вулканов, потемнело, закипело и вышло из берегов, растекаясь тысячью бурных потоков. Серьезный, довольно робкий молодой человек внезапно сделался капризным и импульсивным; в голове у него бурлили идеи, выходившие наружу в виде громких слов, теорий и обрывков знаний, плохо понятых и самым фантастическим образом истолкованных.

— Если император свихнется, нам с тобой не поздоровится.

— Господи, мистер Сил, вы говорите ужасно опасные вещи.

Во второй половине дня Бэзил отправился во дворец обсудить новые планы императора.

— А-а, вы по поводу списка? Кажется, я послал вам его сегодня утром? Но тут обсуждать нечего, все вопросы я предоставляю решать вашему министерству в рабочем порядке. Только, пожалуйста, поскорее... Сегодня я вызвал вас совсем по другому поводу. Речь идет о нашем музее.

— Музее?!

— Именно, должен же у нас быть свой музей. Я тут набросал кое-какой план. Самая серьезная проблема — это помещение, ведь музей необходимо открыть до приезда комиссии от Общества защиты животных. Комиссия будет здесь в начале следующего месяца. Времени на строительство специального здания у нас, стало быть, нет. Лучше всего было бы конфисковать под музей один из городских дворцов. Дворцы Нгумо или Боза вполне подходят — их и перестраивать, по существу, не придется. Но этот вопрос решит министерство. На первом этаже будет отдел естественной истории. Вы соберете всю флору и фауну империи: львов, бабочек, птичьи яйца, образцы деревьев и так далее. Эти экспонаты займут весь первый этаж. Я где-то прочел о вентиляции,— с серьезным видом добавил Сет.— Это очень важно. Воздух в стендах необходимо регулярно обновлять: примерный расход воздуха — один кубический метр в час, иначе экспонаты будут портиться. Обязательно самым внимательным образом за этим проследите. На втором этаже разместятся антропологический и исторический отделы: народное творчество, изделия португальцев и арабов, небольшая библиотека. А в главном зале будут выставлены реликвии королевской семьи. У меня в спальне под кроватью хранятся в сундуке медали Амурата, а также мои собственные вещи: фотографии, мундиры, оксфордские шапочка и мантия, макет Эйфелевой башни, который я привез из Парижа. Я также готов пожертвовать музею образцы своего почерка. Словом, музей должен получиться очень интересный.

В течение нескольких дней господин Юкумян занимался сбором экспонатов. По городу прошел слух, что Министерство модернизации покупает у населения вещи, представляющие историческую ценность, и вскоре работа министерства была фактически парализована, ибо у входа в здание и внутри толпились люди с разным цветом кожи, которые торговали медными горшками и бусами из резного ореха, змеями в корзинах и обезьянами в клетках, сукном из коры и японским хлопком, ритуальными чашами, выкраденными из церкви несторианскими дьяч-

ками; дубинками из дерева и железа, безыскусными домашними божками; потемневшими от солнца человеческими скальпами, сорочками новорожденных, пуповиной, чудодейственными осколками метеорита, амулетами, чтобы отвести от верблюдов дурной глаз; масонским фартуком мсье Байона, который украл у него дворецкий, и даже гигантских размеров каменным фаллосом, вывезенным из храма на трех мулах. Господин Юкумян бойко торговался и покупал почти все, что ему предлагали, после чего перепродавал купленное Министерству изящных искусств, директором которого Бэзил его назначил. Однако когда во время следующей аудиенции Бэзил доложил императору о проделанной работе, тот лишь вяло кивнул и, сняв колпачок с авторучки, чтобы подписать приказ, лишающий графа Нгумо его городской резиденции, заговорил о чудесах астрономии:

— Вы представляете себе размеры звезд? Оказывается, они огромны. Я прочел в одной книге, что расстояние от Земли до звезд столь велико, что у человека от этих цифр голова идет кругом. Я не знал этого выражения «голова идет кругом». Я должен немедленно создать Институт астрономических исследований. Мне нужны профессора. Телеграфируйте в Европу. Раздобудьте мне первоклассных профессоров. Самых лучших.

Но на следующий день он увлекся эктогенезом.

— Я прочел здесь,— сказал он, похлопав рукой по тому теоретической биологии,— что деторождения теперь больше не будет. Яйцо оплодотворяется в лаборатории, а затем плод выращивается в бутылках. Великолепная идея. Достаньте мне несколько таких бутылок... Чтобы у всех головы шли кругом.

Даже говоря на интересующую его тему, Сет часто отвлекался и задавал совершенно неожиданные вопросы: «Сколько стоит автожир?», или «Объясните мне, пожалуйста, что же такое все-таки сюрреализм?», или «Вы убеждены в невиновности Дрейфуса?», а затем, не дожидаясь ответа, вновь принимался строить далеко идущие планы...

Эти дни господин Юкумян летал, как на крыльях: в приобретении музейных экспонатов он нашел себе дело, в котором у него уже был немалый опыт. Имея на руках приказ о выселении без возмещения убытков, он вел бесконечные переговоры с графом Нгумо и виконтом Бозом; он покупал и перепродавал, торговался, завышал и занижал цены, ел и спал на антиквариате сомнительной ценности. Что же касается Бэзила, то усталость от борьбы во имя Прогресса начинала сказываться. Единственной отдушиной в его суматошной жизни были короткие верховые прогулки с Пруденс по выжженным горным тропкам да тайные свидания, которые могли прерваться в любой момент, если Сету почему-то придет в голову вызвать его во дворец.

— Иногда мне кажется, что этот проклятый император травит тебя каким-то медленным ядом. Он же на все способен,— сказала Пруденс.— Выглядишь ты чудовищно.

— Ты не поверишь, но мне не хватает Коннолли. Общаться с Сетом и Юкумяном — не самое большое удовольствие.

— А со мной? — спросила Пруденс.— Про меня ты забыл?

— Ты — фантастическая девушка, Пруденс. Как говорит Сет, «первый класс». Но если бы ты знала, как я устал!

Неподалеку посольский конюх с мрачным видом разгонял хлыстом целую армию муравьев, а по камням и глинистому склону высохшего ручья беспокойно били копытами пони.

Прошло еще два дня, и на Министерство модернизации обрушился самый страшный удар. В то утро в министерстве, как всегда, кипела работа: господин Юкумян беседовал с каким-то арабом с побережья, который уверял его, что располагает «очень старыми, очень подлинными» португальскими рукописями, а Бэзил, с трубкой в зубах, изучал последнее постановление императора: «Высшей знати предписывается в обязательном порядке носить перчатки и соломенные шляпы»,— как вдруг

с совершенно незапланированным и крайне нежелательным визитом явился некто мистер Джеггер, подрядчик, отвечающий за снос англиканского собора. Это был приземистый добродушный британец, который после ряда неудач в Кейптауне, Момбасе, Дар-эс-Саламе и Адене добрался до Дебра-Довы, где и осел, беря мелкие подряды в гавани и на железной дороге. Протиснувшись между предметами старины, которых в кабинете Бэзила с каждым днем становилось все больше, и сняв со стула клетку с болезненно нахохлившимся ястребом, Джеггер сел, в нерешительности оглядываясь по сторонам.

— Со мной эти фокусы не пройдут, мистер Сил,— с вызовом сказал он.— Говорю вам об этом совершенно прямо и готов то же самое повторить кому угодно — хотя бы даже самому императору!

— Мистер Джеггер,— веско возразил Бэзил,— вы не первый день живете в этой стране и должны понимать, что говорите опрометчивые вещи. За такое ведь и отравить могут. У вас неприятности?

— Вот мои неприятности.— И Джеггер, порывшись в нагрудном кармане, откуда торчали карандаши и складные линейки, вытащил листок бумаги и положил его на стол рядом с выложенным мозаикой портретом покойной императрицы — последним приобретением директора Министерства изящных искусств.— Что это такое, а? Что это такое, я вас спрашиваю?

— В самом деле, что это? — переспросил Бэзил и, взяв со стола листок, внимательно его рассмотрел.

По размеру, форме и на ощупь листок напоминал английский пятифунтовый банкнот, с обеих сторон разрисованный красной и зеленой краской. Чего тут только не было: и азанийский орел, и карта империи, и солдат в форме императорской гвардии, и аэроплан, и традиционная фигура с рогом изобилия. Однако на самом видном месте красовался медальный профиль Сета в цилиндре и во фраке. Посредине вычурным шрифтом было выведено ПЯТЬ ФУНТОВ, а сверху протянулась еще одна надпись: ИМПЕРАТОРСКИЙ БАНК АЗАНИИ, под которой была воспроизведена личная подпись Сета.

В столице и на побережье торговля велась на индийские рупии, хотя имели хождение также восточноафриканские шиллинги, французские и бельгийские колониальные франки, талеры Марии Терезии; в глубине же острова вместо рупий и франков расплачивались каменной солью и патронами.

— Это что-то новое,— сказал Бэзил.— Интересно, в курсе ли казначейство? Господин Юкумян, можно вас на минутку?

Директор министерства изящных искусств и Верховный казначей вышел из-за перегородки, на ногах у него были черные бумажные носки, а в руках он держал только что приобретенный макет парусника.

— Нет, мистер Сил,— заверил верховного комиссара господин Юкумян,— я такое в первый раз вижу. Откуда у джентльмена эти бумажки?

— Этими бумажками император только что расплатился со мной за неделю работы. Тут у меня их целая пачка. Объясните мне, что означает «Императорский банк Азании»? Сколько живу в этой стране — никогда ничего подобного не видел. Что-то тут нечисто. Вы думаете, так просто ломать этот собор, мистер Сил? Такой работы врагу не пожелаешь. Шутка ли, цельный гранит из Абердина! Одна кафедра проповедника весит семь с половиной тонн. Сегодня утром, когда купель на грузовик грузили, двое моих ребят покалечились. Одного — в лепешку расквасило. А император еще фальшивые деньги мне всучить норовит. Да какое он имеет право...

— Заверяю вас, мистер Джеггер,— с достоинством сказал Бэзил,— что впредь вы можете полагаться на исключительное благородство и честность его величества. Что же касается этого казуса, то я непременно наведу справки.

— Надеюсь, вы на меня не в обиде,— уходя, сказал Джеггер.

Бэзил, повернувшись к окну, проводил подрядчика глазами, а потом встал и сдернул со старинной раковины свой тропический шлем.

— Что этот черномазый псих теперь выдумал? — воскликнул он и побежал во дворец.

— Ох, мистер Сил, ваш язык не доведет вас до добра,— крикнул господин Юкумян ему вдогонку.

Император принял Бэзила с исключительным радушием.

— Входите, входите,— сказал он, вставая ему навстречу.— Хорошо, что пришли. Не знаю, как быть с Nacktkultur[1]. Четыре недели я убил на то, чтобы провести в жизнь закон, предписывающий государственным чиновникам обязательное ношение брюк, а теперь вот вычитал, что, оказывается, более современно вообще ходить без штанов.

— Сет, что означает «Императорский банк Азании»?

Император немного смутился:

— Я так и думал, Сил, что вы зададите мне... Понимаете, собственно говоря, никакой это не банк... Это я сам... Сейчас покажу.

Сет подвел Бэзила к высокому, занимавшему полстены шкафу и открыл его. Все десять полок были забиты какими-то пачками, издали похожими на обыкновенную писчую бумагу.

— Что это такое?

— Здесь почти три миллиона фунтов,— с гордостью сказал император.— Маленький сюрприз. Мне это в Европе сделали.

— Но ведь это невозможно.

— Возможно, очень даже возможно. Все было очень просто. Например, на этой полке сложена бумага для тысячефунтовых банкнотов. Теперь, когда печатная форма готова, можно напечатать сколько угодно бумажных денег — и стоить это будет совсем недорого. Понимаете, дел у меня невпроворот, а вот рупий не хватает. Вот я и решил... Не сердитесь, Сил. Хотите, я вам тоже дам...— И Сет сунул Бэзилу в руку пачку пятерок.— И господину Юкумяну передайте. По-моему, я неплохо получился, а? Не знал, как лучше — в цилиндре или без. А на пятидесятифунтовых банкнотах я в короне.

Бэзил попробовал было возражать, но вскоре понял, что спорить бесполезно.

— Я знал, что вы меня поймете,— сказал император.— Это ведь так просто. Кончится эта бумага — пошлем за следующей. А завтра вы мне дадите совет, как быть с Nacktkultur, хорошо?

Из дворца Бэзил вернулся ужасно усталый.

— Остается только надеяться, что во дворце вспыхнет пожар и все эти фальшивые деньги сгорят.

— Надо как можно быстрее поменять их,— сказал господин Юкумян.— Я знаю одного китайца, он до того глуп, что возьмет их у нас. А если хотите, Министерство изящных искусств может приобрести эти деньги по номинальной цене для исторического отдела.

В тот день Бэзил окончательно разуверился в нерушимости Одно-летнего плана.

6

Леди Милдред Порч — своему мужу.
Борт парохода «Президент Карно»
Матоди
8 марта

Дорогой Стенли,

пишу тебе перед выходом на берег. Это письмо будет опущено в Марселе, и ты получишь его, насколько я понимаю, числа семнадцатого, не позже. Как я уже писала тебе из Дурбана, мы с Сарой решили на

---

[1] Культура обнаженного тела *(нем.)*.

обратном пути побывать в Азании. Английский пароход здесь не останавливается, поэтому в Адене нам пришлось пересесть на французский. Грязь жуткая, команда — хуже некуда. До меня дошли весьма неблагоприятные сведения о том, как охотятся в Азании. Я слышала, что туземцы выкапывают глубокие ямы, куда падают бедные звери; часто в этих капканах животных держат по нескольку дней без еды и питья (представь, каково это им в тропическую жару!), а затем безжалостно, зверски убивают. Конечно, я понимаю, с этих бедных, невежественных людей спрос невелик, но ведь юный император, говорят, человек вполне просвещенный, прекрасно образованный, и я уверена, что он сделает все возможное, чтобы этих несчастных животных убивали — если их вообще следует убивать, в чем лично я сильно сомневаюсь — более гуманными методами. В Азании мы намереваемся провести недели две. Вкладываю в письмо чек на домашние расходы. В своем последнем письме ты пишешь, что пришел огромный счет за отопление,— пожалуйста, следи, чтобы прислуга в мое отсутствие не тратила уголь понапрасну. В это время года в первой половине дня совершенно не обязательно топить камин в столовой.

Любящая тебя
Милдред

Из дневника леди Милдред Порч

8 марта

12.45 — сошли на берег. Матоди. Все непривычно, гадкий запах. Состояние мулов и собак чудовищное, детей — тоже. Несмотря на радиограмму, английский консул нас не встретил. Какой-то вполне цивилизованный туземец отвел нас к себе в контору. Дала туземцу «на чай» пять анн. Консул — никакой не англичанин. Скорее грек. Очень нелюбезен (вероятно, пьет). Не может (или не хочет) сказать, когда отходит поезд в Дебра-Дову и можно ли купить билеты в спальный вагон. Дали телеграмму в посольство. Отель «Амурат». Не отель, а форменный кабак. Повсюду пьяные. Пожаловались. Мой номер большой, с видом на море, как будто бы довольно чистый. У Сары опять головная боль. Жалуется, что ее номер выходит на улицу. Я: «Что вы, вполне уютная комнатка».

9 марта

Про поезд ничего не слышно. Сара недовольна комнатой. Видела миссионера-католика. Бестолковый. Типично южное отношение к животным. Американские баптисты: бестолковые мещане, к тому же не говорят ни слова на местном наречии. Посольство молчит. Дали вторую телеграмму.

10 марта

Поезда нет. Опять телеграфировали в посольство. Бестолковый ответ. Сегодня кормили собачек на рыночной площади. Дети пытались отобрать у собачек пищу. Прожорливые паршивцы. У Сары никак не проходит голова.

11 марта

Сегодня управляющий отелем неожиданно объявил, что поезд отходит в полдень. Вероятно, все это время поезд был здесь. Сара ужасно медленно собирается. Принесли счет — грабеж средь бела дня. Посреди дороги на станцию — сломанный грузовик. Там живут туземцы. И две козы. На вид козы здоровы, но жить бок о бок с туземцами им вредно. Последние четверть мили до вокзала пришлось идти пешком. Боялись опоздать. Пришли за пять минут до отхода. Билеты есть — спального вагона нет. Оч. жарко, оч. устали. Поезд отошел только в три. Вечером сошли в Лумо — здесь, по-видимому, придется ночевать. Приняли душ, переоделись. Постельное белье доверия не внушает. Слава Богу, что не

забыли купить в Дурбане дезинфицирующие порошки! Рассказ управляющего отелем, француза, о местных нравах. Любопытно. Оказывается, прошлым летом здесь была настоящая гражданская война. Читай наши газеты после этого! Новый император оч. энергичен. Его советник — англичанин Сил. Не родственник ли это Цинтии Сил? Кажется, управляющий не очень-то доверяет правительству. Туземцы, говорит, абсолютные дикари, но работорговля, если я правильно поняла, запрещена.

12 марта

Всю ночь не сомкнула глаз. Искусана вся. Чудовищный счет. А я-то думала, управляющий — приличный человек. Объяснил, что плохо со снабжением. Жулик. Поезд отошел в семь утра. Сара чуть не опоздала. В вагоне два туземца. На вид вполне цивилизованные, но оч. неуютно: нет коридора и рано выехали. Утомительная дорога. Выжженная земля. В Дебра-Дове — только под вечер. И на том спасибо.

Когда леди Милдред Порч и мисс Сара Тин сошли с поезда на вокзале в Дебра-Дове, их вполне можно было принять за сестер — так сблизили их общность интересов и постоянные совместные путешествия. Леди Милдред была довольно полной, а мисс Тин — довольно худой. В остальном же дамы были неразличимы: широкополые клеенчатые шляпы цвета хаки, прочные, ноские платья, чулки, туфли на толстой подошве, дымчатые очки, упрямые подбородки. Обе крепко сжимали в руках, дабы спасти от посягательств многочисленных портье, одинаковые кожаные чемоданчики с одинаковым содержимым: письменными принадлежностями, моющими средствами, дезинфицирующими средствами, средствами против насекомых, книгами, паспортом, аккредитивом.

— Леди Милдред Порч? Мисс Тин? — приветливо сказал Уильям, протолкавшись к вагону.— Здравствуйте! Очень рад, что вы благополучно добрались. Я из посольства. К сожалению, посол не смог приехать сам. Он очень занят и попросил меня встретить вас. У вас есть багаж? Я на машине — могу отвезти вас в отель.

— В отель? Но я думала, мы остановимся в посольстве. Я же дала из Дурбана телеграмму.

— Да, да, посол просил меня разъяснить вам ситуацию. Дело в том, что посольство находится за городом. Дорога плохая. Добираться до Дебра-Довы и обратно — целая история. Поэтому посол счел, что в городе вам будет гораздо удобнее. Ближе к животным и все прочее. В то же время посол надеется, что, если только у вас будет время, вы как-нибудь заглянете к нам на чашку чая.

Во взглядах, которыми обменялись леди Милдред и мисс Тин, Уильям прочел хорошо знакомое ему ущемленное национальное достоинство — у всех соотечественников, которых он встречал в Дебра-Дове, делалось точно такое же выражение лица.

— Значит, так,— сказал он.— Сейчас я пойду поищу ваш багаж, а то его по дороге и украсть могли — здесь это бывает. Заодно и посольскую почту заберу. В Азании ведь «экспресс-доставки» нет. Если в поезде не едут европейцы, то за почту отвечает охрана. Мы хотели дать вам телеграмму, чтобы вы сами присмотрели за корреспонденцией, а потом решили, что у вас и своего багажа хватает.

Когда Уильям погрузил в свой маленький двухместный автомобиль мешки с посольской почтой и обеих дам, выяснилось, что места для багажа не хватает.

— Уж вы простите,— сказал Уильям,— но, боюсь, нам придется оставить этот чемодан на вокзале. Из отеля тут же приедут и его заберут, вы не беспокойтесь.

— Скажите честно, молодой человек, вы приехали на вокзал за нами или за вашей почтой?

— Даже не знаю, что вам ответить,— сказал Уильям.— Ну, поехали.— И забитый до отказа автомобильчик, запрыгав по ухабам, покатил в город.

— И здесь мы будем жить?! — поинтересовалась мисс Тин, когда машина подъехала к Grand Café et Hotel Restaurant de l'Empereur Seth.

— Да, вид у этой гостиницы довольно затрапезный,— признал Уильям,— но по части комфорта ей нет равных.

Они вошли в темный коридор, спугнув при этом индейку со всем ее выводком.

— Эй, кто-нибудь! — позвал Уильям и позвонил в лежавший на стойке администратора колокольчик.

— Иду! — раздался голос сверху.— Одну минуточку.— И в приемную, на ходу застегивая брюки, спустился господин Юкумян.— А, мистер Бленд. Здравствуйте, сэр, как поживаете? Сегодня днем я получил письмо посла насчет дороги, но ответить мне ему, к сожалению, нечего. Император сейчас очень занят...

— Эти дамы будут у вас жить. Дамы очень знатные — поэтому, пожалуйста, поселите их со всеми удобствами.

— Все устроим в лучшем виде,— заверил Уильяма господин Юкумян.

— Уверен, что вам здесь понравится,— сказал Уильям.— И надеемся увидеть вас в самое ближайшее время у нас в посольстве.

— Одну минуточку, молодой человек. Я хотела бы задать вам несколько вопросов.

— Все устроим в лучшем виде,— повторил господин Юкумян.

— Да, по всем вопросам обращайтесь к господину Юкумяну. Он гораздо лучше меня все здесь знает. А я поеду, а то в посольстве, наверно, почты уже заждались.

— Наглый щенок,— сказала леди Милдред, когда машина уехала.— Когда вернусь, обязательно сообщу о нем в министерство иностранных дел. А Стенли сделает запрос в парламенте.

В английском посольстве день почты. Сэр Самсон и леди Кортни, Пруденс и Уильям, мистер и миссис Легг, мистер и миссис Анстрадер сидят у камина и разбирают почту. На полу разбросаны счета, продукты, письма родственников, официальные депеши, пластинки, газеты.

— Угадайте, с кем сегодня я столкнулся на вокзале. Помните двух грымз из Общества защиты животных, которые засыпали нас телеграммами?

— Только их нам не хватало. И куда же вы их пристроили?

— Забросил к Юкумяну. Они, разумеется, хотели жить здесь.

— Не дай Бог! Надеюсь, они скоро уедут. Надо будет, наверно, позвать их как-нибудь к чаю, как вы считаете?

— Да, я сказал, что вы будете рады их видеть.

— Ну, это вы, положим, погорячились.

— По-моему, они не восприняли мои слова всерьез.

— Будем надеяться.

12 марта (продолжение)

В Дебра-Дову приехали только к вечеру. Нас встретил невоспитанный хам из посольства — оставил на вокзале чемодан Сары. Привез в жуткий отель. Владелец — армянин, впрочем, оч. предупредителен. Сам поменял нам фунты на местные деньги, так что в банк идти не пришлось. На банкнотах портрет императора в цилиндре и во фраке — вид, надо сказать, довольно нелепый. После обеда приходил мистер Сил. Он — сын Цинтии. Молод, вид измученный, держится развязно. Оч. устали и рано легли.

В тот вечер на стол мсье Байона лег рапорт следующего содержания: «Сегодня прибыли две англичанки весьма подозрительного вида. Встречены на вокзале мистером Блендом. Отвезены к Юкумяну».

— За ними следят?

— Постоянно.

— Багаж?

— Один чемодан остался на вокзале. Мы его обыскали, однако ничего подозрительного не обнаружили. Все свои бумаги они держат в маленьких кожаных чемоданчиках, с которыми никогда не расстаются.

— Ушлые бестии — сразу видно. Сэр Самсон подтягивает резервы.

13 марта, воскресенье

О чемодане Сары ни слуху ни духу. Сегодня ходили в англиканский собор, но, оказывается, его сносят. Служба в гостиной епископского дома. Бедные прихожане. Оч. глупая проповедь. Разговор с епископом о защите животных. Никакого толку. Старый прохвост. Были во дворце — расписались в книге посетителей. Сара слегла. Город переполнен — похоже, идет подготовка к какому-то местному празднику. Спросила об этом епископа, но он не знает. Вид при этом смущенный. Спросила господина Юкумяна. Либо он не понял вопроса, либо я не поняла, что он мне ответил. Уточнять не стала. По-английски он говорит неважно, зато услужлив.

14 марта

Жуткая ночь. В сетке москиты, в постели оч. большие рыжие клопы. Встала чуть свет, долго гуляла в горах. Встретила странного вида караван: барабаны, копья и т. д. Чемодан Сары как сквозь землю провалился.

На небольшую кавалькаду, незаметно выехавшую в тот день из города, обратила внимание не только леди Милдред. Впрочем, слово «незаметно» в данном случае едва ли уместно, ведь отряд состоял из полутора десятков рабов, которые бежали впереди; за рабами следовала вереница вьючных мулов, за мулами скакали, по двое в ряд, двадцать всадников с копьями наперевес, за всадниками маршировала рота императорских гвардейцев, а замыкал шествие оркестр — оркестранты ехали верхом, дули в длинные восьмифутовые трубы и били в барабаны из дерева и воловьей кожи. В середине процессии, верхом на муле, на бархатной, шитой серебром попоне, восседала тучная фигура, замотанная в шелковую шаль: это был граф Нгумо, он путешествовал инкогнито по делу чрезвычайной важности.

— Нгумо сегодня покинул город. Интересно знать, с какой целью.

— Думаю, графу просто все осточертело, мистер Сил. Я ведь в субботу забрал под музей его дом. Едет, наверное, в свои родовые поместья.

— Какие к черту родовые поместья! В городе по-прежнему стоят лагерем пятьсот человек его личной охраны. К тому же он поехал по дороге на Попо, а его поместья находятся в противоположном направлении.

— Черт с ним, мистер Сил. Лишь бы не было никакой заварушки.

О причине отъезда графа в столице знали только трое: мсье Байон, генерал Коннолли и несторианский патриарх. В субботу вечером они обе́дали во французском посольстве, и после обеда, когда мадам Байон и Черномазая перешли в гостиную поговорить о шляпках и женских болезнях, а в узких бокалах запенилось шампанское, патриарх с торжественным видом посвятил присутствующих в государственную тайну.

— Это произошло еще во времена недоброй памяти Горгия, моего

предшественника,— начал его преосвященство,— и сообщили мне об этом лишь после моего рукоположения, да и то под таким большим секретом, что только глубокая личная обида побуждает меня вам эту тайну раскрыть. Речь идет о бедном малютке Ахоне. Я говорю «бедный малютка», хотя сейчас ему, если только он еще жив, никак не меньше девяноста лет — меня, во всяком случае, он гораздо старше. Как вам известно, Ахон был сыном Амурата Великого, и принято считать, что его, когда он охотился с мужем своей сестры в горах Нгумо, загрызла львица. Так вот, господа, все это ложь. На самом же деле по приказу его сестры и патриарха Горгия несчастного юношу напоили, отвезли в монастырь святого Марка Евангелиста и там заточили.

— Да это же крайне важно! — вскричал мсье Байон.— Он еще жив?

— Кто знает? Откровенно говоря, сам я в монастыре святого Марка Евангелиста никогда не был. Настоятель, увы, впал в ересь, согласно которой души, попадая в ад, женятся и производят на свет леших. Хуже всего то, что он упорствует в своем заблуждении: недавно я отправил туда епископа Попского, чтобы тот его образумил, но этого доброго человека забросали из-за монастырской ограды камнями.

— А они отпустят пленника, если приказ об освобождении подпишете вы?

— Мне тяжко признаваться в своем бессилии, господа, но боюсь, что нет. Тут без денег никак не обойтись.

— Пусть настоятель назовет свою цену. Ахон должен быть здесь, в столице. Тогда мы сможем нанести удар.

Вновь наполнились бокалы с шампанским, и, прежде чем перейти в гостиную, мсье Байон напомнил своим гостям о серьезности создавшегося положения:

— Господа, сегодня важнейший вечер в истории Восточной Африки. Будущее этой страны, а возможно, и наша с вами жизнь, целиком зависят от того, сумеем ли мы сохранить в строжайшей тайне назначенную на понедельник экспедицию графа Нгумо.

Как только гости ушли, мсье Байон собрал своих подчиненных и сообщил им о последних событиях, которые еще до рассвета были переданы в Париж. По дороге домой Коннолли прямо в машине сообщил обо всем Черномазой:

— Но учти, детка, это пока тайна, поэтому, смотри, держи свой длинный язык за зубами!

14 марта (продолжение)

Дезинфицирующие таблетки, естественно, испортились — пошла в магазин при гостинице купить другие. Встретила местную герцогиню — говорит по-английски. Обещала помочь насчет клопов. Пошла к ней домой за клопомором ее собственного изготовления. Угостила меня чаем с печеньем. Оч. интересный разговор. Оказывается, император завладел троном незаконно. Засадил своего старого дядю за решетку. Сейчас его поехали освобождать. Оч. романтично — надо надеяться только, что и новый император проявит такую же гуманность к животным.

15 марта

Ночь прошла лучше. Клопомор герцогини действует оч. хорошо, только запах жуткий. Получили приглашение на обед во дворце, кот. состоится сегодня вечером. Приглашение приняла, хотя могли бы потрудиться послать его заранее. Решила — так будет лучше для нас обеих. Если чемодан Сары не найдется, ей будет не в чем пойти.

Впервые после восшествия Сета на престол во дворце принимали гостей из Европы. По этому поводу министр модернизации был утром вызван к императору для составления приглашений и меню.

— Общество в основном будет азанийское. Я хочу, чтобы англичанки убедились, как мы благовоспитанны. Не знаю только, звать ли виконта Боза? Что скажете? Он не напьется?.. А еще я хотел посоветоваться с вами насчет меню. Я где-то вычитал, что теперь блюда называются «витаминами». Вот, взгляните, как я составил меню. Будет хороший, современный, европейский обед. Что скажете?

Бэзил взглянул на список блюд. Еще месяц назад он мог бы внести ряд исправлений. Но теперь ему все надоело.

— Прекрасно, Сет. Продолжайте в том же духе.

— Вот видите,— с гордостью сказал император,— мы, азанийцы, уже кое-что умеем. Скоро сможем обходиться без Министерства модернизации. Нет, нет, не поймите меня превратно, Бэзил. Вы-то всегда будете моим другом и советчиком.

И список блюд первого званого обеда при дворе императора Сета отправился в типографию «Курьера», откуда вернулся в виде толстой пачки меню: золотое тиснение, шелковые ленты цвета азанийского национального флага, а сверху посередине выбита золотая корона.

15 марта

Банкет в честь Общества защиты животных
(Великобритания)
Меню:

Витамин А
Сардины в банке
Витамин Б
Жареная говядина
Витамин В
Жареные молочные поросята
Витамин Г
Горячая баранина с луком
Витамин Д
Индейка со специями
Витамин Е
Сладкий пудинг
Витамин Ж
Кофе
Витамин З
Варенье

— Это так по-английски,— пояснил Сет.— В знак уважения к вашей великой империи.

В восемь часов вечера леди Милдред и мисс Тин прибыли во дворец. Электростанция в тот вечер работала, и над парадным входом, будто на Рождество, протянулась гирлянда разноцветных лампочек. На ступеньках был расстелен кусок до блеска вымытого линолеума, и, когда подъехало такси, десятка полтора слуг бросились к машине, чтобы проводить почетных гостей в вестибюль. Одеты слуги были по-разному: одни — в военную форму, обшитую золотыми галунами, которые были либо подобраны ими в пустых комодах, либо украдены у заезжих дипломатов; другие — в народные костюмы из полосатого шелка. Когда дамы вышли из машины, выстроившийся на ступеньках взвод бравых гвардейцев испугал их своим зычным приветствием.

В этот момент возникла некоторая заминка, поскольку таксист наотрез отказался брать новенький фунтовый банкнот, которым попыталась расплатиться с ним леди Милдред. Но тут на помощь почтенной даме пришел капитан гвардейцев. Звеня шпорами, он сбежал с крыльца и прекратил возникший было спор, арестовав шофера, после чего скупым, но красноречивым жестом дал понять, что очень сожалеет о случившемся и, будь его воля, повесил бы смутьяна на месте.

Главный зал был ярко освещен, почти все представители высшего света Азанийской империи были уже в сборе. Одним из первых декретов новой власти явилось обязательное ношение европейских вечерних туалетов, и сегодня такая возможность представилась столичной публике впервые. В разных концах зала маячили понурые фигуры государственных сановников, которых господин Юкумян в изобилии обеспечил фраками, белыми перчатками, крахмальными сорочками и эмалевыми запонками; лишь у нескольких мужчин отсутствовали туфли и носки; непривычная одежда придавала внешнему виду гостей горделивую непреклонность. Что же касается дам, то они по большей части остановили свой выбор на довольно рискованных, густо-зеленых и фиолетовых туалетах, украшенных блестками и страусовыми перьями. Виконтесса Боз была в новом, только что прибывшем из Каира платье с голой спиной, а также во всех фамильных драгоценностях; на курчавой головке герцогини Мхомалы красовалась трехфунтовая диадема из золота и гранатов; баронесса Батулле демонстрировала гостям холеные плечи и спину — искусно татуированные и щедро изрисованные.

На фоне всего этого великолепия почетные гостьи смотрелись довольно скромно. Гофмейстер двора провел англичанок по залу, представляя их собравшимся на французском языке, на котором он изъяснялся немногим лучше леди Милдред.

В толпе сновали, разнося на подносах бренди, двое рабов. От бренди англичанки наотрез отказались, что привело гофмейстера в некоторое недоумение — может быть, дамы предпочитают виски? Если так, то это можно организовать. Или пиво?

— Mon bon homme,— одернула его леди Милдред,— il vous faut comprendre que nous ne buvons rien de tout, jamais [1]; после чего ее и мисс Тин сразу же зауважали: внешний вид обеих дам оставлял желать лучшего, это верно, зато они, по-видимому, знали что-то такое, о чем азанийцы и не догадывались. «С такой женщиной хорошо вместе путешествовать»,— подумал гофмейстер и учтиво осведомился, берут ли в Англии лошадей или верблюдов в приданое.

Тут, однако, разговор прекратился, ибо в зал из дальней двери вошел император и сел на трон, неприметно стоявший на возвышении. Дворцовый этикет находился еще в стадии формирования, и поэтому, когда монарх опустился на трон, в зале воцарилась напряженная тишина — никто не знал, как себя вести. Но вот Сет что-то шепнул своему конюшему, который направился к почетным гостьям и подвел их к императору. Дамы сделали реверанс и отступили в сторону, наблюдая за тем, как мимо трона, в строгом соответствии с табелью о рангах, прошествовали остальные приглашенные. Многие отвешивали по-восточному низкие поклоны, поднося руку сначала ко лбу, а потом к груди, а некоторые гости, причем обоего пола, в подражание англичанкам, тоже делали реверанс. Один убеленный сединами вельможа, приверженец старинных обычаев, повалился перед троном на пол и начал посыпать голову пеплом. Когда же все, каждый на свой лад, приветствовали императора, Сет встал и направился к накрытому столу, а гости бросились за ним и стали, без особых церемоний работая локтями, занимать места. Леди Милдред и мисс Тин посадили по обеим сторонам от императора, и вскоре все начали с невероятной скоростью есть и пить.

15 марта (продолжение)

Обед во дворце. Оч. невкусно. Сплошное мясо — жирное, переперченное. Ела через силу — исключительно из вежливости. Сара к еде не притронулась. Император засыпал меня вопросами, на некоторые я ответить не смогла: «Сколько костюмов у английского короля?», «Он принимает ванну до завтрака или после? А что считается более культур-

[1] К вашему сведению, голубчик, мы ничего и никогда не пьем *(франц.)*.

ным?», «В каком магазине лучше всего купить артезианский колодец?», и т. д. Сара весь вечер промолчала. Я рассказывала императору про совместное обучение и школьную дисциплину. Слушал с большим интересом.

Соседом, сидевшим справа от леди Милдред, оказался тот самый вельможа, который по старинке распластался перед троном в гостиной. Со стороны казалось, что он поглощен едой, на самом же деле старик лихорадочно повторял заученные им еще с утра английские фразы. Наконец, набравшись смелости и подняв от тарелки свое огромное бородатое лицо, он выпалил:

— Сколько мул ты имел? Сколько сын? Сколько дочь? Сколько брат? Сколько сестра? Мой отец пал в бою.

Леди Милдред бросила на него испуганный взгляд. В седой бороде старика застряли куски мяса.

— Что, простите? — переспросила она.

Но вельможа свое дело сделал. Он счел, что и так сказано больше, чем в таких случаях полагается, и, по правде говоря, сам был несколько ошарашен беглостью сымпровизированной английской речи, а потому, нервно улыбнувшись леди Милдред, вновь принялся за еду и больше уже к своей соседке не обращался.

— Из этих двух белых женщин ты бы какую взял?

— Толстую. Но они обе страшные.

— Да. Наверно, английские джентльмены очень тоскуют, когда женятся на английских дамах.

Наконец, когда с витаминами было покончено, виконт Боз поднялся произнести тост за здоровье почетных гостей. Его речь была встречена громкими аплодисментами и переведена на английский язык придворным переводчиком:

«Ваше величество, дамы и господа. Сегодня на мою долю выпали большая честь и огромное удовольствие приветствовать в нашем городе с распростертыми объятиями братской любви леди Милдред Порч и мисс Тин, двух дам, известных во всей европейской державе своей беззаветной борьбой в защиту человека от животных. Мы, азанийцы,— независимая и древняя нация, однако и нам есть чему поучиться у наших северных и западных белых братьев. Мы тоже, в свою очередь, стараемся, как можем, защитить человека от животных...— Тут министр внутренних дел отвлекся и во всех подробностях описал, как он недавно отделал топором дикого кабана.—...Однако по пути прогресса мы следуем за великими нациями Запада и Севера, и прежде всего за их достойными представительницами, которые сегодня здесь присутствуют. Дамы и господа, давайте же будем современными, давайте же, все как один, подымемся на защиту человека от животных. Ведь именно к этому призывают нас наши гостьи, провозвестницы Прогресса и Новой Эры. Разрешите мне в заключение поднять этот бокал за здоровье леди Милдред Порч и мисс Тин и пожелать им долгих лет жизни и многодетности».

Все выпили стоя. Соседи Боза поздравляли его с замечательной речью. Необходимости в ответном тосте, судя по всему, не было, в противном случае почтенной леди Милдред, которая обычно за словом в карман не лезла, на сей раз пришлось бы очень нелегко. Что же касается Сета, то он, похоже, не слышал слов министра. Император сидел молча, погрузившись в глубокие раздумья. Леди Милдред попыталась было завести с Сетом разговор: «Речь очень трогательная, но, мне кажется, он неверно понял смысл нашего визита... Было бы интересно

увидеть всех этих людей не во дворце, а у себя дома... Прошу вас, расскажите мне про каждого из гостей в отдельности... Они что, больше не носят национальные костюмы?..» — но получала лишь весьма расплывчатые ответы.

— Мне было очень интересно узнать про вашего дядю Ахона,— сказала она напоследок. Император рассеянно кивнул.— Надеюсь, его наконец-то вызволят из монастыря. Ведь монастырская жизнь бессмысленна, согласитесь? Это же чистый эгоизм — целыми днями только и думать о собственной душе. Мне кажется, граф, или кто он там, очень правильно поступил, что за ним поехал.

Но Сет и эти слова пропустил мимо ушей.

16 марта

После приема во дворце долго не могла заснуть. Пыталась дозвониться в посольство. Никто не брал трубку. Попыталась встретиться с мистером Силом. Сказал, что оч. занят. Чемодана Сары по-прежнему нет. Носит мои вещи. Вчера вечером попробовала поддеть императора — безрезультатно. Гуляла по городу. На улицах оч. много народу, никто не работает. Судя по всему, что-то произошло с бумажными деньгами. Видела, как какой-то человек бил верблюда. К сожалению, полиции поблизости не было. Мне начинает казаться, что я трачу здесь время попусту.

Хотя монастырь святого Марка Евангелиста и был последнее время заражен ересью, он по-прежнему оставался центром духовной жизни Азании. В незапамятные времена именно здесь несторианские миссионеры из Месопотамии построили церковь; именно здесь, когда Амурат Великий объявил христианство государственной религией, были впервые возрождены несторианские догмы и рукоположено местное духовенство. В соответствии с давней, подкрепленной убедительными доказательствами традицией, протекавшая через монастырские земли речушка считалась потоком Кедроном, который, как полагали, тек под землей из Палестины и исцелял кожные болезни и сильные ожоги. Здесь же, наряду с прочими реликвиями более сомнительного свойства, хранились камень Давида, вонзившийся в лоб Голиафа (валун чудовищных размеров), листок с Бесплодной смоковницы, ребро, из которого Бог создал Еву, и деревянный крест, который несколько лет тому назад совершенно неожиданно упал с неба во время трапезы на Страстную пятницу. Однако как архитектурный памятник монастырь решительно ничем не выделялся: аркады и галереи отсутствовали, не было здесь ни библиотеки, ни балюстрад, ни здания капитула, ни трапезной с крестовыми сводами — вокруг большой глиняной хижины стояло несколько хижин поменьше, а единственным каменным зданием во всем монастыре была церковь святого Марка, построенная Амуратом Великим. Правда, смотрелась эта церковь превосходно: она стояла на высоком откосе, и из нее открывался сказочной красоты вид на земли ванда, раскинувшиеся на многие мили вокруг, и на Кедрон, что извивался серебряной змейкой вдали и, рассыпаясь тысячью переливающихся брызг, обрушивался водопадом в Изол, который лениво нес свои мутные воды в пяти тысячах футов ниже монастыря.

Среди полей возвышались огромные скалы вулканической породы, а на склонах гор темнели таинственные пещеры, откуда по ночам вылезали гиены; они раскапывали трупы, которые принято было свозить сюда со всей империи, чтобы мертвецы ожидали Страшного суда здесь, на святой земле.

Нгумо не терял времени даром. Дорога шла долиной, покрытой бурой, скользкой травой, где туземцы сакуйю пасли скот. Сначала караван двигался по утоптанной, ведущей в королевские северные вотчины

дороге. Навстречу брели мулы, которых гнали на рынок; Нгумо приветствовали путники; держась необычно большими группами, они торопились в столицу в предвкушении Большого праздника, о котором последние несколько недель ходили самые невероятные слухи, наводнявшие рынки, деревни, джунгли; о предстоящем Празднике судачили, сидя у костров, оповещали друг друга, стуча по гнилым стволам деревьев на болотах; слухи эти, можно сказать, носились в воздухе и улавливались каким-то животным инстинктом — люди чувствовали, что затевается нечто грандиозное.

В дальнейшем, однако, караван свернул в открытое поле, и только груды камней, по которым можно было перебраться через реки, да изредка попадавшиеся на пути деревянные штольни свидетельствовали о том, что Нгумо не сбился с пути. Первую ночь путешественники провели среди пастухов. Простые люди признали в Нгумо крупного вельможу и привели ему своих детей, чтобы тот, на счастье, дотронулся до них рукой.

— Мы слышали, в большом городе перемены.

— Да, некоторые перемены есть.

К вечеру следующего дня они добрались до маленького городка. Местный вождь был заранее оповещен об их появлении. Он вышел Нгумо навстречу и, рухнув ничком на землю, посыпал голову пеплом.

— Мир дому твоему.

— Ты пришел из большого города, где произошли перемены. Что тебе нужно на моей земле?

— Я желаю твоему народу добра. Людям низкого происхождения не пристало болтать о том, что делают люди высокого происхождения.

Путешественники легли спать в хижине вождя и рядом с ней, а наутро он принес им меда, яиц, жареного цыпленка, темного пива в кувшине и корзину лепешек; Нгумо же расплатился с ним брикетами соли, и караван вновь тронулся в путь.

Третью ночь они спали под открытым небом — прошел слух, что где-то поблизости находится сторожевой отряд императора. Вечером четвертого дня они приблизились к монастырю святого Марка Евангелиста.

С вершины холма их заметил монах и выстрелил из мушкета, распугав целую стаю бабуинов, которые поспешно скрылись в скалах. В нижней церкви ударил, сзывая монахов, колокол. У ограды гостей встретил настоятель. В руках у него был желтый зонтик от солнца, а на носу — очки в железной оправе. Рядом с настоятелем, отгоняя от него мух веником из конского волоса, стоял маленького роста дьякон.

Почтительный поклон и благословение. Граф вручает настоятелю рекомендательное письмо от патриарха, и тот, не открывая письма, прячет его в складки сутаны — проявлять любопытство к такого рода бумагам считается неприличным. Официальный прием в тускло освещенной хижине; граф сидит на стуле, поспешно прикрытом ковром. Вокруг, со сложенными на груди руками, расположился монастырский синклит. Настоятель вскрывает рекомендательное письмо, сплевывает и читает его вслух под одобрительное мычание окружающих. В письме ни слова о деле — сплошные приветствия и титулы. Посещение часовни у Бесплодной смоковницы; граф трижды целует косяк ведущей в часовню двери, касается лбом алтарных ступеней и жертвует на часовню мешочек с серебром. Обед в покоях настоятеля: овощное рагу в деревянных мисках, в одной — рагу из жареных бананов, в другой — из бобов; кислое пиво в глиняных кувшинах и коричневых чашках — и это все: несториане постятся часто. Витиеватые пожелания доброй ночи. Графу тем временем разбили в монастырской ограде палатку, вокруг нее на корточках расселась охрана, солдаты разожгли костер, к ним присоединились два-три монаха, и вскоре все вместе, и солдаты, и монахи, запели — и не религиозную, а мирскую заунывную песню. В палатке полумрак — горит только одна маленькая лампа с плавающим фитилем,

Граф сидит на ковре на корточках и ждет, когда придет настоятель — а он обязательно должен ночью прийти, граф в этом не сомневается. Вскоре в прорези палатки действительно появляется большой белый тюрбан и косматая борода прелата. Великие люди садятся на корточки друг против друга, по обеим сторонам от лампы. Неподалеку, у костра слышится пение охраны, за частоколом воют гиены, со стороны скал доносится и множество других звуков — на охоту вышли звери. Обмен любезностями:

«Мы в нашем небольшом монастыре наслышаны о громкой славе великого графа... о его удали в бою и в постели... о тысяче врагов, павших от его руки... о львах, пронзенных его копьем... о его бесчисленном потомстве...»

«Вся жизнь до встречи с настоятелем была прожита зря... его знания и святость... его несгибаемая преданность вере... его целомудрие... его аскетизм...»

Незаметно, используя самые тонкие ухищрения, собеседники постепенно переходят к делу. Преследовал ли граф своим визитом какую-то практическую цель, помимо желания доставить всем огромную радость своим присутствием?

Что может быть более важной целью, чем давнее стремление нанести визит настоятелю и побывать в славной часовне Бесплодной смоковницы? Впрочем, одно дело у него действительно есть. Совершенно незначительное дельце, о котором, раз уж он здесь, может, и стоило бы упомянуть — если, разумеется, настоятель не против.

Каждое слово графа подобно драгоценному камню, цена которого исчислению не поддается. Какое же у графа дело?

— Это старая история... еще во времена недоброй памяти его преосвященства Горгия... в монастырь был заточен юноша... сейчас он старик... об этом знают только самые высокопоставленные... если, конечно, он еще жив...

— О граф, вы заговорили о том, чего уши мои не слышат, а глаза не видят. Есть вещи, говорить о которых не пристало.

— Настоятель, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Час этой тайны настал.

— Что может знать простой монах о делах государственной важности? Да, теперь я вспоминаю, до меня и впрямь доходили слухи, будто во времена недоброй памяти его преосвященства Горгия в монастырь заточили какого-то юношу.

— И он еще жив?

— Монахи монастыря святого Марка Евангелиста умеют хранить свои сокровища.

После этого столь важного сообщения хозяин и гость некоторое время сидели молча, затем настоятель встал и в самых высокопарных выражениях пожелал графу спокойной ночи. Оба чувствовали, что сказано и так слишком много. Ведь следовало соблюдать приличия.

Переговоры возобновились на следующее утро после службы и продолжались большую часть дня. Перед тем как разойтись на ночь, графу и настоятелю удалось достичь договоренности об устранении разногласий на материальной основе. На следующее утро вопрос о цене был решен, и Ахон, сын Амурата, законный монарх Азании, верховный вождь племени сакуйю, повелитель племени ванда и гроза морей, был выпущен на свободу.

Событие это произошло без всяких церемоний. После сытного завтрака, состоявшего из вареного козьего мяса, сыра, маслин, копченой баранины, гуся и меда (в тот день как раз был мясоед, ведь несториане постятся редко), граф и настоятель, в сопровождении всего нескольких рабов, вышли из монастыря и, поднявшись на небольшой холм, остановились у входа в маленькую пещеру.

— Мы подождем здесь. Там нехороший запах.

В пещеру вошел слуга с фонарем и молотком, из глубины послышалось несколько приглушенных слов, а затем скала вздрогнула от тяжелых ударов. Через пять минут слуга вернулся, ведя Ахона за надетую ему на ногу цепь. Наследник престола был совершенно наг, на его худые, сутулые плечи спадали сальные белые волосы, а маленькое, сморщенное личико с запавшим, беззубым ртом заросло длинной седой бородой. Он был слеп и передвигался с большим трудом.

Граф открыл было рот, чтобы засвидетельствовать принцу свое почтение и поздравить его с освобождением, но передумал и, повернувшись к настоятелю, сказал:

— Он не сможет ехать верхом.

— Да вряд ли.

Пришлось задержаться еще на день, пока сколачивали носилки, и, наконец, на пятое утро караван двинулся в обратный путь. Ахона, закутанного — от любопытных глаз — с головой, несли на носилках четыре раба. Часть времени он спал, а проснувшись, что-то еле слышно мурлыкал себе под нос; когда же носилки дергались или накренялись, он начинал тихо постанывать от страха. На восьмой день, когда караван под покровом темноты, выбирая боковые улочки и уединенные аллеи, вошел в столицу, граф сдал драгоценный груз патриарху и поспешил во французское посольство доложить мсье Байону об успешном выполнении своей миссии.

Тем временем леди Милдред начинала терять терпение. Никто не желал с ней считаться, пойти ей навстречу. Начать с того, что этот юнец из посольства повел себя самым бессовестным образом. В посольство она безрезультатно звонила дважды в день, утром и после обеда; но однажды, когда она уже совершенно отчаялась, госпожа Юкумян объявила ей, что дозвонилась. Впрочем, разговор абсолютно ничего не дал. Сначала к телефону подошел дворецкий, какой-то бестолковый туземец («пьет, не иначе»,— решила леди Милдред), а затем в трубке послышался приятный, ленивый мужской голос.

— Это говорит леди Милдред Порч. Попросите, пожалуйста, посла.

— Боюсь, что это невозможно. Может быть, я могу вам чем-нибудь помочь?

— А кто вы такой?

— Уильям.

— А, так это вы. Вы-то мне и нужны. Я хотел спросить у вас про багаж Сары Тин.

— Каких сардин?

— Мисс Сара Тин. Ответственный секретарь международного отдела Лиги защиты четвероногих друзей. Она потеряла свой багаж.

— Да?

Последовала длинная пауза. Леди Милдред слышала, как на другом конце провода играл патефон.

— Алло! Алло!.. Вы меня слышите?

— Здешние телефоны вечно разъединяются,— раздался в трубке мягкий, ленивый голос Уильяма, после чего послышался щелчок, и танцевальная музыка смолкла.

— Алло!.. Алло! — Леди Милдред встряхнула трубку, но Уильям пропал.— Я убеждена, что он сам положил трубку,— сказала леди Милдред Саре.— Но ведь этого не докажешь.

С деньгами тоже не повезло. Азанийские банкноты, на которые она по приезде обменяла двадцать фунтов, оказались совершенно никудышными. Даже господин Юкумян, который, собственно, и обменял ей эти деньги, ничем помочь не мог, заметив как-то, что это «вопрос политический»; сам же он принимал только английские фунты, которыми англичанки расплачивались с ним за отель и на которые мисс Тин почти ежедневно покупала у него в магазине различные предметы туалета.

Беспокоило леди Милдред и то, что император по-прежнему совершенно не интересовался защитой животных. Банкет не только не стал прелюдией к практическим совместным действиям, но, очевидно, задумывался как прощальный. Все ее попытки добиться аудиенции при дворе заканчивались неудачей. Временами ее охватывало полное отчаяние: по всей стране безжалостно ловят и зверски убивают ее четвероногих друзей, а она не в состоянии ничем им помочь. Ночами леди Милдред лежала без сна, ее преследовали умоляющие, смотрящие с укоризной, влажные, как у щенков, глаза умирающих львов и протяжный жалобный стон попавших в силки бабуинов. Она утратила столь свойственную ей уверенность в себе, ее мучила совесть: какое имеет право она, предавшая мандрилов и гиен, кабанов и дикобразов, жаловаться на то, что господин Юкумян взял с нее лишние деньги за комнату или куда-то задевал ее выстиранное белье.

— Милдред, мне очень не нравится ваш вид. По-моему, эта страна не для вас.

— Да, Сара, вы правы. Мне тоже кажется, что эта страна не для меня. Пожалуйста, давайте поскорей отсюда уедем. Мне не нравится здешний народ, их лица, да вообще всё. И потом, мы с вами оказались совершенно не у дел.

— Бэзил, мама хочет отправить меня домой, в Англию.

— Плохо.

— Ты правда так думаешь, милый? Знаешь, Бэзил, мне тоже совсем не хочется ехать.

— Боюсь, как бы нам всем не пришлось в ближайшее время отсюда сматываться. Скоро тут будет небезопасно... Только вот в Англию возвращаться не хочется... Может, поедем куда-нибудь еще?

— Любимый, не будем загадывать... Но что бы ни было, мы ведь обязательно увидимся, обещаешь?

— Ты фантастическая девушка, Пруденс. Так бы и съел тебя.

— Вот и съешь... делай со мной что хочешь.

Сквозь ставни пробивается полоска солнечного света; внизу под окнами мальчишка-туземец колотит молотком по мотору разбитого автомобиля.

— Мадам Байон и всех остальных женщин я отправляю на побережье. Впрочем, не думаю, чтобы начались серьезные беспорядки. Все произойдет тихо, без единого выстрела. Но мне будет спокойнее, если дамы уедут. С ними поедет мсье Флоро. Ему предстоит также выполнить очень ответственное задание — взорвать мост через Лумо. Это совершенно необходимо, так как Сет держит в Матоди три полка, которые могут не перейти на нашу сторону. Поезд отходит накануне праздника. Полагаю, что за несколько часов до отхода поезда следовало бы известить о государственном перевороте мистера и миссис Шонбаум. Нам международный конфликт ни к чему. А англичане пусть заботятся о себе сами.

— В армии брожение, генерал?

— Сегодня на заседании штаба я сообщил о прибытии в Дебра-Дову принца Ахона. Армия выполнит свой долг. Вчера солдатам заплатили жалованье новыми купюрами.

— Как принц, ваше преосвященство?

— Не хуже.

— Он доволен?

— Кто знает? Большую часть дня принц спит. Он не разговаривает. Все время словно бы что-то ищет. На полу, под ногами. Наверно — цепь. Он к ней привык. А вот аппетит у него хороший.

— Мистер Сил, послезавтра я поеду в Матоди. Надо там кое-что устроить. А вы не поедете?

— На этой неделе — нет, Юкумян. Хочу дождаться праздника. Посмотреть, что будет с беднягой Сетом.

— Мистер Сил, послушайтесь моего совета, поезжайте в Матоди. Я такое слышал, такое слышал... Не хотите же вы попасть в заварушку, правда?

— До меня тоже доходят разные слухи. Нет, я, пожалуй, все-таки останусь и посмотрю, чем это кончится.

— Ужасно неразумно с вашей стороны.

Советник по восточным делам не часто беспокоил Неполномочного своими визитами, однако на этот раз он пришел к нему сразу после обеда. В гостиной играли в лото «Зоопарк».

— Заходите, Уолш. Рад вас видеть. Разрешите наш спор: Пруденс уверяет, что жираф ржет, как лошадь. Это верно?

Когда игра закончилась и сэр Самсон с советником остались одни, Уолш сказал:

— Вот что, сэр. Не знаю, насколько внимательно вы следите за событиями в стране, но я счел своим долгом довести до вашего сведения, что во вторник, в день Праздника противозачаточных средств, в городе могут вспыхнуть беспорядки.

— Беспорядки? Естественно. Вообще вся эта затея не вызывает у меня ничего, кроме отвращения. Мы на этот праздник не идем.

— Откровенно говоря, я и сам толком не знаю, какого рода беспорядки могут иметь место. Мне известно одно: в городе что-то происходит. Только сегодня вечером до меня дошли сведения, что французы и американцы в понедельник отбывают на побережье. Я подумал, что необходимо дать вам об этом знать.

— Подумаешь, очередная туземная драчка, только и всего! Последняя гражданская война была точно такой же. Байон все время боялся, что на него нападут. Нет, по мне, пусть уж лучше меня бомбят здесь, чем кусают москиты на побережье. Как бы то ни было, голубчик, спасибо за информацию.

— А вы не будете возражать, сэр, если мы с женой тоже поедем на побережье?

— Сделайте одолжение. Только рад буду. Заодно и почту отвезете. Счастливого пути. Хотя, если говорить честно, я вам не завидую.

Утром накануне праздника Бэзил, как всегда, отправился в министерство. Войдя в кабинет, он увидел, что господин Юкумян запихивает в холщовый саквояж некоторые не слишком тяжелые и наиболее ценные музейные экспонаты.

— У меня они, если что случится, будут в безопасности,— пояснил финансовый директор.— В одиннадцать у меня поезд. Еле билет достал. На побережье едут многие умные люди. Вы бы тоже поехали, мистер Сил. Я все устрою в лучшем виде.

— Ты говоришь «если что случится». А что, собственно, должно случиться?

— Ничего не знаю, мистер Сил. Я ведь вопросов не задаю. Я про себя так решил: если начнется заварушка, лучше быть на берегу. В воскресенье во всех городских церквах читали проповеди против контроля над рождаемостью. Мне об этом госпожа Юкумян рассказала — она женщина набожная, в церковь каждый день ходит. Но, думаю, дело не только в противозачаточных средствах. Думаю, генерал Коннолли что-то знает. Поедемте со мной на побережье, а, мистер Сил? Нет?

Работы в это утро почему-то не оказалось: не было ни писем, на которые Бэзил обязан был отвечать, ни записок из дворца — складыва-

лось впечатление, что в Министерстве модернизации внезапно пропала необходимость. Бэзил вышел из своего кабинета, запер дверь, ключ положил в карман и отправился во дворец. При виде Бэзила стоявшие у ворот офицеры охраны перешли на шепот.

Сет стоял у письменного стола в элегантном сером костюме и в штиблетах мышиного цвета и изучал план реконструкции столицы.

— На бульваре Сета прекращена работа. Джеггер распустил рабочих. Почему?

— Потому что ему уже три недели не платят. Новые банкноты ему не нравятся.

— Предатель. Я его расстреляю. Уже час назад я послал за Коннолли. Где он?

— Многие европейцы уехали сегодняшним поездом на побережье. Впрочем, думаю, Коннолли среди них не было.

— Европейцы уезжают? Что ж, их дело. Город полон моими людьми. Я сам видел их с башни в полевой бинокль. Весь день они прибывают в столицу по четырем дорогам... Но работа должна продолжаться. Англиканский собор, например, уже давно надо было снести. И его не будет — даже если для этого мне самому придется разбирать его по кирпичику голыми руками! Вы же видите, на его месте будет проходить Северная магистраль. Вот она на плане — прямая, как штык...

— Сет, по городу ходят слухи. Говорят, завтра могут быть волнения.

— У меня волнения каждый день. И завтрашний ничем не отличается от любого другого.

В тот вечер леди Милдред и мисс Тин увидели очень странное зрелище. Они пили чай у епископа и в отель возвращались пешком, длинной дорогой, чтобы подышать воздухом — вечер выдался великолепный. Проходя мимо англиканского собора, они обратили внимание на молодого человека в сером костюме, который, в полном одиночестве, отбивал гранитную кладку на арке западного нефа. Трудился он, в отличие от азанийских рабочих, не покладая рук.

— Как он похож на императора!

— Не смешите меня, Сара.

Предоставив молодому человеку в серой паре столь же энергично трудиться и дальше, дамы вернулись в отель, где с отъездом Юкумянов хозяйство совершенно разладилось.

— Только мы с таким трудом приучили их к своим вкусам...— пожаловалась леди Милдред.

Наутро дамы проснулись очень рано. Их разбудил шум под окнами: переругивались и шаркали ногами люди, стучали копытами мулы и пони, сигналили машины. Леди Милдред открыла ставни и выглянула на оживленную улицу. Подошла к окну и мисс Тин.

— Я звоню уже двадцать минут. Похоже, в отеле нет ни души.

Она не ошиблась — прислуга ушла накануне вечером, после обеда, и не вернулась. По счастью, у леди Милдред нашлись печенье, бульонные кубики и спиртовка, без которой она за границу ездить не отваживалась. Пока дамы завтракали наверху печеньем с горячим бульоном, а солнце, такое же жгучее и ослепительное, как и в любой другой, менее памятный день, медленно вставало над городом,— толпа на улице все прибывала, с каждой минутой становясь все больше и многоцветнее. Пыль подымалась из-под ног и, переливаясь на солнце, повисала в воздухе.

— Императору повезло с погодой. Это тебе не английские праздники под проливным дождем. Помните слет девочек-скаутов, когда

вдруг пошел жуткий град? Кажется, это тоже было в августе, да? Как девчонки ревели, никогда не забуду!

Праздничная процессия должна была пройти мимо отеля «Император Сет», поэтому витрины выходивших на улицу магазинов были предусмотрительно заколочены, а некоторые жильцы соорудили у себя под окнами нечто вроде трибун и балконов, откуда можно было наблюдать за шествием. Несколько недель назад, когда впервые стало известно о празднике, господин Юкумян всячески разрекламировал эти трибуны и балконы и даже взялся продавать на них билеты, однако планам этим, как и многим другим, ввиду предстоящих волнений не суждено было сбыться. Тем не менее сегодня, памятуя о посулах господина Юкумяна, в отель заявились два-три индийца, грек и четверо азанийцев в праздничных нарядах. Войдя, они осмотрели опустевший вестибюль, заглянули в ресторан, поднялись по лестнице и в конце концов добрались до комнат, где жили англичанки. Закаленные тяжелой, полной невзгод и несправедливостей жизнью, индийцы не обратили на протесты англичанок никакого внимания, пододвинули кровать к окну, уселись поудобнее и стали терпеливо ждать, грызя орехи и выплевывая на пол скорлупу. Последовав их примеру, остальные непрошеные гости заняли места у других окон, причем грек любезно предложил мисс Тин сесть рядом с ним, а ее отказ воспринял с явным недоумением. Тем временем две азанийки, разгуливая по комнате и весело щебеча, с живым любопытством рылись в комоде и с интересом разглядывали предметы, стоявшие на умывальнике и на туалетном столике.

— Какая наглость! К сожалению, сейчас мы бессильны им помешать. Остается надеяться, что сэр Самсон заявит официальный протест.

— Мы здесь больше оставаться не можем. И на улицу выходить не можем тоже. Остается одно — подняться на крышу.

И отважные дамы, запасшись циновками, подушками, зонтиками от солнца, двумя романами легкого содержания, фотоаппаратами и остатками печенья, поспешно вскарабкались по приставной лестнице на чердак, открыли люк и, жмурясь от солнца, выбрались на крышу. Леди Милдред передала сумку с провизией мисс Тин, а затем последовала за ней. Запереть люк сверху, к сожалению, было нельзя, но зато на жестяной кровле лежали — чтобы ее не сорвало ветром — огромные валуны. Один из них дамы совместными усилиями подтащили к люку, вкатили на него, после чего, съехав по горячей жести к низкому бетонному парапету, стали устраиваться. Здесь им не грозила опасность, и вскоре они немного перевели дух и успокоились.

— Отсюда очень хорошо видно, Сара. А с этими туземцами успеем разделаться и завтра.

С крыши весь город, действительно, был как на ладони. Их взгляду открылись неровные крыши дворцовых зданий в тени высоких синих эвкалиптов; перед дворцом возвышалась еще до конца не достроенная королевская ложа, откуда император должен был наблюдать за праздничным шествием; вокруг трибуны, прибивая многоцветные флаги, раскладывая ковры и расставляя вдоль дорожки кадки с пальмами и папоротником, семенили маленькие черные фигурки. Отсюда дамы видели, как разветвляется главная улица, один ее конец шел к казармам, а другой — в христианский район города. В небо уходили купола и шпили католической, православной, армянской, англиканской, несторианской церквей, американо-баптистского и мормонского молельных домов; видны были минареты мечети, синагога и плоская белая крыша индуистского Храма змеи. Мисс Тин сделала несколько снимков.

— Не тратьте всю пленку, Сара. Сегодня предстоит еще много интересного.

Солнце стояло уже высоко, и рифленая металлическая крыша раскалилась докрасна. Обе дамы откинулись на подушки, прикрылись зелеными зонтами, пригрелись и сами не заметили, как задремали.

Начало праздничного шествия было намечено на одиннадцать утра, однако шел уже первый час дня, когда леди Милдред, внезапно пробудившись от сна и фыркнув, сказала подруге:

— Сара, по-моему, начинается.

Дамы привстали и перегнулись через парапет, испытав при этом легкое головокружение,— жара и в самом деле стояла непереносимая. Из нарастающего гула толпы вырывались характерные для местных женщин утробные выкрики. Возле королевской ложи, в четверти мили от отеля, возникло какое-то движение.

— Наверно, император приехал.

Со стороны трибуны легким галопом проскакали десятка полтора улан, загонявших людей в переулки и во дворы, однако стоило им проехать, как толпа вновь выплескивалась на улицу.

— Процессия двинется от вокзала. Смотрите, идут!

В запрудившей улицу толпе вновь поднялось волнение, но оказалось, что это опять были уланы — теперь они возвращались во дворец.

— Боюсь, что это будет продолжаться весь день,— подала голос мисс Тин.— Представляете, как мы проголодаемся.

— Верно, я уже об этом думала. Попробую спуститься вниз и поискать чего-нибудь съестного.

— Не вздумайте, Милдред. Эти нелюди способны на все.

— Ерунда! Не сидеть же здесь целый день с четырьмя сухими печеньями.

И леди Милдред, сдвинув камень, подняла крышку люка и медленно, осторожно спустилась по лестнице. Дверь в ее комнату была открыта, и, проходя мимо, она заметила, что у окна собралось уже довольно много народу. Она спустилась на первый этаж, прошла через ресторан и открыла еще одну дверь; за ней, судя по исходившим оттуда резким запахам, к которым за последние несколько недель леди Милдред уже успела привыкнуть, находилась кухня. Стоило ей приоткрыть дверь в кладовую, как оттуда с угрожающим гудением вылетела целая туча мух. На полках стояли неприкрытые тарелки с какой-то жуткой стряпней. Леди Милдред отшатнулась было, но, взяв себя в руки, стала шарить по полкам глазами. В глиняном кувшине она обнаружила маслины, рядом лежал большой кусок черствого, как камень, хлеба. Прихватив маслины и хлеб и набрав полную грудь воздуха, леди Милдред пустилась в обратный путь.

— Сара, откройте немедленно! — Раздался стук отодвигаемого камня.— Зачем же вы закрыли люк? Только о себе и думаете. А если бы за мной гнались?

— Простите, Милдред. Вы совершенно правы, но вас так долго не было, что я, признаться, струсила. Знаете, дорогая, вы пропустили столько интересного.

— Что именно?

— Всего и не расскажешь. Смотрите сами.

Пришедшие в совершенное неистовство люди с громкими возгласами обступили отряд полицейских, которые, выстроившись клином и отгоняя народ бамбуковыми палками, вели сквозь толпу какого-то пожилого арестанта.

— Так, кажется, одевается местное духовенство. Что мог натворить этот бедный старик?

— Да все что угодно. Я перестала верить этим церковникам после того, как викарий... мы его так любили, он был капелланом Лиги защиты четвероногих друзей и с таким чувством говорил о них, а потом...

— Глядите, наконец-то появилась процессия!

Духовой оркестр императорской гвардии грянул азанийский гимн, и в его величественных звуках потонул возникший было конфликт. Азанийцы любили духовой оркестр и мгновенно забыли про арест своего патриарха. За гвардейцами следовали виконт и виконтесса Боз, которые, в конце концов, дали согласие на участие в празднике в качестве

почетных гостей. Следом, в новеньких фартучках, по четыре в ряд, шествовали девочки из приютской школы имени Амурата, учрежденной покойной императрицей для детей-сирот, чьи родители, высокопоставленные государственные деятели, стали жертвой преступного заговора. Школьницы не без труда несли громадное знамя, на изготовление которого ушло немало уроков кройки и шитья. На знамени колыхалась вышитая шелком надпись: ЖЕНЩИНАМ БУДУЩЕГО — ПУСТЫЕ КОЛЫБЕЛИ. С громкой песней бедные сиротки медленно прошествовали под балконом.

— Умно и красиво,— похвалила мисс Тин.— Боже, Милдред, какой черствый хлеб! Им гвозди забивать можно.

— Попробуйте лучше маслины. Они превосходны.

— Никогда не любила маслин. Нет, вы только посмотрите!

Вдали показался первый открытый автомобиль с установленным на нем помостом. Поначалу была предпринята попытка привлечь к празднику придворных дам; некоторые из них дрогнули, однако азанийское высшее общество еще не настолько опустилось, чтобы разрешить светским дамам выставлять себя на всеобщее обозрение из чистой благотворительности; пришлось с этой идеей расстаться и вместо жен и дочерей крупных государственных сановников прибегнуть к услугам заурядных актрис. На первом автомобиле, запряженном несколькими волами, разыгрывалась композиция на тему: место женщин в современном мире. Под навесом из разноцветной бумажной ткани на помосте восседала мадам Фифи — Фатим Бей; в одной руке она держала охотничий хлыст — символ досуга, а в другой газету, олицетворявшую образование; вокруг мадам Фифи застыли в соблазнительных позах местные красотки с пишущими машинками, теннисными ракетками, мотоциклетными очками, телефонами, туристским снаряжением и другими предметами современного обихода, выписанными из Европы по иллюстрированным каталогам. Над автомобилем развевался оранжево-зеленый флаг с вышитым на нем броским лозунгом: ЧЕРЕЗ СТЕРИЛЬНОСТЬ — К КУЛЬТУРЕ.

Вся эта остроумная затея была встречена бурей аплодисментов. В конце улицы показался следующий автомобиль, над черными макушками поплыл еще один красочный транспарант.

Но тут вдруг движение почему-то застопорилось, в гуле толпы послышались какие-то новые нотки.

— Несчастный случай?! Надеюсь, бедные волы не пострадали?!

Что-то, по-видимому, стряслось в голове процессии; с балкона видно было, как из переулков выбегают какие-то люди и, продираясь сквозь толпу, пытаются остановить шествие, повернуть его вспять. Духовой оркестр сбился и замер на полуноте, а оркестранты бросились врассыпную, прикрываясь тромбонами и литаврами.

— Дайте мне ваш фотоаппарат, Сара! Скорей же! Понятия не имею, что там происходит, но я должна это сфотографировать. Черт возьми, вечно это солнце не там где надо!

— Поставьте поменьше выдержку.

— Господи, только бы на этот раз фотографии получились! А то в Кейптауне я сняла такую интересную пленку, а этот идиот на пароходе ее засветил.

Разогнав духовой оркестр, налетчики взялись за бедных сироток из приютской школы имени Амурата. Малютки и подавно не смогли оказать сопротивления вооруженным дубинками угрюмым молодым людям; как впоследствии выяснилось, это были молодчики из общества «Несторианское католическое действие». Этим атлетически сложенным юным христианам давно уже не терпелось расправиться с радикалами и евреями — главными инициаторами преобразований в стране.

Знамя с вышитой шелком надписью исчезло из виду, а сиротки в новеньких фартучках, нырнув в толпу, пустились наутек.

Затем нападению подвергся первый автомобиль, который в этот момент находился прямо под окнами «Императора Сета». При первых же признаках опасности композиция распалась, и красотки в страхе сгрудились на краю помоста; теперь же, побросав предметы современного обихода, они с визгом спрыгнули с фургона и разбежались в разные стороны. На опустевший помост забрались молодчики из «Несторианского католического действия», и их предводитель обратился к толпе с зажигательной речью. Когда он, широко расставив руки и разинув в демократическом запале рот, повернулся в сторону англичанок, леди Милдред, вне себя от восторга, тут же его сфотографировала.

Если не считать нескольких оркестрантов, которые еще пытались отбиваться трубами и барабанными палочками, никто христианским молодчикам сопротивления не оказывал. Но тут толпа разделилась на два враждующих лагеря, начались потасовки, и группа туземцев, пришедших в столицу из северных районов острова и воспринявших случившееся как очередной праздничный дивертисмент, попыталась взять автомобиль штурмом, в результате чего вокруг него вскоре завязалось нечто вроде детской игры в «хозяина крепости». Несторианского оратора стащили с помоста, а на его месте вырос здоровенный туземец в львиной шкуре, который немедленно принялся танцевать джигу. Только волы стояли совершенно неподвижно, терпеливо ожидая, пока прекратятся беспорядки.

— У меня кончилась пленка, Сара! Вставьте новую, поскорей же! И что только думает полиция?!

В это время власти наконец-то дали о себе знать.

Со стороны королевской ложи загремели ружейные выстрелы. Пуля чиркнула по парапету и, отколов кусок бетона, просвистела у англичанок над головой. Еще один залп — и что-то ударило в железную крышу, всего в нескольких ярдах от того места, где они сидели. Леди Милдред, не вполне понимая, что происходит, подняла с крыши кусочек горячего свинца неправильной формы. Внизу послышались душераздирающие крики, а затем стук копыт по мостовой. Не сказав друг другу ни слова, леди Милдред и мисс Тин, как по команде, пригнули головы и упали ничком на крышу.

Парапет был низкий, и англичанкам пришлось растянуться во весь рост, в крайне неудобных позах. Леди Милдред протянула было руку за подушкой, но тут же ее отдернула — третий залп словно бы предупреждал ее о том, что следует быть настороже. После этого воцарилась гнетущая тишина — еще более пугающая, чем крики и выстрелы.

— Сара, это была пуля,— с благоговейным ужасом прошептала леди Милдред.

— Знаю. Давайте-ка лучше помолчим, а то опять начнется стрельба.

Ровно двадцать минут (по часам мисс Тин) дамы неподвижно пролежали на крыше, уткнувшись носами в тусклое, раскаленное железо. Вдруг леди Милдред перевернулась на бок.

— В чем дело, Милдред?

— Левая нога затекла. Не могу больше терпеть — пусть лучше застрелят!

Тут леди Милдред почему-то вспомнились военные игры девочек-скаутов под Эппингом, и она, не удержавшись, сняла с головы свой тропический шлем и подняла его над крышей на вытянутой руке. Однако выстрела не последовало. Над полем боя по-прежнему стояла мертвая тишина. И тогда, набравшись смелости, леди Милдред медленно, с осторожностью приподняла голову.

— Поберегите себя! Умоляю, Милдред! Снайперы!

Но все было тихо. Выждав минуту-другую, леди Милдред села и осмотрелась. На улице не было ни души. В жарком, неподвижном воздухе безжизненно повисли флаги. На мостовой покрытое пылью, растоптанное тысячью ног, но бросавшее вызов небесам своим дерзким

лозунгом ЖЕНЩИНАМ БУДУЩЕГО — ПУСТЫЕ КОЛЫБЕЛИ валялось знамя приютской школы имени Амурата. Еще одно смятое оранжево-зеленое знамя лежало в канаве, призывая опустевшую улицу к СТЕРИЛЬНОСТИ — другие слова разобрать было невозможно.

— Мне кажется, худшее уже позади.

Дамы сели, расправили затекшие ноги, стряхнули с одежды пыль, поправили сбившиеся головные уборы и наконец-то вздохнули полной грудью. Леди Милдред взяла фотоаппарат и перемотала пленку. Мисс Тин встряхнула подушки и стала искать, что бы поесть, но маслины были сухие и сморщенные, а хлеб такой черствый, что его невозможно было разгрызть, к тому же на зубах скрипел песок.

— Ну, что будем делать? Я ужасно хочу пить. И, по-моему, опять начинается головная боль.

Внизу, по улице, чеканя шаг, прошли войска.

— Смотри-ка, они опять здесь.

Дамы снова спрятали головы. До них донесся глухой стук прикладов, какая-то команда и топот ног по мостовой. Они снова выглянули из-за парапета.

— Да, ушли еще не все. Но вроде бы все спокойно.

На противоположной стороне улицы вокруг пулемета сидели на корточках гвардейцы.

— Пойду поищу что-нибудь попить.

Они отвалили камень, открыли люк и спустились вниз. Тишина. Зрителей в их комнатах уже не было. Оба этажа опустели.

— Интересно, где у них хранится минеральная вода?

Они вошли в бар. Спиртного сколько угодно, а вот воды нет. На кухне, в углу они обнаружили не меньше дюжины бутылок с этикетками различных сортов минеральной воды. Тут были и «Эвьен», и «Сент-Галмье», и «Виши», и «Малверн» — но все до одной пустые. До отъезда господин Юкумян по мере необходимости наполнял эти бутылки из вонючего колодца на заднем дворе.

— Я должна попить, я просто умираю от жажды. Пойду на улицу.

— Милдред!

— Будь что будет.

И леди Милдред, миновав тускло освещенный вестибюль, вышла на улицу. Сидевший у пулемета офицер вскочил и замахал ей руками, чтобы она вернулась, но леди Милдред решительно двинулась через дорогу, показывая жестами, что настроена вполне миролюбиво. Офицер что-то быстро и громко сказал ей сначала на сакуйю, а потом по-арабски. Леди Милдред отвечала по-английски и по-французски:

— Taisez-vous, officier. Je desire de l'eau. Ou peut on trouver ça, s'il vous plait [1].

Солдат показал ей на отель, а потом — на пулемет.

— Я британская подданная. Я — британская подданная. Понятно? Господи, неужели никто из вас не знает ни слова по-английски?

Солдаты хмыкнули и дружно закивали, показывая ей пальцами на отель.

— Ничего не вышло. Они нас не выпустят. Придется ждать.

— Вы как хотите, Милдред, а я выпью вина.

— Я — тоже. Давайте только отнесем бутылку на крышу. Это здесь единственное безопасное место.

Вооружившись бутылкой бренди из запасов господина Юкумяна, они снова забрались на крышу.

— Боже, какое крепкое...

— Зато головная боль утихнет.

Вечерело. Пылающее солнце стало опускаться за горы. Англичанки сидели на железной крыше и хлестали неразбавленное бренди.

---

[1] Помолчите, офицер. Я хочу пить. Скажите, пожалуйста, где можно достать воды? *(франц.)*.

Вскоре на улице опять возникло движение. К сидевшим вокруг пулемета солдатам подъехал верхом на муле офицер и что-то им прокричал. Солдаты вскочили, взвалили пулемет на плечи, построились и, чеканя шаг, направились в сторону дворца. Мимо отеля прошел еще один патруль. С крыши было видно, как на дворцовую площадь со всех сторон стекаются войска.

— Гвардия возвращается во дворец. Значит, беспорядки прекратились. Но, честно говоря, идти никуда не хочется... я такая сонная...

Когда солдаты ушли, из укрытий стали выходить мирные жители, их маленькие фигурки сновали внизу. Появилась, оглашая улицу пьяными криками, банда христиан-мародеров.

— По-моему, они идут сюда.

На первом этаже в баре зазвенело разбитое стекло, раздался грубый, пьяный смех. Еще несколько подвыпивших азанийцев сорвали ставни в мануфактурной лавке напротив и вскоре вышли оттуда, завернувшись в длинную пеструю материю. Но англичанки ничего этого уже не видели: измученные жарой и выпавшими на их долю переживаниями, сморенные бренди господина Юкумяна, они крепко уснули.

Когда они проснулись, шел уже восьмой час. Солнце село, резко похолодало. Мисс Тин поежилась и чихнула.

— Голова просто раскалывается. Очень хочется есть,— сообщила она.— А пить — еще сильней, чем раньше.

Дома были погружены во мрак. В темноте виднелась только полоска света, что пробивалась из дверей бара напротив, да тусклое зарево над крышами южного района, где находились склады индийских и армянских купцов.

— Это не закат, Сара. Это пожар.

— Что ж нам делать? Не сидеть же здесь всю ночь!

Снизу раздался нестройный хор голосов — это пели несколько подгулявших азанийцев, которые, покачиваясь и обняв друг друга за плечи, медленно шли по улице. Двое размахивали факелами и фонарями. Им навстречу из бара вывалилась пьяная компания. Началась драка. Один фонарь упал на мостовую и вспыхнул желтым пламенем. Вскоре дерущиеся разошлись, оставив за собой посреди улицы лужицу горящего масла.

— Нет, о том, чтобы спуститься вниз, не может быть и речи.

Прошло два часа. Время тянулось медленно, зарево над крышами то исчезало, то подымалось; невдалеке вновь началась перестрелка. Осажденные дамы сидели в темноте и дрожали от холода. Вдруг внизу показались автомобильные фары. К отелю подъехала машина. Ее тут же обступили пьяные из бара. Снизу донеслось несколько слов на сакуйо, а затем кто-то, лениво растягивая слова, на чистом английском языке произнес:

— Похоже, наших старушек здесь нет. Эти ребята уверяют, что никого не видели.

— Уж не изнасиловали ли их? — сказал второй голос.

— Об этом можно было бы только мечтать. Давайте съездим в миссию?

— Стойте! — во весь голос крикнула леди Милдред.— Эй! Стойте!

Хлопнула дверца, вновь заработал мотор.

— Стойте! — закричала мисс Тин.— Мы здесь, наверху!

И тут леди Милдред проявила сообразительность, которая бы сделала честь любой девочке-скауту. Она схватила за горлышко недопитую бутылку бренди и швырнула ее вниз. Из окна машины высунулась голова Уильяма, который отпустил не нуждавшееся в переводе ругательство на сакуйю, в ответ на что с крыши, вслед за бутылкой коньяка, полетела подушка.

— Там, кажется, кто-то есть. Пожалуйста, Перси, подымитесь наверх, посмотрите, кто это там бутылками бросается, а я машину посторожу.

Второй секретарь посольства с опаской вошел в отель и прямо на лестнице столкнулся с обеими дамами.

— Наконец-то! — сказала мисс Тин.— Что б мы без вас делали!

— Спасибо на добром слове,— пробормотал секретарь, несколько ошарашенный столь радушным приемом.— Мы ведь, собственно, только заехали удостовериться, что у вас все нормально... По поручению посла... Узнать, не напугали ли вас...

— «Все нормально»?! Да у нас в жизни не было страшнее дня!

— Ну, ну, не преувеличивайте. До нас в посольстве дошел слух, что в городе были кое-какие беспорядки, однако сейчас вам уже ничто не грозит. На улице, если не считать нескольких пьяниц,— полная тишина. Впрочем, если вам что-то понадобится, обязательно дайте нам знать.

— Молодой человек, уж не намереваетесь ли вы оставить нас здесь на всю ночь?

— Видите ли... не сочтите нас негостеприимными, но мы в безвыходном положении. Посольство забито до отказа. Сегодня, причем совершенно неожиданно, приехал епископ, а потом еще несколько коммерсантов, которые почему-то побоялись остаться в городе. Мне крайне неловко, но... вы, надеюсь, сами понимаете...

— А вам известно, что в городе пожар?

— Да, горит здорово. Мы ведь проезжали совсем близко. Даже из посольства видно зарево.

— Молодой человек, мы с мисс Тин едем с вами.

— Но, послушайте, я же, кажется...

— Сара, залезайте в машину. А я пойду соберу кое-какие вещи.

Продолжая препираться, они вышли на улицу. Уильям и Анстрадер обменялись полными отчаяния взглядами. «Убедитесь, что эти старые зануды в безопасности,— проинструктировал их сэр Самсон,— но ни под каким видом не вздумайте везти их сюда. Здесь и так уже яблоку негде упасть». (Последняя фраза предназначалась епископу, который, сидя в гостиной, мирно играл с Пруденс в подкидного.)

Леди Милдред сомневалась, что мисс Тин способна удержать дипломатов, если те вдруг решат уехать без них, а потому собрала лишь самое необходимое, после чего, перекинув ночные рубашки через плечо и держа в руках туалетные принадлежности, опять, буквально через минуту, спустилась вниз и, удовлетворенно фыркнув, втиснулась на заднее сиденье.

— Скажите,— не без восхищения спросил ее Уильям, разворачиваясь,— вы всегда бросаете в машину бутылки, если хотите, чтобы вас подвезли?

На следующее утро сэр Самсон Кортни проснулся в отвратительном настроении, которое становилось все хуже и хуже по мере того, как, неторопливо совершая туалет, он во всех подробностях вспоминал, что творилось в посольстве накануне вечером.

«Раньше ничего подобного не бывало,— размышлял он по дороге в ванную.— Эти болваны, по всей вероятности, просто не понимают, что посольство — это не общежитие. Как прикажете исполнять свои обязанности, когда дом до отказа набит непрошеными гостями?»

Первым приехал епископ, который привез с собой двух дрожащих от страха викариев и совершенно идиотскую историю о том, что в стране будто бы очередная революция и в городе стреляют. Подумаешь, революция! Азания — это вам не Барчестер [1]. А еще называют себя миссионерами! Миссионер должен быть готов к испытаниям. Трусы! Сэр Самсон в сердцах рванул кран и пустил воду. А когда обед уже подхо-

[1] Имеется в виду английский провинциальный городок Барчестер — место действия романа Антони Троллопа (1815—1882) «Барчестерские башни» (1857).

дил к концу, заявились управляющий банком и этот коротышка Джеггер. Первый раз его вижу. И опять — только и разговоров, что про убийства, грабежи, пожары. Пришлось начинать обед сначала, в результате утка перестоялась и была совершенно несъедобной. И все бы еще ничего, но тут его собственная супруга, поддавшись общей панике, возьми да и спроси про этих старух. «А что, разве леди Милдред и мисс Тин не уехали вместе со всеми на побережье? Не надо ли им чем-нибудь помочь?» Посол попробовал было перевести разговор на другую тему, но, в конце концов, вняв уговорам собравшихся, разрешил Уильяму и Перси сесть в машину и съездить в отель узнать, все ли там в порядке. Им ведь было ясно сказано: только узнать, все ли в порядке. А эти олухи взяли и привезли старух сюда. Таким образом, под его крышей фактически собралась сейчас вся английская колония Дебра-Довы. «Пусть сегодня же выметаются,— решил, намыливая подбородок, посол.— Все до одного. Свалились на мою голову!»

В конечном счете удалось разместить всех гостей. Епископ спал в здании посольства, оба викария — у Анстрадеров, которые с готовностью забрали детей к себе в спальню; леди Милдред и мисс Тин — у Леггов, а управляющий банком и мистер Джеггер — в пустовавшем коттедже Уолшей. Когда сэр Самсон спустился к завтраку, все уже собрались на крокетной площадке и что-то оживленно обсуждали, перебивая друг друга.

«...ужасно болит спина... я ведь в седле держусь плоховато...» — «Бедный мистер Рейт...» — «Чувствуется рука Церкви. Священники уже давно настраивали народ против контроля за рождаемостью. Полиции стало известно, что будет предпринята попытка остановить праздничную процессию, поэтому перед самым началом праздника был арестован патриарх...» — «Войска очистили улицы... стреляли только в воздух... никто не пострадал...» — «Пуля пролетела в нескольких дюймах от моей головы. Представляете, буквально в нескольких дюймах...» — «Сет вернулся во дворец, как только стало очевидно, что праздник сорван. Вы бы его видели — злой, как черт...» — «Сил уехал вместе с ним...» — «...когда лошадь подымалась в гору, было еще ничего. Хуже, когда она сбегала вниз... Такое ощущение, что летишь по воздуху...» — «Бедный мистер Рейт...» — «После этого войска стянули к дворцу. Мы с Джеггером были совсем близко и все видели. На дворцовой площади собралась вся армия, и когда люди поняли, что стрельба прекратилась, они начали, по шесть-семь человек, выходить из переулков и тоже двинулись на площадь, смешиваясь с солдатами. Было это примерно в половине шестого...» — «...Из-за того, что бриджи у меня никудышные, я стер себе все колени...» — «Бедный мистер Рейт...» — «Все думали, что Сет появится снова. Даже королевскую ложу убирать не стали. Сама-то ложа — дешевка, главное, что на возвышении. Все стоят, глаз с ложи не сводят. И вдруг на нее подымается — но не император, а патриарх, которого мятежники освободили из тюрьмы, а вслед за ним — Коннолли, старый Нгумо и кое-кто из придворных. Тут толпа стала бурно приветствовать патриарха и Нгумо, а солдаты, увидев Коннолли, закричали «ура» и начали снова палить в воздух. Минут пятнадцать на площади невообразимый рев стоял...» — «...И еще две ссадины на нижней части голени — от шпор...» — «Бедный мистер Рейт...» — «А потом произошло самое неожиданное. Патриарх произнес речь, которую, впрочем, из-за шума почти никто не слышал. Он объявил, что Сет низложен и что сегодня состоится коронация нового монарха, сына Амурата, Ахона, который, как выяснилось, еще жив, хотя все думали, что он уже лет пятьдесят назад умер. Стоявшие рядом с ложей стали кричать «Да здравствует Ахон!», и толпа их поддержала, а почему — никто, наверно, и сам не знал. Вот тут и начался настоящий праздник. А христиане тем временем громили индийские и еврейские кварталы — взламывали магазины, поджигали дома. Тогда-то мы с Джеггером и решили бежать из

города...» — «...горячая попалась лошадка, ничего не скажешь...» — «Бедный, бедный мистер Рейт».

— А они все о том же,— подумал вслух сэр Самсон, услышав доносившиеся с лужайки голоса.— На отсутствие аппетита они пожаловаться не могут,— кисло добавил он, заметив, что гости подъели почти весь кеджери [1].

— А что с Бэзилом Силом? — спросила Пруденс.

— Бежал вместе с Сетом, надо полагать,— откликнулся управляющий банком.— А уж куда — не знаю.

Тут появилась леди Кортни. Она была в резиновых сапогах, с тачкой и лопатой. Императоры приходят и уходят, а вот пруд с водяными лилиями никто вместо нее перекапывать не станет.

— Доброе утро,— сказала она.— Надеюсь, после вчерашнего вы все выспались и с аппетитом позавтракали. К сожалению, у нас здесь форменный сумасшедший дом. Пруденс, детка, ты не поможешь мне перекопать пруд? Мистер Рейт, вы, должно быть, ужасно устали от езды верхом? Будьте же благоразумны, постарайтесь сегодня себя особенно не утруждать. Епископ покажет вам наш сад. Возьмите шезлонги. Они на веранде. Леди Милдред и мисс Тин, как вы? Надеюсь, моя горничная обеспечила вас всем необходимым? Прошу вас, пожалуйста, будьте как дома. Вы случайно не играете в крокет, мистер Джеггер?

Неполномочный допил вторую чашку кофе, набил трубку, раскурил ее и, чтобы избежать светской беседы на лужайке, через задний двор поплелся в канцелярию. Хотя бы здесь сохранилась нормальная обстановка. В канцелярии Анстрадер, Легг и Уильям резались в бридж.

— Простите, что помешал, друзья. Я только хотел узнать, известно ли кому-нибудь из вас про очередную революцию?

— Толком ничего не известно, сэр. Не хотите к нам присоединиться?

— Нет, большое спасибо. Пойду поговорю с епископом о его соборе. Тогда, может, и письмо сочинять не придется. Ничего, теперь, когда Сет свергнут, все будет хорошо. Придется, наверно, писать о перевороте рапорт. Никто, впрочем, не станет этот рапорт читать. И все-таки было бы хорошо, если б кто-то из вас при случае наведался в город и выяснил, что же там произошло на самом деле.

— Делать нам больше нечего,— сказал Уильям, когда посол вышел.— Черт, какие у «болвана» слабые карты!

Через час посол явился снова:

— Знаете, только что пришло приглашение на коронацию. Боюсь, придется поехать кому-то из вас. Без парадной формы ведь нельзя, а моя ужасно мне жмет под мышками. Уильям, голубчик, съездили бы вы вместо меня, а?

Несторианский собор, как, впрочем, и весь город, был построен совсем недавно, однако из-за спертого воздуха и царившего внутри мрака от него веяло стариной. Это было восьмиугольное здание с куполообразной крышей и галереей вокруг алтаря. Стены собора были расписаны примитивными изображениями святых и ангелов, а также батальными сценами из Ветхого Завета и портретами Амурата Великого, едва различимыми в слабом свете полутора десятков закрепленных на стенах свечей. В этот день в соборе с самого рассвета пели три хора. До коронации должен был состояться длиннейший церковный обряд, состоящий из псалмов, пророчеств и многословных очистительных молитв. Под аккомпанемент дьяконов, которые несильно били в барабаны и серебряный гонг, три престарелых причетника читали по свиткам Третью Книгу Моисееву. Роль церкви в стране значительно возросла, и духовенство не желало жертвовать ни одной минутой торжественного молебна.

[1] Кеджери — индийское блюдо из риса, овощей и яиц.

Тем временем перед боковым приделом расстелили ковер, поставили кресла и натянули навес, под которым после торжественной службы должен был, по ритуалу, давать клятву верности новый император. Все ведущие к несторианскому храму улицы были забиты полицией, а соборная площадь оцеплена гвардейцами. Ровно в одиннадцать утра прибыл мсье Байон и опустился в одно из кресел, отведенных дипломатическому корпусу. В отсутствие американского посла, уехавшего из столицы на побережье, мсье Байон занимал пост дуайена. Местная знать была уже в полном сборе. Герцог Укакский сел рядом с графом Нгумо.

— Где Ахон?

— В алтаре, со священниками.

— Как он?

— Ночь прошла спокойно. Мне кажется, ему неудобно в мантии.

Наконец обряд кончился и началась торжественная служба; молитву за закрытыми дверьми читал, в соответствии со сложнейшим несторианским ритуалом, сам патриарх. Из темноты доносилось торжественное песнопение дьяконов да позванивание серебряного колокольчика, оповещавшие собравшихся, что молебен идет своим чередом. Мсье Байон сидел как на иголках; его, убежденного атеиста, вся эта процедура начинала немножко раздражать. В это время появился Уильям, в треугольной шляпе и в костюме с золотыми нашивками. Нашивки очень ему шли. Он вежливо улыбнулся мсье Байону и сел рядом.

— Что, уже началось?

Мсье Байон важно кивнул головой, не проронив ни слова.

Через некоторое время дуайен дипломатического корпуса вновь заерзал в своем позолоченном кресле — на этот раз по причине, никакого отношения к атеизму не имеющей.

Уильям теребил в руке перчатки, потом скинул шляпу и с тоской устремил взор под расписанный фресками купол. В какой-то момент, забывшись, он достал из кармана портсигар, вынул сигарету, постучал ею о носок ботинка и уже собирался закурить, но поймал на себе взгляд мсье Байона и поспешно спрятал сигарету в карман.

Наконец молебен подошел к концу, двери собора распахнулись, трубачи на ступеньках затрубили в фанфары, и застывший на площади духовой оркестр заиграл национальный гимн. На пороге показалась процессия. Впереди шел хор дьяконов, за ними следовали священники, епископы, патриарх, и, наконец, под парчовым балдахином, который с четырех сторон держали на высоких шестах четверо вельмож, появился путающийся в длинной мантии император. По тому, как он держался, неясно было, отдавал ли он себе отчет в том, что происходило. Помазанник, по-видимому, не привыкший к шелковой мантии и драгоценностям, то и дело с раздражением поводил плечами, чесался и все время, беспокойно оглядываясь, подымал правую ногу и встряхивал ею — отсутствие на лодыжке цепи, вероятно, очень его смущало. Святое миро, которым он только что был помазан на царство, стекало у него по носу и капало с седой бороды на землю. На каждом шагу император спотыкался и останавливался как вкопанный, двигаясь дальше только после того, как один из сопровождавших его вельмож почтительно подталкивал его в бок. Следуя за монархом, мсье Байон, Уильям и представители местной аристократии направились в сторону помоста, воздвигнутого на соборной площади для торжественной церемонии.

Появление императора и его свиты толпа встретила восторженными криками. Ахона подвели к сооруженному на помосте трону и стали, одну за другой, вручать ему королевские регалии. Держа в руке королевскую шпагу, патриарх обратился к монарху со следующими словами:

— Ахон, я вручаю тебе эту шпагу Азанийской империи. Поклянись, что будешь сражаться во имя Справедливости и Веры, в защиту своего народа, во славу нации!

Император что-то пробурчал, и шпага на пестрой перевязи под грохот аплодисментов была опущена ему на колени, а его безжизненная рука положена на эфес.

Следующей регалией была золотая шпора.

— Ахон, я вручаю тебе эту шпору. Поклянись, что будешь ездить верхом во имя Справедливости и Веры, в защиту своего народа, во славу нации!

Император тихонько заскулил и отвернулся, а граф Нгумо тем временем прицепил шпору к его правой ноге, привыкшей к более тяжкому грузу. Народ на площади взвыл от восторга.

Наконец дошла очередь до короны.

— Ахон, я вручаю тебе эту корону. Поклянись, что будешь носить ее во имя Справедливости и Веры, в защиту своего народа, во славу нации!

Император ничего не ответил, и патриарх двинулся к нему, держа на вытянутых руках массивную золотую тиару Амурата Великого. С величайшей осторожностью он водрузил ее на сморщенный лоб, но тут убеленная сединами голова Ахона под весом короны упала на грудь, а сама корона вновь оказалась в руках у патриарха.

Придворные и священнослужители столпились вокруг старика, и вдруг до стоявших перед помостом людей донесся испуганный, приглушенный шепот. Чувствуя, что что-то произошло, народ затих и подался вперед.

— Вот те на! — воскликнул мсье Байон.— Удивительное невезение! Кто бы мог подумать...

Ахон был мертв.

— Гм,— изрек сэр Самсон, когда, немного опоздав ко второму завтраку, из города с рассказом о коронации вернулся Уильям.— Хотел бы я знать, что они еще выдумают? Придется, значит, снова сажать Сета на трон. Стоило огород городить. Только голову нам морочат! Теперь наш рапорт в министерство иностранных дел покажется сущим бредом. Может, имеет смысл вообще об этой истории помалкивать?

— Кстати,— сказал Уильям,— в городе идут разговоры, будто железнодорожный мост через Лумо разрушен и поезда в Матоди еще долго ходить не будут.

— Час от часу не легче.

За обеденным столом собралась вся английская колония. Епископ и викарии, управляющий банком и мистер Джеггер, леди Милдред и мисс Тин, перебивая друг друга, засыпали Уильяма вопросами. Пожар потушен? Магазины еще грабят? Городская жизнь входит в нормальную колею? Введены ли в город войска? Где Сет? Где Сил? Где Боз?

— Оставьте Уильяма в покое,— вступилась Пруденс.— Посмотрите лучше, как ему идет костюм с нашивками.

— Если мост, как вы говорите, разрушен,— не унималась леди Милдред,— как же тогда добраться до Матоди?

— Никак. Только на верблюде.

— Вы что же, хотите сказать, что нам придется сидеть здесь, пока мост не починят?

— Только не здесь,— не выдержал сэр Самсон.— Не здесь.

— Какое безобразие! — вырвалось у мисс Тин.

Наконец, не дождавшись кофе, посол вышел из-за стола.

— Дела, дела,— бодрым голосом пояснил он.— Боюсь, до вечера я буду занят, поэтому, на всякий случай, хочу с вами попрощаться. Когда я освобожусь, вы все, надо думать, уже разъедетесь.

И он вышел из столовой, оставив своих гостей в полном оцепенении. Вскоре они, все семеро, собрались в глубине сада обсудить создавшееся положение.

— Откровенно говоря,— сказал епископ,— со стороны посла, по-моему, в высшей степени необдуманно, более того, опрометчиво отправлять нас обратно, не дождавшись более обнадеживающих сведений о положении в городе.

— Мы — британские подданные,— заявила леди Милдред,— и имеем полное право искать защиты под британским флагом. Вы как хотите, а я остаюсь в посольстве независимо от того, нравится это сэру Самсону или нет.

— Я — тоже,— сказал мистер Джеггер.

Еще немного посовещавшись, они отправили к послу епископа, чтобы тот сообщил хозяину дома об их решении. Епископ застал Неполномочного мирно дремлющим в гамаке, в тени манговых деревьев.

— Вы ставите меня в очень сложное положение,— сказал посол, узнав от епископа, что гости уезжать не собираются.— Очень жаль, что все так получилось. Я-то уверен, что в городе вам было бы уютнее, чем здесь, и так же спокойно, но, раз вы хотите остаться, милости прошу, живите в посольстве до тех пор, пока страсти не улягутся.

К вечеру, когда леди Кортни удалось найти всем занятие (одни пошли в бильярдную, другие решили поиграть в лото, третьи — в карты или в крокет, а четвертые сели рассматривать альбомы с фотографиями), к семи непрошеным гостям прибавился еще один — в пыльном азанийском национальном костюме, с винтовкой в руке. Войдя в гостиную, восьмой гость прислонил винтовку к камину и только тогда подошел поздороваться с леди Кортни.

— Господи! — воскликнула она.— И вы тоже будете у нас жить?

— Только переночую,— заверил ее Бэзил.— Завтра рано утром я должен двигаться дальше. Куда можно поставить верблюдов?

— Верблюдов?! На верблюде к нам, кажется, еще никто не приезжал. Сколько же их у вас?

— Десять. Я путешествую под видом местного купца. Верблюды стоят на улице, с погонщиками. Надеюсь, их устроят на ночь. Мерзкие, надо сказать, твари, эти верблюды. У вас не найдется для меня стаканчика виски?

— Конечно, конечно. Дворецкий сейчас принесет. Может, попросить Уильяма дать вам рубашку и брюки?

— Нет, благодарю, я останусь в этом балахоне. Надо привыкать, ведь в европейском платье меня непременно сцапают. Вчера чуть было не подстрелили. Две пули выпустили.

Гости оставили свои занятия и обступили вновь прибывшего.

— Что в столице?

— Хуже некуда. Солдаты смекнули, что их обвели вокруг пальца, и сидят по казармам. Коннолли со своим штабом отправился на поиски Сета. Патриарх прячется где-то в городе. Люди Нгумо сцепились с полицией, и пока что дать им отпор не удается. Они врываются в питейные заведения, которые Коннолли еще вчера позакрывал. С наступлением темноты опять начнутся налеты на магазины.

— Вот видите! — сказала леди Милдред.— А посол еще хотел, чтобы мы сегодня же вернулись в город.

— Здесь, по-моему, тоже небезопасно. Сейчас, например, одна из банд грабит американское посольство. Байон распорядился, чтобы за ним с материка выслали самолет. Не сегодня-завтра бандиты могут заявиться сюда, и непохоже, чтобы ваша охрана с ними справилась.

— А куда направляетесь вы?

— За Сетом и Бозом. Мы договорились встретиться на ферме Боза, на границе земель ванда — это отсюда дней пять езды. Еще не все потеряно: если Сет не наделает глупостей, можно будет попытаться вернуть ему власть. Но в любом случае без крови тут не обойдется.

От этих слов по лицам присутствующих пробежала судорога. Но тут вмешалась леди Кортни:

— Мистер Сил,— с укоризной сказала она,— что-то вы нас совсем запугали. Я уверена, что все совсем не так плохо, как вы изображаете. Это же одни разговоры. Пойдите-ка лучше пропустите стаканчик и поговорите с Пруденс, а это грязное ружье отнесите в прихожую — в гостиной ему не место.

— Бэзил, что с нами будет? Неужели ты завтра уедешь, и мы больше никогда не увидимся?

— Не беспокойся, Пруденс. Все будет в порядке. Мы обязательно увидимся. Я тебе обещаю.

— Но ты же сам говоришь, что ситуация — хуже некуда.

— Ерунда, это я специально сгустил краски, чтобы старух припугнуть.

— Бэзил, ты меня обманываешь.

— Думаю, за вами пошлют самолет в Хормаксар. Уолш ведь в Матоди, а он — малый не промах. Когда он узнает, что произошло, то немедленно свяжется с Аденом и обо всем договорится. Все будет нормально, вот увидишь.

— Но ведь я волнуюсь не за себя, а за тебя.

— Волноваться вообще не стоит — глупое занятие. Слезами, говорят, горю не поможешь.

— А тебе этот балахон ужасно идет...

За обедом Бэзил говорил без умолку, повергая собравшихся в ужас разнообразными историями о жестокостях туземцев. Некоторые истории он выдумывал сам, а некоторые ему рассказывал в пору их дружбы Коннолли. «...постригли ее наголо и намазали голову маслом. Белые муравьи въедались в череп... на фермах внутри страны до сих пор еще можно встретить старых, слепых европейцев, которые трудятся бок о бок с рабами; это военнопленные, про которых после заключения мира, разумеется, напрочь забыли... по-арабски «сакуйю» значит «беспощадный»... напившись, они теряют рассудок. В таком состоянии они могут находиться по нескольку дней, без устали громя все, что попадется им под руку. Если они будут знать наверняка, что здесь есть спиртное, то долгая дорога их не смутит. Позвольте еще стаканчик виски?»

Когда за столом остались одни мужчины, посол сказал:

— Не знаю, голубчик, правда ли то, о чем вы нам рассказывали, но мне кажется, при дамах вы могли бы всего этого не говорить. Даже если опасность и существует, в чем лично я сильно сомневаюсь, женщины об этом знать не должны.

— Да, перепугались они не на шутку,— усмехнулся Бэзил.— Джеггер, передайте мне, пожалуйста, графин. Итак, сэр, как вы намереваетесь держать оборону?

— «Держать оборону»?!

— Именно. Если все, как и накануне, будут ночевать в разных коттеджах, мы и оглянуться не успеем, как бандиты перережут нам глотки. Территория посольства слишком велика. Пусть сегодня все спят в главном здании, организуйте смену часовых и выставьте пикеты конной охраны на дороге в город, в полумиле от посольства, чтобы успеть, в случае приближения банды, дать сигнал тревоги. Ступайте, переговорите с женщинами, а я все сам организую.

Сэр Самсон не нашелся что ответить. День выдался не из легких. Форменный сумасшедший дом. Безумцы и хамы. Пусть делают что хотят, а он пойдет к себе в кабинет выкурить в одиночестве сигару.

Командование взял на себя Бэзил. Через полчаса в гостиной появились Анстрадеры, которые несли завернутых в одеяла детей и скудные запасы огнестрельного оружия.

— Допускаю, что необходимо быть начеку,— сказала леди Кортни,— но, боюсь, вместе всем нам будет ужасно неудобно.

Все попытки убедить детей, что ничего необычного не происходит, оказались безуспешными — вскоре они собрались в холле и стали, истошно крича, изображать агонию «итальянской тети», в череп которой въедаются термиты.

— Нам рассказал об этом дядя, завернутый в простыню,— объяснили они.— Представляешь, мамочка, как тете было больно.

Взрослые без дела бродили по дому.

— Мы не можем чем-нибудь помочь?

— Можете. Посчитайте патроны и разложите их на равные кучки... Неплохо было бы и бинты приготовить... Легг, надо бы закрепить петли на этой ставне, а то они совсем разболтались. Не принесете отвертку?

Часов в десять вечера неожиданно выяснилось, что прислуга (туземцы, согнанные в посольство из окрестных деревень) потихоньку сбежала; остались только погонщики верблюдов, которые пришли вместе с Бэзилом. На кухне они нашли мясо, потушили его и наелись так, что не могли сдвинуться с места:

— Все остальные домой пошел. Резать головы не хочет. Они очень нехороший. Мы хороший — здесь будем жить.

Когда о дезертирстве прислуги стало известно, в гостиной наступило всеобщее уныние. Сэр Самсон выразил чувства присутствующих, когда, с раздражением отодвинувшись от стола, заметил:

— Дело дрянь, раз сегодня вечером у меня даже нет настроения сыграть в нарды.

Но, вопреки ожиданиям, ночь прошла спокойно. Мужчины, сменяя друг друга каждые три часа, охраняли территорию. Каждый спал, положив рядом с собой оружие: револьвер, винтовку, дробовик или обыкновенный секач. Приглушенный шепот в комнатах наверху, шуршание халатов, постукивание домашних туфель и громкие вскрики младшего сына Анстрадеров, которому снились кошмары, свидетельствовали о том, что женщины спали немногим больше мужчин. На рассвете, бледные, с красными глазами, все снова собрались в гостиной. Английская горничная леди Кортни и индиец-дворецкий отправились на кухню и, переступая через спящих погонщиков, с трудом пробрались к плите сварить кофе. Настроение немного поднялось, все снова, перестав шептаться, заговорили, впервые за последние десять часов, нормальными голосами, стали даже позевывать.

— Одна ночь позади,— сказал Бэзил.— Впрочем, реальная опасность будет вам угрожать, когда в городе подойдут к концу запасы продовольствия.

Все снова впали в уныние.

Выйдя на лужайку, они увидели, что над городом стелется дым.

— Пожар-то до сих пор не потушили!

— Ой, смотрите! — воскликнул Анстрадер, глядя на него.— Это ж тучи.

— Позвольте, сезон дождей должен начаться только через неделю...

— По-разному бывает.

— Действительно, тучи,— сказал Бэзил.— Я так и знал, что в эти дни должны начаться дожди. В Кении дождь пошел на прошлой неделе. Да, теперь мост через Лумо нескоро починят.

— Значит, сегодня надо сажать луковицы,— спохватилась леди Кортни.— Наконец будет хоть какое-то осмысленное занятие. А то только и делаем, что простыни на бинты рвем да мешки песком набиваем. Жаль, что вы не предупредили меня раньше, мистер Сил.

— На вашем месте,— сказал Бэзил,— я бы не луковицы сажал, а проверил наличие продовольствия и установил строгий рацион. Боюсь, мои ребята за вчерашний вечер съели ваш недельный запас.

Все разошлись кто куда, каждый пытался заняться полезным делом, но вскоре послышался какой-то странный звук, и все, что-то крича

наперебой, снова сбежались на лужайку. К посольству, рокоча, приближался аэроплан.

— Это наверняка Байон,— сказал Бэзил.— Удирает на материк.

Но аэроплан взял курс на посольство; снизившись, он стал делать над лужайкой круги, отчего из конюшни послышалось громкое ржанье обезумевших от страха пони. Уже видна была голова пилота, который выглядывал из кабины, и вскоре с самолета упал завернутый в английский флаг сверток, после чего аэроплан вновь поднялся в небо и улетел в сторону побережья. Дети Анстрадеров, оглашая окрестности торжествующими воплями, понеслись в сад и, прибежав обратно, вручили сверток послу. В записке карандашом, подписанной командиром аденской эскадрильи, говорилось следующее: «Высылаю два транспортно-десантных самолета и три бомбардировщика. Будьте готовы эвакуироваться через час после получения этой записки. Ничего, кроме официальной переписки и личных вещей, взять на борт не смогу».

— Это дело рук Уолша. Толковый малый — я всегда говорил. Не понимаю только, к чему такая спешка?

Через час на лужайке перед главным зданием выросла целая гора из баулов и чемоданов.

— «Официальная переписка»! Знать бы еще, где она, эта переписка! Уильям, поищите, голубчик. Сомневаюсь, правда, чтобы там нашлось что-то ценное.

— Лошадей придется вывести из конюшни. Пусть себе пасутся... Будем надеяться, что с ними ничего не случится.

— Закройте все двери, а ключи спрячьте. А впрочем, какая разница!

— Папа, зачем ты набрал столько фотографий?

— Как быть с паспортами?

За неимением своих вещей, приехавшие из города помогали упаковывать чужие.

— Первый раз в жизни лечу. Я слышал, что в самолете многим становится нехорошо.

— Бедный мистер Рейт.

Оставшись не у дел, Бэзил стоял в стороне и, опершись на ствол своего ружья, молча наблюдал за сборами. С ружьем, в длинном белом балахоне, он был похож на часового.

Пруденс подошла к нему, и они направились в угол сада, за рододендроны. На ней был лихо сдвинутый набок красный берет.

— Бэзил, милый, брось ты этого идиотского императора! Поедем лучше с нами.

— Не могу.

— Пожалуйста!

— Нет, Пруденс, не могу. Не беспокойся, все будет в порядке. Мы еще встретимся. Где, не знаю, но встретимся.

Появившиеся на горизонте тучи заволокли все небо.

— Когда улетаешь на самолете, то кажется, что расстаешься как-то особенно надолго. Понимаешь, что я хочу сказать?

— Понимаю.

— Пруденс! Пруденс! — За кустами рододендронов послышался голос леди Кортни.— Зачем тебе столько шляп?

— Твой балахон как-то странно пахнет.— Пруденс прижалась к Бэзилу всем телом.

— Он достался мне от туземца-сакуйю, который украл у какого-то индийца фрак.

— Пруденс!

— Да, мама, иду!.. Бэзил, любимый, это выше моих сил...

И с этими словами она убежала помочь матери извлечь из коробок ненужные шляпы.

Очень скоро, гораздо раньше, чем их ждали, в небе, над вершинами гор, в строго боевом порядке появились пять самолетов, они снизились и сели на территории посольства. Из кабин вышли офицеры британских ВВС и, быстрым шагом подойдя к сэру Самсону, отдали ему честь. Столь почтительное обращение с Неполномочным несколько удивило его домочадцев, а также гостей и подчиненных.

— Мы должны подняться в воздух как можно скорее, сэр. Приближается гроза.

Началась посадка. Все держались спокойно, без паники. Кавалеристы из охраны, а также индиец-дворецкий сели в первый транспортно-десантный самолет; дети, священнослужители и работники посольства — во второй, а Джеггера, Уильяма и Пруденс рассадили по кабинам трех бомбардировщиков. Когда самолеты уже должны были взлететь, Пруденс, спохватившись, выпрыгнула из кабины и стремглав, придерживая красный берет, бросилась обратно в здание посольства и вскоре, задыхаясь от быстрого бега, вернулась с кипой бумаг в руке.

— Чуть не забыла «Панораму жизни»!

Взревели двигатели, самолеты рванулись вперед, оторвались от земли, набрали высоту и, сверкнув в воздухе, исчезли из виду. Наступила тишина. Все произошло меньше чем за двадцать минут.

Бэзил повернулся и пошел искать своих верблюдов.

Пруденс, согнувшись, сидела за спиной пилота, придерживая обеими руками берет. Ветер свистел в ушах, внизу возник и неторопливо проплыл беспорядочно раскинувшийся, окутанный дымом город, потом потянулись пастбища, усыпанные маленькими коровами и домиками; пастбища сменились зелеными долинами и джунглями. Она покидала Дебра-Дову навсегда и не жалела об этом.

«Как бы то ни было,— размышляла Пруденс,— мне нужны новые идеи для моей «Панорамы». Она попробовала представить себе свою новую жизнь, о которой совсем недавно, сидя у нее на постели, говорила с ней мать, когда приходила пожелать ей спокойной ночи. Дом тети Харриет на Белгрейв-плейс. Званые обеды, подруги, танцы, молодые люди. Уик-энды в загородных особняках, теннис, охота. Словом, столичная светская жизнь, о которой она знает пока только из книг. Надо будет возобновить знакомство со школьными подругами. «Мне даже нечем будет перед ними похвастаться — они ведь еще такие юные, такие невинные». Английский холод, туман, дождь; в серых сумерках очертания голых деревьев и поднятых коверкотовых воротников, по которым стекают капли дождя... Лондонские улицы, закрываются магазины, люди спешат в метро с вечерними газетами под мышкой... Пусто. Поздний вечер. Она идет после танцев, мужчины в похожих на средневековые плащах поливают из шлангов горбатые мостовые... Юная англичанка вновь обретала родину...

Но тут аэроплан почему-то вдруг начал снижаться, и Пруденс поневоле перенеслась мыслями в настоящее. Летчик, повернувшись, что-то ей прокричал, но ветер отнес его слова. Бомбардировщики летели треугольником, и их самолет находился в нижнем левом углу. Пруденс увидела, как из кабины летящего впереди самолета к ним повернулось лицо в защитных очках — пилот, видно, заметил, что их бомбардировщик отстает и снижается, но летчик, с которым летела Пруденс, сделал ему знак лететь дальше. Навстречу им неслись зеленые кроны деревьев; самолет лег на крыло и стал кружить над джунглями, выискивая место для посадки.

— Держитесь крепче и не волнуйтесь! — донеслись до нее слова пилота. Среди деревьев и кустов внезапно открылась поляна. Самолет сделал еще один круг и, сев на поляну, накренился, чуть было не перевернулся, но выпрямился и стал как вкопанный буквально в нескольких футах от огромного дерева.

— Как в аптеке,— заметил пилот.

— Что-то случилось?

— Ничего особенного. Двигатель забарахлил. Сейчас поправим, это пара пустяков. Можете даже не выходить из кабины. Мы их еще до Адена догоним.

Во второй половине дня на город обрушился невиданной силы тропический ливень. Под напором нескончаемых потоков воды тлеющие городские склады зашипели, покрылись клубами пара, и лизавшие стены языки пламени исчезли в черных подтеках грязи. По улице растекались огромные лужи; вода стремительно неслась по сточным канавам, забивая мусором немногие попадавшиеся на пути водостоки. Дождь оглушительно барабанил по железным крышам. Насквозь промокшие бунтовщики прятались в подворотни, солдаты бросали свои посты и сбегались в казармы, где отвратительно пахло мокрой материей. Флаги и транспаранты, вывешенные в честь Праздника противозачаточных средств, намокли и, безжизненно повиснув, обмотались вокруг столбов, а некоторые настолько отяжелели от воды, что сорвались с флагштоков и лежали теперь в грязи на мостовой. Разоренный город погрузился во мрак.

Бэзил спускался в низину шесть дней, совершенно потеряв счет времени. Каждый день, в течение девяти часов из двадцати четырех, лил непрекращающийся дождь, и определить время по солнцу было невозможно; часто караван шел по ночам, напрасно пытаясь наверстать то, что было упущено в дневное время.

На второй день путешествия погонщики перехватили и привели Бэзилу гонца, который на конце расщепленной палки нес промокшее от дождя письмо.

— Великий вождь не потерпит, чтобы грабили его посланцев.

— Бывает время, когда приходится терпеть,— возразил Бэзил, снимая с палки письмо.

Он прочел следующее:

«Графу Нгумо от виконта Боза, министра внутренних дел Азанийской империи. Виконт Боз приветствует Вас. Мир Вашему дому. От своего имени и от имени моей семьи приветствую также Ахона, которого некоторые именуют императором Азании, верховным вождем племени сакуйю, повелителем племени ванда, грозой морей. Да будут продлены дни его, да будет многочисленным потомство его! Я, Боз, не последний человек в империи, нахожусь сейчас в Гулу, на болотах ванда. Со мной вместе находится Сет, которого некоторые именуют императором. Говорю это Вам, чтобы Ахон знал, что я — его верный подданный. Я боюсь за здоровье Сета и хочу, чтобы Ваша милость научили меня, как избавить его от страданий. Боз».

— Пойдешь вперед,— приказал Бэзил гонцу,— и скажешь твоему господину виконту Бозу, что Ахон мертв.

— Как же я могу вернуться к своему господину, потеряв письмо, которое он мне вручил? Мне что же, жизнь не дорога?

— Делай что тебе говорят. Твоя жизнь — ничто в сравнении с жизнью императора.

В тот же день два верблюда, переходя через быструю полноводную реку, оступились, их унесло течением, и они разбились о валуны. На третью ночь сбежали еще пятеро. Погонщики взбунтовались: сначала они требовали денег, а затем наотрез отказались продолжать путь на любых условиях. Последние два дня Бэзил ехал к назначенному месту в полном одиночестве, его верблюд спотыкался на каждом шагу и еле передвигал ноги.

На залитых дождем улочках Матоди царила полная неразбериха. Майор Уолш, секретари французского посольства и мистер Шонбаум каждый день передавали в Европу противоречивые сведения. Сначала

они телеграфировали, что Сет умер, а Ахон стал императором, затем — что умер Ахон, а императором остался Сет.

— Мадам Байон наверняка знает, где скрывается генерал Коннолли.

— Увы, мсье Жан, она отказывается говорить.

— Вы подозреваете, что ей известно еще что-то?

— Супруга мсье Байона вне подозрений.

Когда дождь ненадолго прекращался, чиновники и солдаты без всякого дела разбредались по своим конторам и казармам — у них не было ни денег, ни инструкций, ни вестей из столицы. В бухту, для защиты своих соотечественников, вошли и стали на якорь четыре миноносца под четырьмя национальными флагами. Мэр города втайне готовился бежать на материк. Господин Юкумян, стоя за стойкой бара в отеле «Амурат», настаивал крепкие напитки и очень нервничал.

— Нет, вы мне скажите, что может быть глупее этих войн? Ведь в результате у нас нет ни императора, ни железной дороги, а в Дебра-Дове эти паршивые черномазые разворовали все мое имущество. Не пройдет и недели, как цивилизованные страны начнут бомбардировку. Вот увидите!

В сумрачной тишине арабского клуба шесть самых старых и почетных его членов мирно жевали кхат и рассуждали о том, какая ошибка была допущена в давнем судебном процессе.

В покрытой грязью и жидким пеплом Дебра-Дове брошенные на произвол судьбы азанийцы, оставив дела, сидели по домам, с головой погрязнув в домашних склоках. Многие из тех, кто еще недавно подался из деревни в город, теперь возвращались обратно; другие нашли приют в покоях опустевшего дворца и ждали, что же будет дальше.

В Адене, гуляя в скалах, сэр Самсон и леди Кортни с нетерпением ждали известий о пропавшем самолете. Их поселили в резиденции посла, окружив столь необходимыми в их положении заботой и вниманием и отвадив назойливых репортеров и переживающих за них соотечественников. Леди Милдред и мисс Тин отправили в Саутгемптон первым же пароходом. Мистер Джеггер готовился покинуть европейский квартал, который не пришелся ему по вкусу. Сэр Самсон и леди Кортни в одиночестве бродили среди скал и ждали вестей. Воздушные патрули вылетели в Азанию, несколько раз на бреющем полете пролетели над непроницаемыми джунглями в том месте, где последний раз видели самолет Пруденс, возвратились обратно, заправились, вновь вылетели на остров, однако за неделю поисков так ничего и не обнаружили. Командование обсудило дальнейший план действий и забрасывать в джунгли поисковую партию сочло нецелесообразным.

Бэзил добрался до лагеря Сета в Гулу после полудня, когда дождь прекратился. Люди императора заняли там небольшую деревушку. Человек десять солдат в рваной форме сидели на корточках на просеке и молча точили прутьями зубы.

Верблюд опустился на колени, и Бэзил спешился. При виде его никто из часовых даже не приподнялся, никто не вышел ему навстречу из глиняных хижин. Сидящие на корточках люди молча смотрели мимо него на подымающийся над лесом пар.

— Где император? — спросил Бэзил, однако ответа на свой вопрос не получил.

— Где Боз?

— В большом доме. Он сейчас отдыхает.

И они показали пальцами на хижину вождя, стоявшую в стороне и отличавшуюся от остальных бóльшими размерами и узкой верандой с глиняным полом и навесом из пальмовых листьев.

— А почему в большом доме нет императора?

Часовые промолчали. Вместо ответа они обнажили зубы и с отсутствующим видом уставились на лес, где в клубящемся над землей пару с ветки на ветку перепрыгивали, поднимая фонтаны брызг, несколько обезьян.

Бэзил подошел к хижине вождя. В хижине не было окон, и, войдя внутрь, он ничего не увидел. Правда, слышно было, как кто-то тяжело дышит в углу. Когда же глаза Бэзила постепенно привыкли к темноте, он разглядел нехитрую обстановку, походное снаряжение и остатки пищи на столе. А еще — спящего Боза. Государственный муж лежал на спине, на мешковине, укрывшись кучей тряпья и выставив в потолок свою черную, как смоль, курчавую бороду. На животе у него лежало ружье, заляпанные грязью бриджи были тесны, а потому застегнуты только на нижние пуговицы; бриджи эти Бэзил сразу же узнал — в них ездил верхом император. У изголовья Боза сидела туземка из племени ванда.

— Господин все время спит. Уже несколько дней. Проснется, отхлебнет из квадратной бутылки — и засыпает снова.

— Позовешь меня, когда он проснется.

Бэзил вновь подошел к сидевшим на просеке неразговорчивым часовым:

— Покажите мне дом, где я могу поспать.

Они показали ему на пустую хижину, но провожать не пошли. Вода все еще капала через соломенную крышу, на глиняном полу образовалась грязная лужа. Бэзил выбрал место посуше, лег и стал ждать, когда проснется Боз.

За ним пришли, когда уже стемнело. Часовые разожгли костер, но совсем небольшой — они знали, что в полночь снова пойдет дождь и костер все равно потухнет. В хижине вождя горел свет: на столе стояла отличная лампа на медной подставке с фитилем под стеклом. Боз вынул два стакана и две бутылки виски.

— Где Сет?

— Ушел.

— Куда?

— Откуда мне знать. Пей, я тебе налил.

— Я послал к нему гонца с известием о смерти Ахона.

— Сет ушел раньше, чем появился гонец.

— А гонец где?

— Гонец мертв: он принес плохие вести. Прибавь света, плохо сидеть в темноте.

Боз залпом осушил свой стакан и наполнил его снова. Наступила пауза.

Боз нарушил молчание первым:

— Сет мертв.

— Я так и думал. От чего он умер?

— От болезни джунглей. У него распухли руки и ноги. Он закатил глаза и умер. Так многие умирают.

Опять помолчали.

— Итак, у нас теперь нет императора. Жаль, что твой гонец не пришел днем раньше. Я повесил его за то, что он опоздал.

— Боз, болезнь джунглей не зависит от хороших или плохих вестей.

— Ты прав. Сет умер иначе. Покончил с собой. Он поднес ствол ружья ко рту и большим пальцем ноги спустил курок. Вот как умер Сет.

— Что-то на него не похоже.

— Почему же? Многие кончают с собой. Я часто слышал о таких случаях. Его тело лежит в соседнем доме. Солдаты не хотят его хоронить. Говорят, его надо отнести в Мошу, к туземцам ванда, чтобы они похоронили его по своему обряду. Сет ведь был их вождем.

— Завтра мы так и поступим.

Сидевшие у костра часовые, как всегда, запели. Раздался барабанный бой. В чаще пропитанного влагой леса охотились, держась подальше от огня, хищные звери.

— Пойду посмотрю на Сета.

— Сейчас женщины зашивают его тело в мешок из звериных шкур. Таков обычай. В мешок кладут также зерно и какие-то специи. Только женщины знают какие. Я слышал, что иногда, если удается, в мешок с покойником зашивают львиную лапу.

— Пойдем посмотрим на него.

— Это не принято.

— Я возьму лампу.

— Не оставляй меня в темноте. Я пойду с тобой.

Миновав поющих у костра часовых, они подошли к соседней хижине; в ней при свете небольшой лампы четыре-пять женщин сшивали мешок. Рядом, на полу, под одеялом, лежал труп Сета. У входа пьяный Боз прислонился к дверному косяку, а Бэзил, с лампой в руке, решительно переступил порог. Самая старшая из женщин попыталась преградить ему путь, но он ее оттолкнул и подошел к мертвому императору.

Сет лежал, повернув голову набок, приоткрыв рот и равнодушно смотря перед собой пустыми глазами. На нем был наглухо застегнутый гвардейский мундир с надорванными, испачканными грязью эполетами. Пулевой раны видно не было. Бэзил натянул одеяло на голову покойного и вернулся к министру.

— Император не застрелился.

— Нет?

— Нет. Раны не видать.

— А разве я сказал, что он застрелился? Ты ошибся. Он принял яд... Такое случается со многими великими людьми... Один здешний колдун дал ему какую-то жидкость, и, отчаявшись, Сет ее выпил... целую чашку... вон в той хижине. Я был с ним. Выпив, он скривился и сказал, что жидкость ужасно горькая. А потом замер на месте и стоял так до тех пор, пока у него не подогнулись колени. Упав, он некоторое время катался по полу, ему нечем было дышать. А потом выбросил вперед ноги и выпятил грудь. Так и лежал до вчерашнего дня, тело только вчера обмякло. Вот как он умер... Гонец пришел слишком поздно.

Предоставив женщинам заниматься своим делом, они вышли из дома. Боз нетвердым шагом вернулся в хижину вождя, к своей бутылке виски, а Бэзил, проводив его, пошел к себе.

От дерева отделилась чья-то тень и двинулась ему навстречу:

— Боз все никак не протрезвеет.

— Да. А вы кто?

— Майор Джоав из Королевского пехотного полка к вашим услугам.

— Слушаю вас, майор.

— Он пьет без просыпу с того самого дня, как умер император.

— Боз?

— Да.

— Вы видели, как умер император?

— Я всего лишь солдат, и мне не пристало вмешиваться в высокую политику. Я раб, который остался без своего повелителя.

— Даже если повелитель мертв, раб обязан выполнить перед ним свой долг.

— Я вас правильно понял?

— Завтра мы отнесем тело Сета в Мошу, где его похоронят по обряду предков. Как император и честный человек он должен воссоединиться с великим Амуратом. Подумай сам, может ли он без стыда встретиться со своим отцом, если его рабы пренебрегают своим долгом, когда его тело еще не предано земле?

— Я вас понял.

После полуночи пошел дождь. Сидевшие у огня часовые отнесли тлеющую головню в одну из хижин и разожгли костер там. Крупные дождевые капли с шипением падали на разбросанные угли, из желтых угли делались красными, а из красных — черными.

По соломенным крышам гулко стучал дождь, а когда он усиливался, в ушах стоял сплошной, расплывающийся гул.

Перекрывая бульканье и журчанье воды, невдалеке раздался душераздирающий женский крик, который, прокатившись по деревне, вновь утонул в шуме дождя.

— Это майор Джоав из Королевского пехотного полка. Разрешите доложить: Боз мертв.

— Мир дому твоему.

Наутро тело императора понесли в Мошу. Бэзил ехал верхом, возглавляя процессию, остальные шли пешком. Зашитое в шкуры тело подвязали к шесту, который несли на плечах два гвардейца. Дважды они оступались, и их ноша падала в жидкую грязь. Бэзил послал к вождю гонца: «Собирай людей, забивай лучших коров и готовься к погребальному пиру в соответствии с обычаями твоего племени. Я везу тебе верховного вождя».

Но в Мошу Бэзила уже ждали: туземцы вышли встретить траурную процессию и с почестями проводили ее до места. Колдуны из окрестных деревень танцевали в грязи перед верблюдом Бэзила, нарядившись по торжественному случаю в шкуры леопарда, змеиную кожу, в ожерелья из львиных клыков, высохших жаб и летучих мышей, а также в устрашающие маски из дерева и раскрашенной кожи. Женщины, следуя местному обычаю, намазали волосы охрой и глиной.

Мошу, считавшийся королевской резиденцией, торговым и административным центром земель ванда, был окружен рвом и обнесен высоким крепостным валом. Работорговцы-арабы, поселившиеся в этих местах еще в прошлом веке, построили двухэтажные квадратные дома без окон, с плоскими крышами и каменными стенами, покрытыми известью и красной глиной. Впрочем, были здесь и круглые туземные хижины с глиняными стенами и соломенными крышами. Население города состояло в основном из кузнецов, ювелиров, кожевников, которые обслуживали разбросанное по джунглям местное население. Жили здесь и вполне преуспевающие купцы, в чьих амбарах хранились зерно, растительное масло, специи и соль, а также индийцы, торговавшие скобяными изделиями и цветными хлопчатобумажными тканями из Европы и Японии.

Из сухих дров и соломы на рыночной площади был сложен погребальный костер в шесть футов высотой. Вокруг уже собралась большая толпа, а поодаль соорудили импровизированную кухню с огромными котлами, поставленными на потрескивающие под их тяжестью доски. Тут же стояли закупоренные глиной кувшины с брагой из кокосового сока, в которых в нужный момент пробивались отверстия.

Похоронный обряд начался во второй половине дня. Вокруг погребального костра, потрясая амулетами и магическими брелоками, покачивая бедрами и издавая дикие крики, танцевали колдуны. В руках у них были короткие ножи, которыми они, подпрыгивая, царапали себе грудь. Зашитое в шкуры тело Сета привязали к стоявшему в центре костра столбу и полили бензином из канистры.

— У нас принято, чтобы хвалебную речь в честь мертвеца говорил самый главный.

Бэзил кивнул, и его голова отделилась от курчавых голов сидевших по кругу вождей. Похоронная речь, которую он произнес, была не более искренней, чем любые другие похоронные речи в честь усопших монархов. Сказано было именно то, что требовалось.

— Вожди и соплеменники,— бегло заговорил Бэзил на языке ванда, которым он почти в совершенстве овладел за время своего пребывания в Азании.— Мир вам. Я принес вам тело вашего повелителя, который отправился в иной мир, где ему предстоит встреча с великим Амуратом, со всеми его славными предками. Давайте же помянем Сета. Это был великий император, и перед ним преклонялись народы всего мира. На его собственном острове, среди племен сакуйю и арабов, а также за морем, на материке, и еще дальше, на холодном севере одно имя Сета внушало всем священный ужас. Сеид восстал против него и пал. То же стало и с Ахоном. Они ушли из этого мира до него, дабы подготовить ему в царстве мертвых достойное место среди его предков. От руки Сета пали тысячи людей. Слова его были подобны грому в горах. Женщины Азании, плачьте, ибо возлюбленный ваш император вырван из ваших объятий. Его мужская сила была неистощима, а его потомство — столь многочисленно, что не поддается подсчету. Его мужской жезл был величиной с пальму. Воины Азании, плачьте — с ним вы не знали поражений. Сет мертв. Мертв самый отважный и самый хитроумный, самый справедливый и самый жестокий человек на земле.

Барды подхватили фразы из похоронной речи и начали распевать их. В толпе, с факелами в руках, показались колдуны, и вскоре к небу рванулось пламя погребального костра. Сидевшие на корточках туземцы запели и стали раскачиваться взад-вперед. Мешковина, в которую был зашит труп, затрещала, словно свежая сосна, надулась и вспыхнула, погребальные одежды из шкур лопнули, и в гудящем пламени на мгновение возник пылающий труп императора. Но тут сверху упало несколько горящих поленьев, и Сет исчез из виду.

Солнце село, костер стал догорать, и пришлось снова полить его бензином. Когда же огонь вспыхнул с новой силой, многие туземцы присоединились к танцевавшим вокруг костра колдунам. Став в круг и обхватив друг друга за пояс, они начали шаркать ногами, втягивать голову в плечи, судорожно откидывать назад голову и выть наподобие диких зверей.

Тогда старейшины дали знак приступить к пиру.

Толпа распалась на отдельные группы, каждая обступила свой котел. Бэзил и майор Джоав сели вместе с вождями. Они ели лепешки и разваренное мясо, варившееся с перцем и ароматическими корнями. Каждый по очереди опускал в котел руку и выуживал оттуда кусок покрупнее. Из рук в руки переходила бадья с брагой, пока по лицам участников погребального пира не побежали крупные капли пота.

После трапезы танцы возобновились, только теперь туземцы танцевали быстрее, исступленнее. Не желая отстать от колдунов, они начали бить себя охотничьими ножами по груди и рукам; по их темной коже бежали, смешиваясь, светлые ручейки крови и пота. Время от времени кто-то из них падал ничком и, тяжело дыша, лежал без движения либо катался по земле в нервной судороге. Теперь танцевали не только мужчины, но и женщины; они образовали вокруг костра еще один круг, но двигались в противоположном направлении; опьянев от браги, они в экстазе топали ногами. Но вот круги соединились, и мужчины и женщины, взявшись за руки и вскидывая ноги, стали танцевать вместе.

Бэзилу стало жарко, и он отошел от костра. От спиртного и несмолкаемой музыки в голове у него гудело. В темноте, по углам рыночной площади, что-то бормоча, валялись прямо на земле, по одному и по двое, смуглые фигуры. Стоявшая рядом пожилая женщина молча подпрыгивала на месте, а потом вдруг выбросила вверх руки и опрокинулась навзничь. Глухо били барабаны, в ночное небо, рассыпаясь дождем искр, неудержимо рвалось пламя.

Вождь Мошу по-прежнему сидел возле котлов с едой, прижимая к груди бадью с брагой. На нем был белый азанийский балахон, залитый соусом и спиртным. Опустив гладко выбритую голову, он приник к

бадье, потом неуверенным движением протянул ее Бэзилу. Бэзил отказался; вождь тупо уставился на него и снова предложил ему выпить, а затем, сделав еще один глоток, кивнул и, достав из-за пазухи какую-то вещь, надел ее себе на лысую голову.

— Смотри,— проговорил он.— Красивая...

Это был ярко-красный берет. С трудом преодолевая охватившее его пьяное оцепенение, Бэзил присмотрелся и вспомнил: в лихо надвинутом набекрень красном берете Пруденс стремглав бежала по посольской лужайке, держа под мышкой «Панораму жизни». Бэзил грубо потряс старика за плечо:

— Где ты взял этот берет?

— Красивая...

— Где ты его взял, тебя спрашивают?!

— Красивая шляпа. Она была на голове у белой женщины. Той, что прилетела на большой птице. Вот как белая женщина эту шляпу носила...— И, тихонько захихикав, старик боком напялил ярко-красный берет на свою блестящую лысину.

— А сама белая женщина где?

Но сознание уже покидало вождя. Он еще раз повторил «Красивая...» и закатил невидящие глаза.

Бэзил встряхнул его изо всех сил:

— Говори, старый дурень! Где белая женщина?

Вождь пробормотал что-то нечленораздельное и покачнулся; на какую-то долю секунды сознание вновь к нему возвратилось. Он приподнял голову:

— Где белая женщина? Да здесь, где ж еще.— И он похлопал себя по туго набитому животу.— Мы ведь с тобой ее только что съели. С тобой и с другими вождями...

И, повалившись ничком на землю, он громко захрапел.

А туземцы продолжали без устали кружить вокруг костра; по голым телам, переливаясь в огненных бликах, разбегались ручейки охры, крови и пота; высоко над головами у колдунов раскачивались перья, подрагивали, в унисон танцу, леопардовые шкуры и змеиная кожа, позванивали амулеты и бусы, львиные клыки, жабы и летучие мыши. Неутомимые пальцы выбивали барабанную дробь, в темноте выгибались и вздрагивали лоснящиеся от пота спины.

Вскоре после полуночи опять пошел дождь.

8

— Подойди ты, а то я даже встать не могу,— сказал Аластер, когда раздался телефонный звонок.

Соня встала, подошла к подоконнику, на котором стоял телефон, и сняла трубку:

— Алло. Кто говорит?.. Бэзил, ты?! Вернулся?! Где ты?

— У Барбары. Хотел к вам сейчас приехать...

— Ну, конечно, приезжай, милый. А как ты узнал, что мы переехали?

— По телефонной книге. Как тебе новая квартира?

— Кошмар. Сам увидишь. Аластер решил, что она обойдется нам дешевле, чем предыдущая, но не тут-то было. И потом, нас совершенно невозможно найти: имей в виду, наша дверь — красная, а рядом — вход в какую-то подозрительного вида аптеку.

— Выезжаю.

Через десять минут Бэзил уже звонил в красную дверь. Открыла ему сама Соня:

— Теперь у нас нет прислуги. Что-то мы совсем обнищали. Ты давно вернулся?

— Вчера вечером. Что новенького?

— Ничего особенного. Все кругом обеднели и поглупели. Ты ведь пропадал больше года. Что у Барбары?

— Фредди еще не знает, что я вернулся, поэтому я и решил сегодня пообедать в городе. Барбара должна его подготовить. Мамаша, оказывается, за что-то на меня дуется. Как Анджела?

— У нее все по-прежнему. Только она одна и не обеднела. Марго заперла дом и на всю зиму укатила в Америку. В твое отсутствие были всеобщие выборы и кризис — из-за какого-то золотого стандарта, если не ошибаюсь.

— Да, знаю. Даже не верится, что я вернулся. Забавно.

— Без тебя было очень скучно. Пока ты там в тропиках развлекался, все стали такие важные, зазнались — ужас просто. Между прочим, Аластер однажды вычитал в газете про твою Азанию. Забыла, что именно. Вроде бы у вас там началась революция, а у посла дочка пропала. Впрочем, ты наверняка в курсе.

— Да.

— Не понимаю, что ты нашел в этих революциях? У нас, кстати, тоже поговаривали, что будет революция, но обошлось. Ты, наверное, всей страной управлял?

— В общем, да.

— И, разумеется, влюбился без памяти?

— Да.

— И плел дворцовые интриги, резал глотки придворным?

— Да.

— И пировал с людоедами?.. Милый, давай ты не будешь обо всем этом рассказывать, хорошо? Я понимаю, это должно быть ужасно интересно, но, сам посуди, какой смысл рассказывать о своих приключениях мне, домоседке?

— Правильно,— поддакнул Аластер, который неподвижно сидел в кресле.— А то он нас с тобой заговорит.

— Милый, а может, ты напишешь книгу? Мы бы тогда ее купили и держали на видном месте — а ты бы думал, что мы ее читаем... Чем же ты теперь собираешься заняться?

— Никаких планов у меня нет. Хочется немного отдохнуть от варварства. Какое-то время поживу в Лондоне или в Берлине, а там посмотрим.

— Вот и отлично. Оставайся лучше в Лондоне. Повеселимся от души — как в старые времена.

— Нет, спасибо, я уже повеселился... Боюсь, ваши попойки покажутся мне теперь немного пресноватыми, особенно после Мошу... это городок такой в джунглях...

— Бэзил! Давай договоримся раз и навсегда. Ты нам о своем путешествии не рассказываешь, ясно?

До десяти вечера они играли в «садовника», а потом Аластер вдруг спохватился:

— Мы ведь не обедали?

— Верно,— сказала Соня.— Пошли.

И они отправились в новый, только что открывшийся коктейль-клуб и заказали по кружке легкого пива и по сандвичу с печенкой. Аластер где-то слышал, что этот коктейль-клуб довольно дешевый, но выяснилось, что он дорогой, и даже очень.

Из клуба Бэзил поехал к Анджеле Лайн.

— Знаешь,— сказала Соня Аластеру, раздеваясь,— в глубине души я побаиваюсь, как бы Бэзил тоже не начал зазнаваться.

В Матоди вечер. По набережной неспешно гуляют под руку два знатных араба.

В гавани, среди парусников и других, больших и малых судов стоят на якоре два новеньких военных катера — один английский, дру-

гой французский: недавно, по решению Лиги Наций, Азания объявлена франко-британским протекторатом.

— Глядите, они все время чистят медь.

— Да, такой катер, должно быть, больших денег стоит. Они строят новую таможню.

— А также полицейский участок, инфекционную больницу и европейский клуб.

— В горах много новых коттеджей.

— Строится большое поле для спортивных игр.

— Раз в неделю они моют водой улицы. Они водят детей в школу и колют им в руку яд. Дети потом очень болеют.

— Они могут посадить человека в тюрьму только за то, что он слишком тяжело навьючил верблюда.

— Директор почты — француз. Он раздражен и вечно куда-то торопится. Они прокладывают шоссе из Матоди в Дебра-Дову, а железную дорогу собираются разобрать.

— Господин Юкумян купил рельсы и старые паровозы. Надеется продать их в Эритрею.

— Во времена Сета жилось лучше. Культура, воспитание были тогда в цене — не то что нынче.

Поднявшийся на башню мечети муэдзин повернулся на север, в сторону Мекки, и начал сзывать мусульман на молитву. Арабы благоговейно замолчали и остановились. «Аллах велик... нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед пророк Его...»

Мимо промчался двухместный автомобиль. За рулем сидел окружной судья мистер Реппингтон, рядом с ним — миссис Реппингтон.

— Приемистая машинка, ничего не скажешь.

Молитва Пресвятой Богоматери в миссионерской церкви. «...gratia plena: dominus tecum; Benedicta tu in mulieribus...» [1].

Автомобиль выехал из города и стал подыматься в горы.

— Господи, как на свежем воздухе-то хорошо!

— Жуткая дорога. Все никак ее не закончат. Не повредить бы заднюю ось.

— Я обещала Бредертонам, что мы заедем к ним на коктейль.

— Хорошо, только долго сидеть мы не сможем, ведь сегодня обед у Лепериджей.

В миле от города, вдоль дороги стояли шесть одинаковых коттеджей с верандой, садиком и почтовым ящиком на садовой калитке. Машина остановилась возле второго коттеджа. Бредертоны сидели на веранде.

— Добрый вечер, миссис Реппингтон. Вам коктейль?

— Да, если можно.

— А вам, Реппингтон?

— Джин с содовой.

Бредертон работал в санитарной инспекции и зарабатывал меньше Реппингтона, однако в этом году он должен был сдавать экзамен по арабскому языку и в случае успеха рассчитывал на повышение зарплаты.

— Как прошел день?

— Как обычно. Колесил по городу и штрафовал туземцев за состояние их конур. А как дела в форте?

— Неплохо. Сегодня, кстати, слушалось дело, о котором я вам говорил. Помните, я рассказывал про туземца, который устроил себе дом из обломков старого, валявшегося посреди дороги грузовика?

— Помню, конечно. И кто же выиграл?

— Туземец. Оба пункта обвинения, выдвинутые против него арабом, бывшим шофером этого грузовика, мы признали неправомочными. На туземца подавал жалобу и департамент труда — бедняга, видите

---

[1] «...полная благодати, с тобой Господь; благословенна ты между женами...» *(лат.)*

ли, своим домом мешал транспорту. Придется им теперь строить новую дорогу, в объезд старой. Вообще эти азанийцы что-то совсем обнаглели. И лягушатники, кстати, тоже.

— Хорошо, что вы их проучили.

— Именно. И потом, пусть туземцы знают, что британское правосудие их в обиду не даст. А то с этими лягушатниками каши не сваришь... Ой, уже поздно. Нам пора. Старушка, поехали. Вы сегодня у Лепериджей случайно не обедаете?

— Нет.

Бредертоны были не вхожи к Лепериджам. Лепериджа перевели из Индии в Азанию руководить набором солдат, и в Матоди он считался большим человеком. Бредертона он называл не иначе как «специалистом по отхожим местам».

Реппингтоны заехали домой (их коттедж был пятый по счету) переодеться к обеду, жена надела черное кружевное платье, муж — вечерний белый пиджак, и ровно в 8.15, как было обещано, они переступили порог дома Лепериджей. Обед состоял из пяти блюд, в основном приготовленных из консервов, а посреди стола стояла пиала с водой, в которой плавали бутоны цветов. На обед была приглашена еще одна пара, мистер и миссис Грейнджер; Грейнджер был чиновником эмиграционной службы.

— Из-за этого Коннолли мы сегодня просто голову себе сломали,— рассказывал он.— Понимаете, строго говоря, он имеет все основания получить азанийское гражданство. При императоре, кажется, он был большой шишкой. Командовал армией. Даже получил, если не ошибаюсь, титул герцога. Но всем будет спокойнее, если он отсюда уберется.

— Куда подальше.

— Дремучий тип. Говорят, в свое время у него была интрижка с женой французского посла. Поэтому-то французы и хотят поскорей от него избавиться.

— Ясное дело. Вообще, если хотите знать, этим лягушатникам время от времени надо идти навстречу. В мелочах, разумеется. Это выгодно.

— Вдобавок он еще женат на черномазой. То есть я хочу сказать...

— Понятно.

— В конце концов, думаю, мы от него избавимся. Вышлем как неблагонадежного, и все тут. Ведь во время революции он потерял все свои сбережения.

— А как же быть с его... женщиной?

— Это уж не наше дело — главное, поскорей выставить его отсюда. Кстати, я слышал, они очень друг к другу привязаны. Да, ему будет нелегко. Не много найдется стран, которые захотят принять его у себя. Впрочем, в Абиссинии он, может, и устроится. Теперь в Азании другие порядки.

— Вот именно.

— Должен вам сказать, миссис Лепперидж, что салат из консервированных фруктов просто объедение.

— Кушайте на здоровье. Эти фрукты я купила в магазине Юкумяна.

— Этот чертенок Юкумян свое дело знает. Мне он здорово помог: достает новобранцам сапоги. Между прочим, он сам подал мне эту идею. Если, говорит, рекруты босиком ходить будут, то наверняка грибок подцепят.

— Молодец.

— Еще бы.

В Матоди ночь. По набережной прогуливаются английский и французский патруль. В португальском форте крутят пластинку Гилберта и Салливена.

Три малютки-школьницы,
Красотки и разбойницы,
Веселятся от души —
Чудо как хороши!
Чудо как хороши!

Над морем несется песенка, вода тихо плещется о каменный парапет. Британские полицейские быстрым шагом идут по извилистым улочкам туземного квартала. Всех собак давным-давно выловили и безболезненно уничтожили. Улицы совершенно пустынны, лишь иногда мимо полицейских проскальзывает закутанная фигура с фонарем. За глухими стенами арабских домов — никаких признаков жизни.

У реки в ветках ивы синичка поет:
«Ой беда! Ой беда! Ой беда!»
Я сказал ей: «Пичужка, тебе не везет,
Раз поешь: «Ой беда! Ой беда!».

Господин Юкумян вежливо выпроваживает последнего посетителя и закрывает ставни кафе.

— Ничего не поделаешь,— говорит он.— Новые порядки. После десяти тридцати употреблять спиртное не разрешается. Мне скандалы ни к чему.

«Ослабела умом ты? — я ей закричал.—
Червячок, может, в маленьком клюве застрял?»
Но головкой поникшей птенец покачал:
«Ой беда! Ой беда! Ой беда!».

Звуки песенки плывут над погруженным во тьму городом. Тихо, едва слышно плещется у парапета вода.

Сентябрь 1931 — май 1932.

ШАНДОР КАНЯДИ

Есть край такой

ЦИКЛ СТИХОВ

■

С венгерского

«Трансильвания всегда была наша и всегда будет наша! К сожалению, священную румынскую землю все еще топчут азиатские ноги гуннов, цыган и другого отребья. Объединяйтесь, чтобы изгнать их из нашей страны! Те, кто с гуннами — с безродным племенем, у которого никогда не было ни дома, ни родины,— те позорят нашу страну. Мы хотим чистой и великой Румынии. Мы вернем все украденные у нас румынские земли. Сейчас или никогда! Этим волосатым обезьянам нечего делать в нашей славной отчизне...

Священная румынская земля, Трансильвания, к стыду каждого румына,— самая засоренная территория, и засорена она прежде всего венграми, но, к сожалению, и другими тоже... Чаушеску не хватило жизни, чтобы уничтожить их, но наш народ доведет до конца начатое им дело, и потому — не складывайте оружия. Не надо нам Швейцарии! Не надо нам никакой Европы! Мы — румыны, и не позволяйте задурить вам головы лозунгами об объединенной Европе. Мы мудрый народ и понимаем: общий европейский дом означает для нас только одно — распад национального и территориального единства Румынии. ЕДИНСТВО! ЕДИНСТВО! ЕДИНСТВО!»

Это слова воззвания, с которым обратились к своим соотечественникам 20 февраля 1990 года члены партии «Ватра Ромыняскэ» («Румынский очаг»), точнее — один из ее комитетов, созданный в трансильванском городе Тыргу-Муреше. Невероятно, но уже в наши дни, уже в послереволюционной Румынии возникла партия (ее основные силы — в Бухаресте, Яссах, Крайове, представлена она и в новом румынском сенате), которая предлагает довести до конца деяния Чаушеску, в частности в отношении Трансильвании, призывает воссоздать румынское государство в границах 1918 года. Идеи эти получили достаточно широкое распространение, а поскольку они в какой-то мере овладели массами, то последствия не замедлили сказаться — 19 марта 1990 года в Тыргу-Муреше произошло межнациональное побоище, были человеческие жертвы.

Что же это за священная земля, «засоренная чуждыми элементами», и почему разговором о ней мы предваряем поэтическую подборку, предлагаемую вниманию читателей?

В Румынии есть область— «есть край такой...»,— у которой совершенно особая судьба, особая история. Трансильвания была и римской провинцией и подвергалась нашествию монголо-татар. За эти земли ожесточенно боролись Габсбургская и Османская империи. Здесь властвовали австрийские императоры, венгерские и румынские короли. И в XX веке границы Трансильвании в ходе мировых войн не раз пересматривались, сама принадлежность ее к тому или иному государству оспаривалась. История главного города Трансильвании писалась на четырех языках, и назывался он Напока, Клаузенбург, Коложвар, Клуж, в последние десятилетия — Клуж-Напока. Трансильвания — та пограничная область, где встречались католицизм и православие, где латинская письменность сосуществовала рядом с греческой и славянской. Это самый восточный регион культуры западного христианства и, может быть, самый западный регион культуры восточного, византийско-славянского христианства. На этой земле сейчас живут румыны (шесть с половиной миллионов), венгры, немцы, сербы, татары, евреи, армяне, цыгане. Венгров — свыше двух миллионов. Это самое большое национальное меньшинство в Европе.

Одним из выразителей чаяний румынских венгров по справедливости называют Шандора Каняди, поэта, «неустанно бьющего в тяжелые колокола безучастной Европы».

Каняди родился в мае 1929 года в крестьянской семье секеев, трансильванских венгров. Первое стихотворение появилось в бухарестской газете «Молодой рабочий» в 1950 году, первый сборник стихов — в 1955 году. Тогда, в начале 50-х, Каняди, как и многие другие поэты, «охваченные социалистическим воодушевлением», одну из главных своих задач видел в том, чтобы воспевать «великие перемены», происходящие в стране,— ведь «мы поднимаемся все выше, к сиянию звезд». Петёфи, как певец ре-

волюции, был тогда его кумиром. «В 50-е годы,— позднее признáется поэт,— вера притупляла сознание». В 60-е приходит отрезвление и с ним нелегкие раздумья. Как сохранить в чистоте революционную веру, как пронести ее через десятилетия, «если тяжелые камни тянут на дно»? Оды поэта трансформируются в элегии. В последующие десятилетия социальное и национальное напряжение в Румынии усиливается, нарастает и обеспокоенность поэта судьбой ее венгерского населения, тревога за страну, которая постепенно погружалась в атмосферу оцепенения и страха. Многие люди, в том числе и сам поэт, живут под негласным надзором, и многим знакомо это состояние, когда

перед домом
всю ночь
стоит военная автомашина
с зажженными фарами.

Поначалу Каняди широко издавали в Румынии, переводили его стихи на румынский язык. Он был удостоен премии Союза румынских писателей. Но Каняди писал о том, о чем с каждым годом писать становилось все опаснее. Да и в самóй привязанности поэта к родной земле, родному языку, национальной культуре и традициям стали усматривать национализм, сепаратизм, враждебность. В годы апофеоза Чаушеску, в годы беззастенчивого восхваления любых его деяний, в том числе и «мудрой» национальной политики, Каняди нашел в себе мужество выйти из Союза румынских писателей. В стране его стали печатать значительно реже, две его пьесы, поставленные на румынской сцене, были запрещены сразу же после премьеры.

В стихах Каняди, написанных в 70—80-е годы, все меньше веры, все меньше надежды. Теперь это даже не элегии, а горькая хроника жизни. Последняя его книга (изданная в Венгрии в 1989 году) красноречиво свидетельствует, что надежды у поэта почти не осталось. Он отчетливо осознает: все, что он может,— это сделать еще один штрих, прочесть еще одну молитву, запечатлеть на бумаге смиренно, как летописец, это время, чтобы страдания людей не канули в вечность.

При всей обостренности, с какой поэт воспринимает те испытания, которые выпали его народу, при всей привязанности его к национальной культуре, Каняди никогда не пил из отравленного источника расовой враждебности и национальных разногласий, и свидетельство тому — не только его поэзия, но и переводческая деятельность. Каняди мастерски переводил стихи западноевропейских поэтов, поэтов Скандинавских стран, и конечно же — стихи многих румынских поэтов, в том числе Т. Аргези, Н. Лабиша, А. Е. Баконского, И. Александру. «У меня даже развился захватнический инстинкт,— говорил он в одном из интервью,— подлинное достояние поэзии мне всегда хочется завоевать на свою сторону, на сторону родного языка». «Как человек, живущий в Трансильвании,— писал Каняди в другой своей работе,— я считаю своим нравственным долгом знакомить читающих по-венгерски с поэзией тех, кто живет рядом с нами,— румын, немцев и малых этнических групп, в частности марамарошских евреев. Мы становимся от этого богаче, а наша жизнь терпимее. Этим я пытаюсь служить обществу, людям».

...Революция в Румынии, так не похожая на революционные события в других странах Восточной Европы, потребовала от румынского народа огромных жертв. Теперь, когда «гений Карпат» сошел со сцены, появилась надежда на подлинное возрождение страны, на становление взаимопонимания между народами, живущими в Румынии, на свободный обмен духовными ценностями, появилась надежда, что от формулы «или они или мы» люди, настрадавшись, перейдут к формуле «и они и мы». Появилась надежда, что — постепенно — будут исправлены те несправедливости, которые были допущены в отношении венгерского населения: в 1968 году прекратила свое существование венгерская автономная область, образованная на территории Трансильвании; не стало и венгерского университета, основанного более ста лет назад в Коложваре, в 1957 году он был объединен с румынским университетом; были расформированы многие библиотеки, резко сократилась сеть венгерских школ. Однако члены партии «Ватра» и сегодня заявляют: «Румынский язык — единственный господин, и мы не желаем, чтобы в наших ушах скрежетала какая-либо чужая речь».

«Чаушеску казнили, но трупный запах еще висит в воздухе» — так комментирует разгул великорумынского «патриотизма» Андраш Шютё, известный трансильванский прозаик, драматург, эссеист.

Сегодня действительность такова, что десятки тысяч румынских венгров оставляют родные края. Специалисты подсчитали, что если темп переселения в ближайшие два года не снизится, то в Трансильвании через 18—20 лет не останется ни одного венгра. Трансильвания без венгров? Но ведь эта земля и их дом, эта земля была колыбелью и венгерской национальной культуры, она подарила миру Яноша Араня, Эндре Ади, Арона Тамаши, здесь погиб Шандор Петёфи, учительствовал Михай Бабич, здесь родился Бела Барток, в этом краю собирал он и изучал венгерский, румынский, славянский музыкальный фольклор, здесь родился и всемирно известный математик Янош Бойяи, чьим именем был назван венгерский университет — теперь он носит двойное имя Бабеша — Бойяи. В Трансильвании еще сохранились древние церкви времен королей Арпадов, зарегистрированные ЮНЕСКО как памятники культуры, сохранились старинные крестьянские дома, которые не успели подпасть под чаушесковскую «систематизацию сел», практически означавшую стирание их с лица земли. И вот теперь — десятки тысяч беженцев. Остаются в Трансильвании те, кто слабее, кто беззащитнее. А также те, кто не считает себя вправе покинуть эту землю.

«Я буду последним, кто покинет этот край»,— мужественно заявил Андраш Шютё, зверски избитый в том побоище в Тыргу-Муреше 19 марта 1990 года.

Не может позволить себе бегство в «прародину» и Шандор Каняди. Иначе и нельзя прочесть эту его маленькую притчу:

Накинулся ветер на одинокий клен:
— Беги в лес, сумасшедший!
— Не могу, на мне птичье гнездо.

«У нас нет другой альтернативы,— говорит Ласло Тёкеш, священник и правозащитник,— как сближение и примирение, в этом моя святая вера, мое убеждение». Ласло Тёкеш — тот самый священник из Тимишоары, которого власти хотели выселить из дому, но в его защиту 16 декабря 1989 года на улицы города вышли 5 тысяч человек — румыны, венгры, немцы, сербы. Именно из этого всплеска человеческой солидарности, из этой искры, вспыхнувшей в Тимишоаре, и разгорелась декабрьская румынская революция.

За историческое примирение и культурное сотрудничество выступают и лучшие, здоровые силы румынской нации. «За общественный диалог» — так называется общество, созданное представителями интеллигенции, студенчества в первые же дни в послереволюционном Бухаресте. А в Тимишоаре «Румыно-венгерское содружество» объявило о создании в их городе новой газеты, само ее название — призыв к солидарности: «16 декабря»...

Исчерпав все другие аргументы в споре, один из героев Андрея Платонова восклицает: «А без меня народ неполный!». Без любого национального меньшинства народ любой страны неполный, как и без любого европейского народа народ Европы — неполный. К тому же меньшинство — это только в политике меньшинство, а в литературе, искусстве — это целый мир, неповторимый, уникальный.

Цикл стихов Шандора Каняди «Есть край такой», предлагаемый вниманию читателей, взят из сборника «Грива и череп», выпущенного дебреценским издательством «Чоконаи» в 1989 году.

Л. ВАСИЛЬЕВА

Есть край такой

есть край такой
где ненужных
щенят и котят
топят в реке
или хоронят живьем
но только
пока они не прозрели

но только
пока они не прозрели

Предзвучие

есть несказанный край такой
где горечь силой колдовской
преобразуется в бальзам
чтоб сладость дать моим губам
есть край альпийский луг души
где эдельвейсами в тиши
слова венчают горный склон
где звон ручья что крови звон
надевши льдистую броню
зимой я ручеек храню
и под прозрачною броней
играю влагой ледяной
там зной и холод все мое
тот край прапращуров жилье
мой древний дом моя стезя
без кожи телу быть нельзя
есть край истерзанный тоской
но горечь силой колдовской
там превращается в бальзам
чтоб сладость дать моим губам

Слова поистерлись

есть край где любовь сохраняется долго
вот так же в ложбине тенистой и волглой
росистая россыпь не сохнет все лето
для нас я придумал метафору эту
проходят года молчаливой любви
рифмуя морщины твои и мои

есть край где живому приходится трудно
охрана природы там спит беспробудно
луга заболочены почва тощает
гуляет коса и растенья стращает
и только роса там в отраду корням
поверь мне все это относится к нам

есть край где не жить не прожить одиночке
но мы с тобой рядом как парные строчки
слова поистерлись но малая малость
былой бархатистости все же осталась
жесток суховей нет в пейзаже красы
но много ль нам надо лишь каплю росы

Индейская песня

есть край такой
где песнь тоской
немой погребена
и гробовой
лежит доской
на сердце тишина

но лжет покой
в душе живой
спит песня чутким сном
под тишиной
под немотой
чтоб зазвучать потом

есть край такой
где день деньской
с друзьями друг молчит
так над рекой
перед грозой
камыш не шелестит

Перевод НАТЭЛЛЫ ГОРСКОЙ

Опроверженье

есть край в котором
по слухам
удачу приносит фиктивный брак
а еще лучше валюта
которая гарантирует
права человека
в любое время
захотел и покинул родину
а захотел и безо всяких потерь
взял и вернулся обратно
о все это конечно
попросту ахинея
сплетни
недобрый и даже злобный бред
подобный клевете
о перегибах
которые дескать имели место
на таможне
не пропускавшей якобы
даже книги
антон палыча чехова
чушь да и только

Перевод ТАТЬЯНЫ БЕК

Армянские надгробья

есть край его и не найти пожалуй
когда б не храм старинный обветшалый
как говорят здесь обитали ране
секеи иудеи и армяне
посад местечко и армянский сад
названья люди в памяти хранят

есть край где ведомо одним могилам
кто погребен на кладбище унылом
евреев видно здесь не хоронили
кресты над венграми давно погнили
армянских надписей не разберешь
на мраморе покрытом мохом сплошь

есть край где имена армян забыты
но сохранили каменные плиты
четырехлистный клевер знак счастливый
рукою высеченный терпеливой
роса дожди и талая вода
роняют капли каждый год сюда

есть край где птицы не умрут от жажды
их напоит могильный камень каждый
ведь даже в год засушливый таится
живая влага в маленькой кринице
попьет пернатый гость и ввысь взлетев
возносит благодарственный напев

Перевод НАТЭЛЛЫ ГОРСКОЙ

Баллада об Ашальчи Оки[1]

есть край далеко-далеко
куда дойти нелегко
исполнены древние дали
сиротства тоски и печали
лишь только смежаю ресницы
туда моя песня стремится
и там приникает беглянка
к мотиву из рода чанго[2]
там сестра моя
ашальчи оки
которая слагала стихи
и не ведая передышки
две написала книжки
но перо свое и певчий озноб
сменила на скальпель и стетоскоп
так она стала подругой немой
тому кто был отсечен тюрьмой
и разделила молчание кузебая
герда[3] гордо предполагая
что лучше ей онеметь при жизни
чем раствориться в деспотизме
да
молчанием во дни глухие
возможно противиться тирании
европа вперившаяся в свой пуп
не ведала о тяжести этих пут
не волновало ее нисколько
отчего вотякская женщина смолкла
и лишь ее небольшой народ
и еще кто знал ее
тот поймет
зачем она замолчала врачуя
покоренного и покорителя
чуя
какой это мощный ответ угнетенью
ее онеменье
красноречива твоя «молчанка»
самая чанговская из чанго
сестра моя ашальчи оки
годами не обронившая ни строки
две фотографии и стихов букетик
все что мне от тебя
осталось на свете
да еще жалкая моя смелость
помня о риске
твою балладу прочитать близким

Перевод ТАТЬЯНЫ БЕК

---

[1] Ашальчи́ Оки́ (Л. Г. Векшина, 1893—1973) — удмуртская поэтесса. *(Здесь и далее прим. ред.)*

[2] Чанго — живущая в Трансильвании и Молдове венгерская этническая группа.

[3] Кузебай Герд (К. П. Чайников, 1898—1941) — удмуртский поэт, погибший в годы сталинских репрессий.

Падающий лист ореха

Шандору Чоори

есть край где студеным бывает лето
под утро в дубовой колоде вода
подернута пленкой льда
словно бы увядает
как увядает память накинув покров
холодноватых отживших слов
а детеныш весны жеребенок
наивный и несмышленый
в испуге отфыркнет льдинки
и к матери мчит

наворожив
раннюю осень и долгую зиму
уносятся прочь горластые галки
и первый медленный лист
с ореха
слетает вниз
и на плечо человека
с припорошенными снегом висками
ложится тяжелым крылом

Послеполуночное наречье

есть край особый
где в залах ожиданья из утробы
набитой мраком табаком и чесноком
вдруг возникает жарким костерком
послеполуночное дикое наречье
и вот уж табором извечным
стенанья брань золотозубый смех
бурлят не ведая помех
штурмуют стены окна ранят
высокий потолок таранят
перекрывают стук колес
и свистом исходящий паровоз
испуганно таясь внутри пальто
я думаю лет этак через сто
заполонит бушующая сила
собор святого михаила
и кто-то свесит ноги из окна
и в золотой потир плеснет вина
цыгане братья удержу вам нет
зубами вырвал пробку мой сосед
вино и песнь бушуют рядом
ищу за что бы зацепиться взглядом
нет ни матфея ни петра
есть только иоанн у жаркого костра
и вдруг младенец всхлипнув полусонно
прильнул к божественной груди мадонны
и стал хмельное молоко тянуть
здесь начинает путь
лохмат прожорлив бос
послеполуночного племени христос

Гравюра

есть несказанный край такой
где бурый чахлый травостой
болотной горечью пропитан
людей счастливых не ищи там
под тяжкой пеленой тоски
лишь их глаза как угольки
надеждой тлеют затаенной
увидеть всплеск травы зеленой
черны их шляпы и платки
их лица серости мазки
их руки сломанные ветки
садовые скамейки ветхи
и так же древни как они
застывшие в тиши в тени
гравюры темные фигуры
а фон безрадостной гравюры
индейцев древний материк
в себя всмотревшись я постиг
как на индейцев мы похожи
и там и здесь одно и то же
согбенность спин бессилье рук
в глазах надежда и испуг
на то что происходит с нами
глядим индейскими глазами
как будто после похорон
мы впали в транс иль в полусон

Перевод ***НАТЭЛЛЫ ГОРСКОЙ***

■

ИОАН ГРОШАН

Ночной поезд

РАССКАЗ

Перевод с румынского ТАТЬЯНЫ ИВАНОВОЙ

— Кыш! — произнес господин Фотиаде и пошевелил ступней правой ноги. Курица подняла голову и растерянно закудахтала.

Было жарко. По розовой груди господина Фотиаде ручеек пота сбегал к животу и, встретившись с его спокойной и величавой округлостью, превращался в озерцо, растекавшееся двумя обходными рукавами — один направо, другой налево.

— Пожалуйста, господин начальник, угощайтесь...

Господин Фотиаде открыл один глаз.

— А ты что не раздеваешься? Дохнешь в этой чертовой...— И он выразительно посмотрел на железнодорожную форму угощавшего.

— Да мне не жарко, господин начальник. Я привыкший. Возьмите еще, пожалуйста.

— Ну как это не жарко? — лениво удивился господин Фотиаде.

Кряхтя, он перегнулся через ручку шезлонга к стоявшей рядом миске, взял горсть малины и откинулся назад.

Ел он медленно, с закрытыми глазами. Ягоду не разжевывал сразу, а перекатывал языком взад-вперед и, только перед тем как проглотить, быстро придавливал на нёбе с глухим, довольным урчанием. Стрелочник сидел рядом, на краю платформы, поставив ноги между ржавыми рельсами запасного пути. Он заломил фуражку назад, вытащил портсигар и закурил. В застывшем, прозрачном воздухе дым поднимался столбом.

— Кыш! — повторил стрелочник. Он поискал под ногами камень, но когда выпрямился, курица уже обогнула миску с малиной и, прошествовав под шезлонгом, удалилась.

Стрелочник наблюдал за ней, держа камень наготове. Подбросил его в воздух, камень, описав дугу, плюхнулся оземь. Кинул еще один — громким сухим хлопком отозвалась деревянная вывеска.

— Эту вывеску... надо бы покрасить, господин начальник.

— Зачем?

— Буквы стерлись.

Лицо господина Фотиаде расцвело в улыбке. Кончиком языка он облизал губы и, полуприкрыв глаза, лениво сказал:

— Думаешь, кто-нибудь смотрит на твою вывеску?

Стрелочник глубоко затянулся сигаретой. И тоже — к удивлению господина Фотиаде — улыбнулся:

— Почему же не смотреть?

Господин Фотиаде рассмеялся:

— Ладно, крась, коли хочешь.

— Без вывески вроде как мы и не станция,— сказал стрелочник.

— А оно и на самом деле так,— уточнил господин Фотиаде.— Разве это станция? Так, полустанок. Можно еще?

— Пожалуйста, специально для вас собрано.

— Не знал, что она в этих краях родится,— сказал господин Фотиаде, опуская в миску тяжелую руку.— Я думал, малина растет только на юге.

— У нас тоже родится,— ответил стрелочник.— Да вам так неспод-ручно, господин начальник, поставьте миску на колени.

— И то правда,— сказал господин Фотиаде и поднял миску.— Ты сам-то больше не хочешь?

— Мне она надоела.

— Надо же,— отозвался господин Фотиаде.— Видно, ты, когда со-бираешь, ешь.

Стрелочник не ответил. Загасил сигарету о край платформы и плю-нул сквозь зубы на вторую, главную линию.

— Хорошо бы ее вымыть...— заметил он раздумчиво.

Господин Фотиаде с отвращением махнул рукой.

— Слишком далеко. Нет у нас времени.

— Э-э-э, далеко!.. Пять минут — и мы там.— Он поглядел на солн-це.— Сейчас два. До трех обернемся.

Господин Фотиаде сделал над собой усилие и поглядел на часы.

— Одиннадцать минут третьего. Я не пойду. Знаешь, может, при-дет кто...

— Да кто сюда придет? Сюда ни один черт не придет,— сказал стрелочник.— А на случай, если кто и придет, оставим Мишку.

Он свистнул. По другую сторону полотна, из зарослей бурьяна, по-казалась большая сонная голова собаки. Стрелочник еще раз свистнул, и Мишка не спеша затрусил к ним.

— Нет, не пойду,— сказал господин Фотиаде.— Может, тем време-нем они еще позвонят.

— Сейчас не позвонят. Они известили вас, назначили час, значит, все. Пока не пройдет четыретысячипятый, больше не позвонят.

— Кто ж его знает...— сказал господин Фотиаде и вдруг отдернул ноги.— Возьми ты отсюда этого проклятого зверя.

— Пшел! — мирно произнес стрелочник и толкнул пса сапогом. Мишка поднялся, тяжело прыгнул на перрон, пересек его и скрылся в темном зале ожидания.— Старый, бедняга,— сказал стрелочник, глядя вслед собаке.— Старше станции.

— Как это старше?

— Когда станцию строили, Мишка щенком был.

— А, так ты о вокзале,— сообразил господин Фотиаде.— Не о са-мой станции.

— Да, когда строили канцелярию, зал ожидания и комнату для вас... то есть не для вас, а для другого начальника, для господина Ка-заку, ведь он вначале был...

— Мда,— произнес господин Фотиаде.

— Станция была и раньше, поезд останавливался, а вокзала не было, была только моя будка.

— Тогда ты был начальником, да? — улыбнулся господин Фотиаде.

— Ну был,— улыбнулся стрелочник. Он встал.— Водички дать?

— Чуть-чуть,— сказал господин Фотиаде.

— Чтобы тяжести на желудке не было. После малины...

Господин Фотиаде заглянул в миску: еще не пустая.

— Рот ополоснуть,— сказал он.

Стрелочник подошел к колодцу, отпустил ведро — оно с грохотом ухнуло вниз. Покрутил ворот, вытащил ведро. Склонился над ним на-питься, но, будто вспомнив что-то, весело глянул через плечо:

— А что, господин начальник, не зарезать ли нам курицу?

Господин Фотиаде перестал жевать.

— Что?

— Говорю, не зарезать ли курицу?

— Зачем?

— Ну... когда еще выдастся такой случай. Жаркое сделаем.

Господин Фотиаде тихонько охнул и повернулся к колодцу.

— Ну и ну... Еще вчера ты был Фома неверный, а сейчас... гм... Ну что ж, ладно, режь.

— Зарежу, господин начальник, ну что такое курица?

Он выпил из ведра, отъединил жестяную кружку от цепи, зачерпнул воды и принес господину Фотиаде. Господин Фотиаде пил медленно, большими глотками, тяжело отдуваясь.

— Хорошо по крайней мере, что вода здесь добрая,— сказал он.

Стрелочник взял кружку и пошел прицепить ее к цепочке. Потом огляделся по сторонам. Куры куда-то попрятались. Только одна, на другом конце платформы, огибала диспетчерскую. Сперва надо затопить печь и нагреть воду, подумал он.

— Симион,— позвал господин Фотиаде.

— Слушаю, господин начальник.

— Будь другом, подойди ко мне, помассируй меня немножко.

— Как бы вам не обжечься, господин начальник. Вон как порозовели.

Вместо ответа господин Фотиаде поставил миску на землю, опустился перед ней на колени и пригнулся. Стрелочник подошел к шезлонгу и положил руки на округлые плечи начальника.

— Ох! — вырвалось у господина Фотиаде.

— Вот видите? Я же говорил.

— Чертово солнце... Я и не заметил...— пыхтел господин Фотиаде.

Стрелочник приступил к массажу. Две белесые полоски, наподобие железнодорожной линии без шпал, параллельно прорезали мягкую шею господина Фотиаде. В одной из них, как в размытой колее, зарылась цепочка.

— Я все думаю, господин начальник,— заговорил стрелочник,— в конце концов вам повезло.

— Мне? Почему?

— Ведь здесь тоже неплохо. Ну какие здесь дела? Много ли поездов проходит? Один грузовой да один пассажирский. И все. Спокойно, никто тебе не морочит голову.

— Ах да, и ты полагаешь, это жизнь... Нажми-ка там посильнее.

— Где?

— Там. Вот так.

— А чем не жизнь? — продолжал стрелочник.— Хочешь поспать? Спи. Хочешь так отдохнуть? Отдыхай. Хочешь поработать? Покопался немного в саду, сделал грядку, а тут, глядишь, стрелки проверил...

— Эх, Симион, да что ты знаешь?! — вздохнул господин Фотиаде и покачал головой.— Да и откуда тебе знать, коли ты, кроме этой станции, ничего и не видел.

— Ладно, господин начальник, и вы привыкнете. А теперь... если пройдет и этот поезд...

— Ну пройдет, так ведь оно нечасто...— печально вымолвил господин Фотиаде.— Ну два, три раза...

— И то хорошо, господин начальник. Я хоть гляну на него.

— Тебе без толку на него и смотреть.

Стрелочник перестал массировать.

— Как это без толку?

— Да так, без толку. Когда я тебе рассказывал, ты и верить мне не хотел, что он существует. Ну пройдет он здесь теперь — какая тебе польза?

— Увижу, что он существует,— сказал стрелочник.

— Так ведь я тебе сказал, что существует,— рассердился господин Фотиаде.

— Да вы чего мне только не рассказывали, а потом вроде и на попятный...

— Вот что, любезный, заруби себе на носу: поезд существует,— отчеканил господин Фотиаде.

— Может, и существует...— откликнулся стрелочник.— Как, господин начальник, продолжать?

— Еще немного.

Стрелочник положил руки на лопатки господина Фотиаде и глянул на его спину. Тяжелая спина, спина человека, который много сидит. Потому-то и трудно ему было двинуться в эту глушь. Кто знает, что он такое натворил, за какие грехи его сюда сослали? Может, пил, пустил под откос поезд или, как это называется, взяточничеством занялся. Бедняга. Впрочем, человек он добрый, одинокий. Всего и привез имущества — сундучок, а в сундучке две формы начальника станции, из первоклассной материи — сразу видно, что был большой начальник, книги, удочки да матерчатый стул. Правда, была у него еще эта птица, попугай, только сдохла через неделю, как он сюда приехал, и из-за этого начальник весь день смурной ходил, только что не плакал, и когда Симион сказал ему: «Господин начальник, вы как мать хороните, да плюньте на эту синицу, я вам другую поймаю», начальник ответил, как он любил говаривать: «Эх, Симион, да что ты знаешь?» — и он не обиделся, но когда начальник прибавил, что, мол, вот эта пичуга кое-что в жизни повидала, тут уж он немного обиделся. Чертова птица. Яиц не несет и петь не поет, только что разноцветная и много повидала. За одно это он бы ее и кормить не стал. А начальник, тот вырыл для своей птицы могилу и похоронил ее по всем правилам, только что панихиду не отслужил. Хороший человек. И нравилось ему рассказывать о большой станции, где он раньше служил. Привирал он — что правда, то правда,— всему нельзя было верить, но зато так время шло быстрее. Потому — что им вдвоем было делать после того, как прошел товарный и пассажирский? Пускай рассказывает. Рассказывал начальник красиво, а Симион слушал, и чему верил, а чему нет. Но начальнику не нравилось, когда ему не верили,— мол, у него все правда. Особливо об этом поезде любил рассказывать. Бывало, о чем ни заговорит, а все на него сворачивает. Видел, что ему не верят, вот и злился, конечно, а однажды даже дураком Симиона обозвал. Он, Симион, и тут не обиделся, только рассказал, как в его деревне, что за холмом, жила одна бабка по имени Тудосия, так она каждое воскресенье приходила к ним на станцию за семь километров,— говорила, встречать поезд с цитрами. Со скрипками, объяснил Симион начальнику, который не знал, что такое цитры. Тут эта бабка и померла, прямо на перроне, на скамеечке, в одно воскресное утро, посинела от холода — дело-то было зимой. Напрасно господин Казаку, предыдущий начальник, отсылал ее домой, она все ждала свой поезд. С поездом, бедняга, и уехала, потому что из деревни никто за ней не пришел,— была бабка ничейная. Господин Казаку позвонил в город и ее, закоченевшую, так и погрузили в почтовый вагон и, кто знает, где похоронили или что с ней еще сделали. «Значит, ты хочешь сказать, этот поезд просто моя выдумка?» — возмутился начальник, когда Симион закончил рассказ о Тудосии. «Да нет, господин начальник,— возразил он.— Я хочу сказать, может, этот поезд не совсем такой, как вы его описываете».— «Дело твое,— сказал начальник.— Хочешь верь, хочешь не верь, но знай: все так, как я тебе рассказываю». Только совсем так быть не могло. Что же это за поезд, о котором не знаешь, куда он и откуда едет? Начальник станции должен был знать и тебе сказать. Он так понимал: это, верно, товарный, товарный иногда перевозит секретные вещи, у него специальные обозначения, но начальник говорил, что вагоны у поезда пассажирские. А если поезд международный, в нем должно было быть освещение, однако на той станции, по словам начальника, международный останавливался. А этот и не останавливался, и вагоны не были освещены, ни одно окно не светилось.

И проходил он всегда ночью, в три часа семь минут, и ни секундой позже. Ну, уж этому он не верил! Какой поезд хоть раз не опаздывает? Даже несчастный их четыретысячипятый, и тот опаздывает на пять — десять минут. Хотя линия эта была второстепенная и на разъездах стоять ему не приходилось.

— Хватит,— выпрямляясь, вздохнул господин Фотиаде.— Спасибо.— Он посмотрел на часы.— Без девятнадцати три. Сейчас придет пассажирский. Я пошел одеваться.

— Время еще есть,— сказал стрелочник.— Можете отдохнуть чуток. В восемь я вас подниму.

— Мне спать не хочется,— возразил господин Фотиаде и поднялся с шезлонга.— А где собака?

— Тоже где-нибудь спит.

Господин Фотиаде беспокойно огляделся.

— Идите, господин начальник, он вас не тронет! — с улыбкой сказал стрелочник.— Теперь он вас знает.

Господин Фотиаде шаткой походкой направился к диспетчерской. Он был в широких белых трусах до колен и в домашних тапочках с красными кисточками. Эти кисточки ужасно смешили стрелочника, но он всякий раз сдерживался, когда хотелось рассмеяться,— чтобы не огорчить начальника. И потом, коли начальнику они нравятся, ему-то, Симиону, не все ли равно? Господин Фотиаде собирался уже войти в свою комнату, когда стрелочник спохватился.

— Господин начальник, а где затапливать: у меня или у вас? — крикнул он.

— Где хочешь! — ответил господин Фотиаде.— Можно и у меня!

— Тогда я здесь, у вас, затоплю. Нет смысла таскаться туда-сюда с кастрюлями.

В последнее время он все чаще затапливал в комнате начальника. Господин Фотиаде не готовил, питался колбасой или консервами, которые привозил из города машинист пассажирского четыретысячипятого. Раза два-три стрелочник зазывал его к себе в сторожку поесть горяченького, сторожка стояла поодаль, метрах в ста от станции, там у Симиона было и небольшое хозяйство: куры, утки, огород. В прошлом году, еще при Казаку, зарезал Симион свинью. Господину Фотиаде было трудно ходить по каменистой тропинке к будке стрелочника, вот Симион с разрешения начальника и стал готовить на станции, благо оказалось, что печка тут получше. Обедали вместе, когда холодно — в диспетчерской, а в жару — за плетеным столом на перроне. Иной раз машинист пассажирского подгадывал с мясом, за которое всегда платил господин Фотиаде. И оба были довольны.

Стрелочник отправился на зады вокзала к поленнице — настрогать лучин. Когда он вернулся в комнату, начальник гладил форменные брюки. Это была его болезнь: проезжал ли товарный, или пассажирский, или какая-нибудь несчастная дрезина везла рабочих с насыпи, он всегда был, как штык, на перроне, одетый с иголочки, чистый и выбритый. Предыдущий начальник, господин Казаку, с тем, бывало, одна беда! — одежда на нем такая выгоревшая, будто года два на солнце в жарких странах пролежала. А этот и лопатку поднимет, а покажется — поднял знамя. Фуражка чуть набок сдвинута, животик человека, пожившего всласть, а любо-дорого на него смотреть. Все машинисты в окно паровоза выглядывают и берут под козырек.

— Ты что собираешься из курицы готовить? — поинтересовался господин Фотиаде.

— Токэницу [1], господин начальник.

— Хорошо,— сказал господин Фотиаде и положил на гладильную доску рубашку.

---

[1] Токана (уменьшительное — токэница) — мясо с луком, приготовленное в соусе. *(Здесь и далее прим. перев.)*

— Ну, будем здоровы! — сказал господин Фотиаде.

— Будем, господин начальник, и дай бог, не последнюю!

— Эхе-хе! — скептически откликнулся господин Фотиаде. Они чокнулись, и стрелочник залпом выпил. Господин Фотиаде пригубил немного, поставил рюмку на стол и склонился над тарелкой.

Вечерело. Но вдалеке, за рекой, небо было еще красное. Они сидели на перроне при свете лампочки в проволочной сетке, висевшей у входа в канцелярию. Господин Фотиаде, в коричневом халате, заткнул за пазуху салфетку. Время от времени он поднимал взгляд от тарелки и краем глаза наблюдал за Мишкой, который, лежа рядом, помахивал хвостом. Из-за полотна, из зарослей бурьяна, доносился стрекот кузнечиков.

— А знаете, господин начальник, что было бы самым поразительным? — сказал стрелочник и потянулся за бутылкой.— Самым поразительным было бы, если б он не пришел.

— Кто? — спросил господин Фотиаде.

— Поезд.

Господин Фотиаде медленно жевал, изо рта его, благодаря маневрам кончика языка, показалась косточка, которую он извлек и положил рядом с тарелкой. Потом сделал глотательное движение. Наконец поднял голову и улыбнулся:

— Тебе было бы жаль курицы... Признайся.

— Что курица! — сказал стрелочник.— Мне было бы жаль его не увидеть.

— Придет, не беспокойся. Ночью его увидишь. Ну, конечно, насколько тебе удастся его разглядеть.

Господин Фотиаде взял рюмку, но не выпил, а поднес ее к глазам. По очереди закрывая то один, то другой глаз, он глядел сквозь цуйку на стрелочника.

— Тут другое,— произнес он медленно.— Ты ничего не заметил?

— Ничего,— отозвался стрелочник.

— Тут самое поразительное, что прибывает он в три часа семь минут, как и туда, на ту станцию.

Стрелочник вытаращил глаза:

— Как так?!

— А вот так. Это самое поразительное: в три часа семь минут. Ну что, теперь ты снова скажешь, будто я придумываю? — Он выпил на этот раз до дна, аккуратно поставил рюмку на стол и в упор посмотрел на стрелочника.— Когда я впервые сказал тебе об этом поезде?

— Давно... примерно через неделю после приезда.

— Сказал я тебе или не сказал часы его прибытия?

— Сказали, господин начальник: три часа семь минут.

— Вот видишь? — торжествующе произнес господин Фотиаде и снова склонился над тарелкой. У него был нож с рукояткой в виде женского торса. Он резал этим ножом хлеб на маленькие кубики, которые бросал на тарелку, чтобы они пропитались соусом. Потом из женской головы вытаскивал вилку и извлекал с ее помощью пропитанные соусом кубики.

— Господин начальник,— сказал стрелочник,— а что, если это не тот поезд?

— Тот,— пробурчал господин Фотиаде с полным ртом.— Я еще вчера, по тому, что они мне по телефону сказали, понял.

— А что они сказали?

— Сказали, как и прежде говорили: чтобы основной путь был свободен, что в три часа семь минут пройдет ночной состав.

— Так и сказали — состав?

— Да, состав.

— Хорошо, но какой — пассажирский, скорый, экспресс? А номера у него нет?

— Нет. Я спрашивал. Просто железнодорожный состав. Они сами больше ничего не знали или не хотели мне сказать.

— Вот так дело, господин начальник! — воскликнул стрелочник.— Состав! Какой же это состав, у него небось и паровоза нет, своим головным вагоном двигается.

— Паровоз есть,— сказал господин Фотиаде.— Да еще какой! Ты в жизни ничего подобного не видел. Послушай, можно дать ему косточки?

— Дайте,— задумчиво ответил стрелочник.— Но скажите, пожалуйста, с чего ему здесь проходить?

— Не знаю, не спрашивал. Это не мое дело,— сказал господин Фотиаде и наклонился, чтобы положить косточки на перрон.— Мое дело — обеспечить ему зеленую улицу. Кто знает, может, другой путь не в порядке, и он делает крюк... На! Пойди сюда, пес!

Мишка вытянул шею, обнюхал косточки и подвинул их лапой.

— Видишь, от меня не берет! — озабоченно прошептал господин Фотиаде.

— Сейчас съест,— сказал стрелочник.— Мишка! Видите? Уже ест.

— Какая у него голова большая! — заметил господин Фотиаде. Он поднял рюмку: — Ну, твое здоровье!

— За вас, господин начальник, будьте здоровы и ни о чем не беспокойтесь. Да черт с ним, с этим поездом, а то мы только про него и разговариваем!

— Коли он того заслуживает... почему и не поговорить? — улыбнулся господин Фотиаде.— Я возьму еще кусочек.

— Возьмите грудку, господин начальник.

— Нет, ты это брось, сам возьми грудку, а то ты почти ничего не ел, а мне дай пупок.

— Ни в коем случае! — запротестовал стрелочник.— Вы же знаете, я не люблю белое мясо.

— В самом деле, не любишь,— вспомнил господин Фотиаде.— Тогда я возьму грудку, а ты возьми... да вроде ты и пупок не любишь. Ты что же вообще-то ел, дружище?

— Крылышки, господин начальник,— ответил стрелочник.— Изо всей курицы я только крылышки люблю.

— Самые хорошие куски ты не любишь,— с упреком сказал господин Фотиаде, стараясь не капнуть соусом на стол. Он переложил грудку из кастрюли на тарелку и на несколько мгновений застыл, ее разглядывая.— Я не верующий,— сказал он, отыскивал ощупью вилку,— но всякий раз, когда вижу подобные чудеса, явленные человеку, я говорю... все же ведь... что-то, наверно, есть...

Стрелочник не счел нужным отвечать. Он взглянул на светофор около своей будки — там горел зеленый свет.

— В детстве, когда был маленький,— продолжал господин Фотиаде, кладя хлебные кубики в тарелку,— я больше всего любил воскресенье. Мама резала курицу, этакую большую и рыжую — не знаю, знакома ли тебе эта порода Род-Айленд, чудо-курица,— и все утро, с девяти до одиннадцати, дом полнился запахом супа, а с одиннадцати до часу, когда вареную курицу обжаривали,— запахом жаркого. В час или чуть позже садились за стол... мама вносила кастрюлю... это было торжественное действо... все эти запахи... печеный перец... отец первым брал грудку... и ты чувствовал, что это праздник. Увы, нынче этот обычай утрачен... едят на ходу... исчез праздник...

— Все бы хорошо, господин начальник,— сказал стрелочник, разливая в рюмки,— только вывеску мы так и не покрасили.

— Что-что? — переспросил господин Фотиаде.— Вывеску? Да ну ее, эту вывеску.— Он слегка промокнул салфеткой уголки рта и взял со стола рюмку.— Никто не умел так готовить суп, как моя матушка. Там, где я служил начальником станции, была женщина, работящая немка — бывают такие: румяные, дома от горшков не отходят. По воскресеньям

я просил ее варить мне суп. Не могу сказать, чтобы у нее не получалось, но такого, как у мамы...— Он выпил и слегка откинулся назад, правая рука у него покоилась на животе.— И воскресенья больше не были воскресеньями,— продолжал он с некоторым усилием.— И то сказать, по воскресеньям в поездах народу бывало меньше, и если я выходил на площадь перед вокзалом, то видел, как гуляли две-три пары, но знаешь, это были не те прекрасные городские гулянья, на которые выходят людей посмотреть и себя показать; нет, здесь люди куда-то спешили, то и дело оглядывались, одна-две пары пересекали полотно, направляясь в лес... И когда вечером возвращались, то шли так же быстро, даже чудно было на них смотреть — будто возвращались с работы. А после того как проходил экспресс, и делать-то мне особенно было нечего.

— И экспресс останавливался? — спросил стрелочник.

— Останавливался, но кто выходил? Зимой — несколько туристов — покататься на лыжах. И садились они же. По ночам шли товарные, но эти все одинаковые. До часа-двух мы играли в карты с диспетчером, потом я шел спать.

Стрелочник зажег сигарету.

— А когда проходил состав?

— Состав проходил редко,— ответил господин Фотиаде.— Примерно три-четыре раза в году. Помню, однажды прошел весной, в апреле, когда расцветает чертополох. Другой раз — на Крещение, в мороз, снежные заносы, я два дня чистил полотно. А тут, три года назад, глядь — в октябре прошел.

— Господин начальник,— стрелочник улыбнулся,— скажите прямо: когда проезжал состав, вы ведь не спали?

— Мог и спать, если было желание,— возразил начальник.— Я диспетчера оставлял. Не важно, кто стоит на перроне.

— Но вам не хотелось спать, вы выходили на перрон,— настаивал стрелочник.

— Да, не спал,— признался господин Фотиаде.— И диспетчер тоже выходил. Мы оба смотрели.

— И что вы видели? — все так же улыбаясь, расспрашивал стрелочник.

Господин Фотиаде ответил не сразу. Он глубже уселся в шезлонг и вздохнул. Прикрыв глаза, будто засыпая, он глядел на стрелочника.

— Что видели? — произнес он медленно.— Ну, я ведь уже тебе сказал... Это самый красивый поезд из всех, какие мне приходилось видеть, а видел я много, можешь мне поверить... его цвет... и как он сверкал...

— Цвет всегда был одинаковый?

— Да,— ответил господин Фотиаде.— Что-то вроде индиго, темно-синий, а на большой скорости он казался почти черным.

— Должно быть, санитарный, для мертвецов,— пошутил стрелочник.

— Иди ты! — отмахнулся господин Фотиаде.— Небось я знаю, как выглядит санитарный поезд. У этого окна были низкие, много ниже обычных, примерно вот такие,— он показал рукой,— и более широкие.

— А занавески были?

— Насколько я мог заметить, были.

— И внутри ничего не было видно?

— На такой-то скорости? — сказал господин Фотиаде.— Что увидишь? Кроме того, в нем не было огней.

— Ни одного?

— Ни одного.

— Черт-те что за поезд! — с отвращением произнес стрелочник.— Ну, по мне...— но он замолчал и глянул в сторону.

— Колеса были повыше, чем у обычного поезда,— продолжал господин Фотиаде,— но вот я не заметил ступенек. Возможно, они внутри

и видны только при открытой двери. И еще одно... я тебе не говорил... ты бы мне не поверил... но теперь, раз он все равно придет, ты и сам почуешь...

— Что? — спросил стрелочник.

— Знаешь,— господин Фотиаде смешался,— ты не смейся, это очень странно... сперва я подумал, что мне одному померещилось... я спросил диспетчера, и он сказал, что тоже почувствовал... знаешь, когда этот поезд проходил, такой был запах, понимаешь?.. он оставлял запах... потом еще полчаса этот запах чувствовался.

— Какой запах?

Господин Фотиаде опустил глаза и сказал тихо, как бы стыдясь:

— Запах роз. Он оставлял сильный запах роз.

Стрелочник мгновение глядел на господина Фотиаде серьезно, потом плечи его затряслись — он засмеялся. Господин Фотиаде помрачнел. Он собрал с тарелок кости и, пока стрелочник хохотал, положил их перед собакой. Мишка подтолкнул кости лапой и, на сей раз без понукания, съел.

— Ох, господин начальник,— сказал стрелочник, утирая слезы,— вы уж меня извините, но с этими розами... Хорошо еще, что не куличом он пахнул...

— Вот видишь? — оскорбленно заметил господин Фотиаде, глядя на собаку.— Ты мне не веришь. Дело твое. Но если сегодня ночью ты тоже почувствуешь запах роз, с тебя причитается.

— Господин начальник,— торжественно произнес стрелочник,— если сегодня ночью этот поезд оставит запах роз, то утром я донесу вас на закорках до реки и обратно.

— Нет,— сказал господин Фотиаде,— тогда ты зарежешь еще одну курицу.

— Трех зарежу,— согласился стрелочник.— А если он не пахнет?

— Если не пахнет, не зарежешь. Ну, твое здоровье!

— Ваше, господин начальник! — весело отозвался стрелочник.

Они чокнулись и выпили. Господин Фотиаде посмотрел на часы:

— Еще осталось пять часов. Пойду прилягу. Подними меня, пожалуйста, в два.

— Всенепременно. Будьте спокойны.

— Ты уберешь? — спросил господин Фотиаде, поднимаясь.

— Конечно,— ответил стрелочник.— Спите спокойно, господил начальник.

— Только бы он пришел,— сказал господин Фотиаде, сложил шезлонг и понес его в комнату.

Стрелочник погасил сигарету, встал, бросил остатки костей собаке, завернул хлеб в полотенце, собрал вилки, тарелки, закрыл кастрюлю и все это сложил в корзину. Потом отнес плетеный стол и стулья в зал ожидания. Вернулся за корзиной и направился с ней по каменистой дорожке к своей будке. Мишка не спеша следовал за ним. В сторожке он оставил корзину и, не зажигая света, вышел и сел на ступени. Закурил сигарету, глянул вдоль железнодорожного полотна. И, словно о чем-то вспомнив, покачал головой и улыбнулся.

— Господин начальник, вставайте! Господин начальник!

— Что? — вздрогнул господин Фотиаде и открыл глаза.

— Вставайте, господин начальник, едет это страшилище! — весело возвестил стрелочник.

Господин Фотиаде вытащил руку из-под одеяла и посмотрел на часы. Потом со стоном потянулся и приподнялся на локте. Потер, точно ребенок, глаза кулаками, глянул на стрелочника и сел.

— Ты тоже побрился,— заметил он.

— Что поделаешь,— сказал стрелочник.

— И надушился,— прибавил господин Фотиаде.— Будто к девушке собрался.

— Для дезинфекции, господин начальник.

— Да-да! — иронически произнес господин Фотиаде,— конечно, для дезинфекции.— Он пошарил ногами и, отыскав тапочки, встал. В пижаме он казался особенно старым. Волоча ноги в тапочках с красными кистями, он направился к шкафу, и тут в диспетчерской зазвонил телефон. На мгновение они уставились друг на друга, потом с неожиданной для его дородности прытью господин Фотиаде в три прыжка оказался у телефона и снял трубку.

— Фотиаде. Да. Здравия желаю,— сказал он, задыхаясь и кивая головой, словно собеседник мог его видеть.— Разумеется... да... да... в три часа семь минут... никаких проблем, какие проблемы?.. да... И завтра... До четверга?.. По четверг включительно или?.. Включительно, да. Да... конечно. Здравия желаю.

Он положил трубку на рычаг и стал шарить по карманам пижамы. Платок оказался в нагрудном кармане, и господин Фотиаде высморкался.

— Ну что? — спросил стрелочник.

— Что может быть? — сказал господин Фотиаде.— Ничего.

— Он придет?

— Разумеется,— ответил господин Фотиаде.— Я же сказал, что придет, значит придет.

— А я услышал звонок и думаю: ну — все, прощай, состав не придет.

— Такого не бывает,— сказал господин Фотиаде.— Маршрут, наверное, устанавливается заранее. Проверяется каждая станция, каждый полустанок, весь личный состав по ходу маршрута, чтобы не возникло никакой проблемы. Этот поезд не везде проходит.

Большими уверенными шагами господин Фотиаде вернулся в свою комнату и открыл шкаф.

— Господин начальник,— сказал стрелочник, присаживаясь на краешек кровати,— если поезд здесь проходит, это значит, как сказать... значит, нам доверяют.

— Разумеется,— согласился господин Фотиаде.— Если бы было известно, к примеру, что ты любишь выпить, не видать бы тебе этого поезда как своих ушей.

— Что же, господин начальник, разве я люблю выпить?!

— Нет, вот я как раз и говорю: если бы ты любил выпить, это было бы известно, и его бы здесь не пустили.

— Сколько я пью, так он может хоть каждый день проходить,— сказал стрелочник.

— Он пройдет сегодня, завтра и в четверг,— сказал господин Фотиаде.— Так мне сообщили.

— Всего три дня? — удивился стрелочник и тихо добавил: — Вы, может, чего сделали, почему он всего три дня проследует...

— Пока и трех дней достаточно,— сказал господин Фотиаде, натягивая форменные брюки.— Он и там ходил не чаще.

— Стало быть, господин начальник, коли он три дня подряд проходит, надо полагать, мы можем гордиться, а?

— Можем, но не зазнаваться. Он больше за весь год, возможно, и не появится. Ладно, отправляйся в свою будку. Уже половина третьего. Как линия?

— Свободна, как же иначе?

— Закрой ее, откроешь, когда я скажу,— распорядился господин Фотиаде. Голос его стал немного жестче.

— Иду,— сказал стрелочник и вышел.

На улице было душно. Он свистнул Мишку, и собака появилась из темного зала ожидания. Двинулся по тропинке. Через несколько шагов ударил ботинком пустую консервную банку. Наклонился и отбро-

сил ее в бурьян. Войдя в сторожку, зажег лампу и вытащил из-под кровати фонарь. Закопченное стекло было засижено мухами. Он попытался вытереть его снаружи, но грязь не отходила. И он бросил. В темноте, да на такой скорости, сам черт не разглядит, каков его фонарь. Лишь бы было видно, что зажжен.

Потом вышел на крыльцо. После вчерашней жары небо заволокло тучами и вдали за речкой огнем вспыхивали зарницы. В бочажке за сторожкой что-то плеснулось — рыба или утка. Он спустился вниз и направился к стрелке, установленной на главной линии. Протянул руку, ухватился за рукоять и потянул вниз. Послышался скрежет железа. Побеги пустырника между шпалами маневренной линии вздрогнули. На такой-то скорости этот состав мог бы врезаться прямо в дощатый сарай. Стрелочник дернул рукоять вверх, и стрелки снова придвинулись к главной линии. Затем он отправился к сигнальному рычагу и поставил красный круг перед фонарем. Таково желание бедняги начальника. Хочет сам дать составу зеленый свет. Начальник всегда начальник. Стрелочник вернулся в сторожку и взглянул на большой будильник, тикающий на окне. Оставалось еще семнадцать минут. Он вынул из портсигара сигарету и вышел на улицу. На вокзале горели все огни — начальник зажег свет и в зале ожидания, и в сарае. Как на Рождество, когда ждут колядующих. Если они приходили — семь километров по рытвинам и ухабам из-за каких-нибудь десяти — пятнадцати леев и стопки пуйки идти не стоило.

Звякнул телефон.

— Сию минуту, господин начальник,— сказал он, взявши трубку. Вернулся на линию и поднял рычаг: в фонаре снова появился зеленый круг. Путь свободен. Теперь состав может идти.

Он сел на ступеньки. Расстегнул верхнюю пуговицу рубахи и отер голову платком. Начался дождь. Пускай пройдет за эту ночь, а завтра нужно покрасить вывеску. Из поезда название станции не прочтешь. И все равно надо покрасить. Лягушка прыгнула к его ногам и исчезла в траве. Начальнику нравятся лягушки. И ему, Симиону, тоже, но меньше. Завтра пойду к болоту и поймаю. То есть не завтра, завтра, если поезд в самом деле пахнет розами, как сказал начальник, зарежу еще одну курицу. При воспоминании о начальнике он улыбнулся. Большой выдумщик этот начальник. Надо же, поезд с розами...

Мишка, лежавший рядом, вдруг сел, навострил уши и тихонько зарычал.

— Ты чего? — удивился стрелочник. И взглянул на полотно. Должно быть, заяц. Когда Мишка был помоложе, то летом гонял зайцев. Иногда брал, а иногда нет. Теперь они хоть через его хвост будут прыгать, он не пошевелится. Бедняга растолстел, шерсть вылезает.

Мишка вскочил на ноги и зарычал громче. Встал и стрелочник. Может, на полотне волк. Ничего не видать, только рядом сверкают прямые полоски рельсов, но и они теряются, уходя в темноту.

— А ну замолчи! — прикрикнул стрелочник и повернулся к реке. Прислушался. Вроде что-то слышно. Торопливо вошел в сторожку и посмотрел на часы: три часа четыре минуты. Вот оно что, сообразил он. Взял фонарь, поднял стекло и с трудом зажег фитиль. Руки дрожали. Он спустился с крыльца на гравий перед сторожкой и, пока поправлял фуражку, услышал вдали, сквозь вой собаки, шум.

— Пшел! Пшел отсюда! — прикрикнул он на собаку и наклонился, чтобы взять камень. Мишка не убежал, только отполз подальше. Распрямившись, стрелочник увидел силуэт господина Фотиаде на середине перрона и поднял фонарь — пускай знает, что стрелочник на посту; кинул камень туда, где была собака, Мишка залаял хрипло, как волк. Промахнулся. Хотел взять еще камень, но шум поезда приблизился, стал явственным. Он повернул голову на шум и засек взглядом ветви плакучей ивы на краю бочажка — их всегда задевала труба паровоза, если проходил пассажирский. И когда локомотив состава вошел в слабо

освещенную зону вокруг сторожки, убедился, что действительно этот паровоз выше, потому что на сей раз задела ветви не труба, а верхняя часть гигантского горизонтального цилиндра, и еще успел заметить темные окна, и большие колеса, и темно-синий цвет двух первых вагонов, а потом поднятая составом пыль ударила в лицо, и он невольно зажмурился. И тогда в мозгу пронеслось, что запаха не чувствуется. Он быстро отер лицо левой рукой, открыл глаза и успел увидеть последний вагон, проносившийся перед ним, а потом задние буфера, между которыми не было ни огонька; тень вагонов становилась все короче и исчезла вовсе, когда поезд проходил перед станцией. Он опустил фонарь и принюхался. Пахло обычным поездом, только, пожалуй, запах был сильнее обычного. Шум постепенно стихал, и только Мишка из кювета как сказанный заливался лаем.

— Черт бы тебя подрал,— пробурчал стрелочник.— Будешь теперь надрываться.

Он погасил фонарь и вошел в сторожку. Потом снова вышел, перевел светофор на красный свет и двинулся по тропинке к станции. Господин Фотиаде по-прежнему стоял на середине перрона с фонарем в руке. Ждал его. Стрелочник стал перед ним и сказал:

— Да, господин начальник, он и вправду существует.

— Ты видел? — прошептал господин Фотиаде, и по его лицу можно было прочесть, как он счастлив.— Теперь ты видишь, что он существует? Скажи, разве я тебя обманывал?

— Нет, господин начальник, не обманывали,— ответил стрелочник.— Что говорить, он существует, я сам его видел.

— Видел ли ты когда-нибудь поезд прекраснее?

— И то сказать, не видел. Только знаете, он не пахнет.

— Как не пахнет? — удивился господин Фотиаде.— Ты не чувствуешь запаха?

Стрелочник глубоко вдохнул воздух.

— Запаха роз?

— Конечно, роз.

— Нет, господин начальник, не чувствую.

— Ты простужен,— убежденно сказал господин Фотиаде.— Пойдем, я дам тебе пирамидон.

— Ну его к черту, этот пирамидон, господин начальник. Я в жизни никогда не принимал лекарств.

— Послушай,— с подозрением заметил господин Фотиаде,— ты просто не хочешь резать курицу.

— Зарежу, господин начальник, но коли не чувствую — значит не чувствую.

— Ладно,— сказал господин Фотиаде,— но знай: я тебе не верю.

— Воля ваша.

Господин Фотиаде взглянул на часы:

— Двенадцать минут четвертого. Что собираешься делать, может, сыграем в карты?

— Нет, господин начальник. Теперь я спать пойду.

— Тогда спокойной ночи. Будь добр, разбуди меня к товарному, в девять.

— Хорошо, господин начальник. Спокойной ночи.

Весь день шел дождь, и только к вечеру расчистилась узкая полоска неба над рекою, и на ней проступили звезды. На сей раз ели в комнате господина Фотиаде, печка еще топилась, и господин Фотиаде даже вспотел. Он отер лоб, расположился поудобнее и взял половник.

— Суп у тебя тоже неплохой,— заметил он и налил себе добавку,— хотя в этот час у супа будто другой вкус, чем в обед.

— Что поделаешь, господин начальник,— сказал стрелочник.— Пока-то я ее изловил, пока зарезал, пока изжарил..,

— Изловить было трудно, это я видел,— сказал господин Фотиаде.

— Будто она знала, что я собираюсь ее зарезать,— сказал стрелочник.

— Если бы этот поезд проходил всю неделю подряд, ты остался бы без кур,— сказал господин Фотиаде.

— Есть еще утки, господин начальник,— сказал стрелочник.

— Для уток нужен международный,— заметил господин Фотиаде.

— Нет, господин начальник,— ответил стрелочник.— Так будем здоровы?

— Ты прав,— сказал господин Фотиаде.— Ну, будь счастлив!

— Ваше здоровье, господин начальник.

Они выпили, потом стрелочник встал и принес с печки кастрюлю. Снял крышку, и господин Фотиаде наклонился, чтобы понюхать:

— Ты и чеснок положил?

— Два зубчика, господин начальник.

— Ты, Симион, настоящий повар,— сказал господин Фотиаде.

— Так ведь я все время один... Нужда научит.

— И я был один,— сказал господин Фотиаде,— но с готовкой у меня не получается. Вот, пожалуйста, крылышки.

— Спасибо, господин начальник.

— Завтра — все, больше не будем резать курицу,— сказал господин Фотиаде.— Из-за этого поезда черт знает как растолстеем. Завтра посидим на картофельном супе.

— Нет, зарежу, господин начальник. Чтобы запомнились эти дни, потому что потом — кто знает, когда он еще придет.

— Может, на следующий год,— ответил господин Фотиаде.— Основные дороги ремонтируются, поэтому можно ждать его в любое время.

— Не верю я, господин начальник. Он больше не придет. Ни в коем разе.

— Как знать,— ответил господин Фотиаде.

Стрелочник взял бутылку и, пока разливал по рюмкам, сказал безразлично:

— Хоть бы мне разок его остановить.

— Что ты такое говоришь? — Господин Фотиаде поднял голову.

— Остановить бы его да разглядеть получше.

— Не понимаю,— сказал господин Фотиаде.— Как ты его остановишь?

— Очень просто, господин начальник, как вообще останавливают поезда: включим красный свет.

— Ну ладно, хватит шутить, а то остынет еда,— сказал господин Фотиаде, глядя на него недоверчиво.

— Я не шучу, господин начальник. Можем и его остановить. Ненадолго, только посмотреть, что там такое.

— Ты с ума сошел,— объявил господин Фотиаде.— Слишком долго просидел у печки, тебе жар в голову бросился.

— Можем и предлог найти, господин начальник!

— Какой?

— Оползала насыпь, рядом болото, шел дождь, и линия просела... На его скорости это опасно. Остановим, а потом отпустим, так, потихоньку.

— Слушай, ты это брось, занимайся своим делом! — возмутился господин Фотиаде.— Кто тебе поверит? В таких случаях заранее предупреждают.

— Да когда же предупредить, если только что случилось? — сказал стрелочник.

— А если приедут проверять и увидят, что его остановили напрасно, мы оба тут же вылетим отсюда, и очень далеко.

— Куда вылетим-то? — сказал стрелочник.— Большей глуши, чем здесь, не найти.

— Ладно, ты эти разговоры прекрати,— сказал господин Фотиаде.— Нет у тебя никакого права его останавливать! Да и не уверен я, что он остановится.

— Как так — не остановится? — удивился стрелочник.

— А очень просто,— ответил господин Фотиаде.— Проследует дальше, и дело с концом.

— Не остановится даже перед красным светом?

— Даже перед ним!

— Э-э-э, хотел бы я посмотреть на поезд, который не останавливается перед красным светом, хотел бы я посмотреть, какой он такой выискался!

— Если он знает, что путь свободен, он, может, на твой захудалый светофор и не смотрит.

— Как это не смотрит? — удивился стрелочник.— Что же, господин начальник, этот поезд никто не ведет?

— Да откуда мне знать, ведет кто его или нет? Я ведь не был на его паровозе. Может, никто и не ведет, может, он автоматический.

— Автоматический? — удивился стрелочник.— Как это — автоматический?

— Автоматический-неавтоматический,— рассердился господин Фотиаде,— ну его к черту, этот поезд, дай мне спокойно поесть! Ишь что надумал!.. Поезд остановить! Ты лучше вывеску покрась!

Стрелочник промолчал. Положил вилку и зажег сигарету.

— Ты что это больше не ешь? — осведомился господин Фотиаде.

— Больше не хочу,— сказал стрелочник.— Господин начальник, я бы прилег на полчасика.

— Ладно, я сам уберу. Чего тебе оставить? — И он указал на кастрюлю.

— Это крылышко, господин начальник. Если позволите, я его назад положу.

— Давай сюда... Вот так. Послушай, возьми это псу.

— Если Мишка сообразит, что все эти кости ему из-за поезда достались, не будет больше на него лаять.

— Да, в самом деле, я слышал, он лаял и выл, как волк,— сказал господин Фотиаде.— Что это с ним?

— Не знаю. Не нравится ему этот поезд,— ответил стрелочник.— Ваше здоровье.

— Благодарствуйте, за твое. Свет ведь сейчас красный?

— Да, господин начальник.

— Хорошо, я позвоню тебе, когда надо будет переключить.

Выйдя из диспетчерской, стрелочник направился к колодцу. Побрызгал себе лоб, намочил платок и приложил его к шее. У себя в сторожке он разделся, но не лег, а переменил рубашку, носки, почистил щеткой форму, привел в порядок ботинки, потом надел форму и вышел. Мишка спал на тропинке у сигнального рычага. Он бросил собаке кости и пошел за сторожку, к бочажку. Спать совсем не хотелось. Он немного постоял, глядя на неподвижную воду, затянутую ряской. Из сторожки на воду падал свет, и вдруг он увидел водяную крысу, беззвучно плывущую вдоль берега. Крыса собралась было выйти из воды, но, завидев его, быстро поплыла прочь. Потом стало слышно, как вдали она шуршит сухим камышом. Стрелочник вытащил портсигар и поднялся к сторожке. Когда зазвонил телефон, он сидел на ступеньках и курил третью сигарету. Поговорив с господином Фотиаде, он зажег фонарь и направился к светофору. Толкнул рычаг, и красный кружок переменился на зеленый. Переступая со шпалы на шпалу, он пошел по полотну в сторону речки. Пройдя метров сто, остановился и поглядел туда, где осталась сторожка. Зеленый свет подмигивал, фитиль в фонаре горел слабовато. Но сигнал был виден. Повернул назад и дошел до столба. Взобрался на металлическую лестницу, раскрыл дверцу фо-

наря и подкрутил фитиль. Потом спустился и, достигнув земли, увидел, как на станции вспыхнули все огни.

Когда Мишка начал рычать, стрелочник зажег фонарь и вышел. Однако не спустился на тропинку, а остался стоять на крыльце — отсюда и видно лучше, и вихрь от поезда не такой сильный. После дождя не должно быть пыли. Он поднял фонарь так, чтобы не слепил свет, и стал ждать.

Паровоз надвигался из темноты с той же скоростью, сбивая ветви плакучей ивы перед светофором. Стрелочник заметил у переднего цилиндрического котла толстые щиты; потом увидел, что первый вагон, который обычно бывает почтовым, примыкал к паровозу так близко, точно между ними не было буферов. Он начал было считать вагоны, но взгляд его последовал за третьим — ему показалось, будто под дверью выступает подножка. Он впился глазами в вагон, когда тот мчался мимо светофора, и, проводив его взглядом до сарая, убедился, что был прав: под дверью, примерно на расстоянии метра от необычно большой ручки, действительно была подножка. Он поставил фонарь и снова вдохнул воздух, но ничего не почувствовал, кроме привычного запаха угля и пара.

С перрона господин Фотиаде делал фонарем призывные знаки. Стрелочник загасил свой фонарь, отнес его в сторожку и позвал пса. Собака, скуля, прижалась к его ногам. Она дрожала всем телом.

— Что с тобой, а? — ласково спросил стрелочник и погладил Мишку по спине.— Что ты такое увидел, а, Мишка?

На третий день тоже стояла хорошая, хоть и прохладная погода. Тонкая завеса облаков дымкой обволакивала солнце, не давая ему как следует выглянуть, и все было облито мягким, бледным, будто лунным, светом. После обеда, когда прошел четыретысячипятый, стрелочник собрал в огороде спелые помидоры и отнес их в комнату господина Фотиаде. Попробовал было яблоки с яблони у колодца, но они были еще маленькие и кислые. Когда господин Фотиаде напомнил ему, что можно бы покрасить вывеску, стрелочник указал на штабель неколотых дров: нечем топить печку. Он колол дрова до самого вечера и носил их кошелками в сарай. Вечером господин Фотиаде отказался от курицы, заявив, что мясо ему обрыдло. Решили пожарить картошку на сале и приготовить салат из помидоров. Господин Фотиаде почистил картошку своим ножом с рукоятью в виде женского торса и нарезал ее по своему вкусу тонко-тонко.

Они сидели на перроне за плетеным столом и играли в карты, в американскую семерку, господин Фотиаде говорил, что он в этом деле мастак. Поверх халата он был закутан в казенное одеяло. На одеяле название станции тоже было уже неразличимо.

— Пики! — произнес господин Фотиаде, превозмогая икоту.— Последняя!

— Трефы! — сказал стрелочник.

— Ага! — воскликнул господин Фотиаде.— Да ты мошенник, попридержал семерку. Я взял карту. Давай сюда.

— Я тоже одну возьму,— сказал стрелочник.

— У тебя тоже нет? — удивился господин Фотиаде.— Ну, тогда я тебя обштопал: пики! И последняя.

— У меня нет,— сказал стрелочник.

— Вот так, возьми карту, вот так... И все! Счет!

— Шестнадцать,— сказал стрелочник.

— Давай посмотрим,— сказал господин Фотиаде и посчитал карты противника, потом взял карандаш.— Шестнадцать плюс пятьдесят семь... шестьдесят семь... и шесть... семьдесят три. Еще немного, и ты выходишь из игры. Кто сдает?

— Вы.

Господин Фотиаде стал тасовать карты.

— Вот увидишь, завтра и послезавтра, когда уже не будет поезда, пропадем с тоски,— задумчиво сказал он.— Надо купить табле[1].

— В шахматы вы не умеете? — спросил стрелочник.

— Умею двигать фигуры,— ответил господин Фотиаде.— Мне трудно сосредоточиться, я начинаю сердиться...— И он ткнул указательным пальцем в лоб.— Сколько у тебя?

— Четыре,— ответил стрелочник.— Дайте мне еще одну.

— Вот, возьми,— сказал господин Фотиаде.

— Знаете, что я видел в поезде, господин начальник? — сказал стрелочник, раскладывая карты.— Вы говорили, что у него нет подножек. Есть. Я сам видел.

— Да? — удивился господин Фотиаде.— А я не заметил. На самом деле, подножки должны быть. Иначе как садиться пассажирам? Мне нужны пики.

— Каким пассажирам? — спросил стрелочник.

— Ну...— замялся господин Фотиаде,— пассажирам, которые в нем едут, ведь не идет же он пустой.

— Никого в нем не видел, а я смотрел внимательно,— сказал стрелочник.

— Я тоже не видел,— признался господин Фотиаде,— но это не значит, что в нем никого нет. Может быть, они спят?

— Кто?

— Пассажиры,— ответил господин Фотиаде.— Ты что, не играешь?

— Так все и спят? В этаком грохоте? И проводники? Я бы побоялся ехать в поезде, где все спят.

— Может, проводника в нем нет,— сказал господин Фотиаде.— Тебе дают билет на станции отправления до станции назначения, билет проверяют на перроне при посадке, а дальше — спи себе...

— Не может быть, господин начальник! Свет все же должен где-то быть зажжен — в уборной, в умывальне... Иначе все как слепые будут друг с другом сталкиваться лбами. Я думаю, этот поезд обкатывают, и вагоны пустые. А коли они пустые, зачем напрасно жечь свет? Экономят.

— А паровоз? — спросил господин Фотиаде.— На нем тоже экономят?

— Глядите, вы ошиблись, господин начальник,— указал стрелочник.

— Ой, прости,— извинился господин Фотиаде.— Всегда я путаю эти карты.

— Черви,— попросил стрелочник.— Насчет паровоза я тоже не знаю, что сказать. Вы видели, какие там окна?

— Конечно, видел. Они больше обычных.

— Больше и будто замазаны дегтем,— сказал стрелочник.— Вот я и думаю: что может видеть машинист сквозь этакую черноту. Опять черви.

— У меня нету. Беру еще карту,— сказал господин Фотиаде.

— Берите еще две, и я скажу — последнюю. Все.

— Мамочка родная! — воскликнул господин Фотиаде.— Ты удвоил. Дай-ка я посмотрю, сколько у меня... Мда, вроде я вышел из игры. Давай еще разок!

— Господин начальник, что-то не хочется. У вас и так большое преимущество.

— Послушай, у нас еще полчаса! — Господин Фотиаде посмотрел на часы.

— Да, но пока вы переоденетесь... пока я надену чего-нибудь потеплее.

— Ладно, как знаешь. Но сыграем, когда он пройдет.

---

[1] Игра в кости.

— Сыграем, господин начальник. Позвоните мне, когда дать зеленый свет.

Стрелочник встал и помог господину Фотиаде подняться из шезлонга. Потом унес плетеный стол и стул в зал ожидания. В сторожку он пошел не прямо, а кружным путем, мимо сарая. Отпер замок и вынес из сарая жестяную канистру. В сторожке отлил из нее в большую кружку, потом закупорил канистру и с кружкой вышел из сторожки. Пошел к светофору, оставил кружку у столба, а сам поднялся по лестнице, вынул фонарь из гнезда светофора и спустился с ним вниз. Отвинтил крышку резервуара и налил из кружки столько, сколько в него поместилось. Снова завинтил резервуар, поднялся по лестнице и поставил фонарь на место. Прибавил фитиль до упора и спустился вниз. Отошел на несколько шагов и оглянулся. Сейчас светофор был прекрасно виден. Вылил то, что осталось в кружке, в кювет и вернулся в сторожку. Взял канистру и отнес ее в сарай. Запер сарай на замок, посмотрел на освещенное окно господина Фотиаде и закурил сигарету. Постоял немного и отправился в сторожку. В сторожке, стоя на коленях, он перерыл сундучок под кроватью, вытащил из него цепь и вышел. Посвистел. Мишка прибежал откуда-то из-за сторожки и остановился перед ним в ожидании. Он склонился над собакой и, закусив сигарету, стал прицеплять к ошейнику цепь. Другой конец цепи он прикрепил к скребку для очистки обуви, вбитому на пороге. Выбросил сигарету. Пес стоял спокойно. Давненько он не привязывал пса — с тех пор, как тот был молод и зол, однажды даже прыгнул на Тудосию и чуть не разорвал ее, беднягу, на куски.

Стрелочник распрямился и сел на ступеньку. Прошло несколько минут. На вокзале загорелись огни. Зазвонил телефон.

— Да, господин начальник, сейчас,— сказал стрелочник в трубку, надвинул на лоб фуражку и взял фонарь. Зажег спичку — руки не дрожали. Оставив фонарь у порога, он отправился к светофору и переключил на зеленый свет. Потер руки и похлопал себя по плечам. Было холодновато. Поглядел на Мишку. Собака, растянувшись на животе, дремала. Левый глаз у нее гноился, скоро совсем закроется. Сколько она еще протянет, а потом... в болото.

Стая уток прошуршала над головой. Он поглядел вверх, но увидел только большую круглую луну, освещавшую речную пойму. Вот почему такими белыми кажутся руки. Он спрятал их в карманы брюк, нащупал там портсигар и спички. Курить не хотелось, во рту был кисло-горький вкус. Он сплюнул и угодил как раз на рельсу главного полотна. Плевок напоминал серебряную монетку — будто ее положили на рельсы, чтобы поезд ее расплющил. Так он делал мальчишкой, когда хотел, чтобы монетка стала побольше,— для игры. Сам он выигрывал редко — ладонь у него была маленькая и пальцы короткие, не покрывали монеты других игроков. Но не огорчался: монетки, расплющенные поездом, все равно не будут годиться.

Он глянул на станцию. Господин Фотиаде как раз вышел на перрон проверить, как светит его фонарь. Фонарь у него был трехцветный, не простой: этот особый фонарь — единственное, что осталось у него от той, прежней, станции. Все-таки что-то. Стрелочник повернулся и посмотрел вдоль линии в сторону реки. Вот-вот придет. Вынул правую руку из кармана и положил ее на рычаг сигнала. Рычаг был холодный. И рука в лунном свете будто припорошена мелом. Сколько раз он дергал к себе и толкал от себя эту рукоятку! Если бы за каждое движение полагалось по пятаку, он был бы сейчас богачом. Ведь прежде, когда было что возить, в день проходило по пять товарных. В те времена между шпалами не рос пустырник, не то что теперь. Понемножку все отсюда уехали, остался он один, чтобы...

Мишка зарычал и поднял голову. Стрелочник вздрогнул и сжал пальцами рукоятку рычага. Пока ничего не было слышно, но он верил чутью собаки. Мишка встал и не отрываясь глядел в сторону реки. Цепь натянулась, она была слишком коротка. Потом услышал шум. Еще де-

сять секунд — и состав будет на мосту. Стрелочник прошептал: «Помогай Бог» и дернул рычаг на себя. Посмотрел на светофор: красный. Он стоял пригнувшись, напряженно вслушиваясь. Теперь пора бы тормозить. Но до него доносились только равномерно растущий шум, заливистый лай собаки и еще — будто крики со станции. Поезд не останавливался. Стрелочник хотел толкнуть рукоятку назад, но тут увидел приближающийся паровоз, искрящиеся колеса и наконец услышал, как скрежещет сталь о сталь, выпрямился и почувствовал, что у него дрожит подбородок и задрожал еще сильнее, когда черный паровоз надвинулся на него и остановился в нескольких шагах. Он толкнул рукоять назад и побежал на теперь уже зеленый круг к паровозу; потом крался, пригнувшись рядом, как будто сверху его могли ударить, и так добрался до третьего вагона. Прыгнул и ухватился левой рукой за сверкающую ручку, а ногами стал шарить в поисках подножки. Нашел ее в тот момент, когда поезд медленно двинулся, и увидел ветви плакучей ивы, скользящие у окон. Нажал ручку, толкнул дверь плечом, но она не поддавалась. Столб светофора, подмигивая зеленым светом, проплыл мимо, а он продолжал биться плечом и правым коленом в темную дверь и только уголком глаза заметил собаку, рвущуюся с цепи, и фонарь на пороге своего жилища, а потом сторожка скрылась из виду, и вертикальные балки дровяного сарая замелькали все быстрее, а чуть повернувшись, он увидел, как стремительно убегали плиты перрона, увидел господина Фотиаде, его грозное лицо в зеленоватом свете его собственного фонаря, и колодец и подумал, что еще можно было бы спрыгнуть в заросший травой кювет, который должен сейчас появиться, но тут дверь распахнулась, затягивая его внутрь, и в это мгновение в нос ему ударил душный запах роз.

Критика

ИТАЛО КАЛЬВИНО

ЛЕГКОСТЬ

Из «Американских лекций»

Перевод с итальянского и вступление ЕЛЕНЫ КОСТЮКОВИЧ

В американских университетах многие курсы читают писатели — нобелевские лауреаты, живые классики мировой литературы и просто сочинители. Причем они учат слушателей не тому, как стать писателем, а тому, как стать читателем.

В 1984 году Итало Кальвино был приглашен в Гарвардский университет принять участие в программе «Нортоновских чтений». Эта программа (обычно она состоит из шести лекций, читаемых в течение учебного года) существует более пятидесяти лет, и в ней принимали участие Томас Стернз Элиот, Игорь Стравинский, Хорхе Луис Борхес, Нортон Фрай, Октавио Пас и другие. По словам вдовы писателя, Кальвино был первым итальянским художником слова, приглашенным прочесть подобный курс. Однако в Америку он не прилетел, умер, поставив свою последнюю точку на конспекте лекций. Конспект, как и последние прижизненные произведения писателя, при различии их жанров и идей, учит читателя читать.

Во всем мире эти книги считаются самыми значительными в его творческом наследии, и только в России по странной случайности продолжают оставаться неизвестными публике. Речь идет о романах Кальвино «Если однажды зимнею ночью путник...» (1979) и «Паломар» (1983), цикле мини-повестей «Под солнцем ягуара» (1984), сборнике заметок «Коллекция песчинок» (1984) и цикле эссе «Американские лекции» (1988).

Среди этих произведений роман «Если однажды зимнею ночью путник...» и «Американские лекции», конспект которых был издан женой и стал посмертной книгой писателя, самые нашумевшие. Они получили резонанс во многих странах.

Ныне этим произведениям, кажется, суждена скорая встреча с русским читателем.

Роман «Если однажды зимнею ночью путник...» написан не в первом и не в третьем, а в необычном втором повествовательном лице, в форме обращения к читателю. И не просто обращения. Читатель с первых же страниц становится активным участником действия, а на последней странице даже женится, по выбору автора, на загадочной и прекрасной Читательнице.

«Вы начинаете новый роман Итало Кальвино «Если однажды зимнею ночью путник...». Расслабьтесь. Рассредоточьтесь. Избавьтесь от посторонних мыслей. Пусть окружающий мир потонет в неопределенности. Двери лучше закрыть: там у них вечно включен телевизор. Скажите им сразу: «Нет, я не буду смотреть телевизор». Или, если не хотите, не говорите, может быть, они вас не тронут...»

Уже сам по себе такой зачин мог бы придать роману своеобычность; но фантазия Итало Кальвино идет дальше, ибо нам еще преподносится и все то, что читатель читает.

Герой-читатель (то есть мы с вами) читает по ходу действия десять романов, каждый из которых фатально обрывается после первой главы. В книгу Кальвино входят десять первых глав десяти книг; написаны они увлекательно, и от любопытства, желания узнать, чем все кончится, читающий всякий раз практически забывает, что его просто разыгрывают, а пора бы уж привыкнуть.

Кальвино меж тем получает возможность стилизовать криминальный и психологический, кровавый латиноамериканский и японский эротический, политический и философско-притчевый сюжет. Практически это нечто среднее между рассказом и литературоведческим эссе. В этом эссе анализируются проблемы взаимоотношения читателя и текста, механизм построения увлекательного сюжета, проблемы цельности, связей.

Вавилонское столпотворение обрекло мир на утрату единства. Тяга Кальвино — снова склеить потерянное целое из разрозненных мелкостей.

Начало работы Кальвино в литературе совпало с эпохой бунтарства, социального протеста, в эстетической сфере этим настроениям соответствовал либо добротный реализм, либо модернистский хаос. Отдав дань и тому и другому, писатель перешел к

© Garzanti Editore s. p. a., 1988.

поэтике, гораздо более органичной для его личности, к типу творчества, где доминировала идея космоса — то есть пересоздания и переупорядочивания мира, как бы новое сотворение его «по Кальвино». Культурный материал эпохи барокко является базовым для такого подхода к творчеству. На основе анализа книги создается концепция мира, которую требуется только прокомментировать; и возникает иллюзия, что, «упорядочив знаки», можно выявить структуру мироздания и тем самым как бы снова сотворить его — в иносказании.

Попытка расчленения действительности в интересах наилучшего ее обдумывания и описания, невротическое желание выстроить факты мира по ранжиру нагнетают порой в душе читателя тягостное ощущение искусственности общения между ним и книгой. И тем разительнее ощущается писательское торжество Кальвино там, где строгое структурирование не осуществлено полностью, не окончено, оборвано, где сохраняются изначальная волнообразность и асимметрия мира. Автор интуитивно ощутил обреченность попытки разгадать некую божественную симметрию мира.

С течением лет, судя по всему, выкладывание «кусочных» головоломок — «пузелей», как говорил Набоков,— для Кальвино стало менее притягательным, и, наоборот, гораздо более обаятельными представлялись ему такие качества литературы и вообще вещей, как нерасчлененность, текучесть и переплетенность. Об этом свидетельствует крошечное, но важное произведение — сказка-притча для маленьких детей «Лес — корни — лабиринт» (1984). Речь в ней идет о лесе настолько дремучем, что в нем вообще невозможно различить, где кончается мир корней и начинается мир кроны, то есть где низ и где верх, где свет и где тьма: принципиально новый для Кальвино взгляд на вещи.

С этой сказки берет начало серия произведений Кальвино на новую тему, хотя новизна эта основывается, если разобраться, на его предшествующей творческой философии. Речь снова идет, по сути, о структурном членении — но уже не мира, за которым теперь признается право на органическую дремучесть,— а читательского восприятия. В последних произведениях Кальвино единственный материал — читательское сознание, от которого в конечном итоге и зависит, какой станет читаемая книга.

Таковы «Американские лекции». По определению Кальвино — это «шесть предложений на следующее тысячелетие». Нынешнее тысячелетие кончается, говорит он, и, «может быть, симптом конца — модные теперь споры о судьбе литературы и книги в технологическую эру, так называемую постиндустриальную. Тут я не знаю, что сказать, кроме одного: я лично верю в литературу, ибо верю, что многие вещи поддаются только ей, ее специфическим средствам». И писатель определяет для себя общую тему лекций — те ценности литературы, которые необходимо сохранить для грядущего тысячелетия.

«Американские лекции» остались незавершенными. Не хватает одной части — последней. Написаны «Легкость», «Быстрота», «Точность», «Наглядность» и «Многообразие»; отсутствует «Плотность». Кальвино анализирует те свойства литературы, которые закладываются в текст интуитивно и также интуитивно должны улавливаться читателем. Довольно быстро мы начинаем замечать, что сам пищущий ощущает — одна и та же литературная реальность может представать и «легкой» и «тяжелой». Это было известно еще в эпоху барокко, с которой творчество Кальвино столь сильно связано: породненными выступают в поэтиках барокко категория grave u soave, совсем как в посвященном Пушкину стихотворении Мандельштама: «Сестры — тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы».

Читающему эссе Кальвино вскоре становится ясно, что на языке писателя «легкость» означает «дробность», то есть снова на первый план выводится способность литературы реконструировать атомарное многообразие мира, отображая мир как бы в зеркале, то есть опосредуя его,— во-первых, и тяготея к энциклопедичности — во-вторых. Слово «энциклопедия» Кальвино повторяет в очерке множество раз, характеризуя свои излюбленные примеры — «О природе вещей» Тита Лукреция Кара и «Метаморфозы» Овидия. Притом методика работы Кальвино все та же — по сути дела коллекционирование деталей и попытка составить из них складный рисунок. Выстраивая ряды примеров по принципу «где употребляется слово легкость», он в конце концов приводит один и тот же литературный материал и в пример легкости и в пример тяжести — это происходит и с Боккаччо, и с Шекспиром.

Так, почти что против воли и обычая Кальвино, в концовке эссе, как и в последней строке стихотворения Мандельштама, grave u soave сплетены в единый венок: ибо именно такова — то есть нерасчленима по своей природе — основа европейской литературы, золотая латынь, капитолийский лавр в союзе с нежной розой, такова поэзия торжественно-сладостного Овидия, под чьей звездой родилось читаемое нами ныне эссе Кальвино.

В первой лекции речь пойдет об оппозиции «легкость — тяжесть». Я буду обосновывать легкость. Это не значит, что тяжесть плоха; просто именно о легкости мне есть что сказать.

После сорока лет работы, многих поисков и экспериментов настал момент мне наконец дать определение собственного труда. Итак: моя работа почти всегда состояла в преодолении веса. Я избавлял от веса человеческие тела, тела небесные, города; больше всего я старался избавить от веса повествовательную структуру и язык.

В этой лекции я попытаюсь объяснить и вам и себе, почему я воспринимаю легкость

не как недостаток, а как достоинство; где я нахожу эту ценность в прошлом, а где — в настоящем и как проецирую на будущее.

Прежде всего — последнее. Когда я начинал, необходимость отображать эпоху была категорическим императивом для молодых писателей. Я, как и все, мерил себя той безжалостной энергией, которая движет нашим веком, общими и частными судьбами. Я отыскивал созвучие между грандиозной пьесой мироздания, то драматической, то гротескной, и тем пикарескно-авантюрным ритмом, который управлял моей прозой. Скоро я заметил, что между жизненным материалом, служившим для меня сырьем, и той резкой дробной стремительностью, которой я хотел пронизать текст, имелся разрыв, и этот разрыв все труднее было преодолевать. Вероятно, только тогда я впервые столкнулся с тяжестью, инерционностью, вязкостью мира; при неумении защититься все это повисает на пишущем мертвым грузом.

Периодически мне казалось, что мир окаменевает; окаменевало все, одно раньше, другое позже, в зависимости от характеров и мест. Это была, если угодно, невозможность укрыться от губительного взгляда Медузы.

Единственный герой, способный победить Медузу,— Персей, Персей в крылатых сандалиях, Персей, глядящий не на лик Горгоны, а только на отражение лика в бронзовом щите. Как видите, Персей приходит ко мне на помощь и теперь, когда я уже начал было задыхаться в объятиях камня, что со мной происходит всякий раз, когда я покушаюсь на нечто исторически-автобиографическое. Гораздо лучше для меня не выходить из круга мифологических параллелей. Итак: чтобы отрезать голову Медузе, а самому не обратиться в камень, Персей опирается на самое легкое, что есть в распоряжении,— на ветер, на облака; а взор свой он обращает на то, что явлено ему самым косвенным образом из всех возможных,— на призрак, пойманный зеркалом. Мне немедленно хочется увидеть в этом мифе аллегорию взаимоотношений поэта и мира, урок писательства. Но я знаю, что любое истолкование обедняет миф и душит его; с мифами не нужно торопиться; надо дать им отлежаться в памяти, надо вживаться в их детали и думать о них, не выходя из их собственного образного языка. Урок мифов состоит именно в том, что говорится в них буквально,— а не в том, что мы добавляем от себя.

Взаимоотношения между Персеем и Горгоной сложны: они не кончаются усекновением главы. Из крови Медузы рождается крылатая лошадь, Пегас; тяжеловесность камня переходит в собственную противоположность; одним ударом подковы о камень Геликонской горы Пегас высекает источник, откуда будут отныне пить Музы. В некоторых версиях мифа именно Персей правит дивным конем Пегасом, любимцем Муз, родившимся из проклятой Горгоновой крови. Кстати говоря, и крылатые сандалии происходят из мира чудовищ: Персею вручили их сестры Медузы, Граи, имевшие один глаз на троих. Что касается отрезанной головы, ее Персей не выбрасывает, а носит с собою в мешке, и когда его одолевают враги, достаточно показать им голову, высоко приподнять ее за змееклубящуюся гриву, и из кровавого праха она превращается в непобедимое оружие героя, оружие, употребляемое исключительно в крайних ситуациях и только против тех, кто заслуживает жуткого приговора — обратиться в статую. Тут уж решительно этот миф что-то желает выразить, что-то запечатленное в его образах и не могущее быть высказанным иначе. Персею удается орудовать ужасной головой потому, что она укрыта,— он и раньше завладел ею потому, что смотрел не на нее, а в зеркало. Именно в отказе от прямого взгляда сила Персея — однако не в отказе от веры в реальность мира чудовищ, где ему выпало существовать, в реальность, которую он носит с собой, которая — его постоянная поклажа.

Насчет отношений Персея и Медузы мы можем узнать еще кое-что, читая «Метаморфозы» Овидия. Персей выиграл новую битву, прикончил мечом морское чудовище, освободил Андромеду. И теперь переходит к тому, к чему любой из нас с вами перешел бы после подобного занятия: к мытью рук. В описанной ситуации возникает специфическая проблема: куда положить голову Медузы. И тут Овидий дает несколько стихов (IV, 740—752), на мой взгляд, совершенно потрясающих, из которых видно, какая деликатность души требуется, чтобы быть Персеем, победителем чудовищ.

«Чтобы жесткий песок не тер змеегривой головы (anguiherumque caput dura ne laedat harena), он устилает землю слоем листьев, сверху раскладывает водоросли, а потом кладет на это голову Медузы лицом вниз». По-моему, легкость, одухотворительница Персея, не может быть полнее воплощена, нежели в этом жесте освежающей любезности по отношению к существу чудовищному и жуткому, однако в то же самое время хрупкому, ранимому. И все получает неожиданное чудесное развитие: морские водоросли, коснувшись Медузы, превращаются в кораллы, и нимфы, желая украсить себя кораллами, поспешают с новыми стеблями и водорослями к чудовищной голове.

И это сочетание образов, когда нежная грация кораллов сопоставлена с грубой мрачностью Горгоны, до того полно скрытых смыслов, что мне не хотелось бы «затрепывать» их комментариями и интерпретациями. Что я могу сделать — это сблизить приведенные строки Овидия со стихами современного поэта, Эудженио Монтале, «Малое завещание», где мы находим столь же нежнейшие хрупкости — почти эмблемы его поэзии («И перламутровый прополз улитки или наждак разбитого стекла».— Перев. мой.— *Е. К.*) в столкновении с адовым мрачным чудовищем, Люцифером асфальтовых крыл, сходящим на мегаполисы Запада. Ни разу с такой же силой, как в этом стихотворении 1953 года, Монтале не создавал столь апокалипсического образа, то, что в его стихах выведено на первый план — лишь несколько легчайших световых бликов, противостоящих черноте катастрофы («На зеркальце храни налет пыльцы / когда угаснут лампы и сардана / сквозь темноту повьется

пляской ада» (перев. мой.— *Е. К.*). Разве можно рассчитывать спастись в том, что хрупче всего? Да, можно; и стихотворение Монтале — это исповедание веры в прочность того, что представляется самым обреченным, и в те духовные ценности, которые намечены самыми эфемерными штрихами. «Размазанный и слабый свет внизу / был только вспышкой спички».

Так, чтобы суметь что-то сказать о нашей эпохе, я был вынужден проделать длинный путь, вызвать ранимую Медузу Овидия и асфальтового Люцифера Монтале. Романисту трудно изобразить собственное представление о легкости, преломленное в примерах повседневного бытия, если только не в виде недостижимого объекта нескончаемого поиска. Именно это выпукло и зримо осуществил Милан Кундера. Его роман «Невыносимая легкость бытия»[1] на самом деле представляет собой горькую констатацию Неизбывной Тяжести Существования, и не только в смысле беспросветного угнетения, пронизывающего все на его злополучной родине, но и в смысле той жизни, которой живем все мы, неизмеримо более благополучные. Тяжесть жизни для Кундеры состоит в любой форме принуждения: сеть общественных и частных необходимостей опутывает каждого, все более затягиваясь. Его роман показывает, как обычно в нашей жизни все, что мы сначала ценим за легкость, вскоре обнаруживает свой невыносимый вес. Может быть, избегают этой участи лишь живость и подвижность интеллекта — свойства прозы самого этого романа, относящиеся к другому универсуму, не к универсуму жизни.

В минуты, когда царство всего человеческого представляется мне приговоренным к тяжести, я думаю, не следует ли взлететь, как Персею, в другое пространство. Я говорю не о бегстве в сон или в иррациональное. Я имею в виду — переменить подход, увидеть мир с другой точки зрения, подойти к нему с другой логикой, с другими методами познания и верификации. Образы легкости, предметы моего поиска, не будут разогнаны, как сны, реальностью настоящего и будущего...

В бесконечном мире литературы всегда имеются начала других дорог, их можно исследовать — новейшие и древнейшие пути, стили и формы, способные переменить наше восприятие мира... Но если одной литературы мало, чтобы убедить меня, что я не только за снами иду по следу,— поищу в науке подпитки своим видениям, в которых всякая тяжесть расточается.

Ныне любая отрасль науки, похоже, стремится продемонстрировать нам, что мир держится на тончайших данностях: коды ДНК, импульсы нейронов, кварки, нейтрины, блуждающие в пространстве с сотворения времен...

Потом информатика. Ясно, что мягкое программное обеспечение не наслаждалось бы мощью своей легкости, не будь жестких дисков: но главенствует-то в этом деле — мягкое! Это оно воздействует и на внешний мир, и на машины, которые существуют исключительно как функции к software[2], совершенствуется во имя все более и более сложных программ. Вторая индустриальная революция не предстает, подобно первой, в давящем обличии прокатных станов и железных потоков, но в виде потока битов информации, текущего по платам электронными импульсами. Машины остаются железными, но подчиняются невесомым битам.

Законно ли экстраполировать из разговора о науке образ мира, отвечающего моим запросам? Если операция, которую я замыслил, привлекает меня,— причина в том, что таким манером можно увязать нашу тему с очень древней нитью — с историей поэзии.

«О природе вещей» Лукреция — первое большое поэтическое произведение, в котором изучение мира превращается в рассеивание плотности мира, в познание того, что бесконечно мало, подвижно и легко. Лукреций хочет писать поэму о материи, но с самого начала извещает нас, что истинная сущность ее сотворена из невидимых корпускул. Это поэт физической конкретности, представленной в постоянстве и в неизменности, но первое, что он говорит — это что пустота не менее конкретна, нежели твердые тела. Основная забота Лукреция — сделать так, чтобы материя нас не раздавила. Когда приходит пора определить суровые физические законы, обусловливающие каждый факт, он чувствует необходимость разрешить атомам непредвиденные отклонения от прямой траектории, гарантировать свободу как материи, так и человеческим существам. Поэзия невидимого, поэзия бесконечных непредсказуемых потенциальностей, как и поэзия «ничего», рождается от поэта, не сомневающегося в физичности мира.

Эта пульверизация распространяется и на зримые аспекты реальности, и именно тут выявляется поэтическое могущество Лукреция: крупинки пыли, бурлящие внутри солнечного луча в темной комнате (II, 114—124); крошечные раковинки, все — подобные и все — различные, которые волною тихонько выносятся на bibula harena, на упивающийся песок (II, 374—376); паутинки, незаметно цепляющиеся к нам во время прогулки (III, 381—390).

Я уже цитировал «Метаморфозы» Овидия, другую энциклопедическую поэму, написанную лет пятьдесят спустя после поэмы Лукреция и основанную не на физических реалиях, а на мифологических сказаниях. Для Овидия также все имеет возможность преобразиться в новые формы; и для Овидия изучение мира — это разрежение плотности мира; для Овидия тоже исходно первичное равенство между всем, что существует, в противовес любой иерархии мощностей и ценностей. Если мир Лукреция составлен из неизменных атомов, мир Овидия составлен из качеств, признаков, форм, обусловливающих уникальность каждой вещи, растения, животного, человека; но все они — не более чем произвольные оболочки общего для всех вещества, которое, когда охвачено глубочайшей страстью, способно на самые невероятные превращения.

Именно в прослеживании процессов перехода из одной формы в другую Овидий проявляет свои неподражаемые таланты: когда рассказывает, как женщина замечает, что превращается в дерево, что ноги прирас-

---

[1] Вышел в свет в 1985 году. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[2] Программное обеспечение *(англ.)*.

тают к земле, что нежная кора постепенно оковывает ее бедра и охватывает лоно, что руки, в отчаянии вскинутые к волосам, встречают вместо волос пышно бьющуюся листву. О, как у него даны пальцы Арахны, гибкие, ловко скручивающие пряжу, вращающие веретено, протягивающие нить по рисунку,— как они вдруг на наших глазах вытягиваются в тонюсенькие паучьи лапки, продолжающие суетливо ткать — уже не полотно, а паутину!

Как для Лукреция, так и для Овидия легкость — это не манера видеть мир, опирающаяся на философию, на науку: у Лукреция — на учение Эпикура, у Овидия — на учение Пифагора (Пифагора, в интерпретации Овидия приближенного скорее к Будде). Но и в том и в другом случае легкость есть нечто возникающее в процессе письма, благодаря языковым средствам, которые — средства поэта, независимо от доктрины философа, которую поэт как будто стремится пересказать.

Итак, по-моему, понятие легкости начинает определяться; во всяком случае, надеюсь, я показал, что существует легкость в задумчивости, так же как существует легкость в игривости; более того, легкость задумчивости может быть такова, что по сравнению с ней легкость игривости покажется тяжеловесной и вязкой.

Я не мог бы лучше проиллюстрировать эту идею, чем с помощью новеллы «Декамерона» (VI, 9), в которой выведен флорентийский поэт Гвидо Кавальканти. Боккаччо представляет нам Кавальканти как неулыбчивого философа; погруженный в раздумья, он прохаживается среди гробниц, среди мраморов, перед храмом. Флорентийская золотая молодежь оравами галопировала по городу с праздника на праздник, вечно ища предлогов для новых сборищ, визитов и взаимных приглашений. Кавальканти у них не был популярен, потому что, хотя и состоятельный и изящный, никогда не соглашался развлекаться вместе с ними и потому что его таинственная философия подозревалась как безбожная:

«Случилось однажды, что, выйдя из Орто Сан Микеле и пройдя по Корсо дельи Адимари, которым он часто хаживал, к Сан Джьовани, где кругом были большие мраморные гробницы, что ныне в Санта Репарата, и многие другие, Гвидо очутился между находящимися там колоннами из порфира, теми гробницами и дверями Сан Джьовани, которые были заперты,— когда мессер Бетто и общество, проезжая верхом по площади Санта Репарата, завидели Гвидо между теми гробницами и сказали: «Пойдем, подразним его». Пришпорив коней, они, как бы в потешном набеге, почти наскакали на него, прежде чем он заметил, и стали говорить ему: «Гвидо, ты отказываешься быть в нашем обществе; но скажи, когда ты откроешь, что Бога нет, то что же из этого будет?» На это Гвидо, видя себя окруженным, тотчас же сказал: «Господа, вы можете говорить мне у себя дома все, что вам угодно», и, опершись рукою на одну из тех гробниц,— а они были высокие,— будучи очень легким, он сделал прыжок, перекинулся на другую сторону и, освободясь от них, удалился» (перев. А. Н. Веселовского).

Здесь для нас более всего интересна не реплика, приписываемая Кавальканти. Реплика вполне объяснима с учетом того, что предполагающийся «эпикуреизм» поэта на самом деле являет собой аверроизм, согласно которому индивидуальная душа составляет часть универсального интеллекта; гробницы — дом ваш, а не мой, поскольку телесной смерти неподвластен тот, кто возносится к созерцанию универсалий посредством умозрения. Нам здесь важен визуальный образ, создаваемый Боккаччо: Кавальканти, освободившийся от них единым прыжком, «поскольку он был очень легким».

Если бы мне хотелось избрать торжественный символ для вступления в новое тысячелетие, я выбрал бы этот: воздушнейший, неожиданный прыжок поэта-философа, способного отринуть тяжеловесность мира и показать, что в его гравитации скрывается секрет облегчения, в то время как то, в чем для многих олицетворена вся витальность эпохи, шумная, агрессивная, топотливая и крикливая, относится к владению смерти, подобно кладбищу проржавевших автомобилей.

Мне хотелось бы, чтоб вы сохранили в памяти этот образ, пока я буду говорить вам о Кавальканти — поэте легкости. Действующие лица его стихов в первую очередь — не человеческие существа, а вздохи, световые лучи, оптические образы, и особенно — те импульсы или нематериальные сообщения, которые он именует «духи». Предмет сам по себе не легкий — мучение любви — распылен поэтом на неосязаемые частицы, колеблющиеся между душой разумной и душой вожделеющей, между сердцем и умом, между взором и голосом. Эти частицы отвечают трем характеристикам: 1) они весьма легки; 2) они весьма подвижны; 3) они являются носителями информации. В некоторых стихах подобным посланием-посланцем выступает сам поэтический текст; в самом известном своем произведении поэт-изгнанник обращается к балладе, которую пишет, и напутствует: «Лети же нежно и легко к возлюбленной». В другом стихотворении письменные принадлежности — гусиные перья и приспособления для их очинки — берут слово: «Мы грустные напуганные перья, / чернильница и безутешный нож...» (перев. мой.— *Е. К.*). Есть сонет, в котором слова «дух», «духи» присутствуют в каждой строке. Это явная автопародия, Кавальканти доводит до логического абсурда свое пристрастие к ключевому слову, втискивая в четырнадцать строк сонета сложнейшее абстрактное умопостроение, в котором участвуют четыриадцать «духов», каждый выполняющий свою отдельную функцию. В другом стихотворении от любовного страдания тело расчленяется, однако продолжает двигаться, как автомат «из меди, камня, древесины». Раньше, у Гвидо Гвиницелли, терзание любви превращало поэта в бронзовую статую: очень конкретный образ, сила которого — именно в ощущении тяжеловесности. У Кавальканти же вес материи рассредоточен именно потому, что материалов для подобия человека может быть сколько угодно, они взаимозаме-

нимы; метафора не навязывает нам ничего тяжелого, и даже слово «камень» не является отягощать этот стих. Мы снова наблюдаем тут равенство сущего, о котором я говорил применительно к Лукрецию и Овидию. Мастер итальянской стилистической критики, Джанфранко Контини, определяет это как «кавалькантианское уравнивание сущностей».

Один из лучших примеров «уравнивания сущностей» Кавальканти дает в сонете, где оба четверостишия — перечень образов красоты, которым всем суждено поблекнуть в сравнении с красотой любимой донны:

Явление девичьей красоты
И рыцаря убор лихой, звенящий,
Плач соловья, любовные мечты,
Отважный челн, пучину бороздящий,

Прозрачный воздух, нежные листы
И белый снег, в безветрии сходящий,
Гладь озера, весенние цветы,
И злата и сребра отлив блестящий...
(Перев. мой — Е. К.)

Стих «И белый снег, в безветрии сходящий» повторен, с ничтожными изменениями, у Данте («Ад», XIV, 30):

А над пустыней медленно спадал
Дождь пламени, широкими платками,
Как снег в безветрии нагорных скал...
(Перев. М. Лозинского)

Эти два стихотворных образа практически идентичны, с буквальной точки зрения, и в то же время выражают диаметрально противоположные понятия. В обоих случаях снег, опускающийся в безветренном воздухе, создает ощущение легкости и тишины. Однако тут кончается сходство и начинаются различия.

У Данте все подчиняется обстоятельству места («в безветрии нагорных скал»). А у Кавальканти такого обстоятельства нет, есть определение «белый», на первый взгляд плеонастическое, и есть глагольная форма «сходящий», тоже как бы само собой разумеющаяся,— так вместо конкретного пейзажа здесь создается атмосфера напряженного абстрагирования. Однако существеннее всего для противоположения смыслов этих двух стихов — первые их слова. В случае Кавальканти союз «и» помещает снег в единый ряд с другими видениями, превращающими снег и сменяющими его; это ожерелье образов, нечто вроде выставки совершенств мира. У Данте наречие «как» замыкает всю сцену в раму метафоры, однако внутри этой рамы сцена характеризуется реальной конкретностью, так же как не менее реальной и драматичной конкретностью характеризуется пейзаж Ада под струями огненного дождя, сравнением для чего и предназначен служить падающий снег.

У Кавальканти мир меняется так быстро, что мы не успеваем уловить его природу — видим только эффекты. У Данте мир демонстрирует свою природу и вещество. Вес каждой вещи определяется с точностью. Даже повествуя о легких вещах, Данте как будто стремится зафиксировать самый точный вес этой легкости: он равняется весу «снега в безветрии нагорных скал». Точно так в другом очень похожем стихе тяжесть тела, погружающегося в воду и исчезающего под ней, по закону физики меняется, то есть уменьшается: «Как тонет груз и словно тает въяве» («Рай», III, 123).

При этом нельзя не отметить, что представление о мире как о состоящем из невесомых атомов поражает нас именно потому, что наш опыт убеждает нас в тяжести вещей. Точно так же мы не могли бы восхищаться легкостью языка, если бы нам не случалось восхищаться и языком, имеющим тяжесть.

Можно сделать вывод, что две противоположные тенденции борются между собой на поприще литературы в течение столетий: одна стремится превратить язык в некую стихию без веса, витающую над вещами, подобно облаку, или, вернее, подобно мельчайшей водяной пыли, или, еще вернее, подобно полю электромагнитного напряжения; другая же старается придать языку вес и плотность, вещественность, конкретность, телесность, чувственную мощь.

У истоков итальянской литературы — и европейской — эти два пути открываются поэтами Кавальканти и Данте. Данное противопоставление, конечно, справедливо только в самом общем смысле и нуждается в бесчисленных уточнениях, учитывая невероятное богатство возможностей Данте и его удивительную гибкость. Но не случайно тот дантов сонет, который одухотворен легкостью самой счастливой («Гвидо, хочу, чтоб ты и Лапо со мною...»), посвящается Кавальканти. В «Новой жизни» Данте касается того же самого предмета, что его учитель и друг, и есть слова, мотивы и образы, встречающиеся у обоих поэтов; когда Данте действительно хочет передать легкость, скажем, в «Божественной комедии», никто не умеет этого лучше, чем он; но гениальность его заключается прямо в обратном, в умении добыть из языка всю его звонкость, эмоциональность, чувственность, в умении замкнуть пространством стиха весь мир во всей неисчислимости его уровней, форм и характеристик, продемонстрировать, что мир организован согласно системе, порядку, иерархии, где все имеет свое место. Слегка утрируя противопоставление, я мог бы сказать, что Данте сообщает телесную плотность даже самым абстрактным интеллектуальным спекуляциям, в то время как Кавальканти рассредоточивает конкретность осязаемого опыта в рубленом, скандируемом ритме стиха — как если бы мысль вырывалась из темноты толчками, электрическими разрядами.

Я столь подробно остановился на Кавальканти, дабы лучше прояснить (по крайней мере для себя самого), что́ я понимаю под «легкостью». Легкость для меня ассоциируется с точностью и определенностью, ни в коем случае не с мутностью и не со случайностью. Поль Валери сказал: «Надо быть легким как птица, а не как птичье перо».

Я использовал строки Кавальканти, чтобы представить легкость по меньшей мере в трех различных выражениях:

1) Облегчение языка, благодаря чему значения вводятся в вербальную ткань без учета их веса, и тем самым всем им сообщается одна и та же разреженная консистенция.

Предоставляю вам самим подобрать примеры этого явления. В частности, у Эмили Дикинсон их находишь сколько угодно:

A sepal, petal and a thorn
Upon a common summer's morn —
A flasc of Dew — a Bee or two —
A Breeze — a carper in the trees —
And I'm a Rose!
Сучок, листок и лепесток —
Едва окрасился восток —
И блеск росы — и две осы —
И взмах — и шепоток в ветвях —
И вот я — роза!
(Перев. мой — Е. К.)

2) Описание рассуждений или психологических процессов, в которых участвуют тончайшие, неуловимые элементы, и вообще любое описание, сопряженное с высокой степенью абстракции.

Здесь, чтобы найти более современный пример, можно обратиться к Генри Джеймсу, открыв любую книгу в любом месте:

«Это было как если бы все эти глубины, постоянно объединяемые перемычкой достаточно надежной, невзирая на ее легкость и на ее периодические колебания в довольно головокружительной атмосфере, то и дело вынуждали, ради собственного нервного спокойствия, к опущению лота и к промеру глубины пропасти. Кроме того, определенное различие было обусловлено раз и навсегда тем фактом, что она (Мэй.— *Е. К.*) в течение всего времени, казалось, не ощущала необходимости опровергнуть обвинение в сокрытии мысли, которую не отваживалась высказать, обвинение, которое он (Марчер.— *Е. К.*) выдвинул против нее в самом конце одного из последних споров». (перев. мой — *Е. К.*)

3) Фигуральное отображение легкости, приобретающее характер эмблемы, как в новелле Боккаччо — Кавальканти, перемахивающий своими долговязыми ногами через могильный камень.

Некоторые литературные образы впечатываются в память прежде всего своей суггестивностью, а не словесным рисунком. Сцена, когда Дон Кихот протыкает копьем крыло ветряной мельницы и повисает в воздухе, занимает очень мало строк романа Сервантеса. Можно сказать, автор лишь в самой минимальной мере реализует здесь возможность своего письма; и все-таки эта сцена остается одной из самых знаменитых во всей мировой литературе.

Думаю, что, исходя из всего сказанного, я могу теперь листать книги своей библиотеки, ища примеров легкости. У Шекспира я прежде всего найду то место, когда появляется Меркуцио: «Но ты влюблен. Займи же пару крыльев / у Купидона и порхай на них!» (перев. Т. Щепкиной-Куперник). Меркуцио моментально возражает Ромео, как только тот произносит: «Любовь, как груз, гнетет меня к земле». Способ существования Меркуцио в мире целиком выражен первыми же глаголами в его речи: to dance, to soar, to prickle (плясать, взлетать, колоть). Человеческая наружность — это маска, a visor. Меркуцио едва успел появиться, но ему уже необходимо изложить свою философию, причем не в теоретической форме, а посредством пересказывания сна, сна о королеве Мэб. Королева Мэб, «повитуха фей», является на колеснице, сделанной из скорлупы ореха:

В ее повозке спицы у колес
Из длинных сделаны паучьих лапок;
Из крыльев травяной кобылки — фартук,
Постромки — из тончайшей паутины,
А хомуты — из лунного луча.
(Перев. Т. Щепкиной-Куперник)

И не будем забывать, что эту колесницу влекут «мельчайшие атомы» («a team of little atomies») — важная деталь, мнится мне, позволяющая объединяться во сне о королеве Мэб лукрецианскому атомизму с ренессансным неоплатонизмом и с кельтским фольклором.

Да, пусть танцующая походка Меркуцио сопровождает нас и за порог нового тысячелетия. Эпоха, выступающая фоном «Ромео и Джульетты», во многих отношениях не отличается от нашей: города, обагренные кровью распрей, не более осмысленных, нежели вражда Монтекки и Капулетти; сексуальная революция, проповедуемая Кормилицей, так же как и наша, не дотягивает до торжества всеобщей мировой любви; а что до экспериментов Фра Лоренцо, пронизанных великодушным оптимизмом его натурфилософии, с ними, как и с нашими, заранее неизвестно, послужат они на благо жизни или на благо смерти.

Шекспировское Возрождение — время таких эманаций эфира, которые сопрягали макрокосм с микрокосмом, платоновские небесные сферы с духами металлов, что воплощалось в алхимических тиглях. Классическая мифология располагает огромным ассортиментом нимф и дриад, но мифология кельтов, несомненно, более богата олицетворениями самых своеобразных сил природы — для этого у них есть эльфы, феи. Подобная культурная основа (здесь, разумеется, необходимо вспомнить великолепные исследования Фрэнсис Йейтс по оккультной философии Возрождения) объясняет, почему именно у Шекспира содержится такое богатство примеров на мою тему. И я имею в виду не только Пэка со всей фантасмагорией «Сна в летнюю ночь» или Ариеля со всеми теми, кто создан «из вещества того же, что наши сны», а в первую очередь — ту особую лирическую и экзистенциальную позицию, которая позволяет наблюдать собственную драму как бы извне и смягчать ее как меланхолией, так и иронией.

Тяготение без тяжести, о котором я говорил применительно к Кавальканти, заново воцаряется в литературе времен Сервантеса и Шекспира; на этом основано тончайшее сродство между меланхолией и юмором. Как меланхолия — это сделавшаяся легкой тоска, так и юмор — это комизм, потерявший телесную тяжесть (ту сочную плотскость, в которой состоит великолепие Боккаччо и Рабле), подвергающий сомнению и «я», и мир вне «я», и всю систему внешних отношений, определяющую одно и другое.

Меланхолия и юмор, смешанные и неразделимые, отличают речь датского принца, которую мы приучены моментально узнавать во всех шекспировских драмах, в устах многочисленных «близнецов» Гамлета. Один из таковых, Жак, герой «Как вам это понравится», характеризует меланхолию следующим образом (акт IV, сцена 1):

«Но у меня моя собственная меланхолия, составленная из многих элементов, извлекаемая из многих предметов, а в сущно-

сти — результат размышлений, вынесенных из моих странствий, погружаясь в которые я испытываю самую гумористическую грусть» (перев. Т. Щепкиной-Куперник).

Это, как видим, не плотная и вязкая меланхолия, а вихрь микроскопических частиц и ощущений, пылевое движение атомов, что и составляет в конечном итоге последнюю субстанцию всего многообразия вещей.

Признаюсь, соблазн сделать из Шекспира последователя лукрецианского атомизма очень силен во мне, но я знаю, что это была бы натяжка. Первый писатель постклассического мира, открыто проповедующий атомическую концепцию мироустройства в преображенном, фантастическом виде, появляется лишь через несколько лет после Шекспира, во Франции; это Сирано де Бержерак.

Писатель редкостного таланта, Сирано должен был бы пользоваться гораздо большим почетом и славой — и не только как основатель мировой научной фантастики, но и как мыслитель и поэт. Последователь сенсуализма Гассенди и астрономической системы Коперника, но прежде всего вскормленный натурфилософией итальянского Возрождения — Джероламо Кардано, Джордано Бруно, Томмазо Кампанеллой,— Сирано стал первым поэтом атомизма в литературе нашей эры. На тех страницах, где ирония не укрывает истинно космической потрясенности, Сирано отстаивает единство всех вещей мира, неодушевленных и одушевленных, ту комбинаторику элементарных фигур, которой обусловлено все многообразие существующих форм, а самым первым делом он демонстрирует полную произвольность процессов, создавших эти формы: какой малости могло бы хватить, чтобы человек не стал человеком, жизнь — жизнью, мир — миром!

«А вы еще удивляетесь, каким образом перемешанная волею случая материя могла сотворить человека, принимая во внимание, что для его образования требовалось так много различных элементов. Разве вы не знаете, что на пути создания человека материя миллион раз останавливалась, чтобы образовать то камень, то свинец, то коралл, то цветок, то комету, и именно потому, что для создания человека требовались одни элементы, а другие были не нужны? Поэтому неудивительно, что среди несметного множества веществ, беспрестанно видоизменяющихся и движущихся, столкнулись такие, какие требовались для создания тех немногих животных, растений и минералов, которые нам известны. Как нельзя удивляться тому, что из сотни ходов игральными костями окажется один, когда выкинется равное количество очков, так совершенно невозможно, чтобы из непрестанного движения не возникло что-либо, но это нечто всегда будет изумлять простофилю, которому будет невдомек, какой малости требовалось, чтобы оно не возникло никогда» (перев. Е. Гунста).

Таким путем Сирано доходит до призывов к братанию человека с капустой, и такие слова влагает в уста капусты, которую должны вот-вот срезать:

«Человек, любезный брат мой, чем я обидела тебя, чтобы заслужить смерть? (...) Едва ты посеешь меня, как я выражаю тебе свое благоволение, расцветаю, протягиваю к тебе руки, дарю тебе своих детей в зернышках, а в воздаяние моей любезности ты приказываешь отрубить мне голову!» (перев. Е. Гунста).

Стоит подумать, что эти речи в защиту настоящего всемирного равенства и братства произносились за сто пятьдесят лет до Французской революции — и мы видим, как инертность человеческого мышления, не желающего выходить за границы своего антропоцентрического огорода, преодолевается в единый миг прыжком изобретательности. Все это в рамках повести о путешествии на Луну, в которой Сирано де Бержерак превосходит вымыслом самых знаменитых своих предшественников, Лукиана из Самосаты и Лудовико Ариосто. В моем рассуждении о легкости Сирано возникает прежде всего потому, что он раньше Ньютона осознал проблему земного тяготения, или, вернее, это проблема отрыва от силы тяжести до такой степени будоражит его воображение, что побуждает его придумывать целый набор способов попадания на Луну, один замысловатее другого: с помощью сосудов, полных воды, испаряющейся на солнце; обмазываясь костным мозгом быка, который Луна обычно выпивает; используя магнитный шар, то есть многократно бросая его вертикально вверх с борта воздушного корабля.

Что касается магнитной идеи, она будет вскоре подхвачена и усовершенствована Джонатаном Свифтом для удержания в воздухе летучего острова — Лапуты. В этот момент — когда Лапута появляется в небе — две навязчивые идеи Свифта, столкнувшись, взаимно поглощаются, придя к магическому равновесию: здесь бестелесная абстрактность рационализма, против которого направлено острие свифтовской сатиры, примиряется с плотной телесностью материализма:

«Он приблизился ко мне, и я мог рассмотреть, что его стороны окружены несколькими галереями, расположенными уступами и соединенными между собой, на известных промежутках, лестницами, позволявшими переходить с одной галереи на другую. На самой нижней галерее я увидел несколько человек, из которых одни ловили рыбу длинными удочками, а другие смотрели на эту ловлю» (перев. под редакцией А. Франковского).

Свифт — современник и противник Ньютона. Вольтер — поклонник Ньютона, и он придумывает великана Микромегаса, который в противоположность персонажам Свифта характеризуется не телесностью, а набором цифровых исчислений, пространственных и временных свойств, сведенных к строгим невозмутимым категориям научных трактатов. Благодаря этой логике и этому характеру Микромегас может перемещаться в пространстве с Сириуса на Сатурн, с Сатурна на Землю. На самом деле в теориях Ньютона самое удивительное для литературного воображения — не подчиненность любого предмета и любого существа неизбывности собственного веса, а уравновешенность сил, позволяющая небесным телам планировать в космосе.

Образность восемнадцатого века богата фигурами, парящими в воздухе. Не случай-

но в начале века появился французский перевод «Тысячи и одной ночи», выполненный Антуаном Галланом, и открыл для фантазии западного мира эмпирей восточных чудес: летающие ковры, летающих коней, джиннов, испаряющихся из медных ламп.

Кульминацию этого порыва фантазии к преодолению любых пределов и границ восемнадцатое столетие являет полетом барона Мюнхгаузена на пушечном ядре, образ, который в нашей с вами памяти навеки сросся с иллюстрацией — шедевром Гюстава Доре. Приключения Мюнхгаузена, насчет которых, как и насчет «Тысячи и одной кочи», неизвестно, был ли у них один автор, или несколько авторов, или ни одного,— это непрерывный вызов закону земного тяготения; героя поднимают в воздух утки, он поднимает себя сам вместе с лошадью, ухватившись за косичку собственного парика, он спускается с Луны по веревке, которая несколько раз рвется во время его спуска и которую он снова связывает.

Эти образы народной литературы совокупно с теми, которые мы взяли из литературы ученой, составляют литературное эхо теории Ньютона. Джакомо Леопарди в пятнадцатилетнем возрасте пишет историю астрономии, замечательную по основательности, и в ней он среди прочего суммирует ньютоновскую науку. Лицезрение ночного небосвода навевало поэту самые лучшие его стихи, но воспринималось при этом отнюдь не только лирически; говоря о луне, Леопарди совершенно точно понимал, о чем говорит.

Леопарди, в своем нескончаемом повествовании о невыносимой тяжести бытия, наделяет образы недостижимого счастья качеством легкости: птицы, женский голос, льющийся из окна, прозрачность воздуха и более всего — луна.

Всякий раз, когда луна появляется у какого-либо поэта, она обладает силой передавать ощущение легкости, воздушности, молчаливого и тихого очарования. На первых порах у меня была мысль посвятить именно луне всю эту лекцию: проследить по очереди упоминания луны в литературах всех времен и народов. Затем я понял, что луну всю как есть следует оставить Леопарди. Ибо чудо Леопарди состоит в полном освобождении языка от веса, в уравнивании языка с лунным лучом. Луна в его стихах появляется на какую-то минуту — на одну-две строки,— однако все произведение либо озаряется сиянием, либо цепенеет во власти мрака, когда лунного луча нет.

Безветренная, сладостная ночь,
Среди садов над кровлями безмолвно
Лежит луна, из мрака вырывая
Вершины ближних гор...
(Перев. Анны Ахматовой),

Я помню, благодатная луна,
Уж год назад, на этот самый холм
Я приходил, чтобы тебя увидеть... (...)
В моих очах плыл лик твой...
(Перев. А. Наймана)

Как одинокой ночью
Над полем и водою в серебре,
Когда зефир стихает
И сотни силуэтов
Обманчивых предметов
Отбрасывают тени
Над тихими волнами,
И садом, и домами, и холмами,
Достигнув края неба
У Апеннин, у Альп, в Тирренском море,
В его пустом просторе
Скрывается луна...
(Перев. А. Неймана)

В моем докладе переплелось чересчур много нитей? За которую теперь надо взяться, чтобы вытянуть на свет вывод? Одна нить объединяет луну, Леопарди, Ньютона, гравитацию и левитацию... Другая связывает Лукреция, атомизм, философию любви Кавальканти, чернокнижие времен Ренессанса, Сирано... Потом еще есть нить рассуждения о письме как метафоре пылеобразного состава мира: уже Лукреций мыслил буквы как атомы в постоянном движении, которые за счет перестановок порождают разнообразные слова и звучания: эта его идея была подхвачена долгой традицией мыслителей, согласно которой ключ к загадкам мира содержится в комбинации письменных знаков: «Ars Magna» Раймунда Луллия, Каббала испанских раввинов и Пико делла Мирандола... Вслед за ними и Галилей представлял себе алфавит как модель комбинаторики минимальных единиц... За ним — Лейбниц...

Идти мне этой дорогой? Не ждут ли меня там ужасающе примитивные выводы? Письмо как модель любых процессов реальности... Вернее, как единственная познаваемая реальность... Вернее, как единственная реальность tout-court [1]. Нет, не встану на эти принудительные рельсы, уводящие слишком далеко от того отношения к слову, которое органично для меня,— от погони за миром, от приноравливания к его бесконечному многообразию.

Остается еще одна нить, та, которую я разматывал в самом начале: литература как экзистенциальная функция, поиск легкости как реагирование на тяжесть бытия. Вероятно, и Лукреций, и Овидий стремились к этому же: Лукреций, когда искал — или думал, что ищет,— эпикурейскую невозмутимость; Овидий, когда искал — или думал, что ищет,— воскрешения в иных жизнях, по Пифагору.

Я привык воспринимать литературу как орудие познания, и поэтому при переходе на экзистенциальную почву мне желательно, чтобы эта почва простиралась и в область антропологии, и в область этнологии, и в область мифологии.

На превратности племенного быта — засухи, эпидемии, сглаз — шаман реагировал, уничтожая вес собственного тела, переносясь, перелетая в иной мир, на иной уровень представлений, где он мог обрести особую силу для преобразования реальности. Во времена, более близкие нам, в более близких обществах, где на женщину наваливалась максимальная тяжесть жизненных ограничений, ведьмы улетали ночами на рукоятках метлы или даже на еще более легких снарядах — колосках, соломинках. До того как попасть в протоколы инквизиторов, эти видения составляют часть общенародного воображаемого, скажем иначе — часть жизни. Думаю, что можно квалифицировать как антропологическую константу эту связь между вожделенным воспарением и переживаемым лишением. Имен-

[1] Просто-напросто *(франц.)*.

но на этом антропологическом механизме работает литература.

Прежде всего — устная литература. В сказках перелет в другой мир — это ситуация, которая повторяется сплошь и рядом. Среди «функций», расклассифицированных Проппом в «Морфологии сказки», один из способов «перенесения героя» определяется так: «Обычно объект поисков находится в <«другом»>, <«ином»> царстве. Это царство может лежать или очень далеко по горизонтали, или очень высоко или глубоко по вертикали». Затем у Проппа приводится список различных примеров на случай «Полета героя по воздуху»: на коне, на птице, в образе птицы, на летучем корабле, на ковре-самолете, на спине великана или духа, в коляске черта.

По-моему, не будет слишком произвольным связать эту шаманski-заклинательную функцию, зарегистрированную в этнологии и в фольклоре, с собственно литературным воображаемым; напротив, я полагаю, что самые глубинные обоснования любого литературного факта следует искать в антропологических его корнях.

Мне хочется завершить эту мою лекцию отсылкой к одному рассказу Кафки, «Der Kübelreiter» («Всадник на ведре»). Это рассказ 1917 года, написанный от первого лица. Исходная ситуация — самая жизнеподобная, действие происходит в момент написания, то есть военной зимой 1917 года, самой тяжелой за все существование австрийской империи: не хватает угля. Повествователь отправляется с пустым ведром на поиски хотя бы каких-то крох угля, чтоб затопить печку. Он выходит из дому; ведро, поднырнув под него, подымает его на воздух, на высоту второго этажа, и так он движется, мерно колыхаясь, как будто на крупе верблюда.

Лавчонка угольщика — в полуподвале, всадник на ведре завис слишком высоко: он пытается докричаться до тех, кто в лавке, но жена угольщика не хочет его слушать. Он умоляет их насыпать ему хоть одну лопату, хоть самого бросового угля, и подождать с оплатой до завтра. Жена угольщика отвязывает передник и начинает гонять его по воздуху, как надоедливую муху. Ведро такое легкое, что отлетает вместе со своим всадником бог знает куда, куда-то за Ледовые Горы.

Многие из рассказов Кафки мистичны, но этот особенно. Может быть, Кафка просто хотел сказать, что выход из дому на поиски угля в промозглую военную ночь оборачивается походом (quete) странствующего рыцаря, путешествием каравана по пустыне, необъяснимым вознесением при мерном покачивании пустого ведра. Однако образ этого пустого ведра, возносящий нас выше той плоскости, где остались и милосердие, и эгоизм других людей, образ пустого ведра как символа неблагополучия, и воли, и поиска, образ ведра, подымающего нас в такие пределы, в которых наша бедная молитва уже не может быть услышана,— открывает дорогу бесконечной работе разума.

Я говорил о шамане и о герое волшебной сказки, о выстраданных лишениях, которые пресуществляются в необыкновенную легкость и позволяют возноситься в то царство, в котором желания исполняются сами собой. Я говорил о ведьмах, летавших на жалкой домашней утвари — возможно, что и на ведрах. Но герой этого рассказа Кафки ни шаманскими, ни ведьмаческими уменьями не обладает; да и царство по-за Ледовыми Горами вряд ли то самое, где пустые ведра становятся полными. К тому же если оно наполнится, летать станет невозможно. Точно так мы с вами, оседлавши наше ведро, вот-вот залетим в новое тысячелетие, не надеясь увидеть там ничего такого, чего сами не принесли с собой. Как, например,— легкость, которой я посвятил сегодняшнюю речь.

«ЛЮБОВНИК ЛЕДИ ЧАТТЕРЛИ» — РОМАН И ЕГО ТВОРЕЦ

ИГОРЬ КОН:

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СЕКСОЛОГИИ

«Иностранная литература» опубликовала набоковскую «Лолиту», «Улисса» Джеймса Джойса, «Тропик Рака» Генри Миллера и, наконец, «Любовник леди Чаттерли» Дэвида Герберта Лоуренса [1].

Эти произведения, как и их авторы, весьма различны, но роднит их то, что они освещают ранее запретные вопросы. Появление каждого в свое время сопровождалось скандалом, и все они внесли существенный вклад в понимание и художественное освоение человеческой сексуальности. Чем же интересен с этой точки зрения «Любовник леди Чаттерли»?

Книга очень долго считалась непристойной. Ее первое издание вышло, как известно, с большими цензурными купюрами, а тираж другого романа Лоуренса — «Радуга» — был полностью уничтожен по предписанию цензуры. Даже после того как «Любовник леди Чаттерли» был издан в США, английская цензура препятствовала его распространению вплоть до 1960 года, когда запрет пришлось снять по решению суда присяжных.

Что же смущало английских цензоров? В сущности, только одно — подробное и открытое описание телесной, физической стороны сексуальных отношений. Во французской литературе такие вещи делались давно и воспринимались спокойно, но в чопорной викторианской Англии они казались невозможными и практиковались, кстати сказать, очень широко, только в подпольных порнографических сочинениях,— благовоспитанные люди смаковали их наедине, никому не признаваясь в столь постыдных и низменных вкусах. Именно с таким пуританским, а по сути дела — ханжеским отношением к сексу и борется Лоуренс.

Объясняя философию своей книги, он писал: «Я всегда тружусь над одним и тем же, стараясь сделать сексуальные отношения из постыдных — достойными и прекрасными. В этом романе я продвинулся по этому пути дальше всего. Для меня это так же красиво, нежно и хрупко, как обнаженное Я».

Отвергая викторианское противопоставление души и тела, принижение телесности и чувственности, Лоуренс убеждает нас в том, что телесная сторона любви не менее прекрасна, возвышенна и естественна, чем духовная. Человек, который стыдится эротических переживаний и подавляет их, неизбежно будет несчастен сам и принесет несчастье другим. И искусство имеет полное право описывать не только психологию, но и физиологию любви.

Разумеется, после Фрейда, труды которого Лоуренс внимательно читал, это уже не было теоретическим откровением. Но одно дело — теория, другое — художественная практика. Художественная литература XIX века избегала описывать физиологическую сторону любви, считая ее низменным и опасным сюжетом. В самом деле, это очень трудно. Не могу вспомнить, кто именно, но какой-то очень известный писатель или критик писал, насколько литератору труднее художника: когда живописец изображает обнаженное тело, этому никто не удивляется, а попробуй я написать «она была голая» и перейти затем к подробностям,— что тут начнется?

Лингвисты подсчитали, что в основных европейских языках имеется приблизительно по шестисот слов для обозначения мужских и женских гениталий и свыше тысячи — для описания полового акта. Но по большей части эти слова считаются запретными или неприличными. Вербальные табу — не только культурологическая и эстетическая, но и психологическая, сексологическая проблема. Если слова, в которых человек описывает свои интимные от-

[1] Романы опубликованы соответственно: в «Библиотеке «Иностранной литературы», 1989; «ИЛ», 1989, № 1—12; «ИЛ», 1990, № 7—8; «ИЛ», 1990, № 9—11.

ношения, кажутся ему самому грязными, такая установка неизбежно переносится и на сами эти отношения, опошляя и грязня их. Ибо, как мудро заметил апостол Павел: «...нет ничего в себе самом нечистого; только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто» (Послание к Римлянам, 14, 14).

Научная или научно-популярная литература разрешает проблему с помощью специальных терминов или иностранных слов — они воспринимаются остраненно и не вызывают у читателя непосредственных чувственных ассоциаций. А как быть изящной словесности — ведь она без таких ассоциаций просто немыслима?

Не так давно мне довелось прочитать несколько «эротических» рассказов одного советского самодеятельного автора: он издает их за собственный счет и сам же продает по довольно высокой цене. Меня поразила его языковая глухота и бедность. Слово из трех букв, которое в просторечии обозначает мужской половой орган, кажется ему неприличным. Но у него есть для этого два обозначения: «мужской половой член» и «писька». Когда в качестве грозного орудия изнасилования фигурирует «писька» (ее автор за внушительные габариты почтительно именует в мужском роде «писом») — контраст между невинным «детским» словом и описываемыми с его помощью сугубо недетскими действиями становится гротескным и действительно непристойным.

В зависимости от эстетических вкусов и — немаловажный фактор! — личной сексуальной застенчивости читателя откровенные и детальные описания эротических переживаний и тем более самих сексуальных действий в романе Лоуренса (у Генри Миллера их еще больше и они гораздо грубее) могут нравиться или вызывать протест. Однако с точки зрения сексологии такая литература полезна, ибо помогает читателю преодолеть выработанную пуританским воспитанием немоту, увидеть как бы со стороны собственные сексуальные переживания и научиться их более адекватному выражению, что весьма важно для межличностной коммуникации, а еще больше для предотвращения и терапии возникающих на сексуальной почве многочисленных неврозов. Там, где нет эротической литературы, а народное эротическое искусство упрятано в спецхраны, люди вынуждены либо медикализировать свои сексуальные переживания, рассматривать их в контексте физиологии и охраны здоровья, либо воспринимать их в сниженном ключе. То и другое одинаково плохо и для здоровья, и для культуры, деформируя праздничко-игровые аспекты сексуальной жизни.

Художественная литература не только описывает многообразные формы человеческой эротики, разбивая существующие на сей счет упрощенные стереотипы, но и создает, творит, формирует новые поведенческие образы, нормы, ценности и мифы. Что же предлагает нам Лоуренс, какова его положительная эротическая программа и насколько она обоснованна и универсальна?

В борьбе с викторианским ханжеством писатель апеллирует к принципу «естественности», он хочет быть и кажется себе реалистом. Но если внимательно присмотреться к тому, что́ именно Лоуренс считает естественным, легко заметить «заданность» многих его конструкций. По справедливому замечанию Кейт Миллет, «Любовник леди Чаттерли» — это квазирелигиозный трактат, описывающий спасение одной современной женщины (остальные безнадежно потеряны) с помощью излюбленного автором «фаллического культа» [1].

«Естественная чувственность», которую Лоуренс полемически противопоставляет «механическому» миру разума, на самом деле столь же идеальна, как «счастливые дикари» и наивные дети философов XVIII века. Недаром воплощением и носителем истинно человеческой, свободной и раскованной чувственности выступает у него простой егерь, тогда как рафинированный интеллигент Клиффорд Чаттерли, у которого все расписано и разложено по полочкам, оказывается импотентом. Такая идеализация «простого человека», свойственная английской, да и не только английской, интеллигенции первой половины XX века, не случайна и распространяется не только на область сексуальных отношений.

Этот романтически-народнический культ на первый взгляд кажется убедительным. Кто не слышал, что в индустриальном и постиндустриальном обществе увеличивается число импотентов, чему способствуют и эмоциональные стрессы городской жизни, и интеллигентская тревожность, и рассудочно-функциональное отношение к сексуальности? Люди, живущие ближе к природе, и слыхом не слыхивали о тех сексуальных неврозах, с которыми сталкиваются современные сексологи. Об издержках цивилизации действительно можно говорить много. Однако, судя по историко-этнографическим данным, сексуальная жизнь «простых людей» далекого и близкого прошлого отличалась от жизни более образованных сословий главным образом большей грубостью и анималистичностью; особенно сильно это проявлялось в отношении к женщине. Никаких сведений о том, что мужчины были сексуально сильнее и счастливее, или что они давали большее удовлетворение своим женам, наука не имеет. Современная клиническая сексология и результаты массовых опросов также не позволяют утверждать, что рабочий человек или крестьянин сексуально — физиологически или психологически — превосходит интеллигента. Хотя интеллигент больше подвержен неврозам, менее образованные мужчины имеют свои проблемы: им труднее осознать и выразить в словах сложные психосексуальные переживания, они больше зависят от традиционных стереотипов маскулинности и фемининности. Что же касается женщин, то, судя по данным двух независимых друг от друга немецких исследований, более образованные, работающие и социально активные женщины не только не страдают сексуальной холодностью (классический стереотип «синего чулка»), но отличаются лучшей сексуальной реактивностью и получают большее удовлетворение от половой жизни, чем менее образованные.

---

[1] Kate Millet. Sexual Politics. N. Y., 1970, p. 238.

Поскольку сложная жизнедеятельность всегда способствует развитию рефлексии, более образованные люди чаще задают себе вопрос, нормальна ли их сексуальная жизнь, не обделены ли они природой или воспитанием. Они чаще обращаются к врачам и психоаналитикам и выглядят более сексуально озабоченными и ранимыми. Вместе с тем образование освобождает личность от многих табу, способствуя эмоциональной раскованности, а от нее больше всего зависит сексуальное благополучие.

Интересно, что, идеализируя «естественный», «натуральный» секс, Лоуренс весьма консервативен в его трактовке, особенно когда речь заходит о половых различиях и свойствах маскулинности и фемининности. Соотношение мужского и женского начал представляется ему естественным и непреложным. Правда, в отличие от Генри Миллера, у которого мужская сексуальность всегда выступает как грубая, агрессивная сила, женщина, сознательно или нет, должна и бессознательно хочет ей подчиняться,— Лоуренс рисует сексуальные отношения скорее партнерскими. Мужская сила у него облагорожена любовью к женщине, которая и сама проявляет инициативу. Тем не менее активным, лидирующим началом является мужчина,— вместе со своей героиней писатель откровенно любуется им. Подробно описывая и поэтизируя персонифицированный фаллос, который любовники ласково именуют «Джоном Томасом», Лоуренс не находит столь же ярких красок для описания женских гениталий, «леди Джейн».

В книге Лоуренса сексуальность описывается преимущественно и даже исключительно с женской, рецептивной точки зрения. Само по себе это вполне законно и плодотворно. Но модель взаимодействия активного мужчины и пассивной женщины вовсе не является столь универсальной, как кажется Лоуренсу. Реальное благополучие супружеской пары в постели и вне ее зависит не от того, следует ли она традиционным нормативам, а от того, насколько принятые сексуальные роли соответствуют индивидуальности каждого. Иными словами, надо равняться не на усредненный стереотипный образ мужчины или женщины, а на конкретные свойства реального сексуального партнера.

Вообще ориентироваться на художественные образы нужно с некоторой осторожностью. «Любовник леди Чаттерли» — классическое произведение гетеросексуальной литературы. Однако исследователи творчества Лоуренса убедительно доказывают, что в этом романе отчетливо проявляется не вполне сублимированное гомоэротическое воображение автора.

Биография Лоуренса может быть хрестоматийной иллюстрацией психоаналитической теории латентной гомосексуальности. Выросший в суровой шахтерской среде нежный и застенчивый мальчик с детства ненавидел своего отца и был чрезвычайно привязан к матери, которая жертвовала всем, чтобы дать сыну хорошее образование. В школе одноклассники издевались над ним, считая неженкой и маменькиным сынком. Его первая юношеская гетеросексуальная любовь закончилась ничем, по-видимому, из-за вмешательства матери Лоуренса, revновавшей сына к возлюбленной и боявшейся, что брак помешает его карьере. Энергичная и властная Фрида фон Рихтхофен, на которой Лоуренс женился по страстной любви, сделала его мужчиной. Однако отношения супругов были напряженными и не вполне удовлетворяли мужа.

Хотя Лоуренс много писал о любви к женщинам и о женской любви, его воображение было преимущественно гомоэротическим,— и это проявляется во всех его романах. Страстный поклонник Уолта Уитмена, он сочинил, но затем уничтожил специальный трактат об однополой любви. В письме Лоуренса Генри Сэвиджу (1913) читаем: «Я хотел бы знать, почему каждый мужчина, который приближается к величию, тяготеет к гомосексуальности, все равно — признает он это или нет, так что он любит мужское тело больше женского, как это делали греки — скульпторы и все прочие... Он всегда может получить удовлетворение от мужчины, но самая трудная вещь на свете — получить телесное и душевное удовлетворение от женщины, так, чтобы освободиться от собственного Я. И в то же время вся традиция и инстинкт мешают ему любить мужчин или мужчину»[1].

Собственная бисексуальность была для Лоуренса трагическим внутренним противоречием, которое он не мог разрешить ни в личной жизни, ни в творчестве. Он был не в силах ни принять свои гомоэротические влечения, ни подавить их. Всю жизнь Лоуренс страстно мечтал об интимной мужской дружбе, считая полное психологическое слияние с женщиной невозможным. Лоуренс писал об Уитмене: «Он нашел, как это находят все мужчины, что вы не можете действительно слиться с женщиной, хотя можете далеко продвинуться в этом. Вы не можете одолеть последний рубеж. Поэтому вы должны отказаться от этого и попробовать что-то другое, если вы непременно настаиваете на слиянии... Для тех, у кого эта потребность особенно сильна, кто любит беспредельно, женщина в конце концов становится недостаточной. Женщина неадекватна для последнего слияния. Поэтому следующий шаг — слияние в любви мужчины к мужчине. И это уже грань смерти. Это соскальзывание в смерть. Давид и Ионафан. И смерть Ионафана»[2].

В то же время открытые, явные гомосексуальные отношения, существовавшие, например, в кружке так называемых «Кембриджских апостолов», куда входили в начале века такие выдающиеся писатели и интеллектуалы, как Литтон Стрэчи, Джордж Мур, Джон Мейнард Кейнс и другие, смущали и отталкивали Лоуренса. В этом смысле он оставался человеком викторианской эпохи.

Отсюда — и характерное для него, хотя отнюдь не уникальное (достаточно вспомнить Марселя Пруста), «переодевание» однополой любви в гетеросексуальную и изображение гетеросексуальных отношений преимущественно с «женской» точки зрения. Между прочим, не только лоуренсовская идеализация «простого человека» имеет оп-

---

[1] D. H. Lawrence. Collected Letters. London, 1962, p. 251.

[2] D. H. Lawrence. Studies in Classic American Literature. London, 1924. p. 167—168.

ределенную гомоэротическую подоплеку. Увлекаясь молодыми рабочими парнями или матросами, рафинированные интеллигенты начала XX века наделяли их не только телесной, но и особой духовной красотой, усматривая в сексуальной близости с ними преодоление социальных границ и своего рода искупление социального неравенства. Это хорошо показано в романе Э. Т. Форстера «Морис». Все это, конечно, чистейшая иллюзия.

Серьезная эротическая литература, к которой относится «Любовник леди Чаттерли»,— не сумма пикантных сцен. Она рассчитана на внимательное, вдумчивое чтение. Чтобы понять ее текст и подтекст, нужно знать особенности эпохи, когда было создано произведение, и биографию автора. Мой краткий комментарий не ставит такой задачи. Но если наш читатель осилил «Улисса», с Лоуренсом он подавно справится.

НИКОЛАЙ ПАЛЬЦЕВ:

ПО ТУ СТОРОНУ СЕКСОЛОГИИ

> В столь горькое время выпало нам жить, что мы тщимся горечь эту не замечать. Приходит беда, рушит нашу жизнь, а мы сразу же прямо на руинах наново торим тропки к надежде. Тяжкий это труд. Впереди — рытвины да преграды. Мы их либо обходим, либо, с грехом пополам, берем приступом. Но какие бы невзгоды ни обрушивались, жизнь идет своим чередом.
>
> *Д. Г. Лоуренс. Любовник леди Чаттерли*

Этот короткий и поразительно емкий пассаж открывает недавно прочитанную книгу. Остановимся и зададимся вопросом: а не о нас ли это?

Дотошные специалисты-лоуренсоведы, расходясь во многом, почти единодушно сходились в признании «пророческой мощи» дарования автора «Любовника леди Чаттерли». В любом *итоговом* произведении большого писателя (а применительно к последнему роману Дэвида Герберта Лоуренса это обстоятельство неоспоримо) всегда налицо элемент общечеловеческий. Элемент откровения, оплаченного собственной, непросто складывающейся судьбой и потому никогда не устаревающего.

Есть у такого рода произведений примечательное свойство: волею судеб — иначе не назовешь — они «приходят» к нам именно тогда, когда мы особенно в них нуждаемся. Последнее, думается, в полной мере справедливо и по отношению к лоуренсовскому роману, с которым мы знакомимся, по существу, впервые. Стоит, однако, сказать, что новое для сегодняшнего поколения отечественных любителей зарубежной литературы имя этого автора фигурировало в «обоймах» читательского интереса любознательной нашей аудитории еще при его жизни — в 20-е годы. Тогда-то у нас были изданы и четыре из десяти его романов[1]. Подчас далеко не бесспорные по качеству, эти переводы все же доносили до читателей тех лет страстную непримиренность английского прозаика, преданного остракизму в собственной стране. А немногим из них — буквально единицам — мог попасть в руки и выпущенный издательством русских эмигрантов в Берлине перевод (к сожалению, в еще большей мере уступавший оригиналу) «Любовника леди Чаттерли».

Позднее, однако, наступила затянувшаяся почти на полстолетия — и прерывавшаяся спорадическими публикациями переводов стихов Лоуренса в различных антологиях европейской поэзии XX века — пауза. И лишь в год, когда в Англии и во всем зарубежном мире как событие общекультурного значения отмечалось столетие со дня его рождения, в СССР вышла небольшая книжечка его рассказов[2]. У нас же необходимость открытия лоуренсовского творчества все более воспринималась как одна из насущных культурных задач. В решении ее значимую роль сыграла «Иностранная литература», на протяжении последних лет не раз обращавшаяся к наследию писателя. На страницах журнала впервые увидели свет перевод поздней повести Д. Г. Лоуренса «Дева и цыган»[3], две подборки стихотворений[4], отмеченное полемической резкостью эссе «Порнография и непристойности»[5]. Наконец, читателю довелось познакомиться с самым сложным и, быть может, самым вдохновенным из творений писателя в «большом» жанре — романом «Любовник леди Чаттерли», на протяжении десятилетий навлекавшим на автора нападки британских радетелей «общественной благопристойности».

> Итак, я совершенно категорически отрицаю, что я — это душа, или ум, или интеллект, или мозг, или нервная система, или связка желез, или любая другая из частей моего существа. Целое больше, чем часть. И потому мое живое «я» необъятнее, нежели моя душа, мой дух, мое тело, мой ум, мое сознание или что бы то ни было, что составляет всего лишь одну из частей моей личности. Я — человек, и я — жив. Я — живой человек и намерен оставаться живым человеком, пока смогу.
>
> По этой причине я — романист. И, будучи романистом, я чувствую свое превосходство над святым, ученым, философом и поэтом, каждый из которых в совершенстве изучил одну из сторон живого человека, но не способен объять его целиком.
>
> *Д. Г. Лоуренс. Почему важен роман*

Прозаик и поэт, эссеист и драматург, исследователь культуры и создатель оригинального мироучения, получившего широкую известность в кругах нонконформист-

---

[1] Д. Г. Лоуренс. Джек в дебрях Австралии. Перев. Н. Мартыновой. Л., б. г. Д. Г. Лоуренс. Семья Брэнгуэнов. (Радуга). Перев. Н. Мининой. М., 1925. Д. Г. Лоуренс. Урсула Брэнгуэн. (Радуга). Перев. Н. Мининой. М., 1925. Д. Г. Лоуренс. Сыновья и любовники. Перев. Н. Чуковского. Л., 1927.

[2] Д. Г. Лоуренс. Дочь лошадника. Рассказы. М., 1985 (Библиотека журнала «Иностранная литература»).

[3] «ИЛ». 1986. № 3. Перев. И. Багрова.

[4] Там же, 1986, № 3. Перев. С. Сухарева; 1990, № 1. Перев. А. Грибанова.

[5] Там же, 1989, № 5. Перев. Ю. Комова.

ской западноевропейской интеллигенции в 20-е годы, литератор и профессиональный живописец — все это грани разносторонней и в то же время отмеченной редкостной целостностью творческой индивидуальности Дэвида Герберта Лоуренса. Споры о нем, начавшись при его жизни, не обнаруживают тенденции затихнуть и сегодня, спустя шестьдесят лет после его смерти.

Стороннему наблюдателю его жизненный и творческий путь предстает нескончаемой цепочкой странностей и парадоксов,— лишь пристальному аналитическому взгляду удастся со временем и не без труда обнаружить в ней последовательность и закономерность.

Четвертый ребенок в многодетной семье шахтера, он родился в 1885 году в Иствуде — небольшом городке близ промышленного Ноттингема. Здесь, в сердце Средней Англии, до начала XX столетия сохранявшей черты сельского уклада, сложилось у него обостренно чуткое отношение к миру природы, в потаенные ритмы которого насильственно и грубо вторгался индустриализм. Любимец матери (до замужества она была учительницей), Дэвид перенял от нее бережное отношение к духовным ценностям прошлого и настоящего. Натура волевая, Лидия Лоуренс задалась целью добиться, чтобы младший из ее сыновей избрал для себя менее опасное и более «престижное» в глазах окружающих поприще — пастора или учителя. От отца, человека простого и трудолюбивого, отличавшегося широтой натуры, привязанного к собратьям по классу, мальчик воспринял любовь к жизни во всем богатстве ее изменчивых красок.

Порой явный, порой молчаливый конфликт между родителями наложил отпечаток на отроческие годы Лоуренса; рано открывшийся туберкулез, в шестнадцать лет поставивший его на грань жизни и смерти, и длительная дружба с фермерской семьей Чемберсов станут важными вехами в формировании индивидуальности будущего писателя.

Общению с Джесси Чемберс (ее он впоследствии обессмертит в образе Мириам Лейверс — героини романа «Сыновья и любовники»), девушкой образованной, Дэвид во многом обязан дальнейшим становлением своих читательских пристрастий и эстетических вкусов. Неизгладимое впечатление на юного Лоуренса производят книги Тургенева, Льва Толстого (об «Анне Карениной» он не раз отзовется как о «величайшем в мире романе»), Достоевского, чьи «Братья Карамазовы» и «Идиот» на протяжении жизни будут властно привлекать и одновременно чем-то отталкивать писателя. Несколько позже он прочтет Чехова, Горького, а в последнее десятилетие жизни, добавим в скобках, выступит и в несколько необычной для него роли переводчика — с подстрочника — бунинского «Господина из Сан-Франциско»...

Несколько лет юноша посвятил учительскому поприщу. Это обогатило его житейским, но отнюдь не творческим опытом. А между тем он уже одержим всепоглощающей страстью: писать. Вечерами, в краткие часы отдыха, пренебрегая и без того не слишком крепким здоровьем (вскоре родные опять будут опасаться за его жизнь), двадцатилетний Дэвид работает над романом — он будет закончен спустя четыре года. Жажда самовыражения в молодом человеке бьет ключом: не откладывая в сторону «Белого павлина» (так называется роман), он пробует силы в стихах и рассказах. Последние становятся первыми произведениями Лоуренса, увидевшими свет. Затем был принят к печати и «Белый павлин».

В декабре 1910 года Дэвид Герберт вложил в руки умиравшей миссис Лоуренс сигнальный экземпляр первой своей книги. Выбор профессии состоялся.

Последующие двадцать лет творческой биографии Лоуренса являют редкий пример интенсивности художнических исканий: еще девять романов, столько же стихотворных книг, десять пьес, шесть сборников рассказов, вместивших более полусотни произведений, несколько повестей, три книги путевых впечатлений, множество эссе, журнальных рецензий, газетных откликов, мемуарно-автобиографических заметок; собранные друзьями и единомышленниками Лоуренса, они составили два обширных тома: «Феникс» (1936) и «Феникс-2» (1968).

На время обосновавшись в Лондоне (неуемная жажда впечатлений, стремление на все посмотреть своими глазами, все лично ощутить и прочувствовать вечно толкают его в путь), Лоуренс становится «своим», но не слишком заметным человеком в творческих кругах британской столицы. Знакомство с пишущим «сословием» — Дж. Г. Уэллсом, Дж. Б. Шоу, У. Б. Йейтсом, Б. Расселом и некоторыми другими — отнюдь не создало для него условий наибольшего благоприятствования, профессионального или материального. И причиной тому было не столько «пролетарское» происхождение молодого литератора (иным из его знакомых, напротив, импонировало общение с сыном горняка), сколько самостоятельность, а подчас и демонстративная резкость его суждений о жизни, об искусстве, да и сама природа лоуренсовского дарования.

Встретив со сдержанным одобрением «Белого павлина» и храня многозначительное молчание по поводу второго романа Лоуренса, «Нарушитель» (1912), тогдашняя критика, в противоположность десяткам будущих исследователей, не усмотрела признаков художественного новаторства в «Сыновьях и любовниках» (1913) — волнующем повествовании о двух поколениях горняцкой семьи, в значительной мере основанном на автобиографическом материале. Соотечественников скорее настораживала, нежели воодушевляла, и степень психологизма в произведениях писателя, и своеобразие синтаксиса и лексики, нередко (особенно в диалогических моментах) восходившей к устным, бытовавшим в реальной, подчас простонародной, среде, разговорным нормам. Ревнителям «хорошего» литературного вкуса, как можно догадываться, претили и сами персонажи молодого прозаика — вышедшие из ада каменноугольных шахт. Но больше всего подозрений в идейной и моральной «неблагонадежности» вызвало его упорное неприятие царивших в британской провинции социальных порядков и пуританских этических установлений, в

противовес которым Лоуренс едва ли не с избыточной яркостью красок и щедростью детализации живописал своих героев и героинь.

Любовь в стихах и прозе Лоуренса и впрямь имела мало общего с благопристойными, пестревшими фигурами умолчания зарисовками писателей и писательниц викторианской поры: далекая от идиллично-сти, она представала в существовании его персонажей чаще всего как трагедия, как арена ожесточенного внутреннего противоборства мужчины и женщины, выявляя затаенное до поры богатство сознательных, а чаще полусознательных или бессознательных побуждений, стимулов, импульсов. В ней, по мысли писателя, с силой вулканического извержения проявила себя глубинная «часть айсберга человеческой личности».

Так происходило, например, в «Радуге» (1915) — самой необычной на фоне богатой традициями этого жанра английской литературы семейной саге, воссоздававшей историю трех поколений фермерского рода Брэнгуэнов на протяжении шестидесяти ключевых для Британии лет: с 1840-х по первые годы XX столетия. Типично лоуренсовская полифония природного и духовного, психофизиологического и исторического воплотилась в новаторской образно-композиционной структуре повествования. Заметим попутно: она не нашла адекватного развития в английской прозе и лишь в позднейшие десятилетия «отозвалась» в опыте художественной литературы совсем другого культурно-этнического региона — романах латиноамериканских представителей «магического реализма», в частности Габриэля Гарсиа Маркеса.

Повинуясь неосознанным, не находящим эквивалентов в рациональном опыте побуждениям, персонажи «Радуги» порою проживают целые жизни в ритме рождений-свадеб-рождений детей-смертей-новых деторождений, не слишком тяготясь своей «до-адамовой» изолированностью от внешнего мира. Гораздо существеннее для них сокровенный «зов крови», когда-то побудивший молодого фермера Тома Брэнгуэна взять в жены невесть откуда появившуюся чужестранку — польку, вдову политэмигранта Лидию Ленскую с маленькой дочерью на руках. Вполне доверяясь мистическому этому голосу, они как бы на ощупь движутся друг к другу, не без труда отыскивая некий общий, замыкающийся в сфере эротического, знаменатель совместного бытия.

Равновесие, однако, нарушается. И в ожесточенной борьбе темпераментов, в какую вырождается семейная жизнь следующего поколения: дочери Лидии, Анны, и ее кузена Уилла Брэнгуэна — противоречиво откликаются, являясь аналогом враждебного фатума, антагонизмы вступившей в стадию урбанизации Средней Англии. Эти антагонизмы достигают апогея по мере взросления дочерей — Гудрун и Урсулы. «Второе я» романиста, Урсула становится учительницей, влюбляется и — убеждается в духовной несостоятельности избранника. Для полноценной самореализации лоуренсовского индивидуума экология духа — условие столь же неотъемлемое, сколь и воссоздаваемая писателем с беспрецедентной детальностью экология плоти.

Сам по себе эротический пласт повествования в «Радуге» (особенно удался автору безудержный, отдающий языческой мистериальностью танец обнаженной Урсулы в лесу после ночи с возлюбленным — явный прообраз аналогичной сцены в «Любовнике леди Чаттерли»), наверное, не послужил бы поводом для ожесточенной атаки на Лоуренса оракулов официозного общественного мнения. Но, думается, все тоталитарные и псевдодемократические режимы сходны в нежелании называть черное черным, а белое белым. Устами героини «Радуги» Лоуренс заклеймил войну и милитаризм как наихудшие из антигуманных проявлений буржуазного миропорядка.

Драматическую участь книги, ставшей итогом многолетних раздумий прозаика над судьбами своей страны, предрешило начало первой мировой войны. Издатель и автор «Радуги» были привлечены к суду по обвинению в «оскорблении общественной нравственности». Судебным вердиктом книга была приговорена к изъятию из продажи и сожжению.

> Ибо секс, для меня, означает всю полноту отношений между мужчиной и женщиной. Но это отношение намного шире, чем нам известно. Нам известны лишь несколько грубых форм: любовница, жена, мать, любимая. Женщина — как идол или марионетка, всегда вынужденная играть ту или иную роль: любимой, любовницы, жены, матери. Если бы мы только могли разделаться с этой неподвижностью и осознать неуловимое свойство подлинной женщины! Осознать, что женщина — струя, река жизни, совершенно отличная от реки жизни мужчины; и что каждой реке дано течь в своем направлении, не меняя границ; и что отношение мужчины к женщине — это течение двух рек одна вдоль другой; временами они почти сливаются, а затем вновь расходятся и текут дальше. Это и есть секс.
>
> *Д. Г. Лоуренс. Мы нужны друг другу*

Первая мировая война обозначила решительный перелом в биографии Лоуренса. Невзирая на хронический недуг его вновь и вновь вызывают для переосвидетельствования на предмет годности к военной службе. Угнетаемый тревогой за жену — немку по национальности, чьи дети от первого брака остались в Германии,— он приходит к мысли об эмиграции как единственном выходе из положения. Однако официальная Британия и здесь сводит счеты с неортодоксально настроенным писателем, то косвенно обвиняя его в попытке шпионажа (Корнуэлл, где в эти годы живут Лоуренсы, объявлен «стратегической зоной»), то попросту игнорируя отчаянные запросы о выездной визе. От призыва на фронт его спасает случайность: война успевает окончиться до момента мобилизации. В ноябре 1919 года Лоуренс покидает родину...

Везде, где живет Лоуренс в 20-е годы — в Италии, Германии, США, Мексике, даже в Австралии и на Цейлоне,— он много и подчас торопливо пишет. Основная тема неизменна: попытки самореализации человека в сфере частного бытия — наиболее органичной и благоприятной для воплощения заложенных в нем начал; кристаллизуется концепция «естественного человека», не скованного узами сословных или

имущественных ограничений, ведущего свободное, дистанцированное от традиционных центров общественного бытия существование.

Ядром индивидуальности такого человека становится секс, который мыслится Лоуренсом не только как метафизическое пространство, населенное несчетным множеством безымянных богов — воплощений древнего Пана,— но и как последняя из сфер автономии индивидуальности. Объективно близкая фрейдовской концепции личности лоуренсовская концепция «естественного человека» в ее социальных следствиях и выводах, однако, не вполне тождественна каноническому психоанализу.

Усматривая в подавлении инстинктивных сторон эмоциональной жизни человека неискупимую вину общественной организации перед индивидуумом, перед его бессознательным, Лоуренс всегда с подчеркнутым недоверием относился к рациональным формам познания, дающим заведомо неполное представление о физической и духовной реальности, и сохранил приверженность принципу интуитивизма, утверждая примат искусства как универсального источника «познаний о правде повседневности».

Окончательно сложившись в ходе работы над «Радугой» и ее продолжением — романом «Влюбленные женщины» (1920), эта философская программа в первые послевоенные годы обретает многочисленных приверженцев. Ими становятся прежде всего молодые ветераны и очевидцы мировой войны, вышедшие из окопов и бомбоубежищ прифронтовых городов с рубцами на теле и незаживающими ранами в душе. Для мыслящей части европейской интеллигенции катастрофа всемирной нерассуждающей бойни означала не только неизмеримые личностные потери; скомпрометированные идеалы общественной морали, государственности, религии в травмированном сознании этих людей оказались замещены идеалами асоциального существования — существования вне или по крайней мере на значительной дистанции от общества.

Наряду с немцами, французами, австрийцами, американцами в этом литературном поколении (с легкой руки Гертруды Стайн оно прославится под именем «потерянного») есть и несколько англичан: Ричард Олдингтон, Олдос Хаксли, Роберт Грейвз. Двух первых в «десятилетие чарльстона и джаза» свяжут с Лоуренсом общность мировоззренческих и эстетических установок и личная симпатия. Оба, на долгие годы пережив старшего друга, напишут о нем прочувствованные воспоминания [6].

Между тем сам он вновь и вновь пытается отыскать решение проблемы места интеллигента-нонконформиста на перепутьях смутной реальности послевоенных лет. Временами соблазн революционного действия становился для художника слишком сильным. Ричард Олдингтон в упомянутых мемуарах приводит такое высказывание Лоуренса: «Если бы я знал как, я бы примкнул сейчас к революционным социалистам... Мне нет дела до политики. Но я знаю, что очень скоро должна произойти и произойдет беспощадная революция и я приму в ней участие, если буду знать, как это сделать».

Это заявление, впрочем, осталось единичной декларацией писателя. Опыт большевистского руководства Страной Советов не вызвал у него ни одобрения, ни доверия (достаточно вспомнить язвительные замечания о практике большевизма в четвертой главе романа, с которым имели возможность познакомиться читатели «Иностранной литературы»). И хотя многие из положительных героев Лоуренса тех лет активно участвуют в профсоюзном движении, эта сторона их существования как бы выносится за скобки повествования. В центре же — по-прежнему сильно и поэтично написанные «сцены частной жизни».

Быть может, в силу отмеченного противоречия ни один из романов первой половины 20-х годов не стал свершением, какое можно было бы поставить в один ряд с «Сыновьями и любовниками» и «Радугой», за исключением, пожалуй, «Влюбленных женщин», книги, где Лоуренс продолжил рассказ о судьбах молодых героинь «Радуги» — сестер Урсулы и Гудрун Брэнгуэн.

Художник с зорким взглядом реалиста и сердцем романтика, Лоуренс с обостренной восприимчивостью улавливает происходящие в недрах общества и в душах героев глубинные сейсмические сдвиги. Если двум носителям типичного лоуренсовского мироощущения — Урсуле и ее возлюбленному Биркину — удается прийти в своих отношениях к некоторой гармонии, то в жизни эмансипированной Гудрун и ее избранника, отмеченного Каиновым клеймом «механической цивилизации» богатого шахтовладельца Джеральда Крича, такая гармония попросту немыслима. Подобно поединку Брунгильды и Зигфрида, их любовь — нескончаемое экзистенциальное противоборство, восторжествовать в котором можно, лишь подавляя волю другого. Предел такому противоборству способна положить только гибель одного из участников: недаром в финале романа Джеральд замерзает в альпийских снегах. А вся поэтико-символическая архитектоника романа приводит на память шедевры музыкальной эпики Рихарда Вагнера и философско-метафизическую «поэзию» Фридриха Ницше.

Темы женской эмансипации, трудных судеб молодого поколения англичан пронизывают и новеллистику Лоуренса 20-х годов. Подчас на малом пространстве рассказа он достигает большей выразительности, рельефности характера, определенности рисунка, чем в романах. И все чаще лейтмотивом его новелл становится «пробуждение» женщины, ее первое приобщение к искреннему любовному чувству. Так в рассказах «Солнце» (1926), «Принцесса» (1925), «Исчезнувшая женщина» (1928), повести «Дева и цыган» (1925) реализуются подходы к главному произведению писателя этого периода — «Любовнику леди Чаттерли», которому суждено будет стать романом-завещанием.

По многу раз Лоуренс будет отвергать и перерабатывать написанное. Завершив всего за два месяца в конце 1926 года во Флоренции первую версию романа, в декабре

---

[6] Фрагменты мемуарного очерка Р. Олдингтона «Дэвид Герберт Лоуренс» см. в книге: Д. Г. Лоуренс. Дочь лошадника. Рассказы. М., 1985, с. 241—254.

он приступит к созданию новой. Но, не удовлетворившись и ею (она будет готова в феврале 1927 года), вернется к любимому детищу на рубеже следующего. Третий вариант, вполне отвечая авторским ожиданиям, пойдет вразрез с намерениями английского и американского издателей, которые потребуют смягчения наиболее смелых описаний и изъятия отдельных, не слишком привычных для респектабельного уха слов. В конце концов они вообще предпочтут расстаться с перспективой публикации столь «сомнительной» книги. Издать небольшим тиражом полный текст романа решится его флорентийский друг Джузеппе Ориоли. И романист, несмотря на все учащающиеся обострения туберкулеза, захочет принять личное участие в наборе. В июле 1928 года тираж будет готов; а уже в середине 1929-го Лоуренс получит известие, что решением судебных властей экземпляры его нового романа конфискуются у подписчиков в Англии и в США.

Одновременно на художника обрушивается еще один тяжелый удар. Приходит весть, что персональную выставку его картин в Лондоне закрыла городская полиция, заодно конфисковавшая тринадцать лоуренсовских полотен, которые никому не суждено будет больше увидеть. С романом обстояло иначе. Спустя три года при участии Фриды Лоуренс было подготовлено и выпущено в свет так называемое «авторизованное» — сокращенное приблизительно на одну пятую текста — издание «Любовника леди Чаттерли». Чтобы представить себе, сколь велик был интерес англоязычной публики к своему «сомнительному» кумиру и последней большой его книге, достаточно сказать, что это неполное издание до 1960 года было перепечатано на родине автора более тридцати раз. А в упомянутом 1960 году издательство «Пенгвин букс» рискнуло выпустить полный текст многострадального «издания Ориоли». Это послужило поводом к новому судебному разбирательству. Но на Британских островах уже повеяло ветрами либеральных перемен. Жюри присяжных в составе девяти мужчин и трех женщин вынесло вердикт в пользу издателей. С тех пор текст «издания Ориоли» печатается с посвящением двенадцати присяжным...

Добавим, что в начале 70-х годов, на волне общемирового интереса к Дэвиду Герберту Лоуренсу и его наследию, получили массовое распространение два предыдущих варианта романа — как оказалось, вполне самостоятельные и представляющие незаурядную художественную ценность: один — под названием «Первая леди Чаттерли»; другой — «Джон Томас и леди Джейн». А кто-то из литературоведов в канун столетия со дня рождения Лоуренса подсчитал, что о нем и его творчестве написано и опубликовано на десятках языков более двух тысяч книг, брошюр, статей, рецензий, мемуаров...

Но обо всем этом не пришлось узнать писателю. Он еще успел подарить будущим поколениям читателей шестьдесят семь стихотворений — цикл «Последние стихи». Обреченный на строгий постельный режим, Лоуренс еще нашел в себе силы в январе 1930 года написать предисловие к английскому переводу «Легенды о Великом Инквизиторе» Достоевского. 2 марта 1930 года Дэвид Герберт Лоуренс скончался.

Он был похоронен на местном кладбище в маленьком городке Вансе, что на юге Франции. А пять лет спустя, по настоянию вдовы, прах писателя был перевезен через Атлантику, где захоронен в специально отстроенной мемориальной часовне в Таосе, штат Нью-Мексико, США. На его надгробии изображена мифическая птица Феникс: таким же знаком — Лоуренс считал его своим «авторским» — принято украшать канонические издания его произведений.

> Я могу писать только о том, что меня глубоко волнует: а это, в настоящее время — отношения между мужчиной и женщиной. В конце концов, в этом — установлении новых или переустройстве старых отношений между мужчиной и женщиной — и состоит главная проблема сегодняшнего дня.
> *Д. Г. Лоуренс. Из письма Эдварду Гарнету*

«— А ты правда считаешь, что это очень важно — мужчина и женщина?

— Да, для меня очень. Для меня в этом смысл жизни. В любви к женщине, в естественных с ней отношениях».

Первое — декларация автора.

Второе — декларация литературного героя.

Как видим, они совпадают почти текстуально.

Сам по себе этот факт не столь примечателен: практически в каждом романе зрелого Лоуренса есть персонаж, «представительствующий» от имени автора. Более существенно, что в «Любовнике леди Чаттерли» точку зрения романиста воплощает не именитый аристократ, не рафинированный интеллигент, а человек, стоящий на нижней ступени общественной иерархии, не стыдящийся собственный простонародный выговор превращать в орудие социальной защиты.

Дело, видимо, в том, что в чисто человеческом плане егерь сэра Клиффорда Чаттерли Оливер Меллорс — единственный состоятельный представитель мужского пола в романе. И речь не о его внешних достоинствах (хотя герой, безусловно, обаятелен), но о том, что в глазах Лоуренса обретает ценность поистине непреходящую: о духовном масштабе личности, о внутренней целостности натуры, которая и оказывается источником таинственного, но оттого — еще более ощутимого притяжения для окружающих.

Своеобразный ореол романтической недосказанности сопутствует этому герою: читатель, как и Конни, немногое узнает о прошлом человека из низов, изверившегося в иллюзиях сделать блестящую карьеру и отдающего сознательное предпочтение внешне невыигрышному, но не слишком обременительному месту скромного служащего в родовой усадьбе Чаттерли.

«Естественный человек» в мире неудержимо ветшающих сословных установлений и ярко расцвеченных «демократических» псевдоценностей, Меллор превыше всего дорожит суверенностью собственного «я». И уже по этой причине на фоне лебезящих приживалов, откровенных лакеев и напыщенных снобов кажется Гулливером, нена-

роком оказавшимся в стране лилипутов.

Умная и обаятельная Конни Чаттерли, урожденная Рид,— тоже дитя изломанного своего века. Она — не столь готовое воплощение лоуренсовской «естественной женщины», сколь существо, *подающее надежды со временем стать таковой.* За ее хрупкими плечами немало потерь и разочарований, но ее индивидуальный опыт несравним с солидным жизненным опытом Меллорса. И для Лоуренса чрезвычайно важно преломить в призме ее восприятия — восприятия молодой англичанки из «среднего класса» — все, в книге происходящее.

Страстность и утонченность натуры не противоречат в ней природной принципиальности, интеллигентность и художественный вкус — трезвости взгляда на окружающее и решительности в поступках, буржуазное воспитание — естественному уважению к человеческому достоинству. В своем положении молодой хозяйки аристократической усадьбы она подмечает многое, и то, что она видит, отнюдь не преисполняет ее розовым оптимизмом.

Довольно скоро она убеждается, что ее необратимо изувеченный войной, наделенный недюжинным умом муж унаследовал вполне феодальный взгляд на работников своего «современно организованного» предприятия. Ей предоставляется тысяча и один повод увидеть, сколь слабодушен и эгоистичен в каждодневном поведении и бытовых мелочах этот титулованный представитель «правящего класса», любящий порассуждать об ответственности «хозяев». Видит Конни и то, сколь порабощены отчаянной погоней за госпожой Удачей даже самые обласканные славой литераторы, художники, ученые. За их блестящими словесными фейерверками она угадывает устрашающую неспособность к поступкам. Когда же Конни попадает в иную — не столь респектабельную и соответственно не столь зараженную предрассудками — среду, у нее не рождается и тени подозрения, что «люди попроще», с их провинциальным выговором, говорят одно, а думают другое.

Нравственное превосходство людей из низов над выходцами из высшего сословия очевидно; но очевидно и другое: «все сословия слились, объединились в «погоне за деньгами». Здесь устами героини говорит, конечно же, сам прозаик. Авторская интонация явственно прорывается и в размышлениях Конни о судьбах безжалостно сметаемой с лица земли старой, сельской, не лишенной оттенка патриархальной простоты и теплоты Англии, где некогда «охотился сам Робин Гуд». Но, увы, автор и героиня в равной мере бессильны найти ответ на терзающий обоих вопрос: «Англия, моя Англия! Но которая же моя?»

Роман-завещание, «Любовник леди Чаттерли» стал последним словом категорического неприятия Лоуренсом провозглашаемого британским «истеблишментом» официального имиджа: агонизирующая государственность, исчерпавшая себя общественная мораль, вступившая в сумеречную зону культура, которую символизирует предстающая глазам Конни Венеция: «...Розовый мираж над водой. Воздвигнутый по воле денег, процветающий по воле денег и мертвый. Деньги, деньги, деньги! Проституция и омертвление души и тела». Внутренняя немощь, скрываемая жестким каркасом бесчеловечной кастовой регламентации; выхолащивание исконно гуманистических понятий — таких, как честность, порядочность, достоинство; самодовлеющая игра формальных экспериментов, за которыми нет сколь-нибудь значимого духовного содержания,— по всем этим пунктам Констанция Чаттерли, а в ее лице романист Дэвид Герберт Лоуренс выносит обвинительный приговор власть имущим: их претензии на лидерство в Англии завтрашнего дня несостоятельны.

Конни и Меллорсу остается надеяться лишь на себя самих. Да на те хрупкие побеги духовности, красоты и любви, какие, возможно, взойдут в душе их ребенка, которому предстоит родиться. Большее в рамках частного бытия, рая для двоих, представляющего единственное противоядие тотальной энтропии, вряд ли достижимо. Тем больше красок щедрого своего таланта отдает романист его изображению. Непривычная детализация любовной жизни главных героев, их (и авторское) стремление назвать все вещи своими именами, в свое время так напугавшее благонамеренных британских филистеров, думается, способны смутить и какую-то — впрочем, едва ли многочисленную — часть нашей читательской аудитории. Но хочется призвать таких читателей к одному: внимательно вглядеться в написанное, прежде чем однозначно осудить писателя. Уверен: тот, кто не позволит отвлечь себя отдельными моментами образно-стилевого эпатажа, откроет главное в замысле этого произведения — идеал цельного и прекрасного человека, неизмеримо трудно обретаемое в условиях отчуждения равновесие между физическим и духовным, внутренним и внешним, интеллектуальным и эротическим.

Было бы неосмотрительно игнорировать объективные трудности, какие могут возникнуть даже перед сравнительно подготовленным отечественным читателем. Не говоря уже о предубежденности (а это, если можно так выразиться, одна из «традиционных» болезней нашей аудитории), здесь может сыграть роль незнание контекста, неусвоенность той или иной из культурных традиций.

Между тем эпатировавший косное общественное мнение соотечественников Дэвид Герберт Лоуренс стремился прежде всего покончить с пуританским табу на изображение эмоциональной жизни в искусстве и в этом, при всей отваге первооткрывателя и экспериментатора, был не так уж оригинален. По сути дела, он не столь «открывал», сколь возвращал аудитории вытесненную в культурное подполье долгим веком викторианства энергию чувственного самовыражения, ставшую полноправным достоянием английского искусства еще со времен Чосера и Шекспира.

Немаловажно и то, что перед Лоуренсом стояли трудности, не свойственные его собратьям по перу из других европейских стран. Ко времени выхода в свет первых его произведений значимыми традициями изображения эротического располагали французская, немецкая, итальянская, скандинавские литературы. Французская, более

других знакомая русскоязычному читателю, на рубеже веков в целом склонялась к натуралистической интерпретации природы человека и условий его существования. Нетрудно заметить, что неоязыческое торжество раскрепощенной плоти в произведениях Лоуренса — принципиально иного свойства; это попытка вернуть литературным героям ренессансную целостность жизнеощущения в условиях, для подобного жизнеощущения как нельзя менее благоприятных.

В истории человеческой культуры от века неразделимы такие понятия, как художественное новаторство и традиция. Дерзкий одиночка, осмелившийся покуситься на святая святых викторианской морали, Лоуренс оказался в середине столетия зачислен в «отцы» новой культурно-идеологической традиции — традиции «сексуальной революции» в искусстве. В 60—70-е годы и в Англии, и особенно в США у него появляется множество продолжателей, на свой лад трактующих тему «эротического освобождения» индивидуума в условиях цивилизации потребления. Надо сказать, что в числе писателей, признавших своего рода «ученичество» у Лоуренса, оказались Генри Миллер и Норман Мейлер, Джон Апдайк и Джойс Кэрол Оутс. А на родине этого «нетипичного» англичанина — Алан Силлитоу и Дэвид Стори.

В силу разных причин в поле внимания наших критиков, переводчиков, издателей чаще всего попадали английские авторы строго реалистической ориентации. Совсем недавно узнали мы блестящих представителей экспериментального крыла: Вирджинию Вулф, Джеймса Джойса, Сэмюэла Беккета (двое последних — ирландцы, но в канонических историях английской литературы XX столетия их творческий вклад включен в британский национальный актив). Ныне этот перечень пополнился именем еще одного большого и самобытного автора.

Лоуренс нередко прибегал в своей прозе к образно-метафорическим приемам, более характерным для поэзии. И это, естественно, создало определенные трудности для тех, кто отважно взял на себя задачу ее русскоязычного осмысления. Если добавить к этому почти полное отсутствие прецедентов детального (и неэвфемистичного) воспроизведения интимного бытия (заметим, что великой русской литературе, за исключением считанных имен и произведений, эта традиция чужда), станет ясно, что всегда чреватая неожиданными сложностями переводческая работа в данном случае превратилась в чрезвычайно рискованный эксперимент. Воздадим должное тем, кто взял на свои плечи это бремя...

Рискуя утомить читателя цитатами из романа, который его автор, уже сдав в набор, в очередной раз переименовал (и это «несостоявшееся» его заглавие стоит упоминания, ибо звучит оно исчерпывающе: «НЕЖНОСТЬ»), приведу в заключение еще одну. Помните, что́ на последних страницах пишет Конни Меллорс, беспощадною волею обстоятельств разлученный — и, судя по всему, надолго — с возлюбленной: «А я еще верю в то легкое пламя, которое вспыхнуло в нас... Будем верить в наше легкое пламя и в безымянного Бога, который хранит его от сквозняков...»

С болью мы убедились теперь, что в самозабвенном пылу решения глобальных задач порядком утратили элементарное, но необходимое умение ж и т ь з д е с ь и с е й ч а с в том единственном существовании, в той единственной молодости тела и духа, какие отпущены каждому из нас. А выбора у нас нет: остается жить — и выжить.

Но чтобы выжить, сохранив в себе все человеческое, сполна реализовав все нам отпущенное в труднейших наших условиях, необходимо до конца поверить в себя и в другого. Поверить в любовь и, если потребуется, выучиться любить. Научиться дорожить «легким пламенем» и тем, что поддерживает ровное его горение.

Лучшего учебника, нежели роман Дэвида Герберта Лоуренса, *готовясь к такой задаче,* думается, не отыщешь.

Перечитаем его внимательно.

Документальная проза и публицистика

РУБЕЖ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

Все мы, живущие ныне на земле,— дети необыкновенной эпохи, когда часы истории вот-вот пробьют двенадцать, когда человечество, словно очнувшись, оглядывается на пройденный им путь и вдруг начинает мыслить иными временными категориями: не днями, неделями и месяцами, а веками и тысячелетиями. И сразу вспоминается, что в жизни homo sapiens их было совсем мало, этих тысячелетий, во всяком случае, запечатленных в нашей коллективной памяти. Конец тысячелетия — это страх перед всеобщим финалом и в то же время надежда на новый старт. В чем здесь дело? Простая ли это магия десятичных чисел или есть в сочетании трех нулей некий особый смысл, отмеренный контрольный срок? Новая рубрика журнала будет посвящена историческим, философским и нравственным темам, которые называют «вечными»: осмыслению пути, пройденного человечеством за два тысячелетия христианской веры; чаяниям и опасениям, связанным с наступлением третьего тысячелетия, которое уже так близко.

Открывает рубрику глава из новой книги американского историка Хиллела Шварца, исследующей особое состояние человеческого духа на хронологическом переломе исторических эпох.

ХИЛЛЕЛ ШВАРЦ

ПРЕДРЕШЕННЫЕ ВЫВОДЫ: ЛЕГЕНДА О 1000-м ГОДЕ

Из книги «Конец века»

Перевод с английского А. ВОЛКОВА

Давным-давно, накануне 1000-го года, европейские народы охватил ужас. Считается, что конца тысячелетия со страхом ожидали пророки, прелаты, монахи, математики, предсказатели и звездочеты. Никто из них не мог сказать ничего хорошего о 1000-м годе от Рождества Христова, ибо в тот год жизнь на земле должна была завершиться катастрофой. В течение всего X века по христианскому летосчислению люди лихорадочно составляли благочестивые преамбулы к завещаниям, признавая в них не только бренность и краткость своего милосердного жития, но и зыбкость самого́ земного существования в этот его последний век. Королевские хартии начинались с упоминаний об «изменчивой судьбе обманчивого мира, который не радует глаз белоснежным сиянием неувядающих лилий, но который погряз в гнусности и желчи, исполнен ужасающего разложения и в котором свирепствует ядовитая злоба с широко раскрытой пастью». И эта пасть скоро поглотит целые деревни при землетрясениях, она будет пожирать страну, пораженную чумой, засухой и голодом. Появились зловещие знамения апокалипсиса: на земле — двуглавые телята с жуткими темными очами, а в небе — кометы с устрашающе яркими хвостами. Невероятные чудеса на небесах числом не уступали вновь обнаруженным мощам в раках. В облаках, под раскаты грома вели баталии сонмы привидений и драконы свивались в горящие ореолы. Солнечные и лунные затмения участились до того, что земля погрузилась во мрак — предвестник беды.

Неудивительно, что благородные рыцари и дамы передавали свои владения Церкви, раздавали имущество нищим и отправлялись в Иерусалим; неудивительно, что купцы оставляли торговлю недолговечными товарами этого бренного мира и уходили в монастыри; неудивительно, что крестьяне бросали стада и поля, дабы совершить паломничество к ближайшим святым мощам. В декабре 999 года торговцы, как описывается, закрывали лавки и раздавали деньги беднякам. Жены и мужья прощали друг другу прелюбодеяния. Учителя отпу-

© 1990 by Hillel Schwartz

скали домой школьников и студентов, ибо при столь близком конце света не видели смысла в учебных и научных занятиях.

Страх все более усиливался. На землю обрушивались чудовищные ливни, невиданные по бешенству наводнения; эпидемии распространились не меньше, чем кресты, наспех нарисованные на щитах. По небу перемещались двойные светила и странные летающие объекты, пребывавшие в счастливом неведении относительно научных построений и философских категорий. Домá, брошенные в эти предапокалипсические годы, начали разрушаться и падать; даже храмы пришли в столь плачевное состояние, что молящиеся прихожане боялись падения церковных стен, должно быть, не меньше, чем скорого падения всего земного существования. Люди повсюду либо истово молились, либо принародно бичевали себя, горестно стеная, либо добровольно уходили из жизни. Странствующие отшельники выступали со стихийными, бесстрастными проповедями, призывая покаяться перед близким уже Страшным судом.

В Риме, гибнущей столице гибнущей империи, правил новый папа — черный маг, астролог и колдун, пользовавшийся арабскими цифрами, механическими часами и прочими атрибутами темных сил. Был ли он Антихристом — сказать наверное нельзя, но ученый монах Герберт неспроста взял себе имя Сильвестра II: он хотел, чтобы его отношения с императором Оттоном III напоминали отношения папы Сильвестра I с Константином, сделавшим христианство официальной религией поздней Римской империи. Сам же Оттон III ожидал, что с началом следующего тысячелетия оправдаются его надежды на оба престола — святой и императорский, пусть даже за мгновение до всеобщей гибели.

31 декабря 999 года, накануне Нового года, в ветхих храмах и часовнях христиане в величайшей тревоге ждали того, что уготовила им с наступлением полуночи нависшая тьма. Напряжение в этот час объединило последователей Христа в одну уповающую и страшащуюся паству. От Гибралтара до Балтийского побережья, от Ла-Манша до Босфора, от Рима до Константинополя и Иерусалима исполненные страха и веры христиане, собрав вокруг себя близких и дорогих людей, в ожидании взирали на небесный свод.

Когда же ничего особенного не произошло и мир в целости и сохранности вступил в 1000-й год, Сильвестр II во время специальной полуночной мессы в Риме обратился к потрясенным прихожанам, которые, возрадовавшись, во весь голос читали благодарственную молитву и хором славили Господа, а башенные часы и колокольни ударами и звоном возвестили наступление второго тысячелетия от Рождества Христова. После всеобщего вздоха облегчения люди полной грудью вдохнули свежий воздух и принялись восстанавливать полуразвалившиеся часовни, закладывать монастыри, возводить соборы в романском стиле, и вскоре Европа оделась в «белый наряд» церквей. Непостижимым образом в истинную веру окончательно обратились Венгрия, Польша и Русь. Европейские народы, спасшиеся и воспрянувшие, начали расширять свое влияние, и вскоре крестоносцы развернули знамена похода на Иерусалим, дабы избавить его от неверных. Воинственные северные викинги исчезли бесследно, отношения между странами смягчились, добрые ветры задули над бывшей пустыней, где крепостные крестьяне спешили убрать первый урожай на благо возросшим народам, которым отныне был уготован целый ряд Возрождений и последующий переход к современности. Календарный 1000-й год принес явную разрядку и при этом оказался (и до сих пор таковым считается) необычайно удобным и божественно знаменательным рубежом, на котором Западная Европа после мрачного периода Средневековья наконец сбросила с себя ярмо варварства, не столько сменившего древнюю, классическую цивилизацию, сколько грубо растоптавшего ее. 1000-й год был если уж не последним annus terribilis [1], то, безусловно, annus mirabilis [2]. То был чудесный год. Памятный год.

Из подобных радужных высказываний и ужасающих преданий и складывалась легенда о 1000-м годе. Дабы не навлечь на себя обвинения в безответственности при восстановлении этой легенды, предоставлю слово шотландскому историку XVIII века Уильяму Робертсону, который так описывал «всеобщий ужас» перед приближающимся 1000-м годом: «Страх охватил человечество; многие люди отказывались от имущества, оставляли друзей, домочадцев и устремлялись к земле обетованной, где, как им казалось, вскоре объявится Христос и будет вершить суд». Предоставим слово и соотечественнику Робертсона, Чарльзу Маккею, который так писал в 1852 году в работе «Необыкновенные заблуждения народов и массовые безумства»: «В 999 году столь много паломников отправилось на Восток, ожидая пришествия Господа в Святой град, что они сравнивались с опустошительным нашествием... Дворцы и хижины оказались в забвении и разрушались. И не было смысла заботиться о них, ибо надвигался конец света... Рыцари, горожане и крепостные крестьяне, все вместе, забрав с собой жен и детей, шли на Восток, распевая псалмы и со страхом взирая на небеса, которые могли в любой миг разверзнуться и спустить на землю Сына Божьего в его сиянии». Предоставим слово и современнику Ч. Маккея, французскому поэту Эжену Мордре, приближающему нас к полуночи того рокового года:

Братья, слышите бури стенанья?
Слышите стоны дерев, что ломают ветра,
Божьей десницею мощною посланы?
Слышите треск от распада основ мирозданья?

«Нам, живущим столько лет спустя,— писал один американский историк в 1857 году,— невозможно вообразить весь тот ужас, который царил в христианском мире с приближением тысячного года от Рождества Христова». Через сто лет после американца некоему немецкому исследователю пророчеств и предсказаний и в самом деле удалось представить себе тот ужас, обратив особое внимание именно на число 1000: «Оно кошмаром нависло над Европой. Волна фатализма захлестнула народы... Люди

[1] Годом ужасным; годом чудесным *(лат.)*. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

целыми городами, как один, приходили в храмы либо собирались у распятий под открытым небом». И уже в наши дни, на закате XX века, Чарльз Ф. Берлиц так писал в своей книге «Второе пришествие — год 1999» о том давнем ожидавшемся светопреставлении: «По мере приближения 999 года к концу народы Европы охватило нечто вроде массового психоза». Люди прощали друг другу долги, из тюрем освобождали заключенных, прелюбодеям и прелюбодейкам отпускались их грехи. Паломники бичевали себя на пути в Иерусалим; иные же, преследуемые видениями огненных мечей и летящих с небес стрел, избрали свой путь к апокалипсису: по словам Берлица, «всюду прокатилась волна самоубийств, ибо люди стремились наказать себя накануне второго пришествия, либо просто не выдерживали напряженного ожидания Дня Страшного суда».

Все это выдумки. Не было ни самоубийств, ни огненных мечей, ни бичеваний. Не было ни отпущения грехов, ни освобождения заключенных, ни прощения долгов. Не было ни массового психоза, ни фатализма, ни кошмара, ни ужаса, связанного с числом 1000. Не было ни семей, оставленных (или разрушенных) исходом паломников, ни богатства, растраченного (или промотанного в походах) странствующими рыцарями и крестьянами. Не было ни брошенных на произвол судьбы домов, ни превратившихся в руины храмов. Не было даже какой-либо паники — разве что все сведения о всеобщем ужасе утаивались специально. И никакие механические часы не били полночь в конце тысячелетия, и никакие хоры не пели «аллилуйя!» в первую минуту после полуночи.

Ничего этого не было — по крайней мере, так говорят ученые последние сто лет. Целый ряд исследователей Средневековья опубликовали книги и статьи на итальянском, французском, английском и немецком языках, и в этих трудах опровергаются рассказы о «всеобщей панике» накануне наступления 1000 года. Ученые проследили современные истоки этой легенды вплоть до конца XVI века, обнаружив семь строк на первой странице одиннадцатого тома «Церковных летописей», автор которых кардинал Чезаре Бароньо служил ватиканским библиотекарем и дважды чуть не был избран папой римским. Существует столь же краткое сообщение от 1633 года, исходящее от французской католической церкви, о рушащихся храмах на рубеже тысячелетий; приводят еще переиздание «Annales Hirsaugienses» немецкого аббата Иоганнеса Тритхайма (умер в 1516 году) — в прижизненном издании этой книги аббат писал об ожидавшемся в 1000-м году землетрясении и чудовищной комете, но ни словом не обмолвился о каких-либо страхах, связанных с этим годом,— сведения о них уже в 1690 году добавили в отредактированный вариант хроник монахи из монастыря Святого Галла. Затем, от некоторых упоминаний об упадке архитектуры и отрывков из работ Уильяма Робертсона, ниточка тянется к французским буржуазным республиканцам 1830 года, которые усмотрели в Июльской революции столь же полный конец прежнего режима, каким должен был бы стать для Средневековья 1000-й год. Отсюда можно перейти к середине XIX века — к потоку энциклопедий, словарей, литературных летописей, романов и комических опер, вызванному к жизни волнующими трудами популярнейшего из историков Жюля Мишле. В его изложении 1000-й год предстает смесью чудес и предостережений, собранных со всех уголков X и XI веков, с дополнительной ссылкой на этрусков, которые пророчески определили срок существования своей цивилизации в десять столетий и — увы! — оказались более чем правы.

Но оставим на время этрусков в покое и посмотрим, на чем основывалась разоблаченная легенда о 1000-м годе. Веками средневековые хартии и завещания содержали традиционные преамбулы и заключения, касающиеся конца света и состоящие из подходящих риторических заклинаний, но никогда не упоминающие точную дату всеобщего конца. Приблизительно в 954 году аббат Адсон написал для королевы французской Жерберж небольшую книгу об Антихристе, в которой очерчена его биография, правда, без конкретных дат. В 999 году эту книгу, с новым предисловием, получил архиепископ Кёльнский. После 960 года, кажется, распространились два пророчества о неминуемом Страшном суде: первое исходило от некоего отшельника, выступившего перед князьями в Вормсе с тревожной, но хронологически туманной речью; второе пророчество прозвучало в Париже без особых последствий, хотя и содержало точный год пришествия Антихриста — 1000-й. Сильные страхи, связанные с появлением кометы, высказывались в 975 году; аналогичные страхи в то десятилетие были вызваны совпадением Благовещения и Страстной Пятницы в 973, 981 или 992 году. Комета действительно появилась четвертого декабря 1000 (либо 999, либо 1001) года. Возможно, в 999-м или 1000-м году было землетрясение, скорее всего наблюдались — как обычно — разрушительные бури и несколько небесных чудес — как и во многие другие годы Средневековья, о чем сообщают летописи. В 1000-м году глава Священной Римской империи Оттон III выехал из Равенны в Ратисбон, а затем в Польшу для участия в коронации Болеслава Храброго. В конце тысячного года некий французский крестьянин утверждал, что в него вселился пчелиный рой, который и принудил его выгнать жену, а также топтать распятия и отказываться от уплаты церковной десятины. В окружении большого числа других крестьян оный Льютар вел спор с местным епископом, после чего (как не без злорадства свидетельствуют летописцы) утопился в колодце.

Было бы гораздо разумнее — и мы это еще увидим — создавать легенду вокруг 1033 года, однако предание о 1000-м годе постоянно упоминается и поныне как само собой разумеющееся, поэтому должно же здесь — верно? — скрываться нечто большее, нежели только смутное пророчество и упоминание о комете, землетрясении и пчелином рое. Невзирая на тщательные ис-

следования источников нашими консервативными специалистами по Средневековью, тема страха и ужаса, связанного с тысячным годом, вновь и вновь возникает в трудах видных современных историков, литературоведов, культурологов, политологов, ректоров университетов, писателей, журналистов и футурологов. Даже те, кто отказался от этой легенды как от выдумки, тем не менее по-прежнему превозносят 1000-й год как поворотный момент в развитии западной цивилизации. В 1922 году известный бельгийский историк Анри Пиренн сказал: «Безусловно, неправда то, что в 1000-м году люди ждали конца света. Однако последовавшее столетие, в отличие от предыдущего, отмечено необыкновенной вспышкой всякой деятельности, что вполне можно воспринимать как бурное и радостное пробуждение общества от тяжкого, кошмарного, угнетающего сна». В 50-х годах нашего века австрийский историк Франц Биркенау писал: «Современные исследования во многом изменили отношение к утверждению летописца Рауля Глабера о том, что в тысячном году нашей эры Запад ожидал конца света. Но заявление Глабера, даже если оно исторически ложно, все же отражает настроения той эпохи», которая вскоре тронулась с места, дабы завершить «окончательный разрыв с исконной германской традицией доблестного одиночества». В 1967 году выдающийся французский историк Жорж Дюби признавал: «Было бы ошибкой верить в существование ужаса перед тысячным годом. Тем не менее,— продолжает он,— следует признать, что тогдашние истинные христиане жили с затаенным страхом и превратили свой страх во благо, обращая свои мысли к Евангелию».

И сама легенда как таковая обладала некоторыми достоинствами, к которым обращались многие видные исследователи нового (календарного) тысячелетия. Вот что писал в 1949 году медиевист и теолог Этьен Жильсон: «Некогда детям преподавали как бесспорный факт, что с приближением тысячного года людей охватил великий ужас. По крайней мере, так нам говорили, и мы этому верили, но самое удивительное, что далеко не все в том предании — выдумка... И если для нынешних историков связанные с тысячным годом страхи — не аксиома, то будущим историкам явно не придется сомневаться в существовании страхов перед двухтысячным годом... На пороге нового тысячелетия человек не без гордости убеждается в том, что недалек тот день, когда он сможет сам взорвать свою планету». Вот как в 1973 году писал об этом, обращаясь к иному поколению детей, популярный историк Дэниэл Коэн: «Возможно, 1000-й год мало что значил для средневековых людей, но 2000-й год имеет огромное значение для современных умельцев гадать и ворожить, уверенных в магическом смысле некоторых чисел и дат. Существует уже множество предсказаний о том, что в этом году произойдет «нечто особенное» — великая война, великое религиозное возрождение или даже некое событие с катастрофическими последствиями, схожее с концом света».

Безусловно, нечто подобное сейчас и происходит, о чем в 1901 году догадывался исследователь глобальных катастроф Джордж Л. Бёрр: «Но я уже слышу восклицания тех, кто — даже в наше рациональное время — осознал всю трагичность окончания столетия; как же возможно избежать ужаса, когда к концу подойдет тысячелетие?» Мы приближаемся к финалу нашего века так же, как прежде все остальные приближались к финалу своего,— уверенные в упадке, невероятных потрясениях, неминуемых опасностях и бурных переменах. Этот fin de siècle [1], как и предыдущие, является последней ступенью, поворотным моментом, началом новой эпохи. Рушится и гибнет все, что мы любим,— и нам лишь остается надеяться на легкую смерть; исчезает все, что мы оплакиваем,— и нас пронзает острая боль рождения чего-то великого. В конце века мы неизбежно становимся участниками совмещения несовместимого: всего лучшего и всего худшего, величайшего отчаяния и величайшей надежды, полнейшего порядка и полнейшего хаоса.

В каком-то смысле мы и сами того хотим. Пусть каждое поколение считает неповторимой свою судьбу — все выпавшие ему проклятия и благословления; но в конце столетия календарь вместе с нашими собственными культурными часами толкают нас на крайности. Мы можем отвернуться от этого завораживающего потока или же решиться на безоглядный прыжок в него — рубеж веков все равно удивителен и неизбежен. Тайное станет явным, секрет раскроется.

Конец века является своего рода фокусом, небольшой суматохой вокруг девяток и нулей. Конец тысячелетия — с которым совпадает конец **нашего** века: сначала три девятки, затем три нуля, а затем фильм Стэнли Кубрика [2] — в еще большей степени представляет собой непреодолимый, театральный обман, по характеру он еще больше похож на мошенничество. Как и при любом мошенничестве мы, жертвы, внушаем себе: сейчас или никогда! В зависимости от личных предпочтений мы либо сделаем ставку на будущее — на 2, либо лишимся последнего перед самыми 000.

Если fin de siècle — это фокус, то с ним Запад уже сталкивался, по меньшей мере, семь раз. Но почему он всегда удается? Потому что мы вполне осознаем время и можем предвидеть финал; мы умеем пользоваться цифрами, но при этом склонны к мистике и попадаем под надуманную магию чисел; мы вполне пунктуальны и придерживаемся привычного календаря. Я пытаюсь здесь проследить западную традицию fin de siècle и определить, чем этот фокус может закончиться теперь, при нашем приближении к порогу третьего тысячелетия.

Тысячелетие царства Христа — если оно тоже фокус — это еще более древняя иллюзия, это отзвук трубы ветхозаветного *юбилея*. *Юбилеем* правители послевавилонского периода называли год, завершающий

---

[1] Конец века *(франц.)*.

[2] Имеется в виду фантастический фильм «2001: Космическая одиссея», снятый в 1968 году американским режиссером Стэнли Кубриком.

череду из семи субботних лет, то есть каждый пятидесятый год, который предполагалось отмечать празднествами и благодеяниями — освобождением рабов-иудеев, выкупом владений, приобретенных у собратьев за долги. Этот юбилей, о начале которого торжественно трубили трубы из огромного бараньего рога (юбала), должен был стать субботой из суббот, установленной по образцу древнего календаря с пятидесятницей, по которому праздничным становился каждый пятидесятый день после семи семидневных недель. Первоначально седьмой день недели считали столь неудачным, что в этот день всеми силами следовало избегать работы. В период иудейской истории после вавилонского пленения этот седьмой день — суббота — постепенно приобрел облачение святости и стал не только личным «днем душевного покоя», как в Вавилоне, но и днем всеобщей молитвы. Точно так же седьмой, или субботний, год, который поначалу был годом, когда по́ля не засевали и виноградника не обрезывали, затем стали отождествлять с идеями очищения и прощения долгов евреям. Во времена Маккавеев, в конце второго века до нашей эры, была составлена апокалипсическая «Книга юбилеев», которая распространила значение юбилейного цикла на всю мировую историю, где каждый исторический период равнялся юбилейному периоду. Для переноса этого ритуального празднества в мессианскую эпоху и потребовалась новая система отсчета мирового исторического времени вкупе с возвышенным утверждением Псалмопевца о том, что пред очами Господа тысяча лет, как день вчерашний (Пс. : 89.5). Опираясь на космологию Заратустры и на слова Псалмопевца о днях-тысячелетиях, упомянутые во Втором соборном послании Святого Апостола Петра (3.8) [1], христианские богословы II века нашей эры преобразовали мировую историю в рассказ о сотворении мира за неделю, а седьмой ее день — во вселенскую субботу, в праздник довольства, покоя и земного наслаждения после шести тысячелетних дней человеческого труда. Таковым было тысячелетнее царство Христа — «килиад» (по-гречески), или «миллениум» (полатыни),— которого первые христиане ожидали в ближайшем будущем. И хотя в конце IV века Св. Августин отверг доктрину близости райского тысячелетнего царства Христа в пользу последней мировой эпохи, граничащей с безраздельным правлением само́й Церкви, расчеты и ожидания второго пришествия оказались сильнее его мудреного консерватизма и нашли свое немаловажное продолжение сначала в католицизме, а затем — в лютеранстве и сектантском протестантстве, и далее, к настоящему, сквозь такие сложные годы, как 1260-й, 1492-й, 1588-й, 1666-й, 1789-й, 1844-й ... вплоть до 1999-го и 2000-го годов.

Предсказания о конце света хронологически не всегда и не обязательно связывали его с концом столетия. Ожидающие наступления тысячелетнего царства Христа стремятся к более крупным целям, которые охватывают генеалогию созидания и разрушения, а также уравновешенность изгнания и спасения. Однако в конце каждого столетия большинство из нас начинает разделять беспокойство ожидающих второго пришествия и, как они, живет затаив дыхание. Унаследовав определенное культурное восприятие fin de siècle, мы ждем, что конец века станет концом эпохи, а начало нового века — началом новой эпохи. Быть может, мы не спешим облачиться в белые одеяния или собираться на холмах, но на исходе каждого века крестики зачеркнутых чисел в календаре все же кажутся мрачнее; все же кажется, что они ведут нас от привычного хода жизни к апокалипсису.

Глубинный смысл слова «апокалипсис» великолепен по своей нейтральности: «задергивание покрывала». Однако оно приобрело христианские стигматы из кровавого предсказания о всеобщем конце, содержащегося в книге «Апокалипсис, или Откровение Святого Иоанна Богослова, бывшего на острове Патмос»; в этой книге упоминаются и семь труб, и семь чаш гнева, и звери, Гог, Магог и Армагеддон, и все это волей-неволей вступает вместе с нами в 1990-е годы. Поэтому Роберто Вакка, описавший «наступление века Тьмы» в 1971 году в одноименной книге, избрал для нее в качестве основополагающего эпиграфа отрывок из Откровения (20 : 1—4), где тысячелетнее царство Христа наступает после одиннадцати ужасающих глав о «Буре и натиске»: «И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет. И низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет...» Затем начинается текст само́го Р. Вакки: «Я пишу эти строки, когда до окончания второго тысячелетия нашей эры остается менее тридцати лет и когда в силу причин, отличных от существовавших тысячу лет назад, многие ожидают, что вскоре произойдет страшная вселенская катастрофа». Поэтому и президент Рональд Рейган в 1980-е годы нередко говорил друзьям: «Возможно, наше поколение станет свидетелем Армагеддона».

Конец каждого века, еще с 1300 года, давал даже более яркие доказательства двойственности, присущей связанным с тысячелетием западноевропейским ожиданиям упадка и трагедии, после которых, «в недалеком будущем», начнется радостное воссоздание и возрождение всего. Несбывшиеся кошмарные сны, неосуществившиеся радужные мечты — все они тем не менее не исчезают из памяти бесследно, когда новое столетие неуклонно продвигается вперед. Предсказания, которые не сбылись в 99-е, 00-е, и 01-е годы предыдущих веков, накапливаются и воскресают в конце последующего века. И, к неудовольствию историков, привыкших к упорядоченному расположению событий в строгой последовательности, скачки от одного fin de siècle к другому постоянно нарастают. Поэтому мое повествование, вероятно, должно быть поступательно-скачкообразным, прыжками двигающимся от века к веку, и вместе с тем взбирающимся, как взобрались и сами

[1] «У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день».

предсказания, на вершину XX века, с которой совсем скоро «начнется новая эра», как писал американский архитектор Ральф Крэм зимой 1907—1908 годов.

К концу своего столетия мы готовимся намного раньше, чем все наши предшественники, а это значит, что манихейская тревога, характерная для ожидания fin de siècle, еще более усилится в 1990-е годы. В самом деле, преувеличения подобного рода уже прозвучали в 1982 году в речи экономиста из Мичиганского университета Томаса Г. Джиза: «Коренные изменения в технологии и в системе общечеловеческих ценностей подвели нас либо к краю пропасти, либо к кануну грандиознейшего в истории золотого века». Ощущение, свойственное для fin de siècle, не отличается особой пунктуальностью и потому не считает нужным проявляться минута в минуту перед началом десятого десятилетия; к примеру, французское выражение «fin de siècle» возникло в 1886 году, так что можно определить, когда, по крайней мере у французов, дебютировало это настроение. Но какая бы точка отсчета ни была избрана для нашего fin de siècle, по мере знакомства с материалом станет очевидно, что 1990-е годы окажутся особенно ярким эпизодом в западноевропейской традиции восприятия конца века.

Подобный прогноз, безусловно, склоняется к тому самому преувеличению, какое я стремлюсь и развенчать, и разрекламировать. В конце века все подобные разговоры неизменно сводятся к обсуждению критических моментов и основополагающих решений, однако в то же время всякий выбор отчетливо проступает как выбор в пользу доброй воли или полной катастрофы, в пользу гармонии с природой или самоуничтожения, в пользу более высокого сознания или заката (западной) цивилизации. Жернова истории на стыке тысячелетий кажутся особенно опасными и гибельными. На что толкает нас терроризм — на последний шаг в пропасть «ядерного Армагеддона» или на то, чтобы раз и навсегда забыть о национальных границах ради совместных усилий сохранить мир на земле? К чему ведет задолженность «развивающихся» стран — к угрозе краха мировой экономики или же к усилению взаимозависимости народов? К чему ведет загрязнение рек, озер, океанов, лесов и джунглей — грозит ли оно человечеству самоуничтожением или же дает ему последнюю и наиболее яркую возможность спасти себя через спасение планеты? Вот что написал в 1982 году голландский дипломат Якоб Гийсберт де Беус в своей книге «Переживем ли мы 2000 год? Решающий вопрос для западной цивилизации»: «Люди буквально сходили с ума от страха (с приближением 1000-го года): они верили, что близится конец света. Сейчас понимают, что конец тысячелетия вовсе не равнозначен концу света — по крайней мере, по воле внешних, сверхъестественных сил... Но ощущение надвигающейся катастрофы растет; сейчас оно заметнее, чем когда-либо в истории человечества».

Однако до сих пор конец каждого из столетий превращался в комедию: люди всякий раз благополучно переживали его и всякий раз удивлялись своей удачливости. Вспышки высокопарных речей о наступлении новой эры, с одной стороны, и вспышки отчаяния — с другой; конец века неизменно дурачил нас, и без того одураченных по собственному почину. В конце века на передний план те или иные культурные созвездия часто выходят именно потому, что мы так воспринимаем его: мы разрываемся между упоительно-щемящим ожиданием конца и смутным предчувствием возрождения. Эти созвездия — а они все отчетливее видны по истечении каждого из последних пяти столетий — вынуждены касаться пределов и крайностей: границ, полюсов, истощений, потерь, распадов, исчезновений, смерти и потустороннего царства. Другие созвездия fin de siècle, вращающиеся вокруг похожего на двуликого Януса *перелома* века, касаются амнезии и анамнеза, раздвоения и удвоения. Каждое созвездие обнаруживает себя в конце века согласно принятому в ту эпоху образу мышления: так, Двойственность в конце XVI и XVII веков предстает в виде инкуба, в конце XVIII века — в виде второго «я», в конце XIX — в виде вторичного или противостоящего сознания, а в конце XX — в виде множественной личности.

Влияние этих созвездий можно оценить, обратившись к легенде о 1000-м годе и, в частности, к стержневой фигуре в ней, к роли папы римского Сильвестра II. Этот человек, почитаемый в течение всей своей жизни и краткого (999—1003) пребывания на посту понтифика, позднее стал двойственной личностью — архетипом конца века, рубежа столетий. Вольно или невольно его начали изображать как человека крайностей, заключившего сделку с дьяволом, дабы проникнуть в тайны естественных (и неестественных) миров математики и астрономии. Он раздвоился, ибо тянулся одной половиной к прежнему, повелевавшему Сильвестру, другой — к будущим крестовым походам, а его ученик, Оттон III, сетовал: «Настал последний год тысячелетия, и я отправляюсь в пустыню, где в воздержании, молитве и покаянии буду ожидать пришествия Господа, пришествия Спасителя». Именно Сильвестр (как полагают) изобрел механические часы с боем и тем самым разделил историю надвое: на средние века и на современность, на период сатаны связанного и сатаны, выпущенного на свободу. Для доминиканцев XIII века и протестантов XVII века Сильвестр воплощал освященного императорской (папской) властью двуличного Антихриста, который рано или поздно должен явить свой дьявольский лик. Таким образом, Сильвестр был тем самым «презренным содомитом, черным магом и колдуном, в правление которого мерзость и идолопоклонство папистской церкви достигли вершины». В начале XX века Сильвестр был, в глазах драматурга Августа Стриндберга, героем Средневековья, который гордился неожиданно возросшим влиянием христианства на европейских окраинах (Польша, Русь, Венгрия, Скандинавия), но на смертном одре мечтал о грядущем тысячелетии: «Кто будет жить в конце следующего тысячелетия, сможет увидеть зрелые плоды — нам же довелось увидеть лишь цветение». А в 1977 году,

когда упомянутая тысяча лет была на исходе, Франк де Грааф в своей книге «Anno Domini 1000, Anno Domini 2000» сравнил Сильвестра, замешанного в ритуальном умерщвлении (сына Божьего) императора Оттона III, с Каиафой. Впоследствии, в 1003 году, этот беспристрастный, склонный к наукам понтифик принес себя в жертву ради спасения христианства в 2000 году нашей эры — в итоговом году, до которого мы могли дожить только с помощью атрибутов Сильвестра: арабских цифр, механических часов и астролябий.

Вряд ли стоит слишком удивляться тому, что легенда о Сильвестре жива и поныне и что буйный новогодний канун дьяволиады и дурных предзнаменований в Центральной Европе до сих пор называется «Сильвестернахт», или «Ночь Сильвестра»: ведь современные фаусты больше чем кто-либо являют собой человека fin de siècle, который должен жить по мировым законам добра и зла,— точно так же, как мы в конце века сильнее всего ощущаем раздвоенность между воодушевлением и тревогой. Как известно, несмотря на сделку с дьяволом, Сильвестр (по крайней мере, в некоторых католических вариантах его жизнеописания) во всем покаялся и был прощен в одиннадцатом часу — но разве от этого легче?

Возможно, кто-то возразит, что не легенды создают столетия, а наоборот; одно дело — отмечать тревожное состояние в конце века и совсем другое — приписывать значимость произвольным числам на календарях и прожить 1100 лет западноевропейской истории, следя за тем, что было в 90-е годы каждого столетия,— просто верх глупости. Тем не менее наша жизнь во многом подчинена легендам (тщательно изложенные краткие биографии; передающиеся из поколения в поколение рассказы; семейные предания; нравоучительные басни из школьных учебников; притчи из «Нэшнл инкуайрер» об отмщении и спасительном милосердии; догматические рассуждения о том, как попадают из нищеты в богатство, и наоборот). И мы гораздо серьезнее, чем хотелось бы, относимся ко множеству произвольно взятых возрастных отметок (13, 16, 21, 30 и особенно 40 лет; «золотые» юбилеи; во что бы то ни стало дожить до 99 или 100 лет — как, я убежден, мечтала и моя бабушка). И мы действительно склонны отсчитывать время вперед и назад на сто лет от любого момента, особенно в конце века.

Конечно, совершеннейшая глупость утверждать, будто все важные события происходят в конце века. Стихийные бедствия происходят в конце века именно стихийно. Как и войны. Экономические системы терпят крах вовсе не оттого, что наступает fin de siècle; и империи рушатся не оттого, что на календаре — 99-й. Время великих изобретений не ограничивается первыми месяцами нового столетия; и не только на стыке 99-го и 00-го или 00-го и 01-го годов рождаются прекраснейшие стихи, шьются прекраснейшие бальные платья, проектируются прекраснейшие здания, составляются прекраснейшие рецепты и впервые исполняются прекраснейшие симфонии. А вот что действительно происходит, так это критическая разрядка, если, конечно, вслед за лягающимся Хаосом и Ужасом наступает Царство Мира. Окончания веков до такой степени оказываются предрешенными выводами, что, когда они позади, мы оглядываемся на это время с грустью и облегчением: с грустью по упущенным возможностям и несбывшимся, вспыхнувшим на миг мечтам; с облегчением, потому что апокалипсисы (бедствия и откровения) если и были, то оказались не слишком страшными и вполне преодолимыми. Затем люди, поколение за поколением, идут дальше по дороге жизни и доходят до следующего конца столетия, и власть надвигающихся девяток и нулей вновь заставляет нас забыть уроки предыдущего fin de siècle, и мы вновь предаемся тревожным раздумьям о том, чем же именно завершится это столетие.

Жаркие, страстные, а порой и ожесточенные споры по поводу наступления всеобщего конца накануне Нового года — когда 99-й встречается с 00-м,— ведутся еще с 1690-х годов, и в эту сумятицу были вовлечены круглые цифры тысячного года. Чезаре Бароньо, основываясь на отрывочных средневековых источниках, считает, что более всего люди были взбудоражены в конце 1000-го года, в то время как в предании о паническом страхе речь шла преимущественно о конце 999-го года. В последнем десятилетии нашего века яростные споры между формалистами, сторонниками легенд, провинциальными философами, прямолинейными в суждениях технарями и серьезными редакторами серьезных газет, несомненно, вновь займут главное место в прессе. Так, предприимчивый экс-президент Ричард Никсон и просвещенный астроном Карл Саган уже заявили, что 1999-й год явится символическим окончанием XX столетия и второго христианского тысячелетия. Пыл и чад этих споров, которые вспыхивают на исходе века, как пожар в прерии, безусловно, опрокидывают всякое наше показное безразличие к «произвольным» числам в произвольных календарных столбцах периода fin de siècle.

Можно было бы вести исторические наблюдения за какими-нибудь другими десятилетиями (например, ожидающим второго пришествия Христа — за 30-ми годами каждого столетия) или же за циклами засух, появлением пятен на Солнце и солнечными вспышками. Однако понятие «конец века» в качестве культурного построения больше прочих десятилетий и в полную противоположность природным циклам формировалось в течение семи с лишним столетий западноевропейской истории как всеобщее вселенское явление, охватывающее все новые и новые народы. Даже на этих нескольких страницах, излагая легенду о 1000-м годе и умонастроения fin de siècle, я упомянул австрийцев, американцев, англичан, бельгийцев, голландцев, канадцев, итальянцев, немцев, французов, шведов и шотландцев. И хотя пока я упомянул лишь мужчин, вскоре к ним добавятся и женщины; и хотя пока я упомянул лишь христиан, вскоре к ним добавятся иудеи, мусульмане, сторонники веры в бессмертие души и буддисты; и хотя пока я упомянул лишь известных деятелей, вскоре к ним добавятся менее знаменитые личности, са-

мые обыкновенные люди. Возможно, форма выражения тревоги будет меняться в зависимости от пола, вероисповедания и социальной принадлежности, но сила настроения fin de siècle будет одинаково велика во всех случаях.

Если кому-либо покажется, что я чересчур много внимания уделяю утверждениям об исключительном характере всякого конца века, то советую перенести эту навязчивую идею на нынешнюю эпоху, которую безапелляционно представляют как исключительную; должен признаться, и я не избежал воздействия ее «неслыханных» дилемм. Если же я воспользовался методами культурологов, перенося опыт прошлого на современность, то вовсе не ради стремления предстать неким пророком; мне хотелось дать читателям нечто вроде карты звездного неба с периодическим расположением созвездий в конце века, а, следовательно, нечто вроде возможного путеводителя, указывающего на характер заката нашего столетия и восход нового тысячелетия...

Мы живем в эпоху, когда больше горечи, нежели радости. В моей книге нет ни успокоительного, ни стимулирующего средства; скорее, она — нечто вроде глазных капель, которые помогут лучше видеть жизнь.

Авторы этого номера

ЭДГАР ЛОРЕНС ДОКТОРОУ (EDGAR LAWRENCE DOCTOROW; род. в 1931 г.) — американский писатель. Автор романов «Вступление в тяжелую пору» («Welcome to Hard Times», 1960) «Большой как жизнь» («Big as Life», 1966), «Книга Дэниэла» («The Book of Daniel», 1971), «Гагачье озеро» («Loon Lake», 1980), «Всемирная выставка» («World's Fair», 1985). «Иностранная литература» познакомила читателей с творчеством Э. Л. Доктороу, напечатав его роман «Рэгтайм» (1978, № 9—10) и повесть «Жизнь поэтов» (1988, № 5). Э. Л. Доктороу награжден премиями американской Академии искусства и литературы, Национального института искусств и литературы, Национальной книжной премией и др.
Роман «Билли Батгейт» вышел в США в 1989 году («Billy Bathgate», New York, Random House, 1989).

ИОГАННЕС БОБРОВСКИЙ (JOHANNES BOBROWSKI; 1917—1965) — немецкий поэт и прозаик (ГДР). В 1954 г. в журнале «Зинн унд форм» появились его первые стихи. В шестидесятые годы вышли сборники стихов «Сарматское время» («Sarmatische Zeit», 1961), «Реки страны теней» («Schattenland Ströme», 1962), «Признаки грозы» («Wetterzeichen», 1967). Перу И. Бобровского принадлежат романы «Мельница Левина» («Levins Mühle», 1964), «Литовские клавиры» («Litauische Claviere», 1966; напечатан в «ИЛ», 1969, № 4), рассказы и эссе. Многое из его литературного наследия впервые издано в 1987 году в собрании сочинений («Gesammelte Werke», Bd. 1—4).
В русском переводе произведения И. Бобровского неоднократно выходили отдельными изданиями, в том числе «Избранное» (М., 1971), стихи и рассказы публиковались в «Иностранной литературе» (1968, № 5; 1970, № 8; 1983, № 12).
Публикуемые стихи взяты из Собрания сочинений (Gesammelte Werke, Berlin, Union Verlag, 1987).

ИВЛИН ВО (EVELYN WAUGH; 1903—1966) — английский писатель. Автор романов «Упадок и разрушение» («Decline and Fall», 1928), «Мерзкая плоть» («Vile Bodies», 1930; рус. пер. 1974), «Пригоршня праха» («Handful of Dust», 1934; рус. пер. 1971), «Не жалейте флагов» («Put Out More Flags», 1942; рус. пер. 1971), «Работа прервана» («Work Suspended», 1943; рус. пер. 1984), «Возвращение в Брайдсхед» («Brideshead Revisited», 1945; рус. пер. 1974), «Незабвенная» («The Loved One», 1948; рус. пер. «ИЛ», 1969, № 2), «Офицеры и джентльмены» («Officers and Gentlemen», 1955; рус. пер. 1977).
Роман «Черная беда» («Black Mischief») впервые был опубликован в Англии в 1932 году. Предлагаемый перевод выполнен по изданию New York, Dell Publishing Co, 1958. Этот роман под названием «Черная напасть» войдет в однотомник произведений И. Во, подготовленный советско-английским совместным предприятием «Слово».

ШАНДОР КАНЯДИ (KANYADI SANDOR; род. в 1929 г.) — поэт, пишущий по-венгерски, живет в Румынии, в Трансильвании, автор многих сборников стихов, отмеченных литературными премиями, книг для детей, известен и как переводчик. Сборники стихов: «Цветет черешня» («Virágrik a cseresznyefa», 1955), «Роса на звезде» («Harmat a csillagon», 1964), «Сумерки» («Szürkület», 1979). «Черно-красные стихи» («Fekete-piros versek», 1979) и др.
На русском языке стихи Каняди напечатаны в антологии «Поэзия современной Румынии» (М., 1979).
Публикуемый цикл «Есть край такой...» взят из сборника «Грива и череп» («Sörény és koponya», Debrecen, Csokonai kiadó, 1989).

ИОАН ГРОШАН (IOAN GROSAN; род. в 1954 г.) — румынский прозаик. Автор сборника повестей и рассказов «Кинопередвижка» («Caravana cinematografica», 1985). На русском языке повесть «Кинопередвижка» опубликована в сборнике «Встреча. Из современной румынской прозы» в Библиотеке «ИЛ» (1988).
Рассказ «Ночной поезд» взят из второй книги писателя того же названия («Trenul de noapte». Bucuresti, Cartea Românească, 1989).

ИТАЛО КАЛЬВИНО (ITALO CALVINO; 1923—1985) — итальянский писатель, лауреат литературных премий «Виареджо», «Саленто» и др. Многие произведения И. Кальвино переведены на русский язык. В серии «Мастера современной прозы» вышла книга, включающая романы и повести писателя: «Тропа паучьих гнезд», «Облако смога», трилогия «Наши предки» — «Раздвоенный виконт», «Барон на дереве», «Несуществующий рыцарь». («Избранное», М. «Радуга», 1984). Новеллы И. Кальвино печатались в сборниках и периодике, в том числе в «Иностранной литературе».

Публикуемое эссе взято из книги «Американские лекции» «Lezioni americane», Milano, Garzanti, 1988.

КОН ИГОРЬ СЕМЕНОВИЧ (род. в 1928 г.) — советский философ и социолог, профессор, доктор философских наук. Автор книг «Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли» (1959), «Позитивизм в социологии» (1964), «Социология личности» (1967), «Психология юношеской дружбы» (1973), «В поисках себя. Личность и ее самосознание» (1984), «Введение в сексологию» (1988) и др.

ПАЛЬЦЕВ НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ (род. в 1944 г.) — советский литературовед и кинокритик, автор статей по проблемам английской, американской, канадской литератур XX в., кинематографа Италии, Франции, Швеции, США; переводчик с английского. Составитель ряда сборников малой прозы писателей англоязычных стран, авторских сборников Д. Г. Лоуренса («Дочь лошадника». Библиотека «ИЛ», 1985), Джойс Кэрол Оутс («Венец славы», Библиотека «ИЛ», 1986).

Переводчики:

ЗДОРОВОВ ЮРИЙ АРСЕНЬЕВИЧ (род. в 1943 г.) — советский литературовед, переводчик. В его переводе с английского изданы повесть У. Голдинга «Чрезвычайный посол», романы Р. Ная «Странствие «Судьбы», Дж. Фаулза «Дэниэл Мартин» («ИЛ», 1989, № 10—11), рассказы и повести У. Коллинза, Д. Хэммета, Р. Карвера и др.

РАТГАУЗ ГРЕЙНЕМ ИЗРАИЛЕВИЧ (род. в 1934 г.) — советский литературовед и поэт-переводчик. Автор ряда исследований о немецких и австрийских поэтах XVIII—XX вв. Составитель антологии «Золотое перо. Немецкая, австрийская и швейцарская поэзия в русских переводах» (М., 1974). Переводил стихи Ф. Гёльдерлина, Р.-М. Рильке, Г. Тракля, Г. Бенна, Ст. Хермлина и др.

ЛИВЕРГАНТ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ (род. в 1947 г.) — литературовед и переводчик, кандидат искусствоведения. В его переводе с английского публиковались афоризмы Д. Свифта и С. Джонсона, рассказы Д. Кольера, Ш. О'Фаолейна, Дж. Тербера и С. Беккета, эссе, статьи и очерки Т. Л. Пикока, Г. К. Честертона, Д. Б. Пристли, романы Р. Чандлера «Высокое окно», «Вечный сон», Д. Хэммета «Красная жатва», У. Тревора «Пасынки судьбы», Х. Бернстайн «И в смерти жизнь» и др.

ИВАНОВА ТАТЬЯНА ЭДУАРДОВНА — советский переводчик с румынского и английского языков. В ее переводах вышли книги Василе Войкулеску «Монастырские утехи», Сынзианы Поп «Серенада на трубе», Штефана Бэнулеску «Зима мужественных», Габриэлы Адамештяну «Подари себе день каникул» и др., а также рассказы Ф. С. Фицджеральда и У. Фолкнера

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ «ИЛ»

МОМО КАПОР «Книга жалоб»
Прославленный югославский автор бестселлеров со свойственными ему легкостью и остроумием рассказывает историю вольнодумца, попытавшегося преобразовать унылый книжный магазин в своеобразный клуб интеллектуалов. Однако из-за преследований ревнителей «единственно правильной идеологии» он вынужден покинуть Белград и отправиться в Америку, чтобы там осуществить свою мечту.

МАРГЕРИТ ЮРСЕНАР «Последняя любовь принца Гэндзи»
Изящная новелла известной бельгийской писательницы о жизни и смерти восточного правителя, о роли женщин в его судьбе.

ВИКТОР ВОРОШИЛЬСКИЙ Из книги «Дневник интернированного»
Талантливый польский поэт, прозаик, публицист, в течение почти сорока лет знакомый советскому читателю лишь по самиздату, писал эти стихи в тюрьме и лагерях для интернированных, куда он был заключен после введения в Польше военного положения в 1981 году.

Впервые печатается знаменитая глава «Краткий отчет о путешествии» из книги АСТОЛЬФА ДЕ КЮСТИНА «Россия в 1939 году», вокруг которой вот уже полтора века не стихают полемические баталии. Исторические судьбы русской нации — тема эссе ИГОРЯ ДЕДКОВА «Дорожное зеркало маркиза де Кюстина».

В рубрике «Вера и мораль», посвященной нравственно-этической основе современных религиозных конфессий, читайте фрагменты из лекций КАРОЛЯ ВОЙТЫЛЫ, нынешнего папы римского Иоанна-Павла II.

Цена 2 руб. 95 коп. ИНДЕКС 70394

Во второй половине 1991 и в начале будущего года «ИЛ» предполагает напечатать:

ПАТРИК ЗЮСКИНД (ФРГ)
Парфюмер. История одного убийцы
Роман

МОМО КАПОР (Югославия)
Книга жалоб
Роман

ТОМ ВУЛФ (США)
Костры амбиций
Роман

ЭРВЕ ГИБЕР (Франция)
Другу, который не спас мне жизнь
Роман

Маркиз де САД (Франция)
Преступления любви
Новеллы

ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ (Великобритания)
Комната Джейкоба
Повесть

НЭНСИ РЕЙГАН (США)
Мой черед
Автобиография

САЛЬВАДОР ДАЛИ (Испания)
Тайная жизнь
Фрагменты автобиографической книги

ISSN 0130—6545 Иностранная литература, 1991, № 6, 1—256